

НОВЫЙ Журнал

100

*THE NEW
REVIEW*

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Двадцать девятый год издания

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, September 1970
Quarterly, No. 100
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$10. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N.Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<i>Роман Гуль</i> — Сотая книга	5
<i>Вячеслав Иванов</i> — Неизвестные стихи	7
<i>Анатолий Кузнецов</i> — Артист миманса	10
<i>Игорь Чиннов</i> — Стихи	37
<i>Георгий Адамович</i> — Игла на ковре	39
<i>Дмитрий Кленовский</i> — Стихи	60
<i>В. Шаламов</i> — Надгробное слово	62
<i>Олег Ильинский</i> — Стихи	76
<i>Л. Ржевский</i> — Монологи и паприка	78
<i>Иван Елагин</i> — Стихи	95
<i>Гайто Газданов</i> — Эвелина и ее друзья	97
<i>Ирина Одоевцева</i> — Стихи	109
<i>В. Вейдле</i> — О двух искусствах: вымысла и слова	110
<i>Николай Моршен</i> — Стихи	134
<i>Аркадий Белинков</i> — Что делал Ю. Олеша в газете «Гудок»	136
<i>Юрий Иваск</i> — Стихи	153
<i>Зинаида Шаховская</i> — Стихи	154
<i>Марк Слоним</i> — О Марине Цветаевой	155
<i>Странник</i> — Стихи	180
<i>А. Величковский</i> — Стихи	181
<i>Гордон МакВэй</i> — Советские поэты о Сергее Есенине	182
<i>Глеб Глинка</i> — Стихи	195
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>Г. Вернадский</i> — Из воспоминаний	196
<i>Н. Ульянов</i> — Курмасцеп	222
<i>Н. Рахманинова</i> — С. В. Рахманинов	245
<i>Татьяна Фесенко</i> — Живой как жизнь.	
Письма К. Чуковского	260
<i>Эмигранты у Богомолова</i>	269
<i>Из истории партии с.-р.</i>	280
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>Б. Унбегаун</i> — Происхождение русского литературного языка	306
<i>Р. Плетнев</i> — О циклах русской истории и литературы	320
<i>А. Авторханов</i> — Ленин и ЦК в октябрьском перевороте	329
<i>С. Пушкарев</i> — Ленин и США	350
<i>В. Пирожкова</i> — Германия на наклонной плоскости	375
<i>А. Иванов</i> — Миграционные процессы в СССР	390
<i>К. Павлов</i> — Политика Москвы и Пекина в Азии	403
<i>Д. Шуб</i> — Из давних лет	418
ПРИВЕТСТВИЯ	428
БИБЛИОГРАФИЯ:	
<i>С. Пушкарев</i> — Записки Русской Академической Группы в США. Том III	429

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET, NEW YORK, N. Y. 10013



СОТАЯ КНИГА

Думаю, что “Новый Журнал” с полным правом может отметить свой юбилей: выход 100-й книги. Столь длительного издания “толстого” журнала в эмиграции не бывало.

В своем выступлении в 1967 году в Нью-Йоркском университете, на собрании, посвященном 25-летию “Нового Журнала”, я говорил и о целях и о его истории. Цель журнала была и остается неизменной — свободное творчество, свободная мысль. Историю же “Нового Журнала” я тогда разделял на три периода. Первый — с основания в 1942 году (в разгар второй мировой войны) и по 1945 год (год ее окончания). Второй — с 1945 года и приблизительно до лет “оттепели” (после смерти Сталина в 1953 году). И третий — с середины 1950-х годов до середины 1960-х. Каждый из этих периодов несколько отличался характером публикуемого материала. Сначала печатались почти только прозаики, поэты, публицисты, ученые — старые эмигранты. Потом — после войны — в журнал вошли прозаики, поэты, публицисты, ученые, бывшие советские граждане, ставшие “новыми” эмигрантами. В третий период — на страницах журнала стали появляться различные *рукописи*, получавшиеся “с оказией” из Советского Союза.

Теперь, с выпуском сотой книги, я могу сказать, что с половины 1960-х годов “Новый Журнал” вступил в четвертый период, когда его редакция стала получать рукописи советских писателей уже не “с оказией”, а прямо из рук писателей, бежавших на Запад от большевицкой тоталитарщины. В этот четвертый период среди обычного материала мы напечатали вещи Анатолия Кузнецова, Юрия Кроткова, Аркадия Белинкова, Михаила Дёмина и других. В первом письме ко мне, тогда только что вырвавшийся из Советского Союза, Аркадий Белинков писал:

“Из всех русских изданий за границей я лучше всего знал именно Ваш журнал... В Москве я прочитал по крайней мере по-

ловину вышедших номеров. Дело это не простое, но по своему положению... я имел доступ в Отдел специального хранения Библиотеки им. Ленина, а кроме того его привозили друзья из-за границы". И позже А. Белинков написал мне о том, как "все мы без меры обязаны" существованию "Нового Журнала".

Незадолго до него бежавшая на Запад Светлана Аллилуева из гонорара за свою первую книгу выделила пять тысяч долларов на поддержку "Нового Журнала".

Были отзывы о "Новом Журнале" и других писателей-беглецов. Но особенно было ценно, полученное в этот период из Парижа письмо некоего анонима. "Многоуважаемый г-н Гуль! Большое Вам спасибо за ваш чудесный "Новый Журнал", который я получил от одного нового знакомого эмигранта. Я приехал в Европу, как турист из СССР, уезжаю обратно и увожу журнал домой. Хотя я и член партии, но Ваш журнал произвел на меня ошеломляющее впечатление. Я поражен тем, что в эмиграции есть такие силы, которые нам близки по духу. Вам, конечно, странно, член партии и *близость духа*? Но поверьте, что это так. Партия это лишь *мертвый* символ для нас, для молодежи. Мы тоже люди и *добро* для нас ближе, чем позолоченный труп. Очень жалею, что остаюсь анонимом — вы должны мне простить и понять. *Читатель из СССР*".

Было бы ненужным лицемерием, если бы я не сказал, что все эти отзывы были мне очень ценны и нужны. Нужны потому, что именно они давали и дают силы — в трудных, очень трудных условиях — вести "Новый Журнал". И вести для того, чтобы как-то духовно перекликаться со всеми теми русскими людьми, кто, живя под игом однопартийной диктатуры, остаются все-таки духовно свободны, — как А. Солженицын, А. Синявский, Л. Чуковская, А. Вольпин-Есенин, Ю. Даниель, Н. Эшлиман, Г. Якунин, П. Якир, А. Марченко, Ю. Галансков, П. Григоренко, Ю. В. Мальцев и многие другие, сильные духом, кто несмотря ни на психиатрические "лечебницы", ни на владимирскую тюрьму, ни на мордовские и сибирские кацеты — не гнутся под "бесовским" режимом компартии.

Отстаивая гражданскую, политическую и творческую свободу человека, видя Россию культурно неотделимой частью Европы, "Новый Журнал" боролся и будет бороться с антикультурой деспотического большевизма, этого — по слову П. Б. Струве — "соединения западных ядов с истиннорусской сивухой".

Роман Гуль

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТИХИ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

В черной воспаленной тишине
Слышится глухое слово мне:
«Будь готов; уже не за горами»...
Выхожу заветный встретить знак.
Все висит звезды власатой зрак
Над небес крайними кострами.

По опавшим листьям шелестит
Чей-то шаг. Кто медлит и грустит
Надо мной, таясь в безлюдном парке?
Суеверным ухом я ловлю
В шуме ветра бледное «люблю»...
Долу мрак; а звезды гневно ярки.

Жутко мне биенье жарких жил
И застылость зоркая светил.
Словно я лежу, смертельно ранен,
В темном поле; бой вдали кипит;
На меня ленивый дождь кропит;
И не бой, а дождь ленивый странен.

Москва, декабрь 1914 г.

Эти четыре ненапечатанных стихотворения Вячеслава Иванова присланы нам Л. В. и Д. В. Ивановыми и О. А. Шор. О. А. Шор работает сейчас над изданием собрания сочинений Вяч. Иванова, первый том которого должен вскоре выйти. О печатаемых нами стихотворениях Ольга Александровна пишет, что В. И. собрал свои стихи, не вошедшие в прежние сборники, еще в России. Уже за рубежом, в Павии, он пересмотрел сборник приблизительно, без определенного намерения печатать. Потом пришла война. Занятый другими работами и заботами В. И. не успевал заняться изданием стихотворений. Одно из стихотворений («В черной воспаленной тишине») О. А. нашла в архиве с перечеркнутой рукою В. И. первой строфой и попытками его переделать. Не решаясь перечить автору О. А. так и ввела его в сборник «Свет вечерний» в усеченном виде, под заглавием «Ленивый дождь». Но недавно О. А. нашла окончательную редакцию этого стихотворения, сле-

ТИХАЯ ЖАТВА

Великий день овященного покоя
Родимых нив, созревших для серпа!
И пусть вдали гремят раскаты боя,
И пусть душа усталая слепа,

И кажется — в сей час тягчайший зноя —
Земля, свой злак вскормившая, скупа:
Но, белой мглой Жнецов идущих кроя,
С крутых небес означилась тропа.

Молчи, народ! Дремли, страдой измаян!
Чтоб в житницу зерно Свое собрать,
К тебе идет с Рабочими Хозяин.

Ему вослед архангельская Рать,
Как облако пресветлое, с окраин
Подъемлется — на поле побирать.

Сочи, 4 марта 1917 г.

ланную самим В. И., при чем первая строфа стояла полностью на месте. Мы публикуем эту последнюю редакцию. Сонет «Тихая жатва» печатается впервые.

Об истории переводов В. И. сонетов Микель-Анджело О. А. пишет, что побывавший в 1925 г. в Риме В. Э. Мейерхольд заказал В. И. переводы сонетов Микель-Анджело для журнала, который он хотел издавать в Москве. В. И. перевел несколько сонетов, но Мейерхольду их не послал. Переводы эти никогда не были напечатаны. Сонет «Не смертный образ очи мне пленил» написан, по мнению исследователей поэзии Микель-Анджело, в 1534 г. и обращен к его близкому другу Томмазо Кавальери. Сонет «Нет замысла, какого б не вместила» — одно из известнейших произведений Микель-Анджело — обращен к Виттории Колонне и написан незадолго до ее смерти в 1547 г. Этот сонет Вячеслав Иванов особенно любил и часто ссылался на него в своих речах и статьях. РЕД.

ИЗ МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО

Non veder gli occhi miei cosa mortale

Не смертный образ очи мне пленил:
Очей прекрасных мир невозмутимый.
В груди моей любовь твой лик незримый —
Духовную, как он, — воспламенил.

Не будь душа богоподобна, мил
Ей был бы внешний мир красою мнимой;
За грань земного глаз неутолимый
В рай вечных форм ее бы не стремил.

Я говорю: в живом живого глада
Не насыщает тленная услада.
Увянет всё, что чувства в нас манит.

И смертоносно сердцу сладострастье.
Нас дружба, непорочных, единит,
А цельное познаем в небе счастье.

Рим, 11 августа 1925 г.

Non ha l'ottimo artista . . .

Нет замысла, какого б не вместила
Любая глыба мрамора. Творец,
Ваяя совершенства образец,
В ней открывает, что она таила.

Надменная! Так ты в себе сокрыла
И счастье, и пагубу сердец.
Но на меня, держащего резец,
Моя ж восстала творческая сила.

Нет, не любовь, не темный жребий мой,
Не нрав иль сан твой, дивная, виною
Недуга моего, моих мучений.

Как твердь, ясна, — ты ж и грозна, как твердь;
Но немощен из красоты мой гений
Воззвать блаженство — он изводит смерть.

Рим, 9 августа 1925 г.

Вячеслав Иванов

АРТИСТ МИМАНСА

1

Илью Ильича обидели. Это случилось вечером, в третьем акте.

Одетый в малиновую ливрею, белые чулки и туфли с пряжками, Илья Ильич обязан был выйти на сцену и раздать балеринам кубки из позолоченного папье-маше.

Он смирно стоял с подносом в кулисе № 2, ожидая, когда в оркестре свиснет флейта — тогда пора идти. Кулиса была его, он всегда здесь стоял.

Партию принца исполнял талантливый премьер балета Валентин Борзых. Совершая свои коронные прыжки, несколько увлекшись и опьяненный аплодисментами, он в последнем прыжке ошибочно влетел во вторую кулису, прямо на Илью Ильича.

Принц был в белоснежном камзоле и белом трико, в белокуром паричке, с напудренным и нарумяненным лицом, воздушный и женоподобный, но ударил он Илью Ильича, как чугунная пушка.

Старик был сбит с ног, кубки взлетели золотым фонтаном и рассыпались, как горох, по сцене. По зрительному залу прокатился смех.

— С-стоит, с-волючь... — зашипел принц, добавив слова покрепче, потому что и сам ушибся; но тут же засиял ослепительной сценической улыбкой и мягким балетным шагом пошел на поклоны.

На Илью же Ильича накинудся помреж, затем прибежал ведущий спектакля с воплем: «Сколько говорено, чтоб посторонние не торчали в кулисах! Как твоя фамилия?» — и записывал на бумажке.

Илья Ильич не был посторонним: предстоял его выход. Ведущий мог бы не обращаться к нему на «ты»: он был мо-

ложе на двадцать пять лет. Премьер не должен был запрыгивать в эту тесную кулису: он всегда уходил в кулису № 5, сейчас просто туда не допрыгал.

Но Илье Ильичу некогда было размышлять об этих пустяках, он проворно заползал среди крахмальных пачек балерин на четвереньках, и пока помреж с ведущим пререкались, ловко все подобрал — и спрятался, вызвав в зале новый взрыв смеха.

Ведущий схватился за волосы: именно сегодня была получена накачка от дирекции, чтобы не было накладок, ибо в зале присутствовал сам секретарь обкома.

Но тут в оркестре пискнул, наконец, сигнал флейты, загремело «форте», пошли с подносами все лакеи, и ведущему ничего не оставалось, как вытолкнуть Илью Ильича снова на сцену.

На ролях лакеев, кроме штатных единиц, подрабатывали приходящие студенты. Один из таких нештатных юркнул вдоль законного ряда Ильи Ильича и подал балеринам кубки, так что, когда подоспел Илья Ильич, кубки никому не понадобились.

Здесь он совершил вторую и роковую накладку. Он не мог уйти обратно с полным подносом. Это было неестественно и с его лакейской точки зрения абсурдно. Он заметил, что на другой стороне кто-то остался без кубка. Поэтому он пересек по диагонали всю сцену, и когда кордебалет жестами античных богов вскинул это позолоченное папье-маше за здоровье принца с принцессой, вспотевший и несчастный Илья Ильич все еще путался перед рядами, предлагая злополучные кубки.

Наконец он догадался ретироваться. Расстроенный, с почти полным подносом, он ушел за кулисы — и увидел, что там уже скандал.

Сам главный балетмейстер, этот бог в человеческом облике, распинал начальника цеха миманса; все прочие начальники стояли вокруг и подсказывали балетмейстеру нужные выражения. Начальник цеха миманса привычно-покаянно кивал: «Признаю... ошибки, сегодня же приказ... на общем собрании... обсудим». Он ястребом взглянул на Илью Ильича, и тот, поняв, немедленно исчез, как дым.

2

Балет со стороны кулис выглядел совсем не так, как его видят зрители. Это была тяжелая, довольно нервическая, суматошная работа людей многих цехов.

В полутьме, среди пыльных холстин и сваленных грудями декораций, озабоченно сновали бутафоры, костюмеры, статисты. Балерины топтались в ящике с канифолью, нервничая и ссорясь. Ведущий пробежал в панике со словами: «Королева на выход! Где королева, черт возьми?» Осветители флегматично тянули кабели, о которые все спотыкались. Солисты, «друзья принца», гоготали у люка, рассказывая последние анекдоты. Прима-балерина истерически ругалась с костюмершей из-за лопнувшего шва. Машинисты озабоченно включали рубильники на щитах. Гудели моторы и скрипели блоки. С танцоров, являвшихся со сцены, лил градом пот, они промокали усталые лица туалетной бумагой и обмахивались полотенцами. Скучали, кажется, одни лишь нелюдимые пожарники.

На освещенном пятачке сцены сходились, как в фокусе, все усилия, там происходила удивительная показуха — чудо искусства. По ту сторону рампы пульсировал и вздыхал, как одно тысячеликое мохнатое существо, пятачурский зрительный зал, который пришел смотреть именно эту показность. Он волновался, переживая хорошо отрепетированные ситуации, взрывался восторгом при каскаде ослепительных фуэтэ примы-балерины, но ему совсем не нужно было видеть пот, который в это время веером слетал с нее и лица стоявших на сцене.

Благополучно одолев переплетения стоек и кабелей, Илья Ильич понес в бутафорскую свой поднос с кубками. Все его выходы и стояния на освещенном пятачке закончились, по крайней мере, на сегодня.

Там, в оркестре, глухо зарокотала трагическая тема, пятачок погас, злой колдун поволок принцессу, и еще целый акт предстояла борьба добра и зла, но в ней статисты не участвовали.

Сдав бутафорию, Илья Ильич зашел в крохотный душный

гальюн с серым от старости унитазом, заперся на задвижку, поднял рубашку и ощупал ребра. Щупал долго и обстоятельно: ему казалось, что при ударе у него что-то сломалось. Но ребра были целы, и он успокоился.

Ему очень не хотелось сразу подниматься в уборную миманса. Он знал, что на лестнице в эту минуту караулили театральные парикмахеры, отбирая у миманса парики. Кто-то когда-то унес парик, и вот парикмахерскому цеху приказом было вменено в обязанность выдавать парики по списку, забирая тотчас по выступлении. Эта процедура казалась обидной Илье Ильичу, вся жизнь которого прошла в театре, он всячески хитрил, стараясь ее избежать.

Кроме того, наверху его ждал, без сомнения, обозленный начальник цеха миманса; благоразумнее было дать ему время поостыть. И выгадывая время, Илья Ильич отправился в буфет.

Буфет для актеров помещался в полутемном подвале без окон. Почему-то за сценой все подсобные помещения, коридоры, переходы плохо освещались, были ободраны и мрачны, никого это не удивляло. Так в этом театре было испокон веков: для зрителей — свет, блеск, многопудовая бронза, плюш, а за кулисами черт те что, скверность одна.

Начался антракт, и в буфете столпилось много народу. Стойку осаждала очередь: балерины в трескучих пачках, придворные дамы в кринолинах, пажы, оркестранты, а в хвосте очереди стояла сама вдовствующая королева — злостная сплетница Мария Поликарповна Парыгина. По штатному расписанию она числилась в том же цехе миманса, к которому принадлежал Илья Ильич. Но ей платили с надбавкой, потому что она была солисткой миманса, обычно изображая величественно выступающих царственных особ. Из всех статистов она лишь одна присутствовала на главных репетициях, ее имя даже печаталось в афишах, хотя собственно ее работа заключалась всего лишь в сидении на троне и кивании головой, то есть не была сложнее, чем роль лакея или какого-нибудь мавра с опахалом.

Илья Ильич стал в очередь за королевой и стоял угнетающе долго, потому что со стороны подходили то гримерша от

примы-балерины, то администратор, то секретарша, и все они совали деньги поверх голов. Опытная буфетчица хорошо разбиралась, у кого надо брать деньги через головы, а кто может подождать.

Чувствуя нестерпимую жажду, не отойдя еще от давешней обиды, Илья Ильич вдруг словно проснулся и впервые с горечью увидел эту несправедливость. Он, медленно, но верно вскипая, смотрел, молчал, но когда подошел танцующей походкой, поверчивая задом, премьер Валентин Борзых и подал рубль перед носом королевы, Илья Ильич, весь задрожав, громко сказал:

Не отпускайте без очереди!

Мне сейчас выходить, — объяснил премьер.

— Другим тоже выходить, вот Марье Поликарповне, например, — возразил Илья Ильич. — Вам должно бы быть стыдно, вы же мальчишка и суете руками женщине в нос.

Премьер удивился, очень он удивился, так удивился, что даже не сказал ни слова, лишь посмотрел на Илью Ильича таким изумленным взглядом, — сверху вниз, — будто какая-то муха, ползавшая по его рукаву, вдруг произнесла цитату из Гегеля.

— Может, вам позволено сшибать людей в кулисах, сказал Илья Ильич, близкий к истерике, — но люди все равны; здесь есть очередь, это в конце концов возмутительно и... и...

Но все в очереди, потупив глаза, молчали, а буфетчица взяла у премьера рубль, не замечая отчаянно протянутой руки Ильи Ильича. Премьер получил виноградный сок, бутерброд, не взял сдачи и ушел, забыв об Илье Ильиче.

Очередь продолжала молчать. Илья Ильич по этому молчанию понял, что его выходка не поддержана, скорее осуждена. Если до сих пор никто об этом не заикался, может, так нужно? Так должно? Иначе не бывает? А тот, кто заикается, прикасается к тому, к чему не следует — и он так же нелеп, как если бы публично развесил по стульям исподнее. Исподнее существует в каждом театре свое, но никому не позволено выставлять его публично, в лучшем случае им займется время. Или дирекция.

Получив кружку пива, он с горя затиснулся в самый темный угол. Там за колченогим столиком допивал черный кофе такой же старый, как он, неудачник — гобоист Паша Платонов из оркестра.

Илью Ильича уже не мучила жажда, ему не хотелось пива — ему захотелось поскорее умереть. Жизнь показалась ему совершенно безразличной. Он почувствовал, как, наконец, от нее устал.

— Валторна в третьем акте такую киксу дала, — сказал Платонов, с омерзением сплевывая попавшую в рот гущу. — Шеф аж закачался. Слышал?

— Нет, — сказал Илья Ильич.

— Да что ты, я думал, на улице было слышно! Этот тунец Чертков. Шеф его шуганет, готов пари держать... Плюнь, не переживай. И какого лешего ты с ним, сопляком, беседовал? Пушай! Они — премьеры. Они живут в высоких сферах искусства, и указанное искусство зависит от их левой ноги. До того ли им, чтобы толкаться в очередях?

— У нас все равны! возмущенно сказал Илья Ильич.

— Равны-то равны. Но скажи на милость, сколько ты получаешь и сколько получает он?

— Какое это имеет значение?

— Такое. Ты поедешь домой в трамвае — он в собственной машине. Потому что он делает шестнадцать антраша, и зал рыдает. Ты же разнес свои бокалы на подносе — и пшел вон. Чего же ты лезешь в амбицию? Кто ты такой?

— Он сегодня сбил меня с ног, — сообщил Илья Ильич.

— А!... Тем хуже для тебя, — философски заметил Платонов. — Не стой на пути премьеры.

Он старательно почистил свой черный музыкантский костюм и пошел в оркестровую яму.

Илья Ильич попробовал пиво. Было оно бессовестно разбавленное водой. В душе упрямо и горько сосало.

К столику подсади три балеринки и, не обращая внимания на старика, зачирикали о скандале, который прима-балерина учинила в дирекции, узнав, что роль Авроры отдают молодой претендентке.

Молодые балеринки были за молодую претендентку, справедливо считая, что прима выстарилась, и они были тысячу раз правы, только не помнили, что выстарятся сами тоже. А Илья Ильич служил так давно, что помнил еще прежнюю приму, которую публика носила на руках. Теперешняя прима тогда совсем молоденькой девчушкой явилась из балетного училища и получила роль Одетты... Неизвестно даже, куда делась та старая экс-прима — может, преподает где-нибудь в хореографическом кружке при клубе железнодорожников, а может, мирно доживает замужем. В балете, как нигде, быстро сходят со сцены. Особенно премьеры и примы: они не остаются на второстепенных ролях, а слетают сразу — и навсегда.

Здесь он не отказал себе в удовольствии заранее злорадно вообразить, как будет сходить со сцены нынешний премьер. Утешение было, впрочем, слабое, потому что его место займет другой такой же, ничем не лучше.

В буфете висел репродуктор, транслировавший сцену. Начиналось вступление к четвертому акту. Собравшийся было уйти Илья Ильич задержался и послушал краткое соло гобоя — это отличался его друг Платонов. Гобой хорошо сыграл, проникновенно. А дальше Ильи Ильич не стал слушать. Он давным-давно знал всю партитуру наизусть.

По пути вверх, на узкой лестнице, он шарахался и притискивался к стене, пропуская несущихся сверху, пахнущих гримом и пудрой танцоров и балерин; они находили тоже склоняли имя примы.

Зато парикмахеров на лестнице уже не было, и Илья Ильич, торжествуя, пошел на пятый этаж, не снимая парика.

3

Существуя с незапамятных времен, Театр Оперы и Балета имел свои незыблемые устои, историю, законы, традиции, то есть устройство сложное, многоярусное не только в архитектурном отношении.

Собственно, это было целое небольшое царство-государство — со своими премьерами и уборщиками, военизированной охраной и спецчастью, бухгалтерами, билетерами, рабочими,

парикмахерами и так далее, и все это были весьма различные коллективы со своими цеховыми интересами, своим бытом и спецификой. Далеко не всем даже удавалось видеть то, что они делали.

Так, оркестранты сроду не видели спектакля толком, но всегда — снизу, из своей ямы, и то лишь та половина, которая сидела ближе к зрителям. Буфетчица слушала только по радио. Парикмахеры видели сцену с колосников. Нотные библиотекари встречались с билетными кассирами лишь на общих собраниях. А какой-нибудь столяр мог проработать в декоративном цехе двадцать лет, так и не познакомься ни с одним актером. Более того, между самими актерами были четкие границы.

У главных, ведущих премьеров уборные были персональные — просторные, у самого выхода на сцену, святая святых, куда Илье Ильичу и заглянуть не полагалось. Там стояли вазы под цветы и сифоны с газированной водой.

На втором этаже помещались уборные для обычных солистов, тоже комфортабельные, хотя и явно победнее. Туда подавались два сифона на всех, а в вазах не было надобности.

Кордебалет (или хор, если шла опера) занимал третий этаж, по восемь-десять человек в комнате, при чем у них стояли просто бачки с кипяченой водой.

Четвертый этаж занимал аристократический технический персонал с полутворческим оттенком: здесь были примерные, костюмерные, сапожнички.

И уж под самой крышей, на пятом этаже, находилась одна общая уборная для статистов — длинный зал с низким потолком, узкими окошками-бойницами, насквозь пропахший смесью потной обуви, вазелина и пудры. Непритязательный цех миманса галдел, переодевался, гримировался тут всем скопом. На всех была одна раковина с краном, прямо из которого и пили воду, потому что кружки никогда не было. И вечно шла борьба за табуретки, их нехватало.

Впрочем, не всегда. Для скромно-камерной «Мадам Баттерфляй» нужен был только один статист, изображавший слугу с зонтиком. Илья Ильич гримировался под японца в грустном

одинокости. Зато монументальной «Царской невесте» требовалась целая банда свирепых опричников с пищалями и секирами, и тогда цех миманса походил на разбойничий стан.

О, нет, Илья Ильич ел свой хлеб не даром. В ином спектакле ему доводилось перевоплощаться множество раз. В первом акте «Кармен» он изображал прохожих, не менее десятка разных прохожих, затем устраивал с другими статистами панику при побеге Кармен. Во втором акте он служил в кабачке и почтительно выслушивал хвастливую арию тореадора, но тут же сломя голову мчался наверх, чтобы перевоплотиться в контрабандиста. Но больше всего ему нравилось последнее действие, где он был темпераментным не то пикадором, не то матадором — он так и не постиг премудрость корриды, но, в общем, ему давали две такие стрелки с красными перьями, и другому мимансу тоже давали, и они несли их через сцену в вытянутых руках. Потом под крики своего начальника галопом бежали вокруг задника — и снова несли, так несколько раз, чем достигался эффект массовой сцены.

Итак, благополучно избежав засады парикмахеров, Илья Ильич поднялся в уборную миманса, увидел, что и тут он рассчитал правильно: начальника цеха уже не было. Костюмерши уносили вороха камзолов. Студенты разбежались, лишь трое сидели в трусах на табуретках и говорили о футболе. В помещении стоял тяжкий банный дух.

Вдоль стен тянулись ряды позеленевших зеркал со столиками, усыпанными коробками из-под грима, бумагой, тряпицами, яблочными огрызками. Давным-давно Илья Ильич, выделясь из общей неразберихи, самовольно присвоил ящик углового стола. Маленьким ключом он открыл замочек и достал собственную пачку бумажных салфеток. Уж два месяца не выдавали туалетную бумагу, начальник клялся, что перерасходованы нормы, а вытираться клочьями газет Илья Ильич ни при каких условиях не стал бы.

Он аккуратно снял грим, думая о чем-то своем, не глядя в зеркало. Свое лицо он знал наизусть и никогда не пугал остатками грима кондукторов последних ночных трамваев.

Ящичек его был в идеальном порядке: аккуратно застлан

чистой бумагой, слева лежали салфетки, коробка с гримом, пузырьки, кисточки, карандаши, посредине — немного подсохший бутерброд с кабачковой икрой, а справа — книга писателя П. И. Мельникова (Печерского) «На горах», том второй, которую он уже полгода читал, если бывал свободен в каком-нибудь акте.

Надобность в личнособственническом замочке объяснялась тем, что не одна туалетная бумага, но и грим выдавался по жестким нормам. Эти беззаботные лоботрясы приносили его в кармане, мазались неэкономно, к концу квартала начинали клянчить и воровать друг у друга, а Илья Ильич этого не выносил.

Старательно развесив на плечиках свою ливрею с галунами, он облачился в повседневные штаны и пиджак, увидел в зеркале свою усталую физиономию с мешками под глазами и отвернулся. Взял было бутерброд, подержал в руке и тихо положил обратно.

— Лобановский за левого крайнего — вот был бог, — сказал кто-то из лоботрясов; остальные задумчиво кивали головами.

— Бога не было, — сказал Илья Ильич в каком-то странном трансе, и все удивленно на него посмотрели.

Он запер ящик и, не прощаясь, вышел. Спустился этажом ниже, к парикмахерам — они беседовали о международной политике, дымя сигаретами у окна. Стены были увешаны косами, локонами, бородами, горы скальпов громоздились в корзинах и на столах.

— Паричок мой, пожалуйста... отметьте, — вежливо сказал Илья Ильич.

Один из парикмахеров поставил птичку в списке, взял парик и, метко прицелясь, попал точно в корзину.

Илья Ильич, пошатываясь, поплелся вниз. Балет, видимо, кончился, так как со сцены валили усталые танцоры. Илья Ильич тоже устал, так смертельно устал, как никогда в жизни.

Домой он явился позже обычного. Осторожно отпер дверь,

прокрался на цыпочках, стараясь не производить звуков и не разбудить внука и дочь.

На кухне ему была оставлена, как всегда, застывшая картошка на сковороде, котлеты из домашней кухни и малиновое желе. На веревке гирляндой висели влажные рубашонки, чулочки, штанишки, на крайних красовалась дыра. Илья Ильич сам покупал эти штаны на прошлой неделе в детском универсаме, их стоимость была равна его трехдневному заработку, поэтому он потрогал края дыры и вздохнул.

Жена Ильи Ильича умерла десять лет назад от рака легких. Она никогда в жизни не курила. На попечении Ильи Ильича осталась семнадцатилетняя дочь Люба.

Вечерами Илья Ильич бывал в театре, а днем почти не видел дочку, потому что она работала на трикотажной фабрике. Она бегала на танцы в парк, в Дом офицеров, знакомилась с курсантами, искала мужа, но не нашла, а лишь забеременела и родила мальчика. Так стало их трое.

Крышка, покрывавшая сковороду, с грохотом полетела на пол. Почему всякий раз, когда ты вот так тихо хочешь повернуться на кухне, обязательно что-нибудь с грохотом летит? Поднимая крышку, Илья Ильич свалил нож. От досады он махнул рукой и принялся есть картошку, не разогревая. У него вздрагивал подбородок, вилка мелко постукивала о сковороду, он не чувствовал ни вкуса, ни запаха, лишь машинально жевал, проглатывал и думал.

Много лет они с женой ждали очереди на квартиру. Когда Илья Ильич вернулся с войны, ему обещали дать квартиру в первую очередь. А жили они тогда в подвальчике и платили хозяину немалые деньги. Дочка родилась. Для театра строили дом в центре города, и Илья Ильич получил ордер на одну комнату. Приехали вселяться (то-то праздник был), а комната занята: родственник администратора захватил.

Потом люди растолковали, что когда получаешь ордер, беги в комнату и сиди, не выходя ни на минуту, хоть целый месяц, пока дом закончат. Но кто же знал? И скандала, волокиты было потом на полгода, и все равно они так перевернули, что и ордер Ильи Ильича оказался недействительным, и родствен-

ник остался в захваченной комнате. Обещали дать в следующем доме. А этот следующий дом выстроили только через пятнадцать лет, на далекой окраине, малогабаритный, с потолками, до которых достать рукой, но зато, правда, дали отдельную однокомнатную квартиру, с кухней, так что фактически кухня как бы и вторая комната. И одно было горько: жена умерла, так и не дождавшись своей квартиры.

Жену тогда положили в онкологический институт, шестнадцатая палата, первая койка слева. Он приходил, приносил мёд, дорогие апельсины, садился на белый металлический стул. Жена беспокоилась: «Ни к чему не прикасайся!» Он посмеивался, а она упрямо твердила, что рак заразен. Наперекор врачам почему-то все, абсолютно все больные в этом огромном здании считали, что рак заразен.

Вот они с женой беседовали об операции, метастазах, стадиях, сроках, по-деловому, серьезно беседовали, потом он приходит, а ему говорят, что тело жены в мертвецкой. И тоже по-деловому, понятно объяснили, как забрать, какие нужны формальности, подсказали насчет машины.

Долго потом, просыпаясь по утрам, ему приходилось внушать себе: «Надо жить ради Любочки», — это помогло, и вот они квартиру получили, устроились, он стал позволять себе кружку пива, остальное же все шло на дочь. Потому что нелегко сколько нужно нынче молодой женщине, чтобы быть привлекательной.

В годы юности Ильи Ильича девушки бегали в простых сарафанах — и нравились. Теперь нужны чулки за 4 рубля, которые цепляются за все, что ни попади, туфли за тридцать, у которых через неделю ломается каблук — и вот слезы, и вот горе. Раньше заплетали косу, и было очень красиво. Теперь — причёски, лондатоны, «гаммы», лаки, перекиси... Девчонке с трикотажной фабрики как найти мужа без всего этого?

Когда-то они с покойной женой мечтали, что из Любы выйдет прима-балерина. Но выяснилось, что у нее, как и у матери, нет никакого слуха, чувства ритма, вообще нет никаких особых способностей.

Выдающиеся способности — но это ведь у редких людей.

Статистически мир складывается из просто людей, не из премьеров, а из большой массы кордебалета. Миманса.

Когда жену называли еще «ходячей больной», она обычно выходила к Илье Ильичу в коридор, где женщины вязали, играли в подкидного да обсуждали, кому и сколько жить. Одна, игравшая в карты, сказала: «Мне, девки, недельки три еще — и до свидания». Действительно, через три недельки померла. «Ну, надо же, — подумал Илья Ильич, — так просто сказала, ходя с восьмерок: «Мне, девки, недельки три еще — и до свидания».

Он обнаружил, что давно сидит, подперев голову, над пустой сковородкой.

Чтобы вскипятить чай — для этого он слишком устал, да и не хотелось ему ничего. Тихо прошаркал в комнату — кровать была приготовлена, одеяло отвернуто аккуратным уголком. Вот в чем нельзя было упрекнуть дочь — в неряшливости. Она всегда заботилась, чтобы в квартире было чисто и уютно. Не роскошно жили, но не хуже, чем другие. У них был и радиоприемник «Москвич», старенькая, правда, коробочка, но берет отлично; и телевизор небольшой, «Рекорд», приобрели в рассрочку. Литография с картины «Рожь» Шишкина. Стулья недавно сменили. Повсюду вышитые думочки, покрывальца; тюль на окнах.

По привычке Илья Ильич проверил внука — тот, конечно, лежал ничком поверх одеяла, раскидав руки и ноги, как парашютист в свободном полете (недавно была такая фотография в журнале «Огонек»).

Наведя порядок, старик разделся в темноте и лег в холодную постель, но едва он закрыл глаза, как почувствовал такой удар, что чуть не свалился с постели. Он задохнулся от боли в ребре, посыпались облупленные бокалы из папье-маше, а ведущий закричал: «Как твоя фамилия?» — и записывал на бумажке.

Дивясь такой чертовщине, Илья Ильич пощупал ребра: в одном месте, если надавить, чуть болело, но — не стоящий внимания пустяк. Закрыл опять глаза, пытался принять удобную позу, но едва начинал засыпать, как на него налетал один

премьер, другой премьер, третий, и под конец он уже не знал, куда деваться, где ему стать, как на всех угодить: если он подбирал бокалы, на него вопили, если не трогал — еще больше вопили: дескать, специально рассыпал, чтобы навредить. Кругом он был виноват, кругом виноват.

Он перевернулся на другой бок, но оказался в пугающе длинной очереди, она не двигалась, потому что разные принцы с накрашенными лицами подавали и подавали через головы рубли, а очередь не протестовала, лишь задние напирали и нажимали друг на друга; это было единственное, что умела очередь; давиться, протягивая руки, которых буфетчица не хотела замечать...

От такого кошмара у Ильи Ильича выступила испарина на голове. Он пересиливал себя, вставал и ходил по комнате, засовывал под одеяло безмятежно спящего своего парашютиста, ложился, но несчастья опять преследовали его: ему запрещалось иметь личный ящик как противопоставление себя коллективу; затем его отдавали под следствие за хищение парика; Платонов в оркестре делал немыслимую киксу. И все это было так ужасно, просто конец света, так что театр начинал гореть, с дымом и треском рушилось царство-государство.

5

Придя на службу, Илья Ильич обнаружил театр на месте, целый и невредимый. Но сон все же оказался в руку.

На доске приказов, там, где висят расписания репетиций и объявления о занятиях по марксизму-ленинизму, был приколот кнопкой лист, один из параграфов которого касался лично Ильи Ильича. За вчерашнее халатное отношение к своим обязанностям ему (фамилия, имя, отчество прописными буквами) объявлялся строгий выговор.

Илья Ильич оторопел и дважды перечитал бумажку.

— Вот так у нас, — сказала невесть как очутившаяся рядом Марья Поликарповна Парыгина. — Как сами, так делают, что хотят, а порядочному человеку ни за что — выговор.

— Право, я сам очень удивлен... — сказал Илья Ильич дрожащим от обиды голосом.

— Чему удивляться, милый, чему удивляться? В этой жизни я перестала удивляться. Ждешь беду отсюда, а не из-за другого угла тебя мешком. Но я бы на вашем месте так не оставила.

— Да, я пойду и объясню, — сказал Илья Ильич. — Как же это делается? Не разобравшись... Они не имеют права!

— Иметь-то имеют, — сказала Марья Поликарповна. — Но неприятно. Я вам сочувствую.

— Я стоял во второй кулисе, — сказал Илья Ильич. — А принц уходит в пятую. И вот...

— Да, да, — сказала Марья Поликарповна. — Вы пойдите и расскажите, без крика, спокойненько. Правда, у вас ничего не получится, но вы почувствуете моральное удовлетворение.

Начальник цеха миманса приспособил себе под кабинет крохотную кладовку на пятом этаже, у входа на чердак. Он был там, сидел, как паук в своем закутке, составляя ведомость на зарплату.

Фамилия его была забавная — Чижик. Чем-то он соответствовал фамилии, потому что вечно летал по театру, кричал, там помогал, там мешал, многоцелевой и суматошный, и порядок в мимансе достигался ценой великой суеты с криком и бранью, о которой, впрочем, Чижик моментально забывал. Возможно, только такой человек и мог справиться с анархичной оравой всех этих студентов и лоботрясов, и одному Богу ведомо, как он все-таки ухитрился вовремя выпихивать их на сцену.

Безгранично почитая дирекцию, ловя на лету каждое указание, сгибаясь, подхалимничая и юля, Чижик, однако, с теми, кто был ему подчинен, превращался в льва рыкающего.

— Почему мне, не разобравшись, вынесли выговор? — волнуясь, но держа себя в руках, спросил Илья Ильич. — Ведь я всегда стою во второй кулисе. Принц, вместо того, чтобы уходить в пятую...

— Какое мне дело? — закричал Чижик, вдруг привычно рассвирепев, так как имел дело с подчиненным. — Ведущий по-

требовал докладную — я подал. Вас много, я один. Так каждый придет, наговорит, а я должен верить?

— Вы меня знаете, — убедительно сказал Илья Ильич. — Я столько лет работаю в театре... без... пятнышка.

Чижик с интересом посмотрел на него, склонив голову.

— Гм... Право, я здесь ни при чем. Я такой же подчиненный, как вы. Помочь ничем не могу. Там был ведущий, идите к нему и объясняйтесь. Ох ты, событие, выговор!... На мне их сто.

Илья Ильич подумал, молча повернулся и вышел. Будь он хоть самую микроскопическую малость виноват, он бы проглотил выговор. В жизни он не получал выговора и смутно себе представлял, какие неприятности из этого следуют, кажется, это лишает премиальных, или что-то еще, но не это его волновало, а сам факт. Здесь была нарушена элементарная справедливость. И он пошел ее искать.

После долгих блужданий по темным лабиринтам театра ему удалось обнаружить ведущего в нотной библиотеке. Там он просматривал партитуру сегодняшнего вечернего спектакля «Корневильские колокола».

Ведущий был человек молодой, из неудавшихся певцов. Он долго и нудно околачивался сперва в музучилище, потом в оперном хоре, но имел успех больше по общественной, чем по вокальной части. А так как, бегая по общественно-политическим делам, он постоянно мозолил глаза дирекциям, заседал с ними, привык запросто входить в кабинеты, то ему и диплом дали, и в театр приняли, несмотря на несостоятельность вокальную.

Этот тип людей непременно присутствует в любом искусстве. Они деятельно заседают, организуют секции, комиссии, что-то возглавляют и представляют убедительно и авторитетно, а пуще всего стоят на страже идейности, так что никто и заикнуться не рискует об их творческой бездарности.

В данном случае, однако, искусству еще повезло. Должность ведущего — чисто административная, умения петь не требует, и, уйдя из хора на повышение, он оказался в своей

тарелке: здесь он мог сколько угодно критиковать, указывать, поправлять и требовать от других того, чего сам не умел.

Но, как это бывает с людьми, добившимся положения исключительно благодаря свирепому комплексу неполноценности и потому дрожащими за свой авторитет, он никогда не признавал своих промахов. Он готов был скорее взорвать театр вместе с земным шаром, чем сознаться, что где-то он был неправ.

Вот почему он выслушал сбивчивое объяснение Ильи Ильича с таким же вниманием, как если бы тот просил об отдельной квартире для дочери.

— Дорогой товарищ, — сказал он, — я понимаю, что вчера вам было неприятно, когда на вас накричали. Вы знаете, что такое спектакль. Все мы нервничаем. С меня ведь тоже требуют, так? Я такой же подчиненный, как и вы. Давайте смотреть объективно: в спектакле случился «ляп». Был «ляп»? Был! Вы, да, да, вы ползали за этими кубками, потешали зал, потом еще что-то... И отменять приказ никто не будет. Это было бы смешно. Да, я писал рапорт и не собираюсь отказываться. А вам будет наука в другой раз.

— Но я не виноват!

— А это — как сказать. Товарищ, извините. До свидания!

— Тогда я буду жаловаться, — сказал Илья Ильич.

— Пожалуйста.

— Скажите мне, кому я могу подать официальную жалобу?

— Можно балетмейстеру, директору, министру культуры, в райисполком, Господу Богу Иисусу Христу, — не без юмора сказал ведущий и углубился в партитуру, показывая, что он уже выкинул из головы это дело.

Главный балетмейстер проводил репетицию в большом балетном зале. Танцоры в черных рабочих трико сидели по подоконникам, в центре зала солисты в поте лица бились над паде-труа, и балетмейстер возмущенно кричал:

— Стоп! Бред! Это тихий лепет на лужайке. У вас не руки, а протезный завод, ноги в сотой позиции! Куда вас занесло, кретины?!

Когда он бывал в творческом ударе, таким обычно становился стиль его работы. Он был талантливым балетмейстером, ставил недурные балеты, поэтому негласно считалось, что ему, как одаренной личности, простительно всякое. И главное, он сам так считал.

Работал он широко, с размахом, делая упор на самое главное, не распыляя талант на мелочи. Главным в балете были па-де-де и па-де-труа. Их исполняли премьеры, примы и солисты, ну, еще немного кордебалет, как фон, а насчет миманса — там он просто тыкал Чижика пальцем в грудь:

— Ваших олухов выставьте слева и справа штук по пять.

Чижик моментально запоминал, сколько, где и каких «олухов» надо выставить, и больше балетмейстер о мимансе не помнил. Напрасно, конечно. Настоящие балетмейстеры о мимансе как раз помнили. Он этого не знал. А может, знал, да забыл.

Илья Ильич пробрался к подоконнику и стал терпеливо ждать, когда балетмейстер окончательно замордует танцоров, замордуется сам и объявит перерыв. Но балетмейстер был вынослив. Он сыпал «паралитиками», «недоумками» до тех пор, пока не стал вырисовываться его сложно-новаторский план, и он бы еще гонял, но у примы оторвалась на пуантах лента, перерыв наступил сам собой.

Пока бегали в костюмерную за иглой, Илья Ильич робко приступился со своим делом.

Сперва главный балетмейстер не понял. Он смотрел, силится вспомнить и не мог сообразить, чего от него, собственно, хотят.

— Валентин Борзых толкнул? За ним это бывает. Человек работает. Но это же балет, а не богослужение! Не стойте, где не надо. А что вы хотите от меня, от меня? Какой приказ? Ах, я должен отменять? Ну, знаете ли, вы что, белены объелись, наверно двери перепутали, мне не до того, простите. Эй, вы там, филиал желтого дома! Сколько раз я говорил, чтобы запирали дверь! Не пускать посторонних. Повторяем кусок! Заняли места! Начали!

Не успел Илья Ильич рта раскрыть, как мускулистые мальчишки из стажеров мягко вытолкнули его за дверь, и щелкнул

замок. Он еще ошарашенно постоял, слушая глухой топот попережку с вдохновенными криками маэстро, затем поплелся в дирекцию.

Дирекция была особым миром, Олимпом, в который Илья Ильич если когда-либо и входил, то не иначе, как произвольно ступая и теряясь. В отличие от других помещений тут лежали толстые дорогие ковры, стояла министерская мебель, машинистки казались кинозвездами. Ибо тут решались вопросы кардинальные: хозрасчет, гастролы, распределение ролей, оформление десяти кубометров доски-сороковки для декораций, количество лампочек для праздничной иллюминации. Естественно, как тут не растеряться скромному артисту миманса, пришедшему со своим личным пустяковым вопросом.

Директор, к счастью, был у себя. И уж совсем подбодрило Илью Ильича то, что, судя по табличке на двери, он явился как раз в день, когда директор принимает по личным вопросам.

В кабинете, однако, находились люди, и секретарша любезно предложила Илье Ильичу стул, чтобы присесть и подождать. Люди в кабинетах директоров имеют обыкновение долго разговаривать, шутить, но когда они все-таки стали по одному уходить, в кабинет вошел главный бухгалтер с кипой бумаг. Он, конечно, имел право входить в любое время без очереди, как и администратор и другие лица, которые запросто открывали дверь, входили, выходили, а Илья Ильич, тоскуя, мучительно вел счет: вот двое вошли, значит, там всего пять. Один вышел, осталось четыре. Еще двое вышли, но один вошел...

Уж совсем было освободился директор — и тут нагрянули иностранцы, холеные, в костюмах с иголки, с золотыми кольцами, и все пришло в движение, заматались секретарши, понесли в кабинет коньяки, минеральные воды, кофе, печенье в раскрытых коробках...

Гости ушли через час, когда приемная уже ломилась от ожидавшего народа. Директор показался в дверях, натягивая макинтош, его обступили — каждый со своим неотложным делом, и Илья Ильич тоже храбро стал толкаться. Директор говорил:

Нет, нет, нам это не утверждают! Самы разберитесь! Я в министерство, да, да. Вы что, товарищ?

— Видите ли, — торопливо сказал Илья Ильич. — Я артист миманса. Я стоял во второй кулисе, и вот в третьем акте...

— Дорогой, по всем вопросам миманса — обращайтесь к Чижик, — сказал директор, дружески взяв его за локоть и сделав умоляющее лицо. — Извините, разрываюсь, спешу на совещание! Чижик ваш непосредственный начальник, он и только он один решает все... Я сказал: эти сметы пока отложите, да, да! Все, все!

Он, отмахиваясь, побежал быстрым шагом, а Илья Ильич еще постоял и только потом ушел. Круг замкнулся, но он никак не мог понять, принесло ли это ему моральное удовлетворение.

Гобоист Паша Платонов, не имея дома условий, репетировал обычно днем в театре. Илья Ильич нашел его в оркестрантской, одного. Отложив гобой, Платонов резал ножом большой огурец и макал его в соль на газете. Он обрадовался Илье Ильичу и предложил поделиться огурцом. От угощения Илья Ильич отказался, но поведал про свои мытарства.

Платонов отнесся к делу серьезно.

С одной стороны, обидно, конечно, — сказал он. — С другой стороны, ты и сам какой-то... как ребенок, честное слово.

Но ты сам говоришь, что обидно! — воскликнул Илья Ильич. — Они же все...

— Что они? Ну что? Не надо тебе думать, что кто-то желает лично тебе зла. Нет! Тебе никто не хамил, никто на тебя не цыкал, и вообще все отнеслись к тебе со вниманием, кто как мог. Чижик, ведущий, директор, ты, я — все мы детали налаженного механизма. Но каждый занят своей задачей, и машина так устроена, что никому не дано стопорить ход, а то, может, и назад прикажешь сдавать? Ого, чего захотел!

— Но справедливость... — начал было опять Илья Ильич.

— О справедливости Чижик завопит, когда коснется лично

его самого! Но он побежит — и с ним будет то же, что с тобой. Чему нас не учили — так это внимательности. Каждый, пока над ним не каплет, равнодушен. Мы так хотим добра, мы такие хорошие, но когда рядом несправедливость, глухо молчим. Скажи, однако, пожалуйста, мало ли ты на своем веку видел несправедливостей? И что ты делал? Встревал ли ты, если тебя не касалось? Так и другой, и третий, и ваш Чижик такой, и все такие. Мы молчим, мы заняты. Для чужой беды мы очень заняты. А ты пошел добиваться чего-то, наивный человек!...

— Значит, я сам дурак? — уныло спросил Илья Ильич.

— Не исключается, — засмеялся Платонов. — На, поешь-ка огурчика!

6

Серьезный академический оперный театр поставил легкомысленную оперетку «Корневильские колокола» потому, что она была кассовым спектаклем. Привыкшие к оперному пафосу артисты плохо вживались в опереточную глуповатость, и спектакль получился и не умный, и не глупый, а какой-то придурковатый.

«Колокола» сильно всем надоели, но вкусам публики угождали, зритель шел, спектакль держался, хотя играли его уже почти автоматически.

В этот день спектакль был особо ответственный, потому что в зале присутствовал высокий иностранный гость, премьер дружественной страны. Он был с супругой и пожелал сидеть в партере, поэтому были аннулированы билеты первых пяти рядов, их заполнили телохранители и особо проверенные люди, создав из себя зону безопасности вокруг гостя. На сцене же с обеих сторон, невидимые зрителям, как обычно, сидели на стульях два человека в штатском, с пистолетами наготове.

Может, причина была в общей нервной атмосфере, или в чем другом, но, как на грех, в этот день работалось особенно скверно. Певцы отбарабанивали без души. В местах, где, казалось, сам Бог велел смеяться, зрительный зал мрачно молчал. Это в свою очередь угнетающе действовало на сцену, и началась та муть, которая для театра хуже всего: все видят, что

спектакль ползет по швам, но никто не ведает, как спасти, и каждый думает уж лишь о том, чтобы скорее все это как-то кончилось...

Илья Ильич изображал слугу, поселянина, носильщика портшеза и уличную толпу. Артисты миманса, поддавшись общему гипнозу, ходили плохо, стояли неправильно, ошибались, и Илья Ильич вместе со всеми думал: хоть бы скорей домой.

В интермедии, пока сменялись декорации, миманс изображал проход разных людей на ярмарку. Выдали стипендию, и студенты не явились, миманса было мало. Чирик экономно выпускал на авансцену одну за другой нужные группки, зал скрипел креслами, кашлял, сморкался. Человек в штатском у выхода на сцену сверлил актеров глазами, особенно тех, кто что-нибудь держал в руках.

Илья Ильич уже успел нарядиться под бродячего музыканта, Чирик навьючил на него огромный бутафорский барабан, сунул в руки заплатанную котомку и подтолкнул к авансцене:

— Не спеша, не спеша!

При виде котомки охранник напрягся и шевельнул пистолетом, так что у Ильи Ильича вдруг невольно похолодели ноги. То ли он испугался, то ли Чирик слишком подтолкнул, но Илья Ильич не удержал равновесия под тяжелым барабаном и споткнулся на ровном месте, едва не растянувшись на сцене.

Вероятно, это получилось комично, потому что в зале наконец кто-то засмеялся. Пытаясь удержать съезжающий проклятый барабан, Илья Ильич волчком закружился на месте, кое-как справился, посмотрел тоскливо на противоположный край сцены, откуда сверлил глазами второй охранник и куда еще нужно было доплестись, — и тут зал буквально взорвался в хохоте. Зал полагал, что это не настоящий старик, а искусно загримированный актер, что все так и надо.

И случилось чудо.

Илья Ильич проковылял и ушел, но все выходившие за ним тоже встречались хохотом, а они это почувствовали и стали выжимать смех даже там, где сроду его не слыхивали.

Потом последовала красочная сцена ярмарки, сорвавшая

бурю аплодисментов. Артисты перестали ощущать глухую стену, вдруг явились блеск, сверкающее остроумие. Зал все смеялся, аплодировал, и спектакль закончился бурным успехом.

В конце последнего акта Илья Ильич оттащил в уголок портшез и только собрался идти наверх, как на него ястребом налетел Чижик.

— Директор в зале сидел! Прислал узнать: кто такой? Я побежал сам, даю полную характеристику, работает, говорю, тридцать лет. «Отметить!» Да ты понимаешь ли, наш миманс спас спектакль! Премий, дорогуша, нет, перерасход, но уж путевку по линии месткома...

Илья Ильич вытер платком лоб.

— Помилуй Бог, как это?... — пробормотал он. — Ничего я не хочу... Вы мне снимите, пожалуйста, выговор. Честное слово, не я виноват. Я ведь стоял во второй кулисе, а принц...

— Опять двадцать пять! — с досадой сказал Чижик. — Этого я не могу. Это такая механика: раз нажата кнопка, сработал рычажок — все, обратного хода нет. А сегодня, дорогуша, поощрение.

— Я не старался.

— Тем более. Значит — талант!

Илья Ильич пошел к лестнице и услышал, как за его спиной кто-то из солистов сказал:

— Вон тот, что с барабаном падал.

Нельзя сказать, что Илье Ильичу было неприятно слышать это. Размышляя над происшедшим, он стал подниматься на пятый.

Диво дивное! Парикмахер не стал вырывать парик, а попросил зайти на минутку, любезно усадил перед зеркалом и стал вертеть его, размышляя вслух:

— В следующий раз мы сделаем другой парик. Этакий пепельно-серый, растрепанный и в сосульках, как? Сегодня только и говорят, как вы повернули спектакль. Поздравляю.

Это был уже фурор.

Потом были еще разговоры. Вспоминали подобные случаи, знаменитого актера МХАТ'а, который, играя в «Ревизоре» кро-

хотную роль жандарма, потрясал зал. Илья Ильич, смятенный, поскорее переоделся, чтобы уйти от всеобщего внимания.

Внизу, уже в дверях, он столкнулся с Платоновым, который уходил с гобоем под мышкой.

— Я видел, — сказал Платонов первый. — Все в зале как заржут, думаю, что за черт? Гляжу, это ты. Здорова, брат! Я сам заржал.

— Сам не знаю, как получилось, — сказал Илья Ильич. — Ей Богу, не знаю... Выговор не сняли, путевку пообещали, но убей меня на этом месте, я не виноват!

Они вышли на улицу из актерского подъезда. Было еще не поздно, улица бурлила. Платонов глубокомысленно сказал:

— В том комедия, едри его в корень, что в этой нашей жизни сам не знаешь, что на тебя свалится. Но заметь, в жизни никогда не бывают одни несчастья. Неудачи, неудачи, потом — трах! — удача. Верно это сделано так специально, чтоб мы могли сравнивать. Вот сегодня и тебе повезло. Может, дюбнем по этому поводу?

Они пошли в ресторан, сели в углу, заказали коньяку и дюбнули. Закусили семгой. Гулять так гулять.

После третьей рюмки жизнь показалась Илье Ильичу вполне приемлемой. Он даже ужаснулся, как это он мог считать вчера ее постылой. Мысль его напряженно работала.

— По-слу-шай! — воскликнул он, озаренный внезапным открытием. — В следующий раз я надену парик пепельно-серый, растрепанный, в сосульках, а перед выходом пусть меня сильно толкнут... нет, я положу косяк и естественно споткнусь. Я все запомнил, как сегодня вышло! Я споткнусь так, что едва не упаду, но не упаду, лишь барабан перекатится на голову. Ничего?

— Ничего, — сказал Платонов. — И при этом смотри таким недорезанным: чего, мол, скалитесь, думаете, легко такой барабан всю жизнь тащить?

— Да, да! Если это отрепетировать...

— Получится! — поддержал Платонов. — У тебя все получится, ты же талант. И япошка у тебя в Чио-сан ходоший.

один грим чего стоит, а походка!... Да если разобраться, ты, может, не хуже иных премьеров.

Тут Илья Ильич некстати вспомнил, как его сбил с ног Валентин Борзых, и на миг негодование окатило его, даже заныло ребро.

— Ладно. Пусть они делают антраша, — возмущенно сказал он. — Пусть рыдает зал. Но ведь и мы кое-что можем?

— Можешь, душа любезный, можешь, — закричал Платонов. — погоди, ты еще королей будешь играть!

Илья Ильич посмотрел на него потрясенно:

— Королей?

— Да! А чего бы и нет? Сиди себе на троне, кивай.

— А что? — храбро сказал Илья Ильич. — И королей могу. Я в театре всю жизнь. Я актер миманса. Скажи, пожалуйста, ты видел театр без миманса? Вот ты гобой, я мим. Убери нас — что останется? Одни премьеры на проволочках, так я говорю? Куда они без нас денутся?

— Так, старый дурак, правда, — сказал Платонов, прослезясь. — Похвалим сами себя. Давай за нас с тобой. За миманс, старик!

А. Анатолий (Кузнецов)

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА,
НАПИСАННОЕ ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

“Артист миманса” публикуется впервые без сокращений. В неполном виде он был напечатан в 1968 г. журналом “Новый мир” № 4, когда его редактором был А. Твардовский.

В юности я учился в балетной студии при Киевском Оперном театре, танцевал на сцене, из-за близорукости глаз вынужден был оставить балет, но продолжал работать артистом миманса. Были в нашем цехе старики, одного из которых, по-моему, даже и звали Илья Ильич, его я и взял прототипом этого рассказа. Все другие персонажи, буквально каждая сценка тоже взяты с натуры.

Публикация рассказа вызвала ряд осложнений. Сперва с уничтожающей критикой выступила “Литературная газета”. Почему-то она решила, что я описал Большой театр СССР, и

вот в нем были организованы “возмущенные” читательские обсуждения и письма в газету от художественного руководителя Туманова, известной балерины Лепешинской, руководителя оркестра и, конечно же, от “оскорбленных” артистов миманса.

В чем только меня не обвиняли: что очернил жизнь театра, что ее не знаю, вероятно, никогда не был за кулисами, и что описанный случай мог иметь место разве что до революции, когда актер был бесправен, но в советском театре такое невозможно, ибо если случится несправедливость, артист может пожаловаться в местком, за него вступится общественность — и так далее, вплоть до того, что, мол, иде автор видел за кулисами “пыльные груды” декораций...

Но о подлинных причинах, вызвавших такую злобу, газета и не заикнулась, их изложило Тульское КГБ, вызвав меня. Два офицера КГБ К. Егоров и А. Коровкин устроили мне, можно сказать, полный допрос: что я имел в виду, говоря о “премьерах на проволочках”? Ведь слово “премьер” имеет смысл “глава государства” прежде всего, не так ли? Что это за сочувственное противопоставление “миманса” — “премьерам”? Этот тост “За миманс” в конце? Особенно их взбесило описание ведущего, который бездарен и ничтожен, но руководит, поучает других тому, чего сам не умеет, и готов лучше взорвать земной шар, чем признать, что в чем-то ошибся. Из рассказа явствует, что Илья Ильич и Платонов — неудачники, но разве могут быть в СССР неудачники? Кому на руку может играть такой рассказ-аллегория, где под театром с его безобразиями можно понять все советское государство?

Мои оправдания они слушали с недоверием в глазах, однако, материала для обвинения было недостаточно: аллегория дело шаткое.

После этого за мной особенно усилился надзор КГБ, меня регулярно вызывали на беседы, но хуже всего оказалось собеседование в ЦК КПСС. Меня вызвал зам. нач. отдела культуры Ю. Мелентьев, к нему присоединился работник ЦК А. Беляев, специально усадили меня лицом к свету и стали задавать вопросы примерно такие же, как и тульские офицеры, при этом внимательно изучали лицо.

Это было накануне моей поездки в Англию. и меня до сих

пор передергивает, когда об этом вспоминаю: до последнего момента не было уверенности, что Мелентьев не отдаст распоряжение меня остановить (буквально накануне писателя Василия Аксенова вернули с трапа самолета, когда он должен был лететь с делегацией за границу), и лишь в воздухе я поверил, что ЦК все же меня пустил.

Подчеркну, что рукопись “Артиста миманса” я представлял в “Новый мир” без двух кусков: мытарств Ильи Ильича с получением квартиры и иностранного гостя в партере (последнее — фотографически точное описание посещения театра Вальтером Ульбрихтом с женой, чему я был свидетелем однажды).

Редакция “Нового мира” в свою очередь убрала лобовое сравнение театра с государством, его пожар в кошмарном сне Ильи Ильича, место, где говорится, что на смену сошедшему со сцены премьеру явится другой такой же, рассуждение об “исподнем”, которым в лучшем случае займется время, заменены были разные слова, например, вместо “пшел вон” — “до свидания”, вместо “спецчасть” — “финансовая часть”, были чуть смягчены реплики Платонова.

А. Анатолий

1

Акакий Акакиевич,
шинель — «тово»!
Петрович покачивает
седой головой.

Во граде Петровом
черный утюг.
Петрович, Петрович,
шинель — тю-тю!
Навек тю-тю, навсегда тю-тю!
О, если бы чудо — я чуда хочу!

Ворона покаркивает.
Могила. Снег.
Акакий Акакиевич,
шинель — шут с ней!

Не стоит искать, тосковать, бунтовать:
в обитель небесную мчится кровать.
В сиянье и славу, в парчу и виссон
Акакий Акакиевич облачен.

А если и нет — и тогда не беда:
над ним лебеда, под ним вода.
«Энергия — в материю!». Все физика, да.
Копил, копил, сукно купил. Конец, господа.

2

Загуляй ты, выпей полдиковинки,
Целовать кидайся целовальничка,
Надивись на дивные штуковинки,
На девиц-красавиц балаганчика!
Барабанщики там и бубенчики,
А на лбу серебряные венчики.

Суматошливо-то, скоморошливо,
Без горючих слез, пляша-играючи,
И ни будущего, и ни прошлого,
О, голубушки мои, не знаю, чьи,
Было давеча, стало нонече.
Пляшут ангелы, скинув онучи!

О, немножечко хоть, Боже наш, немножечко —
Ах, да что же, мужичку уже неможется.
Хоть машинка заливается натужная,
Да слезинка наливается жемчужная:
Где ж ты, нежная царица Шамаханская?
Эх ты, жизнь, как говорится, арестантская!

3

Питекантропы в Пинакотеке,
Оранг-утаны в Оранжерии.
Дух птеродактиля в человеке:
Гиббон в геликоптере, смотри.

А там, в реакторах, изотоп
Урана, гелия. Снова — опыт.
Смотри: Акрополь, питекантроп,
Летающий ящер, темный робот.

Реакторы, роботы. Не дразни
Горилл, мандрилов, крокодилов.
Плутон, Урания. Мы в тени
Их страшных царств, их царств немилых.

И скоро в ракете астронавта
Уже троглодит взлетит несатый.
И скоро увидят следопыты
Плеззиозавра, бронтозавра.
Уран, плутоний. И троглодиты.
И термоящерное завтра.

Игорь Чиннов

ИГЛА НА КОВРЕ

Н. Рейзини

Поверят ли мне? Едва ли, едва ли. Если и поверят, то немногие, а большинство решит, что все выдуманно, пожалуй, даже добавив «и очень плохо выдуманно», как добавлял Бунин, когда говорил о Достоевском. Убеждать я никого не стану, да и чем мог бы я кого-нибудь убедить? Все записанное здесь — правда. Выдумки нет. Может быть найдется несколько человек, которым случалось испытывать что-нибудь схожее, в том же роде. Они поймут, поверят, узнают сразу. А другие? В отношении других я бессилен.

Началось с того, что мне пришла в голову мысль о коротком рассказе. Названия не помню, можно было бы назвать его по разному, например, «Встречи Ивана Ивановича». Лучше бы, однако, без встреч, чтобы не было по названию ясно, что именно в них дело. Идет Иван Иванович по улице, — почему то мне с совершенной отчетливостью представилась рю де Ренн в Париже, самый конец ее, около старого, приземистого, теперь уже разрушенного монпарнасского вокзала, — идет, значит, Иван Иванович по улице и встречает знакомого, который ему не то улыбнулся, не то подмигнул. Иван Иванович взялся было за шляпу, как вдруг вспомнил: «Да ведь на прошлой неделе я был на его похоронах. Какое сходство! Совсем покойник Б.» И остановившись купить вечернюю газету, забыл о странном происшествии.

Дня через три происшествие повторилось. Но улыбнулся Ивану Ивановичу не покойник Б., а покойник Ш., и не на темноватой рю де Ренн, а на Елисейских Полях, в яркий солнечный день.

«Что это, в самом деле, стала мне мерещиться какая-то чепуха», сказал себе Иван Иванович, однако, домой вернулся

слегка смущенный. Потом встречи стали все учащаться, а какой-то потусторонний ловчила и смельчак, к тому же мало Ивану Ивановичу и знакомый, — так, раз или два, на публичных собраниях ему возражавший, и при том довольно запальчиво, — какой-то смельчак даже остановился, осклабился, взял Ивана Ивановича за пуговицу пальто и сказал: «Очень, очень рад. Дискуссию нашу мы, надеюсь, продолжим».

А на другой день Ивана Ивановича нашли на его диване мертвым. Значит, по моему авторскому замыслу, он мало-помалу втягивался в иной мир, не сразу, не внезапно, как всем нам предстоит, после какой угодно болезни, а именно мало-помалу, отчего и начались соответствующие встречи.

Рассказа я так и не написал. Но мысль о нем долго не оставляла меня и даже как будто надломила что-то в моем сознании. Будто я опрометчиво проник в тайны, которые должны бы остаться скрытыми. Будто взломал какой-то замок. Иваном Ивановичем я ничуть себя не чувствовал, но и совсем таким, как прежде, стать не мог. Иногда я видел то, чего передо мной не было, в течение нескольких секунд, не дольше, однако, ясно и отчетливо. Иногда вспоминал что-нибудь из моей прежней жизни, нет, не вспоминал, а возвращался в прошлое, неодолимо втянутый туда и сейчас же вытолкнутый обратно, в настоящее, в то, что меня действительно в этот момент окружало, на улице, за письменным столом, в вагоне метро. Мне стало казаться, что хотя содействовать возникновению перебросок я не в состоянии, хотя происходят они помимо моей воли, — очевидно, по каким-то неведомым мне законам, — все же я могу их продлить. Не надо уступать, надо вызывать задержку в знакомом или забытом мире, какого бы напряжения всего моего существа задержка мне ни стоила. И это увлекало меня как опыт, с каждым днем все сильнее. Бывало, правда, и разочарование, и не раз я говорил себе, что придаю значение пустым иллюзиям. Часами я сидел в кресле, глядя в одну точку, стараясь ни о чем не думать, и большей частью вставал раздраженный своей наивностью и доверчивостью. Но природой дано человеку больше, чем он допускает. Во всяком случае позволено больше. Слово «дано» предполагает обогаще-

ние, а никаких богатств мне не открывалось. Обнаруживалась только возможность, прежде представлявшаяся мне невероятной, и при том имеющая мало общего с предсмертными встречами моего Ивана Ивановича. И случалось это не после ничемных, изнурительных сидений в кресле, а большей частью тогда, когда ничего я и не ждал.

Какие тусклые фонари, от таких я в Париже отвык. Падает легкий снежок, узкая улица светится, как сквозь кисею, полупрозрачной белесой мглой. Бассейная, я сразу ее узнал. Немного дальше, налево, Эртелев переулок, где дом Суворина и редакция «Нового Времени». Дребезжит конка, которую с трудом тащат две тощих клячи. На углу Знаменской посыльный в башлыке, и мне вспомнилось одно из любимых моих стихотворений, именно о посыльном, «что орхидеи нам несет, дыша в башлык обледенелый». Но вспоминая, узнавая, я ничуть ничему не удивлялся. Я снова был там, где провел детство и молодость, где ночами бродил под таким же снежком, какой падает сейчас, бродил и бредил стихами, и о посыльном в башлыке, и в особенности Блоком. «В блеске зимней ночи тающая...» Теперь я может быть вспоминаю неверно, ошибаюсь, но тогда не ошибся бы. «Ты, снегами тихо веющая, обрати ко мне свой лик...» Было счастье в этих строчках, было блаженное головокружение, была связь с необъятной вселенной, ко мне тогда благосклонной, с бесконечно далекими Млечными Путиями, не знаю, с чем еще. Так мне тогда представлялось, а теперь я лишь перебираю обрывки прежнего, развеявшегося. Прошел молодецватый офицер, кажется, измайловец. Два встречных юнкера небрежно взяли под козырек. Немецкая булочная, та самая, куда бывало робко входили продрогшие уличные мальчишки. «На копейку крошек!» — «Крошек не осталось. Отойди от прилавка, мальчик». Та самая булочная, нет я не сплю. Против булочной парикмахер «Дмитрий», с какими-то судорожно поблескивающими лампочками над стенными зеркалами. Как они назывались? Кажется, керосино-калийные. Не помню точно, может быть иначе, но что-то «калийное» было. Сквозь стекла чувствуется, что внутри пахнет дешевым одеколоном и «вежеталем», как мы тогда говорили.

Но все ускользает, бледнеет. Надо сделать усилие, задержаться, — только какое усилие? Войти в парикмахерскую, заговорить с посыльным? Нет, это не поможет. Наоборот, это, пожалуй, ускорит исчезновение видения, — или вернувшейся из небытия реальности? — со всеми ее декорациями. А мне здесь что-то нужно, это я чувствую, только не знаю, что. Не надо тратить энергии на пустяки, на попытки вспомнить, как назывались лампочки. Я безотчетно сопротивляюсь чуждым силам, отвлекающим меня от цели, использующим мою рассеянность. А в чем цель? Кто подскажет? Однако, дверей моей парижской комнаты, уже было мелькнувших передо мной, нет. Опять улица, снег, булочная, башлык посыльного на углу.

В двух шагах Виленский переулок. Виленский, 4. Мое детство. Как странно, как страшно войти в дом, где полвека тому назад я бывал по воскресеньям, скучая, если сказать правду, и все же привычно ожидая этих воскресных семейных собраний, будто просвета в моей сероватой детской жизни. Пойти, позвонить? Странно и страшно.

Дверь отворила Ириша, со своей всегдашней застывшей улыбкой, высокая, бледная, в веснушках. Дома мой дед? — я называл имя. «Они кушают, сейчас уезжают». — «Ириша, скажите, пожалуйста, что я по делу... я из Парижа». Она не заметила или не обратила внимания на то, что я называл ее по имени, ушла и почти сейчас же вернулась, предложив мне «пройти в кабинет». Да, в кабинет, где я знал каждое кресло, стол с какой-то огромной двойной чернильницей, длинный костяной разрезной нож, мною же к какому-то празднику деду подаренный, портреты Бетховена и Листа на стене, книжный шкаф с рядами цветных коленкорových переплетов, почти никогда не раскрывавшийся, каждую вещицу, каждую мелочь.

Он вошел легко, торопливо, неслышно, в смокинге. Гораздо моложе, чем я ждал: но это и не удивительно, теперь я ведь был старше, чем он. «Чем могу служить?», или что-то в этом роде, с очевидным намерением поскорее отделаться от посетителя. Я долго молчал, пристально глядя на него, не в силах произнести ни слова. Но уловив его нетерпение, задыхаясь от волнения, все-таки сказал: «Неужели вы меня не

узнаете? Я — ваш внук... Сережа». Он едва заметно пожал плечами, нетерпение его явно усилилось. Молчать нельзя было. Я начал бормотать, что теперь вовсе не 1913 год, как вот указано на его отрывном календаре, возле книжного шкафа, а 196... год, что я пришел к нему из Парижа, что он давно умер, что Сиротинин ошибся, лечив его от нефрита, что у него был рак, что он должен, должен меня понять, что будет война, будет революция, а никто этого не знает, не предвидит... Глядя в сторону, он постучал пальцами по столу и встал. За дверью послышался недовольный голос:

— Папá, — с ударением на втором слоге, — папá, Никиш ждать не будет.

Тетя Ася. «Выше Шестой симфонии Чайковского нет ничего на свете». Я и тогда пытался ее убедить, что многое в музыке гораздо «выше». Но главный свой довод она считала неотразимым: «в каждой ноте — слезы». Никиш. Сегодня, значит, концерт под управлением Никиша. Она была в него влюблена, не пропускала ни одного его выступления, ходила к нему в артистическую с какими-то особыми бледными чайными розами, которые он однажды, — по ее рассказу, слышанному мной десятки раз, — прижал к сердцу и поцеловал.

Я быстро вышел в переднюю. Темно-зеленая ротонда до полу, поднятый меховой воротник, что-то легкое, воздушное на голове. Она считалась, и действительно была, самой хорошенькой в семье, но так, бедная, и не вышла замуж в ожидании сказочного принца. Принца не нашлось. И как она мучительно умирала в Ницце, еще не старая, но больная, нищая, вставала на рассвете, вязала дрожащими, «паркинсоновыми» руками узорчатые, разноцветные шали и шарфы на продажу. А потом уже не могла и вязать... Но мимо, мимо.

Я не удержался. «А где же розы?» — «Какие розы?» — «Чайные розы от Эйлерса?» — «Ничего не понимаю». Ответ был сухой, но в глазах недоумение, даже испуг. Дед, уже надевая шубу, обернулся ко мне:

— Теперь многим трудно... поверьте, я понимаю... Простите, вот, чем могу.

И в руках у меня оказалась бумажка, три рубля.

Вероятно, именно эта трехрублевка, это мое огорчение, что вместо ожидаемых и казавшихся мне вполне естественными родственных рыданий и объятий, все получилось так нелепо, да, именно этот толчек, эта растерянность сразу же вернули меня в Париж. Я лег на кровать, принял две или три снотворных лепешки, решив, что надо бы со всей этой чертовщиной покончить, а то можно и на одиннадцатую версту пасть. Но сна не было. Достал с полки книгу, не очередную, постылую, глупую «новинку», а одну из моих любимых книг, одну из тех, которые обмануть и ни с чем оставить не могут. Но ни спать, ни читать я не был в силах. Больше того: не мог жить. Дело ведь было не в том, что меня не приняли, не узнали, что тетя Ася сидит сейчас на красном диване, около памятника Екатерины, в зале Дворянского собрания, и не отрываясь смотрит в бинокль на Никиша, вероятно, все-таки недоумевая, откуда это пожилому господину, в потертом, легком, не по сезону, пальто, стало известно про чайные розы от Эйлерса. Нет, мелькнула и заставила меня содрогнуться совсем другая мысль. Надо что-то сделать. Надо предупредить, надо сделать, чтобы не было того, что будет. История одна? У меня возникла вдруг твердая уверенность, что это не так, не совсем так, и что от одного центра могут разойтись в истории почти бесконечные возможности. От одного центра по бесчисленным радиусам. Был я сейчас, пять минут тому назад, в Петербурге, Виленский, 4? Был. Я не бредил, не спал. Я был. Был. Очнувшись в Париже, я оказался не в постели, не в кресле, а на лестнице, у моей входной двери, с ключом в руках. Куда-то я перед тем вышел, поблизости, ненадолго, а каким образом в эти несколько минут уместилось мое пребывание в Петербурге, не знаю. Не знаю и не понимаю. Но там я вспоминал Блока, и любуясь самим собой, восстанавливал какие-то свои возвышенно-сентиментальные юношеские эмоции, цитировал удержавшиеся в моей памяти строчки. До чего ничтожно все это по сравнению с тем, что открылось мне теперь! На календарном листке было помечено 1913. Значит, есть еще время остановить, изменить. Они не знают того, что будет, не знают, что будет война, революция, они не знают, что всех их ждет, что

Россию ждет, а я знаю и обязан сделать так, чтобы того, что будет, не было. Или по крайней мере, чтобы было и другое будущее, вызвать другое будущее из беспредельного небытия. Нет, это не абсурд, хотя я не в состоянии и сейчас объяснить, почему это представляется мне возможным, даже и сейчас, когда я сижу над этими своими записками, после провала, после постыдной моей неудачи. Неудачи, которую я не прошу себе никогда, до самой смерти, потому, что виновен в ней я, никто другой, и если бы хватило у меня тогда, в нужный, долгожданный момент самообладания и силы договорить все, что надо было сказать, история может быть надо мной не посмеялась бы. Но об этом дальше, я сбиваюсь, путаюсь, волнуюсь от рокового воспоминания.

Чего бы я добился, если бы даже удалось мне убедить деда, кто я и откуда, что я могу как по книжке прочесть ему все, что произойдет в ближайшие десятилетия? Чем он помог бы мне? Какие-то связи у него, кажется, были, но мелкие, второстепенные. Человек он был легкомысленный, добрый, веселый, общительный, диллетант, прирожденный диллетант во всем, и по моим детским догадкам, даже и друзья вполне всерьез его не принимали. Куда пойти? В Государственную Думу? К какому-нибудь министру? Но, во-первых, министр меня не примет, а если и примет, то сочтет за умалишенного и оборвет разговор на полуслове. Да в сущности и министр оказался бы бессилён. Надо было добиться приема «там», на самых верхах. Но как? Предположение, что только «там» я предстану нужным, спасительным вестником из будущего, несмотря на слабость и уклончивость того, что, по общему мнению, по всем доходившим до меня сведениям, представляло собой это «там», уверенность, что мой рассказ о будущем, со всеми ужасами, которые я перечислю, с изображением всего, что еще призрачно держится, но уже обречено, с кровавым туманом над всеми нами нависшим, самый тон мой, моя горячность, моя страстная, неотвязная настойчивость... не знаю, как кончить фразу. Да и не к чему кончать: все и так ясно. Надо, надо что-то сделать, а если оказалось, что сделать это должен я, мало подходящий для исторических и метафизических подвигов человек,

то значит, такова моя судьба. В многомиллиардной мировой лотерее вышел мой номер. Но, признаюсь, я был измучен, и даже соседка моя по площадке на лестнице, русская, из Таган-рога, встретив меня в лавке, участливо сказала: «Что это, вас как будто подтянуло», впрочем, тут же добавив, что при такой несносной погоде она и сама прескверно себя чувствует.

Измучен был я тем, что переброски мои в Петербург прервались, как я ни старался вымышленными мной, но очевидно, вздорными способами их возобновить. Прервались как раз тогда, когда я вспомнил о Маргарите Францевне, последней моей надежде на содействие и помощь. Вспомнил и вздрогнул от радости, от уверенности, что добьюсь цели.

«Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи», писал Гоголь. Знаете ли вы Маргариту Францевну? — хочется мне спросить. Когда-то имя ее знала вся Россия, а теперь эта знаменитая артистка доживала свой долгий век в Париже, где я не раз у нее бывал и сидя у ее глубокого кресла, слушал рассказы о далеком прошлом. Удивительная женщина, сохранившая до девяноста лет живой, быстрый ум и способность каким-то чутьем догадываться о том, что понять было бы ей, пожалуй, трудновато. Ну, а по части связей она могла бы дать сто очков вперед любому министру. Я вспомнил о ней и сразу решил, что при новом своем пребывании в Петербурге, — если оно повторится, если опять будет 1913 год, — отправлюсь прямо к ней.

Да, после долгого перерыва, и именно тогда, когда я всего менее этого ждал, я снова побывал в родном городе. Но побывал напрасно. Швейцар всем петербуржцам знакомого особняка хмуро, даже подозрительно оглядел меня и заявил, что барыня никого не принимает. «Но мне очень нужно... по очень важному делу», повторял я. Из-за вторых, внутренних дверей выглянула нарядная молодая горничная. Она оказалась приветливее, но подтвердила, что без предупреждения никого принимать не велено. Тут я сделал глупость, спросил: «Скажите, здесь у вас в Петербурге... какой здесь год? 1913, да?» Швейцар усмехнулся, покачал головой, и осторожно взяв меня за плечи, вывел на улицу. Я уныло поплелся к Троицкому мо-

сту: почему-то мне захотелось взглянуть на Неву, такая ли она широкая, как мне по воспоминаниям казалось. Но моста не было. Была зажженная лампа на моем парижском письменном столе. Под лампой письмо в узком, длинном американском конверте, наполовину надорванном. Очевидно, я не успел его распечатать.

Письмо я отложил и взялся за телефон. Слабый, теперь уже всегда хриплый голос Маргариты Францевны. «Нет, сегодня нельзя, дорогой. Поздно, к вечеру я совсем без сил. Завтра? Что-нибудь спешное? Хорошо, завтра, часам к пяти».

Завтра. Пять часов. Я опять сделал оплошность, принявшись рассказывать, что был у нее в Петербурге и что меня не приняли. Она беспомощно, два или три раза, провела рукой по лбу. «О чем вы говорите?» Мне стало ясно, что надо найти какую-нибудь уловку, иначе ничего не получится. Сон, сон! Я знал, что она верит в сны и решил сослаться на необыкновенное сновидение. Будто мне привиделось, с совершенно чудесной, небывалой отчетливостью, что я был у нее, что мне непременно, по важнейшему делу, надо было с ней поговорить, а меня даже не впустили. Она заинтересовалась, оживилась. «Да ведь я действительно никого так, с улицы, не принимала. Как же я могла, сами понимаете! Моему Матвею было раз навсегда приказано никого не впускать». Матвей: не забыть бы! Сон мой мало-по-малу стал расцветиваться яркими красками, прилив лживой изобретательности не оставлял меня. Она слушала внимательно, как, впрочем, всегда со вниманием и удовольствием слушала все относящееся к былой ее жизни, к сценической карьере, к славе. Мне показалось даже, что в ее старческом, усталом мозгу произошла путаница и что иногда она отвечала на мои расспросы так, будто верила, что вчера я действительно был у нее в Петербурге, где Матвей не совсем вежливо взял меня за плечи. «Не может быть, — со смехом повторяла она, — не может быть, этого он никогда не позволил бы себе». Потом, помолчав и задумавшись, спросила:

— Вы говорите, 1913 год... да? Значит, незадолго до войны, да? Вот, если бы вы тогда сказали, что вы от Подснежника, я приняла бы вас ночью, днем, утром, когда хотите.

И вместе с какой-то странной улыбкой, молодое, счастливое лукавство мелькнуло в ее глазах.

(Эта ее улыбка, ее короткий смешок оживил в моей памяти одну давнюю встречу. Никакого отношения к тому, о чем я сейчас пишу, встреча эта не имеет, но не раз уже мне хотелось о ней рассказать, для «потомства», для «истории». Мелочь, конечно, но похожая на пылинку, которая начинает светиться, попав в солнечный луч.

Мне было лет тринадцать-четырнадцать, не больше. С матерью мы обедали у Карцовых, наших петербургских знакомых. После обеда собралось довольно много гостей. Я почти никого не знал, скучал, стеснялся, молчал. Хозяин дома, Георгий Павлович, зная о моем интересе к литературе, участливо наклонился ко мне:

— Видите, там сидит и дремлет старушка в седых букольниках. Она когда-то танцевала с Пушкиным. Поговорите с ней, она будет рада.

Упустить такой случай нельзя было. Я расхрабрился, подошел, поклонился, назвал имя Пушкина. Старуха вздрогнула, очнулась.

— Что, Пушкин?... — совсем, как Ларина, мать Татьяны, в Москве: «Как, Грандисон?... а Грандисон».

— Ах, да, Пушкин! Большой, большой был надсмешник!

И сказав это, она хихикнула. Кроме этого «надсмешника», почему-то с «д» в середине слова, я ничего не добился. Но тогда же подумал, что, вероятно, Пушкин, если он действительно танцевал с ней, сказал хорошенькой девочке на ухо что-нибудь двусмысленное, и это ей запомнилось. Однако, еще раз: об этом мимоходом, только потому, что было в ее старческом хихикании что-то общее с улыбкой Маргариты Францевны, вспомнившей о Подснежнике. Кто он был, этот Подснежник? Не знаю. Моряк? Офицер?).

Я едва не вскочил, хотел уйти. Больше ничего мне не было нужно, ключ был у меня в руках: сказать, что я от Подснежника. Но Маргарита Францевна держала меня за руку. «Простите, я не собираюсь посвящать вас в свои сердечные тайны... да ведь и столько лет прошло! Бедный, бедный Подснежник. Мне

передавали, что в Севастополе, перед расстрелом, он громко и твердо сказал: «да будет воля Твоя».

Голос ее дрожал, в глазах стояли слезы. Что было потом? Едва ли стоит рассказывать. Было в сущности только одно: нетерпеливое ожидание, что вот-вот я опять окажусь в Петербурге, боязнь, что этого не будет, именно теперь не будет, когда дело как будто налаживается. Временами были приступы отчаяния. А вдруг в загадочной, непонятной мне машине какое-нибудь колесико даст перебой и перенесусь я не туда, где мне надо побывать. Нет, в другой век, в другую страну. Но я сам себя убеждал, что не случайно же я переносусь в Петербург, а не в Китай или в Египет при Рамзесе Втором. Есть в этом смысл, не может быть, чтобы смысла не было. Из дому я почти не выходил, сидел, смотрел в одну точку, смутно надеясь, что это способствует тому, чему я не находил названия, — переброскам, переносам? — хотя должен был по опыту знать, что ничто их не облегчает, ничто им не препятствует. В Париже еще осень, сыро, дождь льет с утра до вечера. Надо бы вскипятить воды, выпить чаю. Я встал...

Матвея на подъезде не было, мне представилось, что это хороший знак. Отворила дверь горничная. не та, которая была в первый раз, а другая, постарше, не такая вертлявая. С подчеркнутой деловитостью, будто чем-то озабоченный, я сказал: «Передайте барыне, что я от Подснежника». Она как-то общипнически улыбнулась, быстро, на ходу указала мне дверь направо, в гостиную, и скрылась. Наверху, за маленькой полувинтовой лестницей, усталой голубой бархатной дорожкой, послышался возбужденный голос. Маргарита Францевна сбегала в легком халатике, в туфлях на босу ногу, худенькая, стройная: никогда бы я ее не узнал, если бы не помнил по давним портретам. Она схватила меня за обе руки:

— Где он? Почему он не пишет?

Я сел, она продолжала стоять. У меня стоять не было сил.

— Где он? Чтонибудь случилось?

Я молчал.

— Ради Бога, скажите же чтонибудь... только ничего не скрывайте, ничего! Где он? Она опять с ним? Опять?

Наконец я совладал с собой.

— Маргарита Францевна, садьте, мне нужно с вами поговорить. Это очень важно. Я не знаю Подснежника, я никогда не видел его...

— Как, даже никогда не видели? Значит, это вранье? Как вы смеете...

И убежав в переднюю, она принялась бранить горничную. «Да ведь они сказали, что они от Подснежника», — оправдывалась та. «Вранье, вранье, тысячу раз я говорила всем вам, никого с улицы не принимать. Где Матвей?»

Вернувшись в гостиную она резко остановилась на первой ступеньке лестницы и с негодованием взглянула на меня. «Как, вы еще здесь?» Я близко подошел к ней и тихо, отчеканивая каждое слово, проговорил: «Да, я еще здесь. Я пришел сказать вам, что Подснежник будет расстрелян. В Севастополе». Она побледнела, взялась дрожащей рукой за перила. Я продолжал: «Да, он будет расстрелян в Севастополе, а вы будете жить очень долго, умрете в Париже, и умрете в бедности, все потеряв, все».

На пороге показался Матвей с каким-то человеком в зеленом фартуке. Она молча, кивком головы велела им уйти и уже иначе, спокойнее, как будто даже задумчиво, сказала: «Странно, Чинский предсказал мне то же самое. Что я умру в Париже, в глубокой старости, без копейки денег. Вы знаете Чинского? Необыкновенный человек. Он даже улицу мне назвал, не помню какую». — «Рю Буало?» — «Да, да, кажется, Буало. Откуда вы знаете? Да, Буало. У меня есть план Парижа. Где эта улица?»

Мне хотелось ответить, что я у нее на улице Буало довольно часто бываю, что ей теперь девяносто лет, или даже больше, что все близкое ей, все окружающее ее исчезло, погибло... но я почувствовал, что надо поступить иначе. Она ничего не поняла бы, не могла бы понять и, вероятно, приняла бы меня за сумасшедшего, несмотря на совпадение с предсказанием Чинского, полу-визионера, полу-выдумщика, в те времена в Петербурге очень популярного. Она сказала бы мне то же самое, что я сам себе говорил, до сих пор иногда говорю: если

это, — т. е. то, что я знаю, видел, пережил, — если это уже было, как же сделать, чтобы этого не было? Или как построить рядом с одним будущим и другое? Она бы меня не поняла, разговор оказался бы бесцельным. Надо было, значит, притвориться провидцем, чувствующим опасность, но допускающим возможность ее предотвращения. Что было для меня важно? Что? Только то, чтобы меня приняли «там», на верхах, где я изложу все ужасы, всю правду. Не может быть, чтобы «там» мне не поверили, не поняли, не сделали всего, что нужно, не может быть, чтобы продолжала царить та же слепота и впереди была та же пропасть. Я никогда не подозревал в себе актерского дарования, но повидимому, меня осенило вдохновение, думаю, посланное свыше. Я говорил Маргарите Францевне о Подснежнике, признался еще раз, что никогда имени его не слышал, но что будто бы здесь, в этом доме, уловил то, что ему угрожает. Говорил о России, не помню еще о чем, с лихорадочной настойчивостью прося устроить нужное мне свидание, убеждая ее, что ей, при ее связях известных всей стране, это ничего не стоит. Каждую минуту, с каждым словом я боялся проговориться, испортить дело, сказать, что все это уже произошло. Она слушала внимательно, в ее умных, блестящих черных глазах было любопытство, был и страх. Повидимому, она мне перила, как вообще верила колдовству и предсказаниям. Это я знал по парижским с ней разговорам. Когда наконец я в изнеможении умолк, она сказала: «Хорошо, я постараюсь устроить то, что вам нужно. Это не так легко, как вы думаете, но я попробую. Только будьте там тверды, будьте настойчивы. А то он вас выслушает, поблагодарит и ничего не сделает. Вот ведь в чем беда! Дайте мне ваш адрес или номер телефона».

Адрес, номер телефона... От неожиданности я растерялся. Она смотрела на меня с удивлением и внезапно возвратившимся к ней недоверием. Я пробормотал: «Знаете, сегодня мне надо уехать... в Москву... нет, может быть, в Киев. Если разрешите, я зайду к вам позже». Недоверие в ее глазах усилилось. «Как хотите», холодно, слегка пожав плечами, сказала она, но руку на прощание все-таки мне подала. Я и тому был рад, хотя вышел смущенный и подавленный: а вдруг она раздумает, вдруг

реши́т, что не стои́т придава́ть значе́ние болтовне ка́кого-то прохо́димца? Я то отл́ично отдава́л себе́ о́тчет в смы́сле это́го моего́ «позже́», — как же мне, в са́мом деле, зна́ть, ко́гда я о́пять попа́ду в Пе́тербург? — но ей оно́ должно́ было́ показаться́ подо́зрительным: спе́шил, умоля́л, а те́перь, ви́дите ли, «позже́»! Как вну́шить ей, что де́ло мое́ бесконе́чно ва́жнее всех е́е несча́стных Подсне́жников, ва́жнее все́го на све́те? Верну́ться, объ́яснить при́чину моего́ замеша́тельства? Зна́чит, сказа́ть всю́ правду? Я в расте́рянности сто́ял на ули́це и чу́ть было́ не дотро́нулся до звонка́ в бронзо́вой о́праве, изобража́вшей расќрытую льви́ную па́сть. Те́перь то, го́д или два спу́стя, я зна́ю, что де́ло мое́ сорва́лось из-за ми́молетной ут́раты волево́го на́пряжения, из-за исче́зновения сосре́доточенности на́ одной́ мы́сли, на о́дном же́лании. Сорва́лось «та́м». Ту же опло́шность допу́стил я и в до́ме Марга́риты Франце́вны. Мо́жет быть, это́ было́ предо́стережением, уро́ком. Особня́к улету́чился, низкого́ неба́ с клочья́ми бу́дто впе́регонки лете́вших о́блаков не́ было. Я си́дел за сво́им сто́лом в Па́риже, перели́стывая сло́варь Уша́кова.

Сло́варь я с раздра́жением отбро́сил. Тя́желый то́м распла́стался на по́лу. Я ле́г и ста́л дума́ть: что де́лать? Не́ знаю, не́ могу́ вспо́мнить, ско́лько ча́сов я та́к ле́жал, но ма́ло-по-ма́лу волево́е на́пряжение о́пять овладе́ло мно́ю, хо́тя я и гово́рил себе́, что те́перь оно́ бесце́льно. Бесце́льно? Мо́жет быть не́ совсем, как вы́яснилось́ пото́м. О́пять, на ка́кую-то де́сятую́ или со́тую до́лю се́кунды́ я оказыва́лся в ма́ленькой на́рядной го́стиной с го́лубым ко́вром, те́мные, блестя́щие гла́за о́пять вгля́дывались́ в ме́ня с пы́тливym стра́хом. Но то́лько на со́тую до́лю се́кунды́, и е́два я вста́вал, как снова́ полу́разодо́ранный то́м Уша́кова бу́л передо́ мно́й на по́лу. Не́ позвони́ть ли Марга́рите Франце́вне, здеш́ней, де́вяностолетне́й, па́рижской? Но за́чем? Что́ я ей ска́жу? Ста́ло уже́ светать, а я все́ ле́жал и ду́мал, и не́ в си́лах бу́л ниче́го при́думать. Бу́ло, одна́ко, у ме́ня чу́вство, что при́думывать́ и не́ к че́му и что это́й но́чью я на́верста́л упущенное́, мо́жет быть не́ все, но ка́кую-то его́ ча́стицу, наве́рно. Пере́дача мы́слей? Из на́стоящего в про́шлое? Не́ знаю, не́ знаю, я с ума́ схо́жу, ко́гда пыта́юсь что-нибу́дь

понять в этой неразберихе, и вероятно, даже на том свете, когда умру, не пойму и не узнаю ничего. Однако, на четвертый или пятый день моих сомнений, ожиданий, упреков, надежд, лишений, раздался телефонный звонок. Маргарита Францевна. Она уже давно перестала мне звонить, звонил всегда я ей, да и то редко, к праздникам, ко дню ее рождения. Знакомый дребезжащий голос, который я узнал бы из тысячи. «Скажите, я что-то... обещала вам? Что-то я должна сделать? Не могу никак вспомнить, но это меня мучит... я всю ночь не спала». От изумления я ответил не сразу. «Нет, нет, ничего. Спасибо. Нет, и ни о чем вас не просил», и справившись о ее здоровье, повесил трубку. Значит, что-то дошло. Не туда, куда надо, но дошло. А может быть и туда. Не напрасно я чувствовал прилив бодрости и даже уверенности, что цели достигну. Но когда достигну? Прошла неделя, прошла другая. Еще несколько дней, и я, пожалуй, заболел бы от тоски и недоумения.

Прием состоялся. Обманут я самим собой не был. Да в сущности и сомневался я лишь в том, удастся ли Маргарите Францевне помочь мне, проявит ли она достаточно настойчивости. Я вспоминал ее слова: «Это не так легко, как вы думаете», — и боялся, что утруждать себя она не сатнет. Но нет, прием наконец состоялся. Все произошло гораздо проще, чем я предполагал, без всяких предварительных процедур, переговоров, проверок. А я считал, что без них обойтись не может. Где я был? В Царском Селе? Вероятно. Впрочем, что мог я знать? Было еще довольно светло, но горела небольшая люстра, какого-то кабинетного, скромно-добротного английского типа: такую я видел где-то в Лондоне. Он принял меня стоя, подал руку и отойдя за свой письменный стол, молча указал на кресло напротив. Почему-то я ждал, что он улыбнется. Но нет, была привычная безразличная приветливость, улыбки не было. Отложив какие-то бумаги и на секунду-другую задержавшись на одной из них, он откинулся, пристально взглянул на меня и сказал:

— Я вас слушаю.

В голосе чувствовалось привычное ожидание доклада. Невольно я подчинился этой его манере держаться, хотя в

прежних своих раздумиях готовился ко всему, что угодно, кроме делового, спокойного тона, который здесь был, повидимому, единственно-уместен. Превозмогая себя, я начал говорить именно так, как он мне безотчетно внушил: я именно «докладывал», как по заранее составленному тексту, старательно округляя придаточные предложения, только изредко сбиваясь и путаясь. Начал с того, что здесь, у него, сейчас 1913 год, но в действительности сейчас 196... год. На лице его не отразилось ни малейшего удивления. Он продолжал внимательно смотреть на меня, однако, не прямо в глаза, а как-то мимо, будто одновременно и на меня, и в какую-то пустоту за мной. Да, теперь 196... год, — повторил я, — и пришел я к нему из будущего, пришел сказать, что в ближайшее время предстоят грозные, гибельные события. Надо принять меры, чтобы предотвратить их. Сейчас, вспоминая, я лишь вкратце передаю то, что говорил, но изложение мое было обстоятельно и по моему даже довольно красноречиво, как мог бы докладывать почтительный, полный достоинства, знающий в своем деле толк министр. Он оставался невозмутим, и только один раз перебил меня, спросив, о каких же мерах может идти речь, если все то, о чем я рассказываю, уже произошло.

— По радиусам, — отвечал я, краснея, чувствуя, что говорю не то, что надо, что сбиваюсь с роли министра. — От одного центра расходится бесчисленное количество линий. Так и во времени. Есть одно будущее. Может возникнуть и другое. По другому радиусу.

— Да, если по другому радиусу, — невозмутимо повторил он, будто поняв и соглашаясь. И оглянулся.

В глубине комнаты шелохнулась портьера и вошла она, царица, с какой-то работой в руках. Он весь посветлел и улыбнулся, в первый и единственный раз. Я встал. Но она еще на ходу сделала мне торопливый знак рукой, означавший «продолжайте, не обращайтесь на меня внимания», и сев в кресло, опустила голову и склонилась над своим вышиванием, как показалось мне для того, чтобы присутствием своим меня не стеснять. Он сказал несколько слов по-английски. Она ответила так же коротко, вполголоса. Я плохо знаю английский язык, да

и говорили они еле слышно, невнятно, как говорят давно и близко сжившиеся люди, понимающие друг друга еще до того, как смысл сказанного становится вполне ясен посторонним. Но слово «сгазу» я уловил. Значит, опять то же самое, то, чего я больше всего опасался: он считает меня сумасшедшим.

— Нет, я в своем уме... я не болен... я не сумасшедший, — тихо, прерывисто, уже не в состоянии сдерживать волнения, сказал я. Министерская роль была мне больше не под силу. Я нервничал, да и сознавал, что лучше оставить деловой тон, что не стоило и добиваться приема, если так, до конца, с тем же вежливым равнодушием он и будет слушать меня, как слушает, вероятно, сообщение о желательности какой-нибудь мелкой реформы. Помню, я вдруг вскочил и чуть не взял его за руку. Руку он отвел. Я говорил:

— Надо, надо что-то сделать. Поезжайте к Вильгельму, предупредите и его...

Он нахмурился и довольно резко перебил меня:

— При чем тут император Вильгельм?

Я почувствовал, что недовольство его вызвано преимущественно тем, что сказал я просто «Вильгельм», без «императора». Надо было соблюдать установленные формы, не стоило из-за пустяков раздражать его. Но что — пустяки, а что — не пустяки? В предвидении всего, о чем я пришел известить его? В сравнении с тем, что впереди? Не все ли равно, пусть я говорю не так, как положено, не все ли равно, что он удивится, рассердится, опять перебьет меня, только бы выслушал, понял, что я говорю правду, что я не болен, что надо, надо что-то сделать, предупредить, остановить, спасти.

— При чем тут Вильгельм? — переспросил я, опять, но даю слово, без всякого умысла, исключительно от волнения, от рассеянности, опять пропустив «императора», — при чем тут Вильгельм? При многом, очень многом, как же вы не понимаете? Будет война с Германией, нельзя допустить войны, сговоритесь, уступите, согласитесь на какие-угодно условия, это не имеет значения, да и не будет условий, вы плохо окружены, вас обманут, заставят, Россия не выдержит войны, последствия будут ужасны, вы не знаете, что будет потом, нельзя допустить

войны, это безумие, самоубийство, все погибнет, все, государь, сделайте что-нибудь, вы не знаете, до чего это важно, для вас самого, для всех, умоляю вас, я готов на колени стать, сделайте что-нибудь, кровь, кровь зальет Россию, море крови, океан крови, сколько жертв, сколько благородной, чистой, самоотверженной молодежи, не только во время войны, а и после, после, ваше величество, после будет еще хуже, тюрьмы, лагеря, казни, слезы, муки, поезжайте к нему, сговоритесь, сделайте что-нибудь, назначьте диктатуру, отрекитесь от престола, позовите Витте, позовите Милюкова, позовите какого-нибудь умного генерала, устройте совещание мудрейших русских людей, всех профессий, всех взглядов, всех толков, объясните им, предупредите, сделайте что-нибудь, не теряйте времени, не играйте с огнем, вы мне не верите, но я говорю о том, что видел, пережил, государь, верьте мне, я знаю, что ждет Россию, я один говорю вам правду, я ночами не сплю, я должен, должен был придти к вам, решитесь, найдите в себе силы, на вас ответственность, вы можете...

Существует ли на свете дьявол? Прежде я, как водится, сомневался и только за рулеткой или за покером смутно чувствовал присутствие каких-то подвластных ему бесенят. Но пусть теперь не говорят мне, что дьявола на свете нет. Дьявол есть, и это он следил, наблюдал, в нужный момент вмешался и с чисто дьявольской вкрадчивой виртуозностью сорвал мое дело.

Все, казалось, шло как следует. Я сбивался, волновался, но видел, что внезапный переход от доклада к мольбе некоторое впечатление производит. Даже то, что я вторично пренебрег императорским титулом произвело впечатление, и скорей в мою пользу. Он сидел бледный, с каким-то беспомощно-горестным выражением в глазах. Я колебался, сказать ли то, что приберегал к концу: о Екатеринбурге, о подвале ипатьевского дома. Что-то удерживало меня, вероятно, жалость. Но обойтись без этого довода было невозможно, в нем была главная сила, и я решил обратиться к ней, или к нему и к ней вместе, но именно ей, женщине, сказать о судьбе сына, мужа, дочерей, ее самой. Мне представлялось, что с ее стороны отклик

будет глубже, решительнее, длительнее, да ведь и настроена она была так, что путаница с годами и эпохами озадачить ее нисколько не могла. Для нее все невероятное было вероятным, и наоборот. «Делай то, что нужно, возьми себя в руки, скажи все, со всеми ужасными подробностями, делай то, для чего ты здесь оказался, иначе не стоило ничего и затевать», внушал я себе. Помолчав и не без труда, переведя дыхание, я обернулся к ней.

Она стояла, насколько помню, с лорнетом в руках и наклонившись, оглядывала сидение кресла. Повидимому, она не очень внимательно слушала то, что я говорил. Может быть ей, иностранке, и трудно было следить за моей торопливой, бессвязной русской речью. Поводив рукой по креслу, приподняв и опять прислонив к спинке большую бархатную подушку, она нагнулась ниже и стала осторожно шарить рукой по ковру, все с тем же приставленным к глазам лорнетом. Я молча смотрел на нее. Будет война, будет революция, будут неслыханные бедствия, а она ищет выскользнувшую из рук иголку. Зачем ей иголка? С величайшей услужливостью, с раболепием ей принесли бы миллионы иголок, нашли бы ту, которая упала: нет, она встала, нагнулась и с тяжелым усилием ищет сама. Извечный, вековечный женский жест, из поколения в поколение. Будут новые войны, землетрясения, пожары, восстания, казни, а где-нибудь, после того, как все мы исчезнем, всех нас забудут, опять встанет женщина и примется искать на полу иголку. Она стоит над пропастью: ищет иголку. Смерть смотрит ей в глаза: она ищет иголку. «Поверят ли мне?», — спросил я, кажется, в начале этих своих записок. — «Поймут ли меня?», — хочется спросить мне сейчас. Я смотрел на нее, как зачарованный, онемев, обессилев от заполнившего меня сознания, что была жизнь и всегда будет жизнь. Единая, загадочная жизнь. Да, это подстроил дьявол, сомнения у меня нет. Он выдернул из ее рук иголку, он побудил меня именно в нужный момент оглянуться, он исподтишка загипнотизировал меня неожиданно нахлынувшими, впервые испытанными чувствами, он заставил меня молчать и смотреть, оборвав на полуслове речь. А главное, он не дал, он не позволил мне сказать то, что должно было

потрясти ее и может быть привело бы к долгожданной, желанной цели: предупредить, образумить, ужаснуть, остановить, спасти. Я продолжал молчать.

И, вероятно, оттого, что я продолжал молчать, все вокруг меня начало тускнеть и бледнеть. Это я заметил не сразу, а заметив, вздрогнул, понял, что по своей же вине выпускаю дело из рук, что нельзя терять и секунды. Но было уже поздно. Срок был упущен. Я хотел схватиться рукой за край стола, рука не слушалась. Хотел вскрикнуть, не мог. Была тишина, туман, пустота, как всегда в таких случаях. А потом был Париж, знакомые трубы и крыши за моим окном. Точка: больше в сущности не было ничего. Разве только мой стыд, да еще горечь от уверенности, что дело проиграно начисто, что исправить ничего нельзя.

Да, я чувствовал безошибочно, что больше в Петербург не вернусь. Прошло с тех пор почти два года: возвращения не было. Наоборот, передо мной была стена. Даже ожидания мои прекратились, настолько ясно было, что они никчемны. Очевидно, «кто-то знающий», как сказал бы Леонид Андреев, понял, что со мной дела иметь не стоит, может быть подыскал себе другого, более подходящего. Но меня долго мучил вопрос: что же произошло там, когда я внезапно и бесследно исчез? Еще раз скажу, сто раз повторю то, что уже говорил: я был там, был. Не было ни забытия, ни сна. Но может быть все это представилось сном там, для него? Или все-таки то, что успел я сказать, какие-то последствия имело? Брешь была пробита? Не брешь, так какая-нибудь трещинка? И другое будущее возникло? «По другому радиусу», как тогда повторил он за мной со своей неподражаемой, устало-безразличной, безучастно-вежливой интонацией, которая до сих пор звенит у меня в ушах? Не знаю, ничего не знаю, никогда не узнаю. И никогда оплошности своей не прошу себе.

Есть еще факт, о котором мне хочется упомянуть. Сначала я был даже взволнован, но потом решил, что придавать значение случайным мелочам не стоит. Совпадение, только и всего. Если бы я сочинял рассказ, то пожалуй, использовал бы эту мелочь для вящего, пусть и грубоватого эффекта. Но и

рассказ это испортило бы, рассказ уподобился бы чему-то вроде балетного либретто, только с пожилой краснощекой француженкой, кассиршей соседней красильни, вместо полувоздушной нимфы. Да я ведь и не пишу рассказа.

Нет, конечно, совпадение. Этой весной, собираясь на каникулы и перебирая вещи, я отнес старый, залежавшийся пиджак в чистку. Неделью спустя пришел взять его. На стойке, за которой кассирша что-то подсчитывала, лежала зеленая трехрублевая бумажка с двуглавым орлом. Кассирша заметила, что я не отрываясь смотрю на нее.

— Это иностранный кредитный билет. Кто-то из клиентов забыл в кармане. Может быть, вы? Но, говорят, никакой ценности он не имеет.

Я надел очки. «Три рубля. Государственный банк разменивает без ограничения на золотую монету... Управляющий А. Коншин. Кассир Наумов. 1905».

— Это русские царские деньги. Нет, не мои.

— Да, русские, мне так и сказали. Не удивляюсь, все русские такие рассеянные. Вечно что-нибудь теряют или забывают.

Нет, это была не моя трехрублевка. Я теперь все допускаю, решительно все, но нет, это было бы слишком неправдоподобно. Виленский, 4. «Простите, вот, чем могу...» Нет я не в силах верить. Но жаль все-таки, что я отказался взять никому ненужный билет: надо было бы спрятать его, сохранить. Одна стомиллиардная, одна квадриллионная вероятия... все-таки надо было бы сохранить его. Не как вещественное доказательство, а на вечную память: о том, что бывает, о том, что не сбылось.

Георгий Адамович



Подмосковные вечера!
Их давно бы забыть пора!
Но лишь только о них поют —
Предо мною они встают!
Снова кра́дется их луна,
Снова даль за рекой мутна,
Словно тот же гитарный плач
Долетает с окрестных дач,
Словно те же звучат слова,
Словно девушка та жива...

Полстолетия я не был там,
Не бродил по грибным местам,
Не спешил под защиту рощ
Переждать набежавший дождь,
Не глядел на речную гладь,
На волос золотую прядь...

Там, конечно, сейчас у всех
Много тех же земных утех,
Там целуются и поют
И живую подругу ждут.
Только знаю — и навсегда! —
Там не так, как в мои года,
Потому что ее там нет,
Что прижалась ко мне в ответ,
Что прильнула горячим ртом
И все лето для нас потом
Были долгими, до утра
Подмосковные вечера!



Мы сумерничать разучились. Мы
Мгновений милых более не знаем
На грани полусвета, полутьмы,
Когда мы, ламп еще не зажигая,
Молчали иль обменивались лишь
Неторопливым и хорошим словом.
Теперь не то, теперь включить спешишь
Свет электрический, всегда готовый.
Выхватывая изо всех углов
Подробности земного прозябанья,
Он груб и зол — с ним не до тихих слов,
Не до простого, легкого молчанья.
И надо не сидеть уже, а встать,
Согнав отраду подступившей лени...
Так обокрали мы себя опять
На несколько прекраснейших мгновений!

Дм. Кленовский

НАДГРОБНОЕ СЛОВО

Все умерли...

Николай Казимирович Барбэ, товарищ, помогавший мне вытащить большой камень из узкого шурфа, бригадир, расстрелян за невыполнение плана участком, на котором работала его бригада, расстрелян по рапорту молодого начальника участка, молодого коммуниста Арма — он получил орден за 1938 год и позже был начальником прииска, начальником управления — большую карьеру сделал Арм. У Николая Казимировича Барбэ была бережнохраняемая вещь — верблюжий шарф, голубой, длинный теплый шарф, настоящий шерстяной. Его украли в бане воры — просто взяли да и все, когда Барбэ отвернулся. И на следующий день Барбэ поморозил щеки — сильно поморозил — язвы так и не успели зажить до его смерти...

Умер Иоська Рютин. Он работал в паре со мной, а со мной «работяги» не хотели работать. А Иоська работал. Он был гораздо сильнее, ловчее меня. Но он понимал хорошо, зачем нас сюда привезли. И не обижался на меня, работавшего плохо. В конце концов старший смотритель (так и назывались горные чины в 1937 году — как в царское время) велел дать мне «одиночный замер». А Иоська работал в паре с кем-то другим. Но места наши в бараке были рядом и я сразу проснулся от неловкого движения кого-то кожаного, пахнущего бараном; этот кто-то, повернувшись ко мне спиной в узком проходе между нар, будил моего соседа.

— Рютин! Одевайся.

И Иоська стал торопливо одеваться, а пахнущий бараном

Рукопись этого рассказа В. Т. Шаламова мы получили с оказией из Сов. Союза и печатаем его без ведома и согласия автора, в чем приносим ему извинения. РЕД.

человек стал обыскивать его немногие вещи. Среди немногого нашлись шахматы и кожаный человек отложил их в сторону.

— Это мои, — сказал торопливо Рютин. — Моя собственность. Я платил деньги.

— Ну и что ж? — сказала овчина.

— Оставьте их.

Овчина захохотала. И когда устала от хохота и утерла кожаным рукавом лицо, выговорила:

— Тебе они больше не понадобятся...

Умер Дмитрий Николаевич Орлов, бывший референт Кирова. С ним мы пилили дрова в ночной смене, на прииске, и, обладатели пилы, работали днем на пекарне. Я хорошо помню, сколь критическим взглядом обвел нас инструментальщик-кладовщик, выдавая пилу, обыкновенную поперечную пилу.

— Вот что, старик, — сказал инструментальщик. Нас всех в это время звали стариками — не то, что двадцать лет спустя. — Можешь наточить пилу?

— Конечно, — сказал Орлов поспешно.

— А разводка есть?

— Топором разведешь, — сказал кладовщик, уразумевший уже в нас людей знающих, не то, что эти интеллигенты.

Орлов шел по тропке, согнувшись, засунув руки в рукава. Пилу он держал подмышкой.

— Послушайте, Дмитрий Николаевич, — сказал я, догоняя Орлова вприпрыжку. — Я ведь не умею. Никогда пилы не точил.

Орлов повернулся ко мне, воткнул пилу в снег и надел рукавицы.

— Я думаю, — сказал он назидательным тоном, — что всякий человек с высшим образованием обязан уметь точить и разводить пилу.

Я согласился с ним.

Умер экономист, Семен Алексеевич Шейнин, напарник мой, добрый человек. Он долго не понимал, что делают с нами, но в конце концов понял и стал спокойно ждать смерти. Мужества у него хватало. Как то я получил посылку — то, что посылка дошла — было великой редкостью, и в ней были авиа-

ционные фетровые бурки и больше ничего. Как плохо знали наши родные условия, в которых мы жили. Я понимал отлично, что бурки украдут, отнимут у меня в первую же ночь. И я их продал, не выходя из комендатуры, за сто рублей десятнику Андрею Бойко. Бурки стоили семьсот, но это была выгодная продажа. Ведь я мог купить сто килограммов хлеба, а если не сто, то купить масла, сахару. Масло и сахар последний раз я ел в тюрьме. И я купил в магазине целый килограмм масла. Я помнил о его полезности. Сорок один рубль стоило это масло. Я купил днем (работали ночью) и побежал к Шейнину — мы жили в разных бараках, — отпраздновать посылку. Купил я и хлеба...

Семен Алексеевич взволновался и обрадовался.

— Ну, как же я? Какое я имею право? — бормотал он, взволнованный чрезвычайно. — Нет, нет, я не могу... — Но я уговорил его, и радостный, он побежал за кипятком.

И тотчас я упал на землю от страшного удара по голове.

Когда я вскочил, сумки с маслом и хлебом не было. Метровое листовое полено, которым меня били, валялось около койки и все кругом смеялись. Прибежал Шейнин с кипятком. Много лет потом я не мог вспомнить об этой краже без страшного волнения. А Семен Алексеевич — умер.

Умер Иван Яковлевич Федяхин. Мы с ним ехали одним поездом, одним пароходом. Попали на один прииск, в одну бригаду. Он был философ, волоколамский крестьянин, организатор первого в России колхоза. Колхозы, как известно, первые организовывались эсерами в двадцатых годах, а группа Чайнова-Кондратьева представляла их интересы «наверху». Иван Яковлевич и был деревенским эсером, — в числе того миллиона, который голосовал за эту партию в 1917 году. За организацию первого колхоза он и получил срок — пятилетний срок заключения.

Как-то в самом начале, первой колымской осенью 1937 года мы работали с ним у грабарки — стояли на знаменитом приисковом конвейере. Тележок-грабарок было две, отцепных, пока коногон вез одну на промывочный прибор, двое рабочих едва успевали насыпать другую. Курить не успевали, да и не

разрешалось это зрителями. Наш коногон зато курил — огромную сигарку, свернутую чуть не из полпачки махорки (махорка еще тогда была) и оставлял на борту забоя нам затынаться.

Коногоном был Мишка Вавилов, бывший заместитель председателя треста «Промимпорт», а забойщиками Федяхин и я.

Не спеша, подбрасывая грунт в грабарку, мы говорили друг с другом. Я рассказал Федяхину об уроке, который давался декабристам в Нерчинске, по «Запискам Марии Волконской» — три пуда руды на человека. — А сколько, Василий Петрович, весит наша норма? — спросил Федяхин.

Я подсчитал — 800 пудов примерно.

— Вот, Василий Петрович, как нормы-то выросли...

Позднее, во время голода зимой я доставал табак — запрашивал, копил, покупал — и менял его на хлеб. Федяхин не одобрял моей «коммерции».

Не идет это вам, Василий Петрович, не надо вам это делать.

Последний раз я его видел зимой у столовой. Я дал ему шесть обеденных талонов, полученных мной в этот день за ночную переписку в конторе. Хороший почерк мне иногда помогал. Талоны пропадали — на них были штампы чисел. Федяхин получил обеды. Он сидел за столом и переливал из миски в миску «юшку» — суп был предельно жидким и ни одной жиринки в нем не плавало... Каша — шрапнель со всех шести талонов не наполнила одной миски. Ложки у Федяхина не было и он слизывал кашу языком. И плакал.

Умер Дерфель. Это был французский коммунист, бывавший и в каменоломнях Кайенны. Кроме голода и холода, он был измучен нравственно — он не хотел верить, как может он, член Коминтерна, попасть сюда, на советскую каторгу. Его ужас был бы меньше, если бы он видел, что он один такой. Такими были все, с кем он приехал, с кем он жил, с кем он умирал. Это был маленький, слабый человек, побои входили уже в моду... Однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком, для порядка, так сказать, но Дерфель упал и не поднялся. Он умер один из первых, из самых счастливых. В Москве

он работал в ТАСС'е одним из редакторов. Русским языком владел хорошо.

— В Кайенне было тоже плохо, — сказал он мне как-то. — Но здесь — очень плохо.

Умер Фриц Давид. Это был голландский коммунист, работник Коминтерна, обвинявшийся в шпионаже. У него были прекрасные вьющиеся волосы, синие глубокие глаза, ребяческий вырез губ. Русского языка он почти не знал. Я встретился с ним в бараке, набитом людьми так тесно, что можно было спать стоя. Мы стояли рядом, Фриц улыбнулся мне и закрыл глаза.

Пространство под нарами было набито людьми до отказа, надо было ждать, чтоб присесть, опуститься на корточки, потом привалиться куда-нибудь к нарам, к столбу, к чужому телу — и заснуть. Я ждал, закрыв глаза. Вдруг рядом со мной что-то рухнуло. Мой сосед Фриц Давид упал. Он поднялся в смущении.

— Я заснул, — сказал он испуганно.

Этот Фриц Давид был первым человеком из нашего этапа, получившим посылку. Посылку ему послала его жена из Москвы. В посылке был бархатный костюм, ночная рубашка и большая фотография красивой женщины. В этом бархатном костюме он и сидел на корточках рядом со мной.

— Я хочу есть, — сказал он, улыбаясь, краснея. — Я очень хочу есть. Принесите мне что-нибудь поесть.

Фриц Давид сошел с ума и его куда-то увели.

Ночную рубашку и фотографию у него украли в первую же ночь. Когда я рассказывал о нем позднее, я всегда недоумевал и возмущался. Зачем, кому нужна была чужая фотография?

— Всего и вы не знаете, — однажды сказал некий хитрый собеседник мой. — Догадаться не трудно. Эта фотография украдена блатными и, как говорят блатные, «для сеанса». Для онанизма, наивный друг мой...

Умер Сережа Кливанский, товарищ мой по первому курсу университета, с которым мы встретились через 20 лет в этапной камере Бутырской тюрьмы. Он был исключен из комсо-

мола в 1927 году за доклад о китайской революции в кружке текущей политики. Университет ему удалось кончить и он работал экономистом в Госплане, пока там не изменилась обстановка и Сереже пришлось оттуда уйти. Он поступил по конкурсу в оркестр театра имени Станиславского, и был второй скрипкой — до ареста в 1937 году. Он был сангвиник, остряк, ирония его не покидала. Интерес к жизни, к событиям ее — тоже.

В этапной камере все ходили почти голыми, поливались водой, спали на полу. Только герои выдерживали сон на нарах. И Кливанский острил:

— Это пытка выпариванием. После нее нас подвергнут пытке вымораживанием на севере. — Это было точное предсказание, но это не было нытьем труса. На прииске Сережа был весел, общителен. С энтузиазмом стремился овладеть блатным словарем и радовался, как ребенок, выговаривая в надлежащей интонации блатные выражения.

— Вот сейчас я, кажется, «припухну», — говорил Сережа, заползая на верхние нары.

Он любил стихи, в тюрьме читал их часто на память. В лагере он не читал стихов.

Он делился последним куском, вернее, еще делился... Это значит, что он так и не успел дожить до времени, когда ни у кого не было последнего куска, когда никто ничем ни с кем не делился.

Умер бригадир Дюков. Я не знаю и не знал его имени. Он был из «бытовиков», к пятьдесят восьмой статье не имел никакого отношения. В лагерях на «материке» он был так называемым «председателем коллектива», настроен был не то что романтически, но собирался «играть роль». Он приехал зимой и выступил с удивительной речью на первом же собрании. — У «бытовиков» бывали собрания — ведь и совершившие бытовые и служебные преступления, а равно и рецидивисты-воры считались «друзьями народа», подлежащими исправлению, а не карательному воздействию. В отличие от «врагов народа» — осужденных по 58-ой статье. Позднее, когда рецидивистам стали давать четырнадцатый пункт 58-ой статьи — «саботаж»

(за отказы от работы) весь параграф четырнадцатый был изъят из пятьдесят восьмой статьи и избавлен от многолетних и многообразных карательных мер. Рецидивисты считались «друзьями народа» всегда — до знаменитой Бериевской амнистии 1953 года включительно. В жертву теории и Крыленковской «резинки» и пресловутой «перековки» были принесены многие сотни тысяч несчастных людей.

На том, первом собрании Дюков предложил взять под свое руководство бригаду «пятьдесят восьмой статьи» — обычно бригадир «политических» был из их же среды. Дюков был неплохой парень. Знал, что крестьяне работают в лагерях отлично, лучше всех, помня, что пятьдесят восьмой статьи среди крестьян было очень много. В этом следует видеть особую мудрость Ежова и Берия, понимавших, что трудовая ценность интеллигенции весьма невысока, а, стало быть, производственную задачу лагеря могут не выполнить, в отличие от политической задачи. Но Дюков в такие высокие соображения не вдавался, вряд ли ему приходило в голову что-либо, кроме рабочих качеств людей. Он отобрал себе бригаду — исключительно из крестьян, и приступил к работе. Это было весной 1938 года. Дюковские крестьяне пробыли всю голодную зиму 37-38 года. Он не бывал со своими бригадниками в бане, а то бы давно понял в чем дело.

Они работали плохо, их надо было только подкормить. Но в этой просьбе Дюкова начальство отказало самым резким образом. Голодная бригада героически вырабатывала норму, работала через силу. Тогда Дюкова стали обсчитывать: замерщики, учетчики, смотрители, прорабы, он стал жаловаться, протестовать все резче и резче, выработка бригады все падала и падала, питание делалось все хуже. Дюков попробовал обратиться к высокому начальству, но высокое начальство посоветовало соответствующим работникам приписать бригаду Дюкова, вместе с самим бригадиром, к известным спискам. Это было сделано и все были расстреляны за знаменитой «Серпантинкой».

Умер Павел Михайлович Хвостов. Самое страшное в голодных людях — это их поведение. Все, как у здоровых, и все

НАДГРОБНОЕ СЛОВО

же это — полусумасшедшие. Голодные — всегда яростно отстаивают справедливость (если они не слишком голодны, не чересчур истощены). Они — вечные спорщики, отчаянные драчуны. Обычно лишь одна тысячная часть поругавшихся между собой людей (на самых предельных) доводит дело до драки. Голодные вечно дерутся. Споры вспыхивают по самым диким, самым неожиданным поводам. — Зачем ты взял мое кайло, занял мое место? — Кто покорооче, пониже, норовит дать подножку и сбить с ног противника. Кто повыше — навалиться и уронить врага своей тяжестью, — а потом царапать, бить, кусать... Все это бессильно, не больно, не смертельно, — и слишком часто, чтобы заинтересовать окружающих. Драк не разбирают.

Вот таким был Хвостов. Он дрался с кем-нибудь каждый день — в бараке, и в той глубокой отводной траншее, которую копала наша бригада. Он был моим зимним знакомым — я не видел его волос. А шапка у него была ушанка с изорванным белым мехом. И глаза — темные, блестящие, голодные глаза. Я читал иногда стихи и он смотрел на меня, как на полоумного.

Он вдруг начал отчаянно бить кайлом по камню траншеи. Кайло было тяжелым, Хвостов бил наотмашь, почти без перерыва бил, бил. Я подивился такой силе. Мы давно были вместе, давно голодали. Потом кайло упало и зазвенело. Я оглянулся. Хвостов стоял, расставив ноги и шатался. Колени его сгибались. Он качнулся и упал лицом вниз. Он вытянул далеко вперед руки в тех самых рукавицах, которые он каждый вечер спм штопал. Руки открылись — на обеих предплечьях была татуировка. Павел Михайлович был капитан дальнего плавания.

Роман Романович Романов умирал на моих глазах. Когда-то он был у нас кем-то вроде «командира роты», выдавал посылки, следил за чистотой в лагерной зоне, словом был на таком привилегированном положении, о каком и мечтать не мог никто из нас, пятьдесят восьмой статьи и «литерок», как говорили блатные, или «литерников», как произносят это слово высшие чиновники лагерей. Предел наших мечтаний — работа прачки в бане, или починочным ночным портным. Все кроме камня было нам запрещено московскими «особыми указаниями». Такая

бумага шла при деле каждого из нас. А вот Роман Романович был на такой недоступной должности. И даже быстро освоился с ее секретами: как открывать посылочный ящик, чтобы сахар сыпался на пол. Как разбить банку с вареньем, закатить под топчан сухари и сушеные фрукты. Всему этому Роман Романович обучился быстро и знакомств с нами не поддерживал. Он был строго официален и держался, как вежливый представитель того высокого начальства, с которым мы личного общения иметь не могли. Он никогда ничего не советовал нам. Он только разъяснял: письмо можно посылать одно в месяц, посылки выдаются с 8 до 10 вечера в лагерной комендатуре, и такое подобное. Мы не завидовали Роману Романовичу, мы только удивлялись. Очевидно, тут сыграло роль какое-то личное случайное знакомство Романова. Впрочем, он был недолго, всего месяца два, командиром роты. Прошла ли очередная проверка штата (время от времени и обязательно к новому году такие проверки устраиваются), или кто-либо «дунул» — пользуясь красочным лагерным выражением. Но Роман Романович исчез. Он был военный работник, полковник, кажется. И вот, через четыре года я попал на «витаминную» командировку, где собирали хвою «стланника» — единственного вечнозеленого растения здесь. Эту хвою свозили за много сотен верст на Витаминный комбинат. Там ее варили и хвоя превращалась в тягучую коричневую смесь невыносимого запаха и вкуса. Ее разливали в бочки и развозили по лагерям. Тогдашней местной медициной это считалось главным общедоступным и обязательным средством от цынги. Цынга свирепствовала, да еще в сочетании с пеллагрой и прочими авитаминозами. Но все, кому доводилось проглотить хоть каплю этого страшного снадобья, соглашались лучше умереть, чем лечиться подобной чертовщиной. Но были приказы, а приказ есть приказ, и пищу в лагерях не давали до той поры, пока порция лекарства не будет проглочена. Дежурный стоял тут же со специальным крошечным черпачком. Войти в столовую было нельзя, минуя раздатчика стланника, и то самое, чем особенно дорожил арестант — обед, пища — было непоправимо испорчено этой предварительной обязательной зарядкой. Так длилось более десяти лет...

Врачи пограмотней недоумевали — как может сохранить-ся в этой клейкой мази витамин С, чрезвычайно чувствитель-ный ко всяким переменам температуры. Толку от лечения не было никакого, но экстракт продолжали раздавать. Тут же, рядом со всем поселком, было очень много шиповника. Но шиповник никто и не решался собирать, — о нем ничего не говорилось в приказе. И только много позже, после войны, в 1952, кажется, году было получено, опять-таки от имени мест-ной медицины, письмо, где категорически запрещалась выдача экстракта стланника, как разрушающе действующего на почки. Витаминный комбинат был закрыт. Но в то время, когда я встре-тился с Романовым, стланник собирали вовсю. Собирали его «доходяги» — приисковый шлак, отбросы золотых забоев — полуинвалиды, голодающие-хроники. Золотой забой из здо-ровых людей делал инвалидов в три недели: голод, отсутствие сна, многочасовая тяжелая работа, побои... В бригаду «вклю-чались» новые люди и Молох жевал...

К концу сезона в этой бригаде не оставалось никого, кроме бригадира Иванова. Остальные шли в больницу «под сопку» и на «витаминные» командировки, где кормили один раз в день и хлеба больше 600 грамм ежедневно получить было нельзя. Мы с Романовым работали в ту осень не на сборе хвои. Мы работали на «строительстве». Мы строили себе дом на зиму — летом мы жили в рваных палатках.

Была отмерена шагами площадь, поставлены колышки и мы втыкали редкую изгородь в два ряда. Промежуток запол-нялся кусками заледеневшего мха и торфа. Внутри были нары из жердей, одноэтажные. Посредине стояла железная печка. На каждую ночь нам давали порцию дров, вычисленную эмпирически. Однако, у нас не было ни пилы, ни топора — эти острорежущие предметы хранились у бойцов охраны, которые жили в отдельной утепленной и обитой фанерой палатке. Пи-лы и топоры выдавались только по утрам при разводе на ра-боту. Дело в том, что на соседней «витаминной» командировке несколько уголовников напали на бригадира. Блатные чрезвы-чайно склонны к театральности, внося ее в жизнь так, что им позавидовал бы Евреинов. Бригадира решено было убить, и предложение одного из блатарей — отпилить голову брига-

диру — было встречено с восторгом. Голова была отпилена обыкновенной поперечной пилой. Вот поэтому-то был приказ, запрещающий оставлять у заключенных на ночь топоры и пилы. Почему на ночь? Но в приказах никто никогда не искал логики.

Как же резать дрова, чтоб поленья влезли в печку? Более тонкие ломались ногами, а толстые целым пучком с тонкого конца вкладывались в отверстие горячей печки и постепенно сгорали. Кто-нибудь ночью подвигал их глубже — всегда было кому присмотреть. Этот свет открытой печной двери и был единственным светом в нашем доме. Пока не выпал снег, домик продувало насквозь, но кругом стен нагребли снега, залили водой — и зимовка наша была готова. Дверь завешивалась обрывком брезента.

Здесь в этом самом сарае я и встретился с Романом Романовичем. Он не узнал меня. Одет он был как «огонь», как говорят блатные — как всегда метко, — клочья ваты торчали из телогрейки, из брюк, из шапки. Не мало раз, верно, приходилось Роману Романовичу бегать «за уголочком», чтобы разжечь папиросу какого-нибудь блатаря... Глаза его блестели голодным блеском, а щеки были такими же румянными, как и раньше, только не напоминали воздушные шары, а туго обтягивали скулы. Роман Романович лежал в углу и с шумом втягивал в себя воздух. Подбородок его поднимался и опускался.

— Кончается, — сказал Денисов, сосед его. — У него портянки хорошие. — И ловко сдернув с ног умирающего бурки, Денисов отмотал еще крепкие зеленые одеяльные портянки... — Вот так, — сказал он, грозно глядя на меня. Но мне было все равно.

Труп Романова выносили, когда нас выстраивали перед разводом на работу. Шапки у него тоже не было. Полы растегнутого бушлата волочились по земле.

Умер Володя Добровольцев, пойнтист. Пойнтист — работа это или национальность? Это была работа, вызывающая зависть в бараках пятьдесят восьмой статьи. (Отдельные бараки для политических в общем лагере, где были бараки и бытовиков и уголовников-рецидивистов, за общей проволокой,

были, конечно, юридическим издевательством. От нападений штаны и кровавых блатных расчетов это никого не защищало).

Пойнт — это железная труба с горячим паром. Этот горячий пар разогревает каменную породу, смерзшийся галечник, рабочий время от времени выгребаёт разогретый камень металлической ложкой величиной с человеческую ладонь, с трехметровой рукояткой.

Работа считается квалифицированной, поскольку пойнтист должен открывать и закрывать краны с горячим паром, который идет по трубам из будки, от бойлера — примитивного парового приспособления. Быть бойлеристом еще лучше, чем пойнтистом. Не всякий инженер-механик с пятьдесят восьмой статьей мог мечтать о подобной работе. И не потому, что это было квалификацией. Чистой случайностью было то, что из тысяч людей на эту работу был направлен Володя. Но это преобразило его. Ему не приходилось думать о том, как бы согреться — вечная мысль... Леденящий холод не пронизывал все его существо, не останавливал работу мозга. Горячая труба спасала его. Вот почему все и завидовали Добровольцеву.

Были разговоры и о том, что неспроста он сделан пойнтистом — это верное доказательство, что он осведомитель, шпион... Конечно, блатные всегда говорили — раз санитаром работал в лагере — значит, пил трудовую кровь, и цену подобным суждениям люди знали — зависть плохая советчица. Володя сразу как-то безмерно вырос в наших глазах — как будто среди нас обнаружился замечательный скрипач. А то, что Добровольцев, — это было надо по условиям работы, — уходил один и, выходя из лагеря через вахту, открыв вахтенное окошечко, кричал туда свой номер «двадцать пять» таким радостным, громким голосом, — от этого мы уже давно отвыкли.

Иногда он работал близ нашего забоя. И мы, по праву знакомства, бегали по-очереди греться к трубе. Труба была дюйма полтора в диаметре, ее можно было охватить рукой, сжать в кулаке, и тепло ощутимо переливалось из рук в тело и не было сил оторваться, чтобы возвращаться в забой. в мороз...

Володя не гнал нас, как другие пойнтисты. Никогда он не говорил нам ни слова, хотя я знаю, что пойнтистам было запрещено пускать греться около труб нашего брата. Он стоял, окруженный облаками густого белого пара. Одежда его заледенела. Каждая ворсинка бушлата блестела как хрустальная игла. Он никогда с нами не разговаривал — все же цена этой работы была, очевидно, слишком дорогой.

.....

В рождественский вечер этого года мы сидели у печки. Железные ее бока по случаю праздника были красивее, чем обыкновенно. Человек ощущает разницу температуры мгновенно. Нас, сидящих за печкой, тянуло в сон, в лирику...

— Хорошо бы, братцы, вернуться нам домой. Ведь бывает же чудо... — сказал коногон Глебов, бывший профессор философии, известный в нашем бараке тем, что месяц назад забыл имя своей жены. — Только, чур, правду.

— Домой?

— Да.

— Я скажу правду, — ответил я. — Лучше бы в тюрьму. Я не шучу. Я не хотел бы сейчас возвращаться в свою семью. Там никогда меня не поймут, не смогут понять. То, что им кажется важным — я знаю, что это пустяк. То, что важно мне — то немногое, что у меня осталось — ни понять, ни почувствовать им не дано. Я принесу им новый страх, еще один страх к тысяче страхов, переполняющих их жизни. То, что я видел — человеку не надо видеть и даже не надо знать.

Тюрьма — это другое дело. Тюрьма — это свобода. Это единственное место, которое я знаю, где люди, не боясь, говорили все, что думали. Где они отдыхали душой. Отдыхали телом, потому что не работали. Там каждый час существования был осмыслен.

— Ну, замолол, — сказал бывший профессор философии. Это потому, что тебя на следствии не били. А кто прошел через метод номер три, те другого мнения...

— Ну, а ты, Петр Иванович, что скажешь? — Петр Иванович Тимофеев, бывший директор Уральского треста, улыбнулся и подмигнул Глебову.

— Я вернулся бы домой, к жене, к Агнии Михайловне. Купил бы ржаного хлеба — буханку! Сварил бы каши из магара — ведро! Суп «галушки» — тоже ведро! И я бы ел все это. Впервые в жизни наелся бы досыта этим добром, а остатки заставил бы есть Агнию Михайловну.

— А ты — обратился Глебов к Звонкову, забойщику нашей бригады, а в первой своей жизни — крестьянину не то Ярославской, не то Костромской области.

— Домой. — Серьезно, без улыбки, ответил Звонков. — Кажется, пришел бы сейчас, и ни на шаг бы от жены не отходил. Куда она, туда и я, куда она, туда и я. Вот только работать меня здесь отучили, — потерял я любовь к земле. Ну, устроюсь где-нибудь...

— А ты? — рука Глебова тронула колено нашего дневального.

— Первым делом пошел бы в райком партии. Там, я помню, окурков бывало на полу — бездна...

— Да ты не шути...

— Я и не шучу.

Вдруг я увидел, что отвечать осталось только одному человеку. И этим человеком был Володя Добровольцев. Он поднял голову, не дожидаясь вопроса. В глаза ему падал свет рдеющих углей из открытой дверцы печки — глаза были живыми, глубокими.

— А я, — и голос его был покоен и нетороплив, — хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они с нами делают...

В. Шаламов

ПОДМОСКОВЬЕ

Иных названий детству не ищу,
Иных страниц так сказочно раздолье,
Что я сегодня милый долг плачу
Лесистой благодати подмосковья.
Подумать только — это тут возник
Тот легкий сплав из мысли и пространства,
Тот травянистый, ласковый дневник,
Двойник души, с которым не расстаться.
Там слышится застенчивый, как вздох,
Как шелест перевернутой страницы
Волоколамск в полете поездов,
Там Истра недодуманная снится.
Все чем живем, что знаем, что велим
Себе до смерти вспоминать в разлуках,
Вместилось в Новый Иерусалим,
В еловый шорох и в зеленый купол.
Мы скажем: память, скажем: род, семья,
Минувший век, лирические узы,
Портретный век, он весь про те края,
В нем ровный гул моих лесов под Рузой.
Колесный шум, тележный шум страды,
Ушедших лиц, страстей старинных тени.
Сосновый шум, заросшие пруды,
Ветшающие церкви и именья.
Что мне поделать? Я то ведь из тех,
Что мифы ткут и явь читают в мифах.
Гляжу на камень выщербленных стен,
На темную иконную олифу.
Век миротворец. Золотой разлив
Того, что нынче стало безыманным,
Скульптурный быт, до боли тонкий лик,
Прохладный, как лесистая поляна.
Такая трепетная акварель
В иной аллее вдруг возьмет за горло,
И кажется, что нет любви острей,

Чем наша боль по этим дням просторным.
Деревья эти музыкой гласят
О веке том, который государил;
Я прошлое возделывал, как сад,
А в настоящем был, как столб, бездарен.
Я эти виды видывал во сне,
Я открывал их в мраморе и слове...
Спокойно спит у памяти на дне
Зеленая гробница подмосковья.

ПРИГОРОД

К наростам каменных каминов,
К газонам стриженной травы,
К стеклу фонариков старинных,
К ночному шороху листвы
Текут машины горожан
К своим домашним гаражам.
Пивная пена, жар угля,
В тени соседского карпорта:
Скажи — не надо журавля,
Синицу дайте мне комфорта.
Счастливый страховой агент,
В объятьях страхового счастья,
Прикажет времени: «К ноге,
Не раздирай меня на части!»
И пригородная жена
Свезет его детей веселых,
Машину тронув от окна,
В объятья пригородной школы.
А мы — пришлись не ко двору,
Торчим, как жупел на ветру.
По нашим вылинявшим доскам
Прошелся пепельный петух,
И над зеленым перекрестком
Прыгун моргающий потух.

Олег Ильинский, 1970

МОНОЛОГИ И ПАПРИКА

1

Виу-виу-виу...

Трудно передать знаками этот звук — скуление мотора, который не хочет заводиться; один из самых беспокойных звуков нашего человекомашинного общежития — может быть, потому, что вбирает в себя нетерпение ступни, придавившей педаль, пальца, жмущего на зажигательную кнопку, и само биение человеческого сердца перед баранкой, перемежающееся отчаянием и надеждой.

Возник этот звук в раннее июльское утро, в тишайшем северном городке, откуда об эту пору выехала на каникулы вся звонкая студенческая молодежь, в полумиле от еще сонного моря. В это утреннее безмолвие каждые четверть часа с шестисотлетней колокольни падала медная, — в шесть ударов — гамма; точнее — не падала, но сплывала вниз по этакой, как я себе представлял, волнообразной звуковой параболе; и когда парабола замирала, я брался за свои мемуары, и из почти первозданной, я бы сказал, тишины приходили ко мне самые позабытые и потому словно бы новые, образы прошлого и самые нужные и самые удачные слова.

И вдруг: виу-виу-виу...

Паркинг был сразу же за углом моего дома — небольшой, всего машин на пять, включая мою; я знал все их марки и сейчас перебирал в уме, прикидывая воображаемого виновника.

Виу-виу-виу...

Сколько минут можно такое вытерпеть?

На пятой, примерно, минуте, бросив писанье, я спускался со своего третьего этажа. Какой-то кусочек воспоминаний, отколовшись от рукописи на столе, увязался за мной; оба мы на ходу составляли одну-две вежливых фразы, обращенные к

монстру за рулем, которые на вялом местном языке означали бы эквивалент проклятия.

«Монстра» разглядел я не сразу — маленький темнокрасный фольксваген с задранным вверх турниром спел на утреннем желтоватом солнце, как помидор. Согнувшись, заглядывала в путаницу трубок и втулок узенькая фигурка в вишневом безрукавном свитре и черными в синеву прядками по плечам; между свитром и юбкою — пятно загорелой кожи в форме бейзбольного мяча. Увязавшийся за мной осколочек воспоминаний чиркнул от меня, как электрический разряд, в сторону этого пятна и исчез. Где, когда встречалось мне уже что-то очень похожее?...

Услышав скрип гравия под моими ногами, «монстр» обернулся ко мне. Где, когда, сколько десятилетий назад видел я уже это лицо? В нетерпеливо подкинутых бровях — усмешка и вызов.

И довольно бестолковая пауза с моей стороны.

— Ну? — спросил «монстр», выпрямившись. — Помешала я вам завтракать, что ли?

— Не могу ли я помочь?

— Не знаю, можете или нет. На автомеханика вы непохожи. Но — попробуйте!

Я попытался. Сдала батарея — установить это не стоило большого труда.

— Вот телефон мастерской, — сказал я. — Позвоните — и через полчаса все будет готово.

— И я на полчаса опоздаю в бюро. В восемь ровно мне надо вести экскурсию.

— Тогда в мастерскую позже, а на работу я отвезу вас в своей машине. Она вот, рядом.

— Ладно... — кивнула она с чем-то вроде гримасы, природу которой я не мог разобрать. Где и откуда запомнились мне такие вот цветистые и необычайной подвижности черты? Узко подбритые брови то ломались вверх домиком, то разлетались к вискам; вдруг широко распахивались на вас небольшие черносмородинового колера глаза и тут же шурились, морща переносицу. Крупный рот — в постоянных и самой раз-

личной выразительности усмешках; усмешка ироническая асимметрична и образует в углу губ петельку, в которой поблескивает один, кажется чуть по-своему растущий, зубок.

Все это я разглядел, покуда ехали — место, которое она назвала, было не ближний край, в смежном другом городке. Узкая, как стручок, она почти не занимала пространства рядом. Пахло от нее каким-то цветком.

— Давно вы пришвартовались на нашем паркинге? — спросил я, потому что у нее не было, по-видимому, никакой охоты завязать разговор. — Раньше вашего катера я там не встречал.

— Месяца уже два, приблизительно.

— Откуда же прибыли?

Она назвала один не очень далекий порт.

— Но вы по типу не здешняя?...

— Если вы собираетесь допрашивать меня, — зевнула она в наманикюренную горсточку, — я, пожалуй, вылезу и подожду попутную машину.

— Я не допрашиваю вас, я знакомлюсь! И не удерживаю, если вам угодно сойти...

— Черт возьми! — сказала она вдруг по-русски. — В вас есть спирт!

— ??

— Моя семья — с юга России. Я родилась здесь, но знаю немного русский язык. Ваш язык — потому что теперь, кажется, и вас знаю. Вы — Н. (она назвала мою фамилию). У меня есть друзья среди ваших знакомых. Видите, я ответила на ваш вопрос — мне понравилось, что вы готовы были вышвырнуть меня из своей машины.

— Преувеличение... Но что за утро неожиданностей!

— Вы, слыхала я, пишете?

— Случается.

— Над чем сидели сегодня, когда я вам помешала?

— Над воспоминаниями.

— Мемуары, говорят, пишут древние старики. Вы древний?

— С вашей точки зрения — вероятно.

— Ну, сколько вам? Мне девятнадцать, а вам?...

— Ровно в три раза больше.

— Черт возьми, много! Нет, по-русски мне трудно. Мои бывшие родители всегда бранились по-русски, а теперь совсем этого языка не слышу.

— Почему «бывшие»?

— Потому что я бросила их и живу самостоятельно, — сказала она тоном, который подсказывал, что продолжение этой темы нежелательно. — Вы бываете здесь? — показала она на песчаное побережье, мимо которого шла сейчас наша машина.

Это был пляж, гордость двух городков, между которыми протянулся и куда, в короткий летний сезон, переключивалось, казалось, все их население; весьма живописный пляж: кривые от ветров ветлы у ровной янтарной кромки берега; выше складки дюн, поросших сосняком. В привилегированной части пляжа сосны редели, торчали мачтами и к ним лепились разных пастельных цветов раздевалки, будки, крупные, настоящие микродачки, с полатами, столиком и окошком, одетым изнутри противокомариной сеткой. Каждой принадлежал и свой купальный участок берега, и, хотя не было заборов и проволок, купальщики с общего пляжа сюда не заглядывали, если не считать «беспардонных», которые иной раз располагались здесь с вызовом; «беспардонными» я перевожу местное обозначение недорослей обоего пола, пренебрегающих традициями в одежде и волосатых.

Разумеется, я здесь бывал. Даже снял для себя одну из будок; пытался сейчас разглядеть ее среди сосен, чтобы показать спутнице, но солнце еще не доползло до прибрежного ската, там все было сизо, и я ограничился описанием, не заинтересовавшим ее нисколько. «Бывает, сижу в своей будке с полудня до самых сумерек. Чудесно работается!» — заключил я, может быть, слишком для нее восторженно, потому что увидел в углу ее рта ироническую ухмылку...

В общем, спасибо, что выручили! — сказала она, когда

мы доехали, выпрыгнув на тротуар и небрежно качнув в воздухе пальцами над ладонью — словно был я не рядом, а на другом конце улицы.

— Постойте!... — сказал я неуверенно, потому что не знал, что именно хочу сказать.

— Ну? — подождала она, нетерпеливо прочерчивая носком туфли асфальт, как молодая кобылка.

Как вас, по крайней мере, зовут?

Меня зовут Ия. Но, извините, бегу...

2

Так началось то, что собственно чем-то и не было и вовсе не должно было бы начинаться, потому что ничем не могло и кончиться; но разве это — резон для чего бы то ни было в жизни? Не могло ничем кончиться, потому что не было содержанием **вне** меня, но во мне самом вдруг оказалось содержанием.

Большим, чем мои мемуары, которые в три последующих утра не увеличились ни на строчку.

А в утро четвертое я спустился вниз чуть ли не с петухами. Выхаживая в стороне, откуда виден был мне краешек паркинга, слушал приближающееся шарканье шагов, взвизгивание моторов, следил, как одна за другой скрывались за углом покрытые утренней крупной росой автомобильные спинки.

Она пришла, как и в первый раз, последней и так поспешно, что едва успел ее захватить — уже нажала было на стартер.

— Очень хотел вас увидеть! — сказал я.

— Зачем? — спросила она в приспущенное окно, подкинув брови. И было столько искреннего недоумения в этом «зачем?», что меня повело: какой в самом деле интерес могла иметь для нее новая встреча с автором мемуаров? Все, относящееся к мемуарам, было у нее еще впереди.

— Ну, не зачем-либо, а просто поболтать с вами. Пишущие отовсюду собирают впечатления, как пчелки нектар, чтобы слепить потом что-либо читабельное. А вы, пожалуй, самое любопытное создание из всех, кого здесь покуда встречал.

— Кажется, полагается благодарить. Но я терпеть не

могу делать то, что полагается. И у «любопытного создания» чертовски мало времени, чтобы жить! Восемь часов в туристском бюро — это, конечно, эксплуатация и уродство. Остальное — пляж и вообще расписано по минутам. Впрочем, вы, может быть, мне и понадобится...

— Это когда откажет опять батарея?

— Нет, совсем по другому поводу. Так что не портите больше себе рабочего утра. Я найду вас сама...

3

Нашла она меня неделю спустя. В праздничное послеобеда, сероватое и ветреное, подле моей пляжной будки, в песчаной воронке, сделанной для того, чтобы ветер по своему усмотрению не переворачивал бы читаемых вами страниц. Впереди ее на цепочке бежала крохотная рыжеватая собачонка, похожая на выкусанный уже кукурузный початок, с нервными выпуклыми пуговицами глаз.

Было на ней в этот раз нечто во вкусе «беспардонных» — потертые джинсы цвета утопленника с заплатой на маленькой ягодице и местные довольно уродливые сабо с большим растрескиванием, в котором, однако, пряталась очень даже ухоженная ступня с розовой пяткой и выкрашенными кармином ногтями.

— Устала, пока разыскала вас! — сказала она, скидывая сабо кувырком в разные стороны. — Поэтому сперва окунись. Открыта ваша кабина?...

Она вернулась через минуту в двух красных поперечинах, прикрывавших соски и венерин бугор, и побежала мимо меня, печатая по песчаному скату матово-золотистые следы. Початок, несясь по пятам, связывал их своими, как пунктиром.

У меня нехватило простоты подняться за ней, крикнув, как следовало бы, по-стариковски, и я следил только издали, как она, бесконечно долго, балансируя тонкими руками, шла навстречу «моряку» и брызгам из-под скалистых камней и стала уже совсем маленькой, когда упала на встречную волну и поплыла.

То, для чего я ей понадобился, был переклад на русский торгового объявления какой-то местной текстильной фирмы.

Сбегав в будку, она принесла скрученную трубкой тетрадку с печатной вкладкой внутри и собственными ее переводческими попытками, довольно беспомощными, но — и то сказать — переложить подходяще для советского потребителя тон западной рекламы не так уж просто. Текст был невелик, я продиктовал ей его по-русски в какие-нибудь четверть часа.

— Здорово! — сказала она (я имею в виду здешний вариант этого не совсем салонного одобрения). — Эта фирма связана с нашим бюро, но гонорар будет мне особый. Половина — вам!

— Не пойдет!

— Почему? Я получила заказ — вы его выполнили. Категорически — пополам! и то уж бессовестно с моей стороны.

— Давайте тогда тетрадку обратно!

— Если, — прищурилась она на меня, и даже поросль на тонких ее руках, вставшая дыбком, дышала задором, — если вы не признаете равноправия, — забирайте свой перевод и больше с вами мы не знакомы!

Что наши представления о равноправии расходились, сомневаться не стоило. Удивительнее было то, что неожиданная эта, давно уже сниженная и поблекшая, тема сложилась вдруг у меня в предолгий и патетический монолог с разными дальними экскурсами и касательными. Может быть, аудитория, сидящая по-турецки напротив с мокрыми коленками, исподу облепленными песком, и вот-вот готовая вскинуться, — может быть, сама эта аудитория так подзадоривала меня, или, тоже словно прислушивающаяся к вам, мягкость прибоа, серого неба, беззвучных сосен... Говорил я о той неоспоримой и не имеющей заменителей вершине, на которой должна была бы стоять женщина — воплотительница недостающей миру гармонии. Думаю, что забрел я тут далеко, прихватив даже и «вечную женственность»... «Стремление теперешней женщины», говорил я, «быть тем, чем быть ей несвойственно, уже привело к внутреннему опустошению семьи, трагическому одиночеству детей, оторванных от материнской груди не только в буквальном смысле. Движение «беспардонных» — яркий тому пример. Возьмите антиподов, где так называемая эмансипация зашла

особенно далеко. Будущее этого неслыханного одичания женщины в условиях избыточной цивилизации — противозачаточных пилюль и синтетического грудного молока — представляется мне иной раз в виде некой бесконечной пустыни, выложенной рыжейшей — от горизонта до горизонта — нейлоновым ковром. Последний мужчина, обезумевший от мытья посуды и стирки своего и жениного исподнего, покончил самоубийством. Между зарослями стиральных машин и холодильников хищно бродят старухи в папильотках и кратчайших шортах над жилистыми, в синих склеротических узлах ногами; бродят — в поисках несостоявшихся ощущений и идеи нового женского клуба...

— В этой чепухе, — сказала Ия, позевывая, — есть полторы мысли, но мне сейчас как-то лень с вами спорить. А стихи вы не пишете? По тому, что вы говорили о женщине — что-то средневековое и из Соловьева, — я предполагаю, что — да!...

Что она различила в монологе моем Соловьева, было почти невероятно. Но, забежав вперед, скажу, что она вообще была отчетливый вундеркинд: необыкновенно начитанный и памятный, ловкий и острый на язык. Ее — откуда ни возьмись — сведения по русской литературе были поразительны, как и смелость суждений.

— А если бы я писал стихи, стали бы вы их слушать?

— Может быть. И попросила бы вас написать этот вот пейзаж, что сейчас...

— Стихи не мои, но — пожалуйста:

Эти скалы, сосны эти,
Кружевным зигзагом сети,
И фарфоровый песок;
Ветер, ветер, ветер, ветер
И маяк наискосок...

Как все серо! Грусть иль нежность.
Чем, скажи, она полна —
Эта мгlistая безбрежность,
Эта низкая волна?...

Ностальгия! — перебила она меня. И немного спустя, зевнув снова: — Больше всего люблю Маяковского!...

Становилось все ветреней. Купальные ее поперечины высохли и налипали на кожу резким пунцовым штрихом.

— Красное — это тоже любимый ваш цвет?

— Да, красный и желтый. Еще — зеленый. Если бы удалось создать независимое государство, о котором мечтаю, цвет флага был бы красный-зеленый-желтый.

— А что за независимые будут жить в вашем государстве?

— Молодежь.

— Независимые от чего?

От отживших уже поколений. Таких, как ваше...

4

Она позвонила мне дней через пять, поутру: три дня и три ночи, по ее словам, трудилась над переводом с русского какого-то туристского проспекта. Кое-что в тексте ей было неясно.

Я бы зашла к вам после работы. На пляж. Если там будете.

Буду.

За помощь приглашаю вас в воскресенье поужинать. В нашем «инне» — она назвала местный модный трактир. — Там здорово кормят. И джаз... Что? Иначе — не состоится. Это — вы знаете по-латыни? — *Conditio sine qua non!*

Знаю ли я по-латыни? Экая маленькая наглость!

— Ну, если *conditio*, — согласен!

С переводом на этот раз провозились долго. Смущали ее, оказывается, архаизмы в описании церковной утвари и разной старины, пропущенные учеными составителями словарей перестраховки ради. Не состоялось купанья, но спорилось на фоне сумерек легко.

Началось — с волос, которые она обрезала «под горшок», напоминая теперь благочестивого отрока русских лубочных картинок.

Я сказал ей об этом.

— Моему теперешнему другу нравится эта прическа, — сказала она. — К концу сезона, верно, переменю.

— Друга или прическу?

— И то и другое. Смелее, смелей! Вижу в ваших глазах всю иронию предков, и — «какой это по счету друг в моей жизни?» Ведь так?

— Допустим.

— Который по счету? — повторила она и, наморщив переносицу, стала загибать один за другим пальцы на узенькую ладонь. Заполнив одну, загнула было на другую два огненно выкрашенных ногтя — и один разогнула опять.

— Шестой! — объявила она.

— Сколько же это обещает в перспективе? Лет этак к сорока?

— Нисколько, потому что дольше тридцати я жить не хочу...

Не думаю, чтобы мой последовавший затем монолог о единственности выбора, о «двоих», ищущих и взаимно угадывающих себя, был для нее нов или сколько-нибудь убедителен, но — задел: отповедь последовала неожиданная и любопытная, которую привожу.

— Вы убежденно древний! — сказала она задиристо. — Почему-то вы, русские, так и остались в плену у сентиментализма, в слезах над «Бедлизой»... А между тем Пушкин так гениально предсказал вам скептицизм будущего! У него эта бедная Лиза, соблазненная гусаром, приезжает на могилу отца в карете четверней, а сам отец — фигура прежалкая. А другая девица — это в «Пиковой даме» — приглашает офицера прямо к себе в комнату, когда ей надоедает собственная добродетель приживалки у вздорной старухи. А этот офицер, пренебрегший сексом ради бизнеса: 3 карты и никаких нежных чувств! Или Печорин, первый экзистенциалист в русской литературе, совращавший аристократок, невиннейших и замужних, то делать нечего! И все это почему-то отвергли ваши критики и ханжи, вроде вас; поставили над всем этим Толстого, этого моралиста, Карла Ивановича русской литературы. «Мне отмщение и Аз воздам», Наташа, разглядывающая испачканные пеленки... Фи!...

5

И в воскресенье, за ужином:

Она курит какие-то сладко пахнущие узкие сигареты и

плющит их в раковине-пепельнице, не дотянув и до половины. После каждой затяжки у нее чуть стеклянеют глаза. Может быть, впрочем, это мне только кажется: вокруг полупотемки, в низкой площадке посреди столика почти блуждающий свет — пунцовая, в узкую складку-плиссе, блузка напротив то зальется огнем, то погаснет, и так же огненно то вспыхивает, то гаснет ее жующий рот.

Она заказала себе какое-то балканское жарено, к которому подали целый стог паприки — узкие, едва посеченные стручки почти целиком. Помню, когда-то в Париже в одном ресторане, недалеко от Нотр Дам, я пробовал это блюдо — и каждый кусок обжигал и, проглоченный, взрывался торпедой еще в пищевode.

Но ей эти огненные ломтики, ловко подхватываемые крупно накрашенными губами, были очень к лицу.

— А вы? — спросила она. — Паприки?

— Мне нельзя паприки.

Она вдруг засмеялась, остановив вилку с двумя красными дольками на весу.

— Виновата, что смеюсь, но как это в нашем случае символично! Вот где пропасть между вами и нами: ничего острого!

— Кто это «мы» и «вы»?

— «Вы» — вы, например, лично я те, которые с вами, блюстители традиции и трюизмов, которые считаете вечными на том основании, что, скажем, в Большой Медведице вечно семь звезд.

— А вы хотели бы укоротить ее на одну звезду?

— Вы звездочеты! — продолжала она, не слушая. — Вы и вам подобные всю жизнь смотрели на небо и просмотрели землю; составляли гороскопы для человечества — и просмотрели подлинное человеческое лицо.

— В чем, интересно, оно, это подлинное лицо?

— В том, что человек рождается уже с сознанием неполноценности жизни, которое вы стремитесь у него заглушить. Да, да! вы стремитесь сделать нас своими бездумными обезьянами, лишенными собственных, не ваших идей. Жизнь трагична, потому что она единственна. И половину этой единственной

жизни вы заставляете нас готовиться стать такими же беззубыми, мелочными, жалкими, с мыслями и желаниями радиусом из одной комнаты в другую, словом — такими, какими мы вас так презираем! О, лучше не родиться! Лучше...

— Наркотики, например?

— Пусть!... Острота — вот что нужно теперешнему пресному миру. Всяческая острота!

— До бомбы включительно?

— Может быть! — согласилась она, подбрасывая нацепленные на вилку дольки паприки в рот...

«Бычья кровь» — называлось вино, которое лилось на этом поединке «мы» и «вы». «Гениальнейшее у Достоевского, — говорила Ия, мелкими глоточками отхлебывая из стакана, — его формула «самостоятельного хотения», как мерило человеческого достоинства. Вы спрашиваете: за что мы? Мы за самостоятельное хотение и поиски нового. Вот за что!

«Поиски нового»! Была ли в этих их поисках действительная новизна? Пюльвека назад в России происходило кое-что очень сходное. «Почитайте хотя бы «Хождение по мукам» Алексея Толстого», — говорил я. — Вот на память цитата: «Любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности. Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, невращения — признаком утонченности». А сразу после революции взлетела кривая преступности. На улицах столицы, например, появились «попрыгунчики» — предприимчивые бандиты, которые, привязав к подошвам особые пружинки, в развевающихся саванах, налетали на прохожих почти с воздуха. В том же толстовском романе героиня, молоденькая беременная женщина, подверглась такому нападению и выкинула...

Не уверен, что этот заключительный монолог так уж хорошо дошел до собеседницы — посветлевшие над блуждающим пламечком глаза смотрели, я видел, куда-то мимо меня. Но о «попрыгунчиках» дошло.

— Попрыгунчики — это идея! — сказала она.

Мемуары мои застопорились, споткнувшись о мое «сегодня», прошлое и теперешнее переплелись, как в бреду. Она словно включена во что-то, некогда мной пережитое, эта девчонка, — во что-то, бывшее, наверно, когда-то моим, и это «что-то», повторившееся или отраженное в ней, не отпускает меня, как ни стараюсь: высчитываю до встречи с ней дни, часы и минуты. Знаю все, что мог бы сказать мне любой душевед-психиатр, доброжелательный циник, но — не подходит ничто!

Встреч без надобности по поводу какого-нибудь перевода у нас не бывает. Подпись к иллюстрированному проспекту местной деревообделочной торговли и одно глупейшее описание какой-то упаковочной машины составили целых полдюжины встреч.

С довольно пестрой мозаикой разговоров и неожиданностей.

— Уж, конечно, не люблю Чайковского! — отвечает она, когда я любопытствую насчет ее вкусов в музыке. — Этакая манная каша с вареньем!

— А кого же тогда?

Она не задумываясь называет мне фамилию одного местного композитора-шумовика.

— Это не музыка! — говорю я.

— Нет, черт возьми, музыка! — говорит она, убегает в будку и возвращается с чем-то в футляре, зажатым в руке.

В футляре — губная гармоника.

— Сейчас я сыграю вам из него! — говорит она и, усевшись по-турецки, подносит гармошку к губам. Початок, взволнованно виляя хвостом, устраивается, как истый первого ряда обожатель, напротив.

Она выдувает чудовищную какофонию рождаемых металлических пищиками звуков, каких-то взвизгивающих тире и запятых хвостом вверх. По правде сказать, я тут же и перестаю слушать, следя больше за ритмическими движениями ее локтей, вскинутых над плечами, и наклоненного, почти закрытого кистями лица. На какое-то мгновение мне слышится, будто запятые, продлеваясь, выкрикивают какую-то затаенную тоску,

но тут происходит непредвиденное: Початок, вскинув вверх мордку и вытянув крысиный хвостик вдруг подвывает в тон запятым двумя пронзительными нотами, и Ия, опустив гармошку на голое колено, смеется и треплет его по спине.

Гармошка скользит с колена, я поднимаю ее, стираю песок и засовываю в футляр.

Тут же случается и еще один незначительный эпизод.

Покуда мы музицируем, сидя спиной к морю, вдоль берега прошагивает группа беспардонных, человек пять-шесть. Один из них, вывернув шею, долго глядит в нашу сторону (ему видны из воронки наши головы), потом отворачивается и, вложив пальцы в рот, дико свистит.

Услыша свист, Ия вздрагивает, смотрит, поднявшись, вслед беспардонным, и темная краска — это я вижу у нее в первый раз — накатывается на ее щеки и течет вниз до плеч.

— Пожалуйста, не провожайте меня! — говорит она недружелюбно. И — немного спустя — еще недружелюбнее: — Что вы меня так разглядываете? Написано на мне что-нибудь?

— Разглядывал вас не я, а один из свистунов, которые только что прошли мимо по берегу. А написана на вашем лице досада, что нас видели вместе. В самом деле, скажут потом: черт с младенцем...

— Простите! — перебивает она меня с усмешкой, из которой недобро выглядывает своевольно растущий зуб. — Кто именно из нас двоих черт?...

— Я, разумеется! Принимая во внимание возраст.

— Вот не знаю, — сказала она с коротким смешком, — важен ли возраст для чертей, но — какая полярность представлений у нас обоих! Вы — черт? Вы — не сердитесь — старый, беззубый — это, конечно, я фигурально — смешной звездочет, у которого от заученной невинности и моральной оглядки непременно бы выросли ангельские крылышки, если бы... — она помедлила, прищурившись на меня — если бы хватило у него воли сопротивляться разным мелким искушениям и грешкам. А во мне — во мне, верно, с полдюжины разных хвостатых бесов и бесенят; за каждого следует геена огненная...

И прощаясь:

Не целуйте мне руку! Что это еще за восемнадцатый век!

Попытка монолога о «прикосновении», потребность в котором у нормального человека шире и этикета и Фрейда, не удалась.

— Может быть, может быть! — перебила она. — Но что, если просто это мне неприятно!...



Я диктую перевод на русский — бережно, как если бы это был шекспировский сонет, а не нелепое описание нелепой машины, и невольно, почти без умысла, растягиваю время: вокруг блаженнейшее солнечное тепло, штиль и над головами орущие чайки.

Она записывает, лежа передо мной животом в песок, придавив локтем блокнот и побалтывая в воздухе ногами. Когда, чуть приподнимая голову, переспрашивает что-нибудь, узкая, в форме знака бесконечности, поперечина, прикрывающая ее соски, отлипает, и я отвожу глаза. Кажется, это ее забавляет. Чайки и поперечина мешают мне диктовать.

Перед последним крупным абзацем она бежит в воду, и потом мы вместе ходим по берегу, ища янтарь.

— Это дурацкое занятие мне осточертело! — говорит она, вороша ногой выброшенные волной водоросли. — Когда я вожу сюда экскурсии, мы всегда ищем янтарь. Отдать сделать из него брошку вдвое дороже, чем купить новую, но все ищут...

Ищем и мы, покуда она не наступает на что-то, от чего у нее на пятке оказывается довольно глубокий порез. Идет кровь. В будке у меня аптечка, я накладываю довольно громоздкую повязку, которая тотчас же и соскакивает, когда возобновляется диктовка и болтание ногами.

— Попробуйте еще раз! — просит она, останавливая пятку в воздухе.

Во второй раз мне удастся лучше, но происходит почти предсказанное мне небольшое «падение». Слишком близко от моих губ болталось все это вызолоченное солнцем тепло, чтобы к нему их не притянуло. Срыв есть срыв. Хорошо помню теперь, что если не видел, то угадывал на себе косой, через плечо,

оскорбительно выжидающий взгляд. За первым последовал целый фейерверк прижосновений. Потом влажная матерчатая кромка царпнула меня по губам, согнав с них тепло. Я задыхался.

— Пошла одеваться! — сказала Ия. — Как часто, кстати, проверяете вы давление? Мой дедушка делал это непременно раз в месяц.

Было немного темно в глазах и на какую-то долю секунды неясно: случился этот срыв сегодня или четверть века и того поболее назад? На какой машине времени донесло его до меня?

По пути к фольксвагену — молчание, и я вижу недобрую трогающую уголок ее губ усмешку; без слов.

— Таковы все звездочеты! — говорит она потом. — Вечная женственность, поклонение, Галатея, а чуть что — с Галатей стягиваются бикини. Насколько же мы прямее и правдивее вас!

Есть какая-то несвойственная ей плоскость в звучании этих слов, что она тотчас же и чувствует.

— В общем, конечно, я не должна с вами так говорить. Но была очень зла, почему так — даже не знаю.

— Ну, это ясно: как смел я предположить, что мой порыв мог бы быть вам желанен. Но я не предполагал.

— Знаю... Вы очень умны. Но — нет, я злилась потом на себя, что все это спровоцировала. И еще потом, вот уж теперь, — что могла злиться на такие пустяки. Разве не все — все равно?

— Равнодушие?

— Скука! — зевнула она. — И пожалуйста, продиктуйте мне конец по телефону...



И после моего звонка — дискуссия по телефону же, все насчет того же конфликта: «мы» и «вы».

— Что, собственно, у вас есть, кроме всеотрицания? — спрашиваю я. — Этот ваш лозунг «самостоятельного хотения» он же не конструктивен.

— Почему? Если представить себе, что каждый, живя по собственному хотению, будет доволен, то по вашей же стадной

статистике выйдет, что это будет общество счастливых. От счастья им не захочется ничего «преступить», как вы опасаетесь...

— Не думаю. Самостоятельное хотение ничтожеств чаще всего уродливо и преступно. Трагедия ваша, как и антиподов, которым вы так подражаете, — в отсутствии идеи служения, — любого, хотя бы крохотного, но не для самого себя. Это погубит вас. Неизбежно!

Может быть... — говорит она и вешает трубку.

7

Мемуары мои застопорились.

Вместо них — эти вот записи, которые обрабатываю теперь. Вроде:

Вчера встретил Ию на улице в новой прическе и с кем-то из беспардонных. Она чиркнула по мне взглядом, как по стене без окон и объявлений, притворившись, что не увидела. До очередной нашей встречи в местной читальне (какой-то необычайно ответственный перевод) осталось 32 часа 30 минут.

Поздний осенний вечер. С шестисотлетней колокольни плывут шесть ударов, сокращая ожидание: 32 часа 15 минут... 32 часа ровно...

Очень тихо, и руку заносит к перу — пробую добавить хотя бы строчку к одной из начатых глав и не могу!

Прошлое приходит ко мне почему-то в стиле картин передвижников: полувывтекшие пруды под Москвой; смущенный — не помню с кем — шепот в тенистом дворике Лаврушинского переулка — словом, приходит в обличье того давнопрошедшего романтизма, для которого теперь нет у нас ни читателя, ни собеседника.

Но еще чаще приходит оно горьким вестником моего полусмятенного «сегодня» — запоздалых вопросов, опоздавших решимостей, вдруг обступивших невозможностей и обид, — приходит плакальщиком и адвокатом, и слова «Проклятие старости!» шевелятся у него на устах.

Монологов на эту тему, однако, не стоит ни припоминать, ни записывать.

Л. Ржевский

ГРИНВИЧ ВИЛИДЖ. 1970

Ходят парни, увешаны бляхами.
Ходят девки в штанах раструбом.
И на шеях болтаются, брякая,
Амулеты с акульим зубом.

Грозные лица пророков,
Лица марий магдалин.
Но в сердцах не шумит у них вереск долин,
А гремит
Динамит
И пироксилин.

Эх! Поднять бы на воздух
Купол со знаменем в звездах!

Эх! Разнести бы в куски
Все от доски до доски!

Чтобы в зареве багряном
Зубья высились руин.
ЛСД.

Марихуана.
Кокаин.
И героин.

А у папенок, а у маменек
По десять домов каменных!

В банках тыщи,
Порядок заведенный,
И океаны скучищи
За каждой тарелкой обеденной.

И на папаш
Дети глядят брезгливо:

Дескать, родитель наш
Пышно созрел для взрыва.

Папашу на бочку пороховую,
Да запалить фитиль!
И сразу же Синюю птицу живую
Поймают Тильтиль и Митиль!

Я в жизнь прославляю веру —
Жить не разонравилось мне.
Подыскиваю пещеру
На солнечной стороне.

После великого взрыва
Великим пойдем путем:
И колесо, и огниво
Снова изобретем.



Пробивают в асфальте дыру
И сажают в нее деревцо,
Чтоб шумело оно на ветру
И кидало мне листья в лицо.

И окно пробивают в стене,
Чтобы вставшая из-за моста
До рассвета качалась в окне
Голубая большая звезда.

Видно так на земле повелось, —
У художника та же судьба:
Пробивают нам душу насквозь,
Чтоб запела душа как труба.

Птица бьет изо всех своих сил
Против ветра упрямым крылом.
Бог вселенную всю проломил,
Чтобы небо поставить в пролом.

Иван Елагин

ЭВЕЛИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ*

Мервиль позвонил мне из Рима. Это было в десять часов вечера, через две недели после телефонного вызова из Мексики.

— Ты приближаешься, — сказал я, — когда ты будешь в Париже?

— Встретимся послезавтра вечером у тебя, хорошо?

Он явился в назначенное время. Я заметил сразу же, что он находился в состоянии, далеко от безудержного восторга.

— Ну, рассказывай, — 'сказал я, когда он сел.

— Это не так просто, — сказал он. — В одном я уверен: никогда в моей жизни до сих пор не было ни таких серьезных проблем, ни такой ответственности за то, что происходит или может произойти. Мне предстоит множество трудностей. Что такое эти трудности, я постараюсь тебе объяснить. Начнем с того, что Лу была против моего прихода к тебе. У меня такое впечатление, что она тебя боится.

— Боится? — сказал я. — Мне кажется, что это на нее непохоже. Она просто питает ко мне антипатию. Как ты реагировал на то, что она не хотела, чтобы мы с тобой встретились?

— Я постарался убедить ее в том, что есть вещи, которых она изменить не может.

— Неужели это было трудно понять?

— Ты не отдаешь себе отчета во всем этом, ты не знаешь, что такое Лу.

— Да, конечно, но все-таки, объяснить такую простую вещь — на это достаточно пяти минут. Тем более, что она производит впечатление женщины неглупой.

— Дело не в этом. Она жила до сих пор в мире, о котором мы не имеем представления, где опасность ждет тебя на

* См. кн. «Н. Ж.» 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

каждом шагу, где никому нельзя доверять и где главное значение имеют угрозы или шантаж. Ты понимаешь? И тот, кто сильнее, у кого есть власть, может позволить себе все, потому что другие его боятся. Нечто вроде этого — почти бессознательно, если хочешь — определяет отношения между мужчиной и женщиной. Один из двух всегда, как она, вероятно, думает, сильнее другого и тому или той, кто слабее, остается только подчиняться. И вот, у нее, повидимому, создалось впечатление, что у нее надо мной есть какая-то власть. Вместе с тем, она сделает для меня все и ни перед чем не остановится. Она мне сказала, что такое чувство она испытывает первый раз в жизни.

— Эту фразу, я думаю, ты слышал много раз, — сказал я. — В этом смысле Лу ничем не отличается от других женщин, как мне кажется.

— Фраза может быть такая же, — сказал Мервиль, — но психология другая. Все это надо переделывать и перестраивать. Ты знаешь, чем кончился разговор о тебе? Она сказала, что если я не хочу принимать во внимание ее желания, то она не видит, зачем она должна оставаться со мной.

— И что ты на это ответил?

— Я ей сказал, что она совершенно свободна поступать так, как она находит нужным и что я не считаю себя вправе ее удерживать. Она вышла из комнаты и хлопнула дверью. Но через полчаса вернулась и на ее глазах были слезы.

— Все это очень дурной вкус, — сказал я, — ты не находишь? Извини меня за откровенность.

— Да, конечно, но это серьезнее. Она сказала, что понимает, что я не такой, как другие. Ты заметишь, что это тоже не ново и будешь прав, но у нее все приобретает особый характер, — и что я могу ставить ей свои условия, — опять-таки, понятие о власти. Я повторил, что она совершенно свободна и что ей нечего бояться какого бы то ни было принуждения. Я добавил, что у меня есть несколько старых друзей, которыми я не пожертвую ни для кого и что если она это считает неприемлемым, то я даю ей право и возможность распоряжаться своей свободой.

— До сих пор ты никогда так с женщинами не говорил.

Мервиль встал с кресла и сделал несколько шагов по комнате. Потом он остановился и сказал:

— Ты знаешь, я думаю, что я очень изменился за последнее время. И я думаю, что когда ты мне говорил, что я вел себя, как кретин, ты был прав.

— Я никогда этого не говорил, — сказал я, — не клеветая на меня. Я считаю тебя неисправимым романтиком. Я считаю, кроме того, что ты никогда не хотел отказаться от своих иллюзий и измерить то расстояние, которое их отделяло от действительности.

— Есть еще одно, — сказал он. — Я имею ввиду то, что происходит сейчас. До сих пор все, кого я знал, принадлежали приблизительно к одному и тому же кругу людей. Хорош он или плох, это другое дело. Но с ними у меня был общий язык.

— Во многих случаях не было, милый друг. Вспомни, как ты излагал Анне свои соображения по поводу Гегеля и Лейбница в то время, как она с трудом могла усвоить таблицу умножения.

— Да, да, — нетерпеливо сказал он. — Но в области этических понятий ей ничего не нужно было объяснять.

— В этом я с тобой согласен. Не нужно было потому, что она все равно ничего не поняла бы.

— Ей не надо было понимать, они у нее носили, так сказать, органический характер. Ее родители, и подруги, среда, в которой она выросла, — это была вполне определенная социальная категория, для которой характерна известная этическая система. Но представь себе, что ты сталкиваешься с кем то, кто об этой системе не имеет понятия, чья жизнь была построена на совершенно других принципах. Представь себе общество, которое состоит из профессиональных преступников, шантажистов, взломщиков, наемных убийц — то, что в газетах иногда называют джунглями. Мы с этим миром никогда не встречались, мы не знаем, что это такое.

— Нет, у меня о нем есть некоторое представление.

— О себе я этого сказать не могу. И вот, Лу жила именно в этой среде, во всяком случае ей часто приходилось иметь де-

ло с этими людьми. Это была не ее вина, она всегда стремилась оттуда уйти и жить иначе.

— Ты в этом совершенно уверен?

— Убежден, — сказал он. — Но до тех пор, пока этот уход ей не удавался, она должна была действовать так, чтобы себя защитить, ты понимаешь? Она привыкла всегда быть настороже, никогда никому до конца не верить и на угрозу отвечать силой.

— Конечно, то или иное прошлое не всегда определяет человека на всю жизнь, я это знаю, — сказал я. — Но боюсь, что иногда оно оставляет неизгладимый след.

— Она в этой среде была исключением, — сказал Мервиль. — Она знает четыре языка, — английский, французский, испанский и итальянский, она чему-то училась и у нее есть нечто похожее на культуру, конечно, очень поверхностную, тут себе иллюзий строить не следует. Но это в общем второстепенно. Есть главное — и об этом труднее всего говорить. Именно оно все определяет и когда ты это поймешь, тебе становится ясно, что все остальное не имеет или почти не имеет значения.

— Когда ты говоришь о главном и второстепенном, что, собственно, ты имеешь в виду?

— Ты это должен знать лучше, чем кто-либо другой, — сказал Мервиль, — это, если хочешь, твоя профессиональная обязанность.

Почему профессиональная?

— Потому, что ты писатель.

— Милый друг, быть писателем, это не профессия, это болезнь.

— Бросим эти парадоксы, — сказал он, — даже если ты в какой-то степени прав, то сейчас дело не в этом. Ты сам говоришь, что у многих людей есть несколько жизней. Я тебе это напоминаю. Одна из них, это биография, которая определяется местом рождения, национальностью, средой, образованием, бытовыми условиями. Но наряду с этим есть другие возможности, потенциальные, в этом же мужчине или в этой же женщине. Они могут никогда не осуществиться. Но именно

эти непроявленные еще возможности, именно это — вторая природа того или той, о ком идет речь, подлинная, в тысячу раз более важная, чем биографические подробности. Это главное, а остальное второстепенно. Ты со мной согласен?

— В некоторых случаях да, если хочешь. Но трудность заключается в диагнозе.

А если диагноз очевиден?

Это, мне кажется, бывает редко.

Но это может быть?

Несомненно.

Жизнь Лу, если это постараться выразить в нескольких словах, это отчаянная борьба, в которой почти не было перерывов, это общество людей, за каждым движением которых надо было следить и надо было держать наготове оружие, — так сказать символически, понимаешь?

— Может быть не только символически. Американский следователь, который приезжал на Ривьеру, рассказал мне биографию Лу. В ней многого не хватало. Но то, что он мне сказал, давало о ней некоторое представление. Она женщина опасная, ты знаешь это?

— Кому ты это говоришь? — сказал он. — Я это очень хорошо знаю. Я не хотел бы быть ее врагом.

— Боб Миллер?

— Она была в Нью Йорке, когда он был убит, а убийство произошло на Лонг Айленде.

— Почему в таком случае ее разыскивала американская полиция?

— Потому, что это совпало по времени с ее исчезновением. Лу Дэвидсон перестала существовать и за тысячи километров от тех мест, где это происходило, на французской Ривьере появилась Маргарита Сильвестр.

— Ты уверен, что это было именно так?

— Как ты думаешь, зачем я ездил в Америку вместе с ней?

— Я не знал, что ты был с ней в Америке, — сказал я, — я думал, что речь шла о Мексике.

— Мексика была после Америки, — сказал он. — Но

там, в Нью Йорке, я настоял на выяснении этого дела и с нее были сняты все подозрения. Ей не грозит больше никакое преследование. Но я замечаю, что мой рассказ выходит очень сбивчивым.

— Если хочешь, начнем сначала. После того, как она уехала с твоей виллы возле Канн и ты вернулся в Париж и давал объявления в газетах, что случилось? Как произошла новая встреча? Артур мне говорил об этом, но очень коротко. По его словам, это не ты ее нашел, а она пришла к тебе.

— Ты знаешь, — сказал Мервиль, — я не буду описывать тебе состояния, в котором я находился. И когда я спрашивал себя в тысячный раз, что произойдет, если я опять ее увижу, к концу дня, — горничная ушла, я был один в квартире, — раздался звонок. Я отворил дверь и увидел Лу. Она сделала шаг вперед и упала без чувств. Я положил ее на диван, потом приподнял ее голову и заставил ее выпить виски. Она пришла в себя. Я сел рядом с ней и она сказала:

— Я буду говорить по-английски, хорошо? Я так устала, что мне трудно говорить по-французски.

Тогда я понял, что у нее действительно не оставалось сил.

— Ты помнишь, — сказал я, — я тебя как-то спросил, знает ли она по-английски и ты мне сказал, что она говорит, как англичанка. Когда я слышал ее разговор с туристом в Каннах, у меня не было никаких сомнений, что она американка.

— Я в этом тоже тотчас же убедился, — сказал Мервиль. — Она начала с того, что ее приход ко мне, это нечто вроде капитуляции, первой в ее жизни.

Мервиль повторил по-английски ее слова и в них была несомненная выразительность и сила.

— Я никогда не думала, что это может со мной случиться, — Мервиль продолжал повторять ее слова, — у меня всегда была воля быть сильнее обстоятельств и сильнее тех, с кем я имела дело. Никто никогда не мог меня согнуть и подчинить себе. Но после встречи с тобой все изменилось. У меня больше нет ни сил, ни желания сопротивляться.

Мервиль ее спросил:

— Сопротивляться чему?

Она посмотрела на него и ответила:

— Тебе и моему чувству.

— А зачем этому сопротивляться? — спросил Мервиль, — разве в этом есть необходимость?

— Зачем? — сказала она с удивлением. — Чтобы чувствовать себя свободной, чтобы принадлежать самой себе, а не кому-то другому.

— Одно не исключает другого, — сказал Мервиль. — Тогда она спросила:

— Ты знаешь, кто я такая? Ты знаешь, почему я говорю с тобой по-английски? Ты знаешь, почему я уехала из Канн? И почему я не хотела лететь с тобой в Нью Йорк?

— Знаю, — сказал Мервиль.

Она повторила:

— Ты знаешь, кто я такая?

— Тебя зовут Луиза Дэвидсон, — сказал Мервиль. — Ты родилась в Нью Йорке и тебя разыскивает американская полиция, потому что думает, что ты убила Боба Миллера, который был человеком с уголовным прошлым и твоим любовником. Поэтому ты отказалась сопровождать меня в Нью Йорк, сказав, что ты не переносишь путешествий в аэроплане.

Мервиль сказал это совершенно спокойным голосом.

— И зная все это, ты хотел, чтобы я вернулась к тебе?

— Какое значение имеет твое прошлое?

— Но ты не знаешь моего прошлого, — сказала она. — Откуда тебе известно, как меня зовут и откуда ты узнал, что меня разыскивает американская полиция?

— Это очень просто, — сказал Мервиль. И он рассказал ей, как ко мне приходил полицейский инспектор на Ривьере, как потом я встретился с его американским коллегой, о чем они меня спрашивали, что они говорили и как я, в свою очередь, передал все это ему, Мервилю.

— Что он тебе сказал об этом? Что ты связался с преступницей?

— Нет, этого он не говорил. Но то, что ты американка, он знал до этого.

Каким образом?

Он слышал, как ты в Каннах разговаривала с американским туристом.

— И он об этом сказал тем, кто его допрашивал?

Нет.

— Ты в этом уверен?

— Совершенно. Он сказал другое, когда говорил с французским инспектором. Тот его спросил — если вы когда-нибудь узнаете, где находится Лу Дэвидсон, я надеюсь, что вы нам об этом сообщите? Он ответил, что на это рассчитывать не следует и что если он что-либо узнает, то ставить об этом в известность полицию он не намерен.

— Это меня удивляет, — сказала она. — Он всегда относился ко мне враждебно и когда я встречала его взгляд, мне казалось, что он меня готов подвергнуть полицейскому допросу. У него глаза судебного следователя и он никому не верит. Я всегда его остерегалась.

— Ты его не знаешь, — сказал Мервиль. — Он мой старый друг и я ему могу верить, как самому себе.

— Между вами нет ничего общего.

— Как ты можешь об этом судить? Ты слишком мало знаешь и о нем и обо мне. И доказательство того, что ты мало знаешь даже меня, это то, что тебя удивляет мое безразличие к твоему прошлому.

— Я чувствую себя совершенно растерянной, — сказала она. — До сих пор я всегда знала, как надо действовать и что надо думать о том, что происходит. Теперь от всего этого ничего не осталось. Я себя потеряла. Единственное, что у меня есть на свете, это ты.

— Это был очень долгий разговор, вернее монолог, — сказал Мервиль. — Она мне рассказала всю свою жизнь. И я должен тебе сказать, что всякая другая женщина на ее месте давно бы погибла, я думаю, у нее нехватило бы сил со всем этим справиться и уйти в конце концов из этого мира, который был для нее неприемлемым.

— Она тебе сказала, что ушла из дому, когда ей было пятнадцать лет?

— Не было пятнадцати, — сказал Мервиль.

— Она сразу попала в уголовную среду и оставалась в ней до последнего времени. И ее постоянное пребывание там, — тебе не кажется, что это может быть не только случайность? Американец мне сказал, что Лу прекрасно знает технику защиты, что она очень хорошо умеет обращаться с огнестрельным оружием и что человеку, который, скажем, захотел бы заставить ее делать то, что ей не нравится, пришлось бы очень скоро отказаться от этой мысли и дорого за это заплатить. Он мне привел пример этого — единственный, который он знал. Человек, о котором шла речь, оказался в госпитале, откуда он вышел инвалидом. Я не сомневаюсь, что он может быть лучшего не заслуживал, но согласись, что иметь дело с такой женщиной довольно опасно. Она тебе об этом эпизоде не говорила?

— Я этот эпизод знаю, — сказал Мервиль. — Кроме того, она стреляет без промаха, она работала в цирке, она все видит, все замечает, застигнуть ее врасплох почти невозможно и она умеет найти выход из любого положения.

— Что она тебе сказала о том, как она ушла из дому?

— Когда ей было четырнадцать с половиной лет, она познакомилась на улице с человеком, который ей очень понравился, — что она могла понимать в этом возрасте? И вот, однажды вечером он просто увез ее из Нью Йорка и они поселились в Калифорнии. Это был единственный человек в ее жизни, о котором она сохранила благодарное воспоминание. Она до конца не знала, чем он занимался. У них никто не бывал — и она только потом, значительно позже, поняла, что он охранял ее от среды, в которой он жил. Он часто говорил ей: — когда меня не будет... или — когда мы расстанемся, не забывай одного: не верь никому. Он это повторял много раз. Что она скоро заметила, это, что он никогда не расставался с револьвером.

Мервиль покачал головой.

— Он был ее учителем, если хочешь. Он ей излагал свою несложную философию: никому верить нельзя, мир построен на зависти, ненависти и страхе перед силой. И надо жить так, чтобы быть готовым к тому, что завтра может быть тебя не

станет, как на войне. Он учил ее, как надо защищаться, если на тебя нападают и надо сказать, что она оказалась очень способной ученицей. В прошлом этого человека, как она узнала потом, было несколько убийств и были годы тюрьмы. Однажды вечером раздался звонок в их квартире, он отворил дверь и увидел двух полицейских. Лу выбежала в переднюю, когда услышала два выстрела. Он ранил одного полицейского в плечо, но второй сразу открыл огонь и первая же пуля оказалась смертельной. Он лежал на полу, в крови, и когда Лу опустилась на колени перед ним, он успел сказать два слова, всего два: «не забывай».

— Не забывай! — повторил Мервиль. — И этого она не забыла. Ты понимаешь? Все-таки, его последняя мысль была о ней. Не забывай. Не забывай, что жизнь беспощадна. Не забывай, что никому нельзя верить. Не забывай, что смерть ждет тебя на каждом шагу. И может быть последнее: не забывай меня — что-то настоящее и человеческое в этом мире отчаянной борьбы, исход которой рано или поздно предreshен: «когда меня не будет». И вот тогда, стоя на коленях перед его телом, не понимая, что перед ней уже только труп, она кричала: не умирай!

Губы Мервиля дернулись.

— Так кончилась ее первая любовь. Что можно сказать после этого?

— Ты знаешь, — сказал я, — мне кажется, что в этих нескольких месяцах ее существования, которые кончились так внезапно и так трагически, уже заключено то, что определило всю ее жизнь, вплоть до встречи с тобой. Прежде всего, это предостережение. Если б она забыла о нем, она, я думаю, так же, как и ты, погибла бы. Ее спасло то, что после этого она всегда была настороже. И еще одно, самое главное. До тебя он был, вероятно, единственным человеком, которому она верила, которого не надо было остерегаться, который ее действительно любил, и которого она любила.

— Она говорила о себе в самых жестоких выражениях, — сказал Мервиль. — Ты знаешь, что она мне сказала? Если считать, что любовь невозможна без нежности, то я никогда никого не любила, никого из всех тех, кто был мне близок.

— Кроме первого, — сказал я.

— Она мне сказала, — продолжал Мервиль, — что у нее нередко бывали припадки холодного бешенства. Я думаю, что ее исключительное физическое совершенство, этот неисчерпаемый запас силы, все это требовало какого-то выхода, ты понимаешь? И то, что она работала некоторое время в цирке, мне кажется, вполне понятно. Случайностью было то, что она познакомилась с цирковым акробатом. Это был силач, который держал на себе целую пирамиду гимнастов, выжимал штанги и жонглировал гирями. Она стала путешествовать с ним и потом он начал ее тренировать для выступлений. Через некоторое время она появилась на арене цирка, в Чикаго. Потом она подготовила еще несколько номеров. Она метала ножи, затем она заменила ножи стрельбой из винчестера. А в свободное время она изучала стенографию — и вот однажды, она ушла из цирка, уехала в другой город и стала секретаршей.

— Об этом мне тоже говорил мой американский собеседник.

— Я не могу повторить все, что она мне рассказала, — сказал Мервиль. — У нее есть некоторые особенности: она требовала, например, к себе известного уважения, на которое она не могла — так, по крайней мере, многим казалось, — рассчитывать. Кроме того, она не придает особого значения дням, купить ее нельзя. Это тоже отличало ее от многих женщин. Все это вызывало нередко недоразумения и некоторые из них кончались трагически. Одним словом, когда ты слушаешь рассказ о ее жизни, то самое удивительное в нем это то, что она осталась жива и невредима.

— У нее для этого были данные, которых не было бы у другой женщины.

— Несомненно. Прежде всего, нечто похожее на безошибочный инстинкт, она всегда чувствовала приближение опасности.

— Не говоря о том, что она сама представляла собой опасность для всех, кто имел с ней дело.

— Не для всех, — сказал Мервиль, — но для многих.

— Ее прошлое, — сказал я, — это трагедия, бегство, опасности. И после всего этого, в тысячах километров от тех

мест, где это происходило — последняя по времени встреча, то есть ты, бедный и беззащитный романтик. Удивительная судьба, ты не находишь?

— Ты знаешь, — сказал Мервиль, — я часто упрекал себя в том, что допускал очевиднейшие ошибки, заблуждался, был жертвой иллюзий — и если бы я этого сам не понимал, то ты бы мне это напомнил, ты, впрочем, делал это много раз. Но никогда еще я не был так убежден, что я действую правильно, как я в этом убежден теперь. Считаешь ли ты, что я ошибаюсь и на этот раз?

— Этого я не знаю, — сказал я. — Но я думаю, что у тебя нет выбора. Я думаю, кроме того, что у нее тоже нет выбора и это ее последний шанс. Если она этого не поймет, это будет конец. Выхода у нее, мне кажется, нет.

— Ты думаешь, что я незаменим?

— Для нее — да.

— Почему?

— Я тебе скажу это в другой раз, мне нужно об этом подумать. То, что я тебе только что сказал, это не логический вывод, это ощущение, интуиция, если хочешь, то есть то, что, как ты думаешь, для меня совершенно не характерно. Но это именно так.

(Продолжение следует)

Гайто Газданов



О, желаний непостоянство!
Превращается время в пространство,
Как об этом Бергсон говорил.

Дом. Высокая плоская крыша
И на грязной стене афиша
Трехаршинная: «Танец Горилл»:
«Два сеанса: дневной и вечерний» —
Для спящей по улицам черни.

Надо думать совсем о другом.
Вот я вспомнила: «Будьте, как дети!»
И сейчас расцвету в улыбку,
Превращусь в золотую рыбку,
Или в сизого голубка,
Или лучше — размыслив слегка,
Превращусь в бездушный предмет —
Но в предмет, которого нет...
На бездарной этой планете.



Скоком-скоком, боком-боком
По прямой и по косою,
Время катится назад
В Петербург и в Летний Сад.
Стало прошлое так близко:
Я — подросток. Я — студистка
С рыжеватою косою.
Я — невеста. Я — жена —
И, очнувшись вдруг от сна,
Вспоминаю:

Я — вдова...
...Всё слова, слова, слова...
Хоть бесспорно жизнь прошла,
Я все так же весела
И во сне и наяву
С восхищением живу.

Ирина Одоевцева

О ДВУХ ИСКУССТВАХ: ВЫМЫСЛА И СЛОВА

За вычетом всего закрепленного в словах, но чего мы к искусству не причисляем, остается, согласно тому, что века нас выучили думать, единое, при всем многообразии, словесное искусство в прозе и стихах. Но это неверно: останутся два искусства, настолько разных, хоть и сочетаемых, совместимых, да и выросших из того же корня, что лишь одно из них вполне имеет право именоваться искусством слова, тогда как другое не воплощается в словах, а лишь пользуется ими, чтобы при их посредстве, но не в них самих, явить настоящую свою материю или плоть, у которой если не на всех языках, то по-русски есть и вполне подходящее имя: вымысел.

Много путаницы, бесплодных споров, обманчивых формулировок, сомнительных теорий и в тупик заводящих методов можно было бы избежать, усвоив раз навсегда незамысловатую эту истину, которая, в отдельных своих проявлениях всеми всегда молчаливо признавалась, оставшись по сей день не осознанной полностью никем. Требуется, однако, именно полное осознание ее, как для построения внутренне не противоречивой теории искусства вослед такой же "теории словесности" (по старенькому нашему, вовсе не плохому выражению), так и для решения неизбежного предварительного вопроса, еще и ставшего с некоторых пор особенно насущным: о взаимоотношениях литературоведения с языкознанием, все несговорчивей претендующим регламентировать его на том, вполне будто бы достаточном, основании, что словесность имеет дело со словами, а значит, тем самым есть "явление языка". Попытаюсь в дальнейшем показать, что претензия эта не оправдана даже и касательно искусства слова, в точности отвечающего своему имени; но сперва обращусь к другому, не словесному в своей основе, хоть и в словах предстоящему нам искусству, на ко-

торое претензия эта столь же нераспространима, как на ботанику или юриспруденцию, тоже ведь излагаемые словесно, и которое в первую очередь надлежит ближе охарактеризовать, чтобы отличие его от соседнего искусства, хоть и не всегда, но часто сочетаемого, а потому и смешиваемого с ним, выступило с полной ясностью.



Есть две области, где отличие это столь очевидно, что нельзя его не заметить, хоть и можно недооценить: постоянно наблюдаемая разграниченность дарований и неодинаковая податливость текстов при их переводе на другой язык. Ни от Тютчева, ни от Розанова никто ведь не ожидал драм или романов, и точно также ни один литератор не станет отрицать, что “*Une saison en enfer*” несравненно трудней перевести, чем “Давида Копперфильда”, и что при одинаково плохом переводе несравненно больше уцелеет от любого романа или драмы, чем от стихотворения, от насыщенной выражением прозы, от многих афоризмов, пословиц или острот. *Несравненно* — в этом все дело; заменить словесную оболочку вымысла иноязычной словесной оболочкой, при которой вымысел остается тем же, вполне возможно; заменить звуко-смысловую ткань произведения, которое все из нее и состоит, нельзя, не разрушив его или не подменив быть может не худшим, быть может даже и лучшим, но неизбежно другим произведением. Непереводимость начинается там, где кончается искусство вымысла и где начинается искусство слова, и достигает высших степеней на высших уровнях его, где словесная ткань всего менее становится похожей на ту, которой вполне способен довольствоваться вымысел. О нем самом было бы даже неточно и недостаточно сказать, что он легко переводим: его совсем и не переводят, а только сохраняют при переводе. Теоретики литературы, и даже перевода, этого не учитывают, лишь о степенях трудности толкуют, основного различия не замечают, а потому и не делают из очевидных фактов столь же очевидных выводов. Раздельность дарований, всего резче сказывающуюся там, где при большом словесном мастерстве, в стихах или прозе, отсутствует всякая способность — и всякая потребность — **вымышлять**, они склонны сводить к незначительности ссылкой на неопределимую, но и недоказательную возможность совмещения их

в одном лице, или приравниванием к тому дроблению способностей, что и сатирику подчас не позволяет стать лириком, или драматургу романистом.

Это последнее различие — достопочтенное: эпоса и драмы — являет пример тех жанровых классификаций, которые вместе с более общими, но столь же привычными, всегда и мешали верно оценить другое, более глубокое несходство. Унаследованное от греков и, разумеется, вполне реальное различие это представляется, благодаря театру, особенно наглядным. Оттого должно быть английское слово *fiction* на драматургию и не распространяется, — как если бы драматург мог обойтись без вымышленных лиц и положений. В противоположность этому, применяемый иногда и в английском обиходе французский термин *Belles Lettres* покрывает все разновидности литературы, считаемой искусством, ориентируясь по преимуществу на искусство слова, но без четкого отделения его от искусства вымысла. Зато — куда как оригинально — наша заимствованная через немцев у французов, но тотчас съезжившаяся “беллетристика” объемлет один только вымысел, а на долю “поэзии” оставляет лишь написанное в стихах, так что все прочее писательство оказывается за пределами искусства. Достигают этого и немцы, когда возвеличивают одну лишь *Dichtung* (вымысел и заодно с ним стихотворство), отодвигая остальное в неизвестную тьму, вроде как Верлен в знаменитом своем “*et tout le reste est littérature*”. В серьезных своих книгах они, правда, приговор этот смягчают, воздерживаются от подхваченного напистами противопоставления незинной (т. е. для них безвредной) *Dichtung* “разлагающему” (и для них опасному) “цивилизационному литераторству”; но и поныне в одном ящике немецких письменных столов лежит вымысел вместе с лирическими стихами, а в другом литература — неизвестно с поэзией ли (обходящейся без стихов) или вовсе без поэзии.

Так или иначе, все эти разделяющие или соединяющие, каждая по своему, классификации затуманивают разность двух квартирующих на полях Словесности равных по достоинству искусств, а наша доморощенная номенклатура, как будто, и правильно проведя границу, делает ее, для прозы, границей искусства и неискусства, так что, тот к кому неприменима кривобочная кличка “беллетрист”, разве что по снисхождению зовется даже и писателем. Недаром наши “толстые” (слишком толстые)

журналы печатали шрифтом покрупней одни лишь романы и рассказы, а толстожурнальная наша критика так и не догадалась, что в “Былом и думах” гораздо больше художества, чем в герценовских повестях и что “Исповедь” Толстого не на низшей ступени стоит в искусстве слова, чем “Анна Каренина” в искусстве вымысла.

Толстой един, и два его искусства в его даре и совести едины, хоть и два их все-таки, а не одно (к чему я еще вернусь), но у нас лишь первое, самое явное ценили, другого не замечали, как не замечали никакого те, кто в Толстом видели учителя. Итальянцы, испанцы, французы, англичане, если бы стали перечислять величайших своих писателей, без сомнения назвали бы больше мастеров слова, чем волшебников вымысла, а немцам известно, что у них и во второй половине прошлого века значительней не было писателя чем Ницше, который романов не писал. Наша литература поздно началась, в век романа возмужала; оттого романистами и оказались величайшие наши писатели, а искусство стихотворного слова и пышней, и намного раньше у нас расцвело, чем искусство слова без стихов. Намечалась тут несомненно в начале нового века перемена; последствия запоздания были бы постепенно изжиты; если бы не водворилось у подножья нашего Парнасса закорузлое, на шестидесятнических началах Московское Царство, где словесного приказа дьяки все писательское дело сводят к обмундированию типических действующих лиц. Называется это у них созданием “образов”, но мне, увы, напоминает седую старину, когда, согнувшись над партией, писал я плохим учителям “сочинения” на заданные ими темы: “Хорь и Калиныч, два типа крестьян у Тургенева” или “Казаки в изображении Гоголя и Льва Толстого”.

Нужно, однако, сказать, что младенчески-упростительное ограничивание литературы (не считая стихов) одной “беллетристикой”, т. е. вымыслом, да еще и вымысла одним изображением характеров, которому все прочее подчинено — не единственный, а лишь один из двух противоположных способов затемнять подлинное соотношение двух искусств внутри того, что мы зовем литературой. Заблуждения — обратные заблуждения — на этот счет подсказываются и той мощной эллинистическо-римской, гуманистической (в Италии возрожденной) и еще в недавние годы весьма живой (во Франции больше, чем где-либо) традицией, отводящей первое место искусству слова.

О романистах историки и критики, ею воспитанные, судят прежде всего, как о стилистах, — а если и не “прежде всего”, то все же без учета той несомненности, что “сочинители” эти сочиняют, а не просто излагают и выражают свои мысли, чувства и чувство-мысли.

Брюнетьер возмущался стилем Бальзака, совершенно забывая, что Бальзак другого склада — нет: другого искусства — был художником, чем Шатобриан или Жозеф де Мэстр. В учебнике Лансона, по которому сдавали экзамены поколения французской молодежи, Стендаль объявлялся писателем без стиля, говорилось даже, что “форма” у него безразлична, служит лишь для “аналитической записи мыслей” (чем как раз и разоблачалось, что под “формой” Лансон лишь словесную ткань и разумел). А не дальше, чем в тридцатых годах, когда Андре Жид по заслугам оценил полицейские романы Сименона, поняв насколько превышают они обычный уровень этого рода книг, он все-таки не мог не воскликнуть: “какой это был бы писатель, если бы у него было побольше стиля!” — хотя манера писать этого автора в точности отвечает характеру его вымысла, как и (отнюдь не та же самая) манера Стендаля с непревзойденной ясностью нам являет сочиненное им, то самое, что он задумал нам явить.

Конечно, вопрос о языке, о стиле для “беллетристики” не отпадает; критик вправе забраковать роман на основании немногих его страниц, слишком уж беспомощно или малограмотно написанных (да ведь и о вымысле он кое-что из них узнает); но казалось бы ясно, что отсеяв макулатуру, он язык, излагающий вымысел оценивать должен в связи с вымыслом, а не безотносительно к нему. Простое это правило лучше соответствует, однако, нашей традиционной односторонности, чем западной, да и сверх того навстречу идет идеологическим обязательствам нынешних наших верноподданных и поднадзорных авторов. Раскроем “Основы теории литературы” Л. И. Тимофеева, и мы тотчас увидим, что сей Lanson moscovite (если не по части истории, то теории), за которым робкими, но вполне покорными шажками следует Л. В. Щепилова в своем “Введении в литературоведение”, усердно оспаривает “взгляды, трактующие литературную форму лишь как явление языка” (стр. 137), а затем повстречаем у него и такую, хоть и требующую уточнений, но достойную все же рукоплесканий фразу (стр. 185):

“Язык есть форма по отношению к образу, как образ есть форма по отношению к идейному содержанию произведения”.¹ Если прилагательное “идейный” пока что из поля зрения изъять, а на место “образа” подставить в обоих случаях “вымысел”, получится нечто в основе своей верное и отнюдь не часто понимаемое или учитываемое как раз на Западе, хоть о полной слепоте к этой истине со стороны бедненьких здешних буржуазных недоучек все же не приходится говорить.

Еще в 1947 г. Этьен Сурио² очень отчетливо предложил, в литературных произведениях, начиненных (грубо выражаясь) вымыслом, считать этот вымысел не их содержанием, а их формой, облеченной в другую форму, в слышимую или читаемую нами словесную ткань. Белоэмигрант Вейдле тоже каким-то чудом (без помощи — подумать только — марксизма-ленинизма, как и Сурио, да и без помощи Сурио) дошел до таких же взглядов, высказанных им под конец в статье, на которую он ссылается, однако, лишь для того, чтобы избежать дальнейших сносок, так как знает, что догадывались об этом и другие, в самые различные времена, начиная с Аристотеля.³ Сурио сумел и Стендаля защитить, подчеркнув, что тот как раз очень много искусства вложил в незаметность, полнейшую прозрачность своего слога. И задолго до всех нас, в 1905-м, потом в 1908-м году, венский философ Гомперц, вскоре после войны скончавшийся в Америке (сын Теодора, Генрих) весьма кстати внимание свое обратил на тот факт, что средний читатель романов вообще не замечает их языка: вымысел разворачивается перед ним, как если бы слов

¹ Покойный акад. Виноградов цитирует эту фразу, как встретившую у других сочувствие, но не высказывая ясно собственного отношения к ней, в своей книге, о которой будет еще речь, «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика». М. 1963, стр. 111, по Л. И. Т-ев. «Проблемы теории литературы», 3-му изд. М. 1966. Насчет первой цитаты скажу, что «взгляды», конечно, «трактовать» ничего не могут, но это не к мысли относится, а к суконности слога, делающей, к сожалению, эту (в отличие от «Введения» г-жи Щепиловой) не сплошь скудоумную книгу крайне неприятной для чтения.

² Французский философ, автор многих работ по эстетике. См. его переизданную в 1969 г. книгу “La correspondance des arts”, Paris, p. 155.

³ Jahrbuch fuer Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft (Festschrift Gantner). Bonn. 1967. “Die zwei Sprachen der Sprachkunst”.

Там и ссылка на Гомперца и другое относящееся к нашей теме.

рисующих, преподносящих его совсем и не было. Точно также (прибавлю от себя), как в обыденной жизни: я попросил воды и мне дают воду, вовсе о том не заботясь, какими словами я о ней просил. Житейский “словообмен” так именно и происходит — до первой осечки; Жан Полян сравнил это с перебрасыванием мяча в теннисной игре: лишь пропустив мяч мы замечаем наше движение, наклон ракетки. Происходит же это чередование реплик именно так, потому, что житейский язык имеет дело с фактами и вещами; его слова обозначают эти факты и вещи, не выражая своего смысла, лишь частичка которого нужна для обозначения фактов и вещей.

Если я скажу врачу, что сердце у меня пошаливает и трепещет ночью, — ни “сердце”, ни “трепет”, ни “ночь” не раскроют при этом своего хорошо (слишком хорошо, скажут нынче) известного поэтам неопределенно растяжимого, на сто ладов окрашиваемого смысла; да и “пошаливает” игривости, в нем заложенной, не приобретает. Если же и для врача “сердце” значит совсем не то же, что для меня, то здесь это не различие смысла слова и его значения, а различие обиходного его значения и его значения как понятия, да еще обогащенного и утонченного наукой.

В этом различии словоприменений и словопониманий все дело, но прежде чем указать на роль играемую им в разграничении двух словесных искусств, нужно рассеять сомнения тех, кто уже успел должно быть нам в укор шепнуть, что не все романисты пишут, как Стендаль (еще бы, это и не всем доступно) или, как Сименон, и уж тем более, как те поставщики времяпрепроводительного чтения, изделия коих “ваш Гомперц, нужно думать, столь быстро и проглатывал”. Занятием таким и в самом деле ученые мужи нередко заполняют свой досуг, но скорей физики или медики, чем те, кому с Платоном расстаться трудно. Гомперц уж, конечно, Штифтера, да и Шницлера *так* не читал, но случилось должно быть ему наблюдать простодушных юнцов, которые именно так (и не они одни) читают любые повествования от Гомера до наших дней, еще и пропуская притом в “Илиаде” список кораблей и описание ахиллова щита, а в “Войне и мире” масонство и философию истории. Но важно не то, кто так читает и хорошо ли так читать; важно, что Платона так не прочтешь и Тютчева тоже, ничего от них при таком чтении не получишь, тогда как вымысел, усвоенный без малейшего внимания к словам

— каков бы он ни был, впервые созданный или пересказанный в десятый раз — останется самим собой, тем, о котором Пушкин промолвил “над вымыслом слезами обольюсь”, совсем не имея в виду качеств его сказа или пересказа. В неумелом изложении или плохом переводе он, конечно, понесет ущерб, но *главное* сохранит, поскольку самый состав его не подвергнется порче, вроде замены трагического конца благополучным или усечения вводных глав в первых французских переводах “Гамлета” и “Братьев Карамазовых”. Без сомнения Флобер и тем более Пруст гораздо сильнее пострадают, чем Стендаль в средней руки переводе, но ущерб потерпит и у них не вымысел, а то искусство слова, которое они так щедро — можно спросить себя порой, не слишком ли щедро — с искусством вымысла сочетают.

Стендаль всеми силами искусство слова обуздывал, другому подчинял; но само по себе оно ничуть вымысла не хуже, и у Пруста порой оно заставляет нас о вымысле забыть (если мы читаем его не в переводе Франковского, а в оригинале, или в английском Скотта Монкриффа). Пруста мы за это корить не будем: его книга и вообще лишь частично вымыслом жива; но узорчатый слог Жироду как-никак его романам повредил, и горделивое заявление Жан-Поля Рихтера “переводимое художественное произведение не заслуживает быть переведенным” слишком уж сплеча разрубает гордиев узел, а главное смешивает два искусства, что он делал и в писаниях своих и что двойному очень большому дарованию его в конечном счете не пошло на пользу.

Совмещение этих двух дарований — и двух искусств — далеко не у всех и не всегда проходит гладко, нередко давая трудностью этой пищу критике. Виноградов, в упомянутой уже книге (стр. 190 сл.) приводит сюда относящиеся (хоть он этого и не видит) суждения Олеши (из записей “Ни дня без строки”) о прозе Бунина. Олеша ставит Бунину в упрек чрезмерное обилие “красок” и “деталей”, не отдавая себе отчета в том, что “детали” относятся к изображенному, т. е. к вымыслу или его реквизиту, а “краски” к искусству слова, проявившемуся в характере изображения. О себе он говорит: “Я только показыватель вещей”, но ведь именно показывать вещи и можно с деталями, как и без деталей; сколько деталей ни нагромозди (в чем он как раз упрекает и Хемингуэя заодно с Буниным) это все-таки будет показыванием вещей, с красками писательской речи не имеющим ничего общего. Виноградов неувязку заметил, но ее настоящего смысла

не уловил, а спутанного с этим другого обвинения (насчет “красок”) тоже в точности не взвесил. Оно, с определенной точки зрения, оправдано. “Смерти Ивана Ильича” Бунин не мог бы написать. “Нужно ли такое обилие красок, как у Бунина?”. “В конце концов рассказ не есть развертывание серии эпитетов и красок”. У Стендаля их и нет. “Сила прозы не в красках”. Олеша был бы прав, если бы написал “сила вымысла”, а не “сила прозы”. Или по крайней мере близок к правде, и Виноградову, несогласному с ним, именно это следовало ему сказать. Тем более зная (и сославшись на них) бунинские слова: “А зачем непременно роман с завязкой и развязкой?... И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее...” Но Виноградов, при всей начитанности и языковедческих знаниях своих, при всем, отчасти и успешном, стремлении избавить свои рассуждения от идеологической пакли, все-таки не понял до конца того, о чем он на этих и не на одних этих страницах своей книги говорит: не понял, что речь идет о споре искусства слова с искусством вымысла.



Интересен в этом споре не спор, а обнаружение спорящих сторон. Незачем Бунина, Флобера или Пруста превозносить за счет Стендаля или Свифта; незачем и Олеше осуждать Бунина. Но побуждения к такого рода оценкам не могут нас не интересовать: к различию двух искусств именно они приводят нас вплотную. У Толстого между “Исповедью” и “Смертью Ивана Ильича” разрыва нет; характер его речи таков, что резко менять его не нужно; но все-таки “Исповедь” ею одной живет, а “Смерть Ивана Ильича” осталась бы живой и в пересказе; неудивительно, что после “Исповеди” Толстой не раз испытывал желание от вымысла вовсе отказаться; неудивительно и то, что он отказа этого не осуществил. Бунина, напротив, самый характер его речи с давних лет направлял к “Жизни Арсеньева”, наиболее зрелому и значительному произведению его, где вымысел почти полностью заменен лирической исповедью, прямым словесным выражением (рудименты вымысла есть и в лирических стихах; “Для берегов отчизны дальней” крупницы его не лишено). Флобер постоянно мучился сомнениями насчет того, какой характер речи в романе допустим и какой не допустим; о звуковых повторах решил: недопустимы: но разгуливая по кабинету

“рычал” свои фразы с такой любовью к ним, что первая, в “Саламбо”, оказалась насквозь протараненной тромбонной аллитерацией на р, чего он вовсе и не заметил. Не следует, однако, думать, что вполне действенный вымысел так-таки совсем и не совместим со звуковой, ритмической, образной и какой-угодно вообще насыщенностью слова. Сила вымысла, что и говорить, не в “красках”, но чтоб на слове поймать это словцо, можно вспомнить пурпурные ковры, по которым Агамемнон, из Трои возвратясь, шествует, босой, навстречу смерти. Здесь, правда, образ опредмечен, стал частью вымысла, в эсхиловом стихе (957) не застрял — так что это уже и не “краска”, а “деталь” — но такое сценическое о веществе, хоть здесь и прекрасно, совсем не обязательно. У трагиков, как и у Гомера, великолепие слова вымыслу не вредит, сливается с его великолепием, и описательные отступления задерживают действие, но не лишают осязаемости мир. Недаром и архитектура ранней Греции, как и ее скульптура, не чуждались, вопреки их нынешнему виду, красок, но “живописными” от этого не делались.

Однако, Аристотель (о если б знал это Олеша!) уже, так сказать, был недоволен Буниным. В “Поэтике (1460 b 2) он рекомендует повествователю остерегаться “чересчур блестящего слога, затемняющего характеры и мысль” (т. е. мыслью этой сплетенный вымысел). Так что слияние не устраняет разности, вопреки тому, что скептический мой читатель быть может не раз собирался поставить мне на вид. Но чтоб уж совсем головой себя ему выдать, приведу последний пример, из времен сравнительно недавних, самый яркий пример совмещения на равных правах двух “словесных” искусств и самый убийственный (если не всматриваться) для моих тезисов: пример Шекспира. Величайший он драматург и величайший поэт; мастер вымысла и не меньший мастер поэтической речи. Притом из “Макбета” и впрямь, как из песни, слова не выкинешь (б. м., впрочем, и оттого, что уже это сделано до нас: намного короче “Макбет” не только “Гамлета”, “Лира”, но и всего другого). Да и кто же захочет поступиться — в любой из трагедий, “историй”, комедий — хотя бы частью сверкающей этой переливчатой, чешуйчатой, со всего мироздания по лоскутку собранной и в слове зазвучавшей образной ткани, остаться при одних интригах, проказах, кознях, заговорах, смертоубийствах, королях, героях, злодеях, жертвах и шутах, — при широком ноже, которым Шейлок го-

товится вырезать фунт человеческого мяса? Как никто, вместе с тем, не откажется и от ножа, от актера, сладострастно оттачивающего его на авансцене; от черномазенькой и влюбленной, как кошка, дочки его, Джессики; или от Офелии, которую вовсе и не на сцене мы видим, а на картинке, мирно опочившей средь водяных лилий в тихой заводи; от Фортинбраса на фоне пик и знамен, при рокоте труб, после того, как пронзенный лицедей — и второй, и третий, и еще один — грузно рухнул на вздрогнувшие подмостки:

Пусть Гамлета четыре капитана,
Как воина поднимут на щитах!

— Так что и стихи вспомнили? — Люблю. Еще не родившийся Гумилев нашептал их должно быть Кронебергу. — Но значит все неразрывно, все одно? — Согласен. Радуйтесь. А все же, если всмотреться...

Давно известно, что елизаветинский этот “потрясатель сцены” (как его назвал современник, играя его именем), покуда не писал сонетов и поэм, подобно другим драматургам и романистам для разношерстнейшей публики трудился, как еще и гораздо позже у нас, когда на Западе это стало редкостью, Гоголь и Чехов, Достоевский и Толстой. Низколобых от высоколобых (пользуясь полушуточным английским выражением) не отделял; не держал прицела (как Диккенс или Золя) и на среднелобых. Элитот, конечно, прав: “Для самых простодушных была завязка и развязка, для более вдумчивых — характеры и рознь характеров, для литературно подготовленных слова и слог, для музыкальных ритм, а для наиболее понятливых и чувствующих — смысл, открывающийся постепенно”.⁴ Но если по этой линии мыслить, того основного различия как раз и не заметишь, хотя оценка вымысла (куда входит и действие, и хор действующих лиц, и тема, и окраска целого, с ней связанная) быть может и требует меньшей литературной искушенности, чем оценка слова. Скажу попросту о себе верное, думаю, и о многих: когда я читаю Шекспира, мне хочется его видеть на сцене; когда я вижу его на сцене, мне хочется его перечесть. О Мольере я сказал бы лишь первое; о Расине — только второе, хотя и он — великий драматург. При всей живости и меткости его слова,

⁴ “The Use of Poetry and the Use of Criticism”, 1933, p. 153.

Мольер в игре и говорении актеров реализуется сполна, тогда как Расин, на нынешней сцене, теряет музыку стиха, отчего меркнет или грубеет и музыка его вымысла. Не исчезает; но еще менее исчезает у Шекспира, чья речь даже в переводе, даже в устах грубоватого актера, даже при серьезных искажениях, сохраняет свою неистребимую энергию. Словесная гармония Расина похожа на plain-chant, униссон; малейшая фальшь: все погибло; но если сфальшивит валторна, и даже Вальтраута, в “Гибели богов”, мы организованную цельность всего звукового моря от этого не перестанем чувствовать. Шекспир и Вагнер несравнимы; я сравниваю лишь устойчивость полифонической их речи. У Шекспира она очень велика, но все же не так велика, как устойчивость его вымысла. Читая его, я этот вымысел воображаю, но так мудро он к актерству применен (это роднит его с вымыслом Мольера, но не Расина, который актером не был, и ослабеваает эта “сценичность” — не ослабляя поэзии — лишь в “Цимбелине”, “Зимней сказке”, “Буре”), что пусть и средней руки театр непременно мне его довообразит, как я и не гадал (и каждый раз немножко по другому). Зато в театре я речь его полностью не слышу, не успеваю в нее вникнуть, не могу два раза прочесть тот же стих; слышу отклик на него в действии, но не его отзвук в собственной душе.

Устойчивость вымысла легко обнаруживается там, где с устойчивостью слова ее уже никак не спутаешь. Существуют многим поколениям памятные и прелестные в общем Tales from Shakespeare для детей, Чарльза и Мэри Lamb. Рассказики эти шекспировский вымысел обнажают и облачают его затем в ситцевую домашнюю одежку, но все же не калечат, дают ему жить и цвести, могут и в самом деле служить подготовкой для восприятия его сквозь словесную его плотть, — которую все-таки совлечь с него, как наряд, как убор, было не вовсе невозможно. Мыслим был бы (если о детях позабыть) такой пересказ и обеих поэм; но уж никак не сонетов и не песенок, неизменно вынимаемых из драм составителями лирических антологий. Граница тут ясна, и она та же, конечно, что и для перевода.

Маршак с большим искусством перевел сонеты, но лишь ценой такого упрощения их словесной ткани, т. е. в данном случае их самих, что приходится это сравнить не с пересказом вымысла, оставляющим нетронутым вымысел, а скорей уж с моралистическим обезвреживанием шекспировского текста, не-

когда произведенным знаменитым (в кавычках) Бодлером. Путем поэтической этой бодлеризации Маршак неперебиваемое из сонетов устранил; остальное — превосходно — перевел. Пастернак, переводя трагедии, совершил совсем другую операцию: он их словесную ткань полностью перекрасил на свой лад, вследствие чего она стала больше к себе привлекать внимание, чем у других переводчиков и даже у самого Шекспира, поскольку мы ее слышим, сидя в зрительном зале, и подчиняя тем самым искусство слова искусству вымысла. Вымысел оказался обвернут новой, не только другого языка, но и другого века, да и для других плеч вытканной словесной пеленой. И все-таки, в отличие от звуко-смысловой ткани сонетов, он остался тем же. Шекспир пострадал, но ровно в той мере, в какой пострадало искусство слова, сопряженное, сращенное им, в трагедиях, как и повсюду в его театре, с искусством вымысла. Сращивание привело к единству, но не к нерасторжимо-му единству. Вымысел не пострадал. Покуда сам он не поврежден, остается он тем же при всех изменениях передаточного аппарата.



Слово это, которым я все время пользовался — драгоценное. Очень жаль, что его нет у французов, у немцев, у англичан. “Фикция”, в английском обиходном смысле, как и в расширенном, много хуже. Но есть дефекты и у “вымысла”. Внушает и он мысль о чем то “из пальца высосанном”, “фиктивном”, нарочито несходном с действительностью, нарочито придуманном, “чтоб пыль пустить в глаза”. Да еще и придуманном тем самым лицом, через посредство которого он стал пьесой или романом. Устранить это последнее недоразумение легко: у Шекспира одна только “Буря” не основана (повидимому) на чужом вымысле; вся елизаветинская драматургия, вся испанская тех же времен, вся французская “великого века”, вся классическая немецкая держатся на вторичной (если не в третий, четвертый, десятый раз произведенной) разработке далеко не новых вымыслов. И хотя позже новизна стала куда притче соперничать со стариной, а роман и всегда был готов отдать ей предпочтение, все же это доказывает, что определяющего значения признак изобретения для понятия “вымысел” иметь не может.

Аристотель и вообще то, что мы зовем или что следовало

бы нам звать вымыслом, называет мифом, опираясь, конечно, на трагиков и Гомера, но поправляя и вообще даже не одну лишь эту, но и первую важнейшую оплошность наших терминов: не только Софокл не придумал сам своего Эдипа, но и весь этот вымысел или миф никаким ведь образом “фикцией”, чем то нарочито и наперекор правде сочиненным назвать невозможно. Миф высказывает нечто, чего без мифа высказать нельзя. Этого нам достаточно. Именно в этом вымысел и миф — одно. Вымысел — язык, другим языком незаменимый.

Тут мы к узлу всех недоразумений и подошли, а значит, только теперь и можем надеяться их распутать. Как раз потому, что вымысел есть язык, он языку, в обычном смысле слова, и не подвластен: прибегая к нему, не отождествляется с ним, по природе своей вполне от него отличен. Это *другой* язык. Не будь первого, не было бы и его, но человек тогда и вообще не был бы человеком. Вероятно, вымысел из слов, в каком то их междусловии родился; вылупился, во всяком случае, из мысли уже обретшей слово; но его природы (кроме как человечности ее) и всего его дальнейшего пути это еще ничуть не предreshает. Предстоит он нам чаще всего в словах, но вовсе не всегда. Немало греческих мифов (или их частей) и дошло-то до нас лишь в изображениях, а не в письменных источниках; с остальными знакомимся мы сквозь два излагающих их, вторичных в отношении к вымыслу языка — для глаз и для ушей. Точно также тысячу лет и все христианское изобразительное искусство если с этой, а не с нынешней нашей смаковательной стороны на него смотреть, было и впрямь той священной грамотой для неграмотных, которую так прозорливо в нем усмотрел папа Григорий Великий. Без вымысла, живописи на свете и вообще было бы не много, а скульптуры, если не считать орнаментального рельефа, и совсем бы не было. Но для новейших поколений лучше нет свидетельства о бессловесном вымысле, чем фильм, и вовсе не один немой: слово и в говорящем главной роли не играет. Вымысел не только не слово, он и не вынужден пользоваться словом. Пусть многим зрительным изображениям предшествовали словесные, обобщить этого во всегдашнее правило нельзя. Пусть некоторым видам вымысла трудно или невозможно было бы обойтись без слов, вымысел, как таковой, все же никакой необходимостью не прикован к слову.

Он меньше к нему прикован, чем законодатель формули-

рующий закон или естествоиспытатель, излагающий результаты своих наблюдений. Когда же прибегает он к слову, он волен им пользоваться, столь же мало интересуясь им самим, как естествоиспытатель и законодатель. Тут, сдается мне, кое-кто приподнял или нахмурил брови. Но ведь я, во-первых, о вымысле, с тех пор как отождествил его с мифом, говорю, а не об искусстве вымысла; и во-вторых, искусство это, как на многих примерах было показано, не так уж беспрепятственно, само собой кидается в объятья искусством обернувшегося слова. Словесные, как и внесловесные, формулировки вымысла сплошь и рядом бывают от искусства далеки, чего совсем и не следует ставить им в упрек, покуда вымысел сам не становится или не претендует стать искусством. Недоразумения тут, конечно, возможны. Их было бы меньше, если бы мы не считали искусством (хотя бы и плохим) любые фильмы и романы, всего лишь берущие в сотый раз у искусства напрокат давно им использованные повествовательные или характеризующие схемы. Неправильно, точно также, причислять к искусству, в данном случае к живописи или скульптуре, все, христианские, например, изображения, включая те, что лишь сообщают, как это сделали бы первые попавшиеся слова, свою тему, хотя сама эта тема и может принадлежать не только к вымыслу, но и к искусству вымысла, — высказывая при этом правду, не похожую на истины химии, смерти, таблицы умножения, но и на те мелкие правды-неправды, которыми довольствуется вымысел, обходящийся без искусства или лишь слегка посахаренный им. Искусство же вымысла, как и всякое другое, начинается там, где ищут одновременного изображения и выражения чего то такого, чего нельзя ни изобразить без выражения, ни выразить без изображения. Это относится и к архитектуре: она изображает и выражает назначение своих произведений; если же только отвечает ему, оставаясь немой, перестает быть архитектурой, становясь инженерным строительством. Относится это и к музыке — беспрограммной; отличие ее лишь в том, что изображаемое ею заранее совпадает с выражаемым (обладая, однако, сложностью и объемом, как раз и внушающими мысль об изображении и даже описании); да еще в том, что у нее одной, среди искусств нет двойника, находящегося, вроде как у архитектуры, вне искусства. У вымысла он есть — безымянный: чего только не вымышляют, чего только, при этом, и за правду не выдают; но мы от всего этого отвернемся; вернемся к искусству вымысла.

То, чему ищет человек неразрывного с изображением выражения, никак не может быть тем самым, что удастся ему обозначить словами своего, к практическим нуждам обращенного и их удовлетворяющего языка. Такие искоса, с натяжкой обозначаемые или вовсе не поддающиеся обозначению предметы отнюдь не все как ни на есть принадлежат к области религии, но большинство их к этой области принадлежит, а другие легко втягиваются в нее, поддаются религиозному осмыслению или переосмыслению. Все языки, которые мы теперь называем искусствами, а не языками, были некогда многообразным языком религии: архитектура с живописью и скульптурой, и еще непосредственней, неизбежней вся “музикия” — музыка, танец, поэзия. Поэзия? Здесь узел внутри узла; сейчас мы распутаем и его. Слово это тем хорошо, что относится только к искусству (а не, как “литература”, к искусству, не-искусству и около-искусству одновременно); но не хорошо оно тем, что включает без всякого разделения и вымысел и то, что оставаясь поэзией, обходится без него или довольствуется лишь крошечной его долей. Иначе говоря, одним именем называет два языка: особый словесный (отличный от обиходного словесного) и внесловесный, хоть и пользующийся (в данном случае) словесным, но отнюдь не обязательно этим особым словесным языком, и даже им то как раз и пользующийся не без риска. В поэзии, из религии выросшей и связи с ней не разорвавшей, в поэзии религиозной по теме и по источнику вдохновения, слитность обоих языков — вымысла и поэтического слова — особенно сильна, по той причине, прежде всего, что никакое религиозное чувство, переживание, прозрение иначе чем *поэтическим* словом вообще высказано быть не может, так что и когда мифом (вымыслом) оно высказывается, оно вымысел этот вполне обыденным языком (или хотя бы отточенно, заостренно обыденным, каким Стендаль писал свои романы) изложить было бы не в состоянии.

В этом смысле, вымысел религиозный или обусловленный религией неотделим от словесно-поэтического языка, которым он всегда бывает изложен, — причем я, разумеется, отнюдь не противопоставляю вымысел этот правде, и даже точной исторической правде, которая в него вполне может быть и не раз бывала включена (если в этом усмотрят насилие над словом, что ж, придется насилие совершить: другого слова у нас нет). Но если живую связь тут и нельзя рассечь, то различие от этого не исчезает, да и сказывается в различных степенях насыщен-

ности или высоты поэтического языка. Гомеровские (по традиции так называемые) гимны богам иначе “написаны” чем “Илиада” и чем “Одиссея”. Псалмы иначе, чем повествование о праотцах в книге Бытия. Речи Спасителя иносказательней (притчи) или потусторонне-лиричней (нагорная проповедь), чем рассказ о Нем, не только в трех первых, но и в иоанновом Евангелии.

Однако, и синоптики изъясняются, при всей простоте, не на языке канцелярских актов или папирусной корреспонденции о коммерческих делах. Книга Бытия сквозь любой перевод (совсем и забыв о дивном английском 1611 года) поражает нас величием не только “содержания”, но и “формы”, то есть, отчетливей выражаясь, не только первого своего, но и второго (словесного) языка. Потому что и “содержание” здесь — язык (богопознания и богоощущения), и “содержание” или “вымысел” или “образы” (совокупность всех образов) здесь — форма; это и Тимофеев, Леонид Иванович, понял в Москве при всей нечеткости своей терминологии. Нам термин “форма” не нужен, а значит и от соотносительного ему термина “содержание” мы тоже освобождаемся или получаем право пользоваться им свободней. Да и без “образа” обойдемся, тем более, что не одними “образами” (в смысле действующих лиц) населена Книга Бытия и что жертвоприношение Исаака более важный, больше смысла в себе несущий элемент этого “вымысла”, чем сам Исаак, или сам Авраам, как и быть может, за тридцать земель оттуда, важней Онегина, важней Татьяны, взаимоотношение Татьяны и Онегина.

Мы не скажем: “Язык есть форма по отношению к образу, как образ есть форма по отношению к идейному содержанию произведения”. Мы скажем: язык, словесный язык передает или сообщает нам вымысел, но вымысел сам есть язык, который изображает и выражает нечто, чего никаким другим способом сообщить или передать нельзя, а изобразить и выразить можно не иначе, как только этим одним вымыслом. Это длиннее, но точнее, и я думаю, что Л. И. вполне мог бы эту формулу принять. Только вот — “нечто”; что же именно? Тут он, боюсь, от своего “идейного содержания” не откажется, а я предпочту от всякого уточнения отказаться. Если это “идейное содержание” можно своими словами рассказать, к чему тогда вымысел? Читай Добролюбова; тех, о ком он писал, не читай. “Содержания” это не отрицает, но содержание, о котором тут идет речь, не

добролюбовское; по-немецки оно называется не *Inhalt*, а *Gehalt*. Особенность его в том, что его нельзя рассказать своими словами.

Толстой сказал Гольденвейзеру в 1900 году: “Самое важное в произведении искусства, — чтобы оно имело нечто вроде фокуса, т. е. чего-то такого, к чему сходятся все лучи или от чего исходят. И этот фокус должен быть недоступен полному объяснению словами. Тем и важно хорошее произведение искусства, что основное его содержание во всей полноте может быть выражено только им”.

Это верно обо всяком искусстве; мудрее ничего никогда Толстой об искусстве не сказал; но имел он ввиду, конечно, в первую очередь, свое главное искусство, свой главный язык: вымысел. Слова его эти не раз приводились (в том числе и Виноградовым, в упомянутой мною книге), но как-то нерешительно и безрезультатно; а ведь высказался он очень осторожно и обдуманно. Не сказал “всякому”, а лишь “полному объяснению словами”. Кое-что в этом “основном” — или срединном, тайном, самом внутреннем — содержании объяснению доступно, иначе никакая “герменевтика”, никакая понимающая (а не только принимающая или отвергающая) критика не была бы возможна. Даже и ссылку на “идеи” из такого объяснения незачем принципиально исключать; достаточно исключить медвежий отбор идей и медвежий способ на них ссылаться.

Жертвоприношение Исаака (по медвежьему выражению) не безыдейно; можно идеи эти и назвать, но библейского рассказа их перечислением заменить нельзя, смысла его ими исчерпать нельзя, хотя слова этого рассказа заменить другими словами и возможно, потому что искусство слова отступает здесь на второй план перед искусством — о нет, разумеется, больше, чем перед искусством: перед правдой вымысла. К различию с искусством слова я сейчас перейду, а пока замечу, что Толстой не только торжествующим нынче стандартным добролюбовым поставил двойку, но и заушаемых ими самых прямолинейных их противников тоже не похвалил. Лучи сходятся к фокусу или из него исходят; то есть верно и то, и другое. Если бы только первое было верно, произведение искусства оставалось бы лишь хорошо рассчитанной централизованной структурой, умело построенной Формой (*Gestalt*), но если лучи из этого фокуса исходят, значит, не фокусник в нем зажег живой человеческий огонь.

Вымысел незаменим другим вымыслом, потому что у дру-

того вымысла был бы другой Gehalt (или никакого бы не было, что тоже вполне возможно). В искусстве слова незаменимы слова, или заменимы лишь в очень узких пределах (в каких возможны и варианты *того же* вымысла). Здесь Gehalt зависит от самих слов или “содержится” в них, если применить этот нелепый, но почти неизбежный оборот речи, от которого по буквальному своему смыслу и немецкое словцо недалеко нас увело. Конечно, поймать его (в отдельном слове) мудро, хотя такая возможность и не исключена, как мы сейчас увидим. Искать его, как правило, нужно (если мы его ищем: вне теории, слава Богу, он сам открывается нам) не в отдельных и не в сложенных словах (из сложения слов и простейшая речь не состоит), а в единицах речи более обширных, включающих интонацию, ритм, и сплошь и рядом не совпадающих с членениями обычного писания или говорения. Не столь обширны, однако, эти единицы, как те, в которых может обозначаться “фокус” или высказаться “основное содержание” вымысла. Тут надо заметить, что в осмотрительной, но все-таки беглой формулировке Толстого принято во внимание только единство целого и смысловое (а не одно лишь структурное) средоточие его, тогда как в скольконибудь крупных произведениях вымысла (как и любого искусства) этому единству бывают подчинены другие, многочисленные порой, единства, наделенные собственным “недоступным полному объяснению словами” содержанием. Это дробление вымысла на его самостоятельно (верней, полусамостоятельно) осмысленные составные части (“мотивы”, положения, характеры, иной раз и просто эпизоды) дело дальнейшей теории, которым я не стану заниматься. Важно мне только подчеркнуть, что искусство слова являет этому полную аналогию и что всякое искусство, будучи языком, свою смысловую, как и внесмысловую (“формальную”) природу проявляет не только в законченных своих произведениях, но уже и в их (и своей) речевой ткани, dans la chaîne parlée, dans la trame du discours.

Прошу мне простить готовые эти и столь подходящие здесь французские выражения; подходящие, однако, лишь при условии не представлять себе эту ткань или цепь слишком гладкой и ровной. Звенья ее не одинаковы и не равноценны, да и не всегда ясно распознаваемы; многообразие их сочетаний таково, что и звеньями их нельзя назвать без большой натяжки. Однако, такие, выделяющиеся среди более нейтральной клетчатки и

подчиненные целому осмысленные и организованные единства встречаются во всех искусствах, в том числе и в наших двух, вымысла и слова, но состоят, конечно, как и во всех прочих, не из того же самого матерьяла, — иначе тут было бы не два искусства, а одно.

Слова, что и говорить, есть тут и там, но их функция не та же. Где есть вымысел, там есть внесловесный мир, по ту сторону непосредственного языкового сознания находящиеся действия, люди, предметы, к которым слова должны нас относить, не общим своим колеблющимся смыслом (его было бы недостаточно), а предметным своим значением. Первая фраза “Анны Карениной”: “Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему” принадлежит искусству слова; мы можем задуматься над ней, искать ей иллюстраций, убаюканные ее симметрией слегка над ней подремать; со второй фразы (новый абзац!): “Все смешалось в доме Облонских” начинается искусство вымысла. Далее, как бы автор ни заботился о самостоятельном искусстве слова (чего Толстой, в отличие от Флобера, не делает), он от предметности слов, не повредив вымыслу, отказаться не может; в этом риск игры на двух досках и состоит, оттого что предметность слов, т. е. сведение смысла их к значению, искусству *слова* не может не мешать. Рискуют, разумеется, играют, — разве не растет от риска прелесть игры, разве не с азартом игрока Пушкин писал о “дьявольской разнице” между романом в стихах и романом? Но критику все же разбираться во всех этих сложностях надлежит и не подобает позволять одному искусству от себя другое заслонять, как провинился в этом Кроче, когда признал поэзией одни лишь насыщенно-словесные *purple passages* Божественной Комедии, а великолепные взлеты вымысла, обозначенные словами скорей, чем воплощенные в словах (никогда не чисто смысловых, не лишенных прицела на предмет, у Данте, эпического поэта) из поэзии бесцеремонно выключил.

Правда, нет, быть может, на свете ничего сильнее воплощенного в звуковую словесную ткань, сердце наше и ум ранящего или радующего смысла. Хоть воплощенность эта и та же, как во всяком другом ее вершины достигшем искусстве, а все-таки тут трогает нас она всего глубже, потому что слова — самое *наше*, человечье, и слово — хлеб наш насущный: даждь нам его днесь. Это чувствуют многие в стихах; стихов им ничто не

заменит; но это осуществляется и в прозе, как о том всего прямой свидетельствуют иные афоризмы, концентраты мысли, но все же такой, что ее от слова, от этой вот фразы, от ее зачина и концовки; от ее мелодического изгиба не отмыслишь; смысла от звуко смысла не оторвешь. Только что приведенный афоризм Толстого был все-таки лишь средней интенсивности, да и не слишком глубокого значения. Но вот всем знакомый паскалевский о “мыслящем тростнике”: *L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant.* Клодель, в одном из редких, но замечательных высказываний своих на такие темы, уже отметил, что вводное предложение в нем излишне для его голого значения и необходимо для подлинного смысла. Оно не только излишне для рассудочного остова мысли, но и вполне может показаться сомнительной гиперболой, хотя новейшие антропологи и настаивают на совершенно исключительной незащищенности человеческой особи в первые недели, да и месяцы после ее появления на свет. Но как бы то ни было, нельзя не согласиться с Клоделем: выброси эти слова, и все сказанное будет зачеркнуто, превратится в словесную рухлядь, значущую нечто общеизвестное и никому неинтересное. Нужна эта вставка между зачином и концовкой музыкально, как интонационная диастола, разделяющая их, и столь же нужна женским окончанием своего последнего слова (вместо мужского, завершающего зачин), которому столь выразительный контраст составляет мужское окончание последнего слова всей фразы. Это слово незаменимо. Самое сильное ударение всей фразы падает на него. Оно должно звучать именно так, значить именно это, на эту самую гласную должно падать ударение. Что тут делать с переводом? Недоумеваю и за немцев, итальянцев, англичан. “Человек всего лишь тростник, самый слабый во всей природе, но это мыслящий тростник”. Тростник затрепал ответно тростнику. “Но тростник этот мыслит”. Контраст и ритм вовсе пошли насмарку. И что ж мне мычать что ли это “мыслит”, как надувший губу “чтец-декламатор” на эстраде? А ведь у Паскаля сила этого ударения не просто усиляет, а качественно изменяет мысль, только и делает ее и паскалевской, и полноценной. Но в карман положить не позволяет, от звуко смысла запрещает отделить.

Есть и отдельные слова... Когда Спаситель, по рассказу Иоанна, в последние минуты свои на Кресте говорит: “жажду”,

слово это, как бы оно ни звучало, так потрясает душу, таким мечем пронзает веру (а неверие тут же топорщится гадким червяком), что кощунством кажется вопрошать, на каком языке это слово звучит всего сильнее. Но нет, ничего мерзкого нет в желании найти тело сходное с душой, выражающее душу, в поисках воплощения, без которого не было бы у нас вообще никаких искусств, и высший образ которого празднует христианство в день Рождества Христова.

Есть во всех языках по-разному разбросанные, случайно выразительные (а порой и возникшие из выражения-изображения) слова, уже воплощающие смысл, хоть это и не мешает им служить для самого обыкновенного обозначения. Поэты им радуются, как подарку, но, конечно, обходятся и без них, воплощению понуждают служить и вокабулы, в просторечии немые. Наш глагол “выражающий” (как обычно, в неразличении выражения и обозначения, говорится) желание пить, потенциальной выразительности не лишен, но там на Голгофе, того, что там сказано не выражает. Арамейского слова не помню; помню только, что когда я его узнал, столь же невыразительным оно мне показалось, как и греческое. Зато латинское: *sitio*, так и просит оно растянутого произнесения, по складам, с долгою задержкой на первом — *si-ti-o*, так мучительно хочет этих длинных, узких гласных, медленно расширяющихся под конец в это все еще узкое, высокое о... Возражайте, спорьте; не могу, никогда не соглашусь, что это просто так мне одному по чудачеству моему кажется. То самое, что нужно, оно и есть. К Евангелию не прибавляет это ровно ничего, но имеющий уши да слышит; если же не услышит, значит, для слова и тем самым для искусства слова слуха ему не достает.



“Литература (...) входит в состав словесной или языковой деятельности человека. Отсюда следует, что в ряду научных дисциплин теория литературы близко примыкает к науке, изучающий язык, т. е. к лингвистике”. Это объявляет Томашевский на первой же странице своей “Теории литературы” (Ленинград, 1925). А написанное Джоном Спенсером предисловие к сборнику “*Linguistics and Style*” (Оксфорд, 1964) начинается словами: “Немного найдется литературоведов, которые сочли бы, что литературу можно удовлетворительным образом изучать без долж-

ного внимания к ее матерьялу (английское слово точнее: *medium*), языку". Такого рода цитат — из книг, вышедших не до 25-го, но до и после 64-го года — можно было бы подобрать много, однако, эти все же интереснее других: первая своей датой и автором, которому эти свои взгляды пришлось позже спрятать под сукно; вторая осторожностью формулировки, как будто и безупречной, а все-таки не вполне обдуманной.

Начнем с нее. Язык без сомнения *medium* любой литературы (и еще многого другого), но *должный* интерес к нему как раз казался бы и не может начаться ни с чего другого, как с усмотрения той истины, что он ее *medium* совсем в другом смысле этого слова, когда мы вслушиваемся в "Оды" Китса, чем когда мы читаем Фильдинга или Гиббона. Во-вторых двух случаях язык, конечно, налицо, он необходим, но и самое пристальное внимание к нему никаких качеств Фильдинга как романиста и Гиббона как историка нам не обнаружит, тогда как в первом случае не на что, кроме языка, и внимания обращать, он — всё. Но всё он только потому, что мы смысла не отделяем от выражающей (или пусть даже обозначающей) поверхности слов, т. е. действуем наперекор основному принципу лингвистики. Так, что, обращаясь теперь к Томашевскому, мы вправе сказать, что часть литературы вовсе не "входит" — или входит совсем иначе, чем другая часть — "в состав языковой деятельности человека", вне которой (если уж на то пошло) нельзя себе представить возникновения даже и расписаний поездов или телефонных книг. Ничего ровно из "вхождений" этих не следует; а если теория литературы и примыкает к науке, изучающей язык, то методами этой науки она все-таки без коренного их пересмотра пользоваться не может.

Знакомство с языкознанием, и как раз с современным, послесоссюровским, для теоретиков литературы — и даже искусства вообще — не только желательно, но и необходимо, прежде всего (как я попытался это показать в моей статье "*Art et Langage*" *Diogenes*, 66, апрель-июнь 1969, весьма плохо переведенной в английском издании того же журнала) для осознания того понятия "язык" (не *langue*, а *langage*), без которого им не обойтись, но с которым лингвистике (как это впервые с полной ясностью понял именно Соссюр) решительно делать нечего. Полагаю, что лингвистам, переходящим к изучению литературы нельзя не учитывать этого различия. Вообще же снимаю

шляпу. Я — ученик и друг языкознания, а не его хулитель. Только все-таки: там, где вымысел, главное не в языке; а там, где главное в языке, это не тот язык, который изучают лингвисты. Не то, чтобы немножко не тот, а совсем тот же, и все-таки другой: не допускающий полного отклеивания от выражаемых им смыслов.

В. Вейдле

ПОИСКИ СЧАСТЬЯ

(Двустих)

Ты счастья ищешь, душа моя,
Не хлопочи же о букве «я».

Где Я выходит на первый план,
Там только скука, туман, обман:

рождение	—	Яйцеклетка
жизнь	—	Ярмо
любовь	—	Яд
смерть	—	Ящик

А там, где я на заднем плане,
Есть или счастье, иль обещанье:

Рождение	—	воля
Жизнь		стихия
Любовь		семья
Смерть	—	вселенная

Но в сердце трезво сверлит червяк:
Зачем так сложно смотреть, чудак?
Подходы к счастью просты, легки,
Надень лишь

РОЗОВЫЕ ОЧКИ

Ура! Вся жизнь увита розами!
Нас угощало детство роз-гами,
А зрелость встретила нев-розами,
И старость чествует скле-розами.

Как все прекрасно в свете розовом:
Война чарует нас уг-розою,
Преступность — черепом ломб-розовым,
Свободный стих — махровой п-розою.

Я тешусь дымом папи-розовым
И под луною купо-розовой
Перед проклятыми воп-розами
Торчу счастливецом стое-розовым.

РАЗДВОЙНИКИ

(Двустих)

А жаль, что я с детства не вел дневника —
Ведь вы ни за что не поймете,
Как я потерял своего двойника,
Когда, на каком повороте.

У Черного Лога
Развилка была —

Налево
Дорога
Его
Увела.

Направо
Дорога
Меня
Увела.

Себя ощущает он
Всечеловеком,
И твердо шагает он
В гору за веком:

По кварцам и сланцам —
Баварцем, исландцем,
По голым гранитам —
Монголом, семитом,
По гнейсам и шпатам —
Индейцем, хорватом...

Как вдруг,
Беспричинно —
Не то, чтоб кручина,
Но злость на разлуку,
И хочется знать,

На улице древней
Ни сна, ни огня,
Лишь память иль ставня
Стучится в окно.

Пусты подворотни,
Подъезды пусты,
Бесплотны предметы,
Безмолвна листва.

За домом иль храмом
Упала звезда,
Как шляпка, отломан-
Ная от гвоздя.

И хочется руку
Себе же подать...

Когда же друг друга мы встретим опять?

Николай Моршен

ЧТО ДЕЛАЛ ЮРИЙ ОЛЕША В ГАЗЕТЕ "ГУДОК"*

Я с огорчением думаю об этом рассказе, и особенно потому, что не жестокой судьбой и не превратностями жизни, а собственной охотой ставлю себя в положение автора критико-биографического очерка, к которому отношусь с глубоким и давним неуважением.

Я объясню в чем дело. Критико-биографический очерк сообщает нам как раз такую биографию и ровно в таком количестве, из которой решительно никакое творчество не проистекает.

Вышеупомянутая биография занимает первую главу, потому что она посвящена детству и отрочеству и заканчивается как раз перед первым стихотворением (рассказом, очерком, драмой, сценарием) героя. Все главы, начиная со второй, трактуют лишь творческий процесс, который, таким образом, как

* Мы публикуем отрывок из неизданной книги недавно скончавшегося в Америке писателя А. В. Белинкова «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». Отрывок любезно передан нам его вдовой, Наталией Александровной. Об этой книге А. Белинкова Н. А. сообщает следующее: Книга была написана в Москве. Два отрывка были напечатаны в журнале «Байкал» в 1968 г. Они вызвали две разгромные статьи в «Лит. Газете». Книга о Юрии Олеше, говорит Н. А., представляет собой опыт отрицательной монографии в советском литературоведении. В проспекте изд-ва «Искусство», где предполагалось издание этой книги (книга была запрещена цензурой), она была названа «литературоведческим романом». В Ю. Олеше, герое этой отрицательной монографии, А. Белинков видел характерное выражение морального разложения большей части сов. интеллигенции, не выдержавшей долголетнего гнета тоталитарной диктатуры. Среди писателей к этой категории относится и Виктор Шкловский, о котором А. Белинков пишет в книге. В 1968 г. А. Белинков и его жена бежали на Запад. РЕД.

бы проистекает прямо из младенчества. Поэтому очерк жизни и творчества писателя правильнее было бы называть очерком отрочества и творчества. Но имеем ли мы право утверждать, что автор такого очерка может в просвещении стать с веком наравне? На такой вопрос следует ответить отрицательно.

Я пишу о «Гудке» не для того, чтобы показать творческий исток Юрия Олеши, а для того, чтобы помешать безудержному расползанию по отечественному литературоведению еще одного заблуждения. Во имя этого я готов на жертвы. Даже на критико-биографический очерк.

Своеобразие обстоятельств, в которых было написано первое крупное произведение Юрия Олеши, заключалось в том, что писатель начинал свой литературный путь в газете, в том, что газета была не литературная, что вместе с ним в этой газете работали ставшие потом известными писателями (среди них был замечательный писатель М. А. Булгаков) и многие незначительные, но впоследствии профессиональные литераторы, что газета стала прославленной. Критика видит прямую связь между высокими достоинствами художественных произведений Юрия Олеши и его работой в органе ЦК Союза рабочих железнодорожного транспорта «Гудок».

Установление этой связи становится почтенной традицией, и поэтому предполагается, что проверке и опровержению не подлежит.

Монографии¹ и мемуары,² вступительные статьи³ и литературные портреты,⁴ критико-биографические очерки⁵ и литературно-критические эссе,⁶ автобиографические сборники⁷ и библиографические указатели,⁸ художественные зарисовки⁹ и

¹ Л. Яновская. Почему вы пишете смешно? Акад. Наук СССР. Изд. Акад. Наук СССР. М. 1963.

² К. Паустовский. Книга скитаний. «Сов. Россия». М. 1964.

³ Б. Галанов. Мир Ю. Олеши. В кн.: «Ю. Олеша». М. 1965.

⁴ Л. Славин. Портреты и записки. «Сов. писатель». М. 1965.

⁵ Б. Брайнина. В. Катаев. Гослитиздат. М. 1960.

⁶ Л. Никулин. Годы нашей жизни. Ю. Олеша. «Москва», № 2. 1965.

⁷ Сов. писатели. Автобиографии в 2-х томах. Т. I. М. Госиздат. 1959, стр. 539.

⁸ Летопись период. изданий СССР. 1955-60 гг. Ч. II. Газеты. М. 1962.

⁹ И. Рахтанов. Рассказы по памяти. «Сов. писатель». М. 1966.

литературные энциклопедии,¹⁰ предисловия¹¹ и авторитетные высказывания читателей¹² уверенно рассказывают нам о выдающейся роли четвертой полосы газеты «Гудок» в судьбах русской культуры.

Эта традиция воздвигается монументально, как циклопическая стена. Уже одно это обстоятельство должно насторожить исследователя, потому что циклопические стены воздвигаются для защиты от врагов и чаще всего бывают преувеличены не столько по необходимости, сколько по невежеству, от неумения рассчитать, на всякий случай, от уверенности, что кашу маслом не испортишь, хуже не будет и пар костей не ломит.

Все это становится опасным и угрожающим и требует решительного вмешательства.

Утверждение прямой связи между высокими достоинствами художественных произведений Юрия Олеши и его работой в газете «Гудок» мне кажется несколько поспешным и я бы сказал даже чересчур априорным. Я не сомневаюсь, что и поспешность, и априорность вызваны только самыми лучшими намерениями, то есть, желанием лишний раз подчеркнуть, что работать в газете это очень хорошо. И действительно, это замечательно, потому что связывает с коллективом, с жизнью. Газета во что бы то ни стало должна была, просто была обязана оказывать постоянное благотворное влияние на писателя, а писатель, став знаменитым, должен во всех интервью начинать с нее, указывая при этом, что события и люди, описанные в его книгах, не выдуманы им, а взяты прямо из сигналов читателей.

Газета, в которой работал Юрий Олеша, кажется столь соблазнительной и имеет глубокое методологическое значение, потому что ее легко представить в качестве образцовой кузницы писательских кадров. «Гудок» поражает воображение исследователей (не «Гудка») ошеломляющим для нелитературной газеты списком имен. Этот список действительно прекрасен, но не должен казаться совершенно неожиданным.

¹⁰ Кратк. литер. энциклопедия. Т. I. Гос. научн. изд. «Сов. Энциклопедия». М. 1961.

¹¹ К. Симонов. Предисловие. В кн.: И. Ильф и Е. Петров. Двенадцать стульев. Золотой теленок. Гос. изд. худож. литер. 1961.

¹² Слово читателей «Гудок». 1962. 14 февраля.

Дело в том, что почти все ставшие впоследствии прославленными писатели прибыли в «Гудок» из Одессы. Они потянулись друг за другом в Москву, потому что Москва кружила голову, потому что с насиженных мест тронулась вся страна, потому что появилась редкая в эти годы возможность устроиться на работу, а в Одессе нечего было делать и роскошная дореволюционная Одесса померкла, потому что это старая литературная традиция — молодой человек из провинции идет покорять столицу. У Олеши было особенно много причин стремиться в Москву: он был начинающим Растиньяком.

К сожалению, моя настойчивая попытка обнаружить постоянное благотворное влияние «Гудка» на творчество Юрия Олеши и открыть в событиях и людях, описанных в его книгах, прямое влияние сигналов читателей до сих пор не увенчалась успехом.

Таинственно и маняще мерцает осиянный громкими именами и окруженный почтительными шепотами «Гудок» на темнеющем небосводе историко-литературного процесса 20-х годов. В связи с этим таинственным мерцанием чувствуется острая потребность в том, чтобы о «Гудке» была, наконец, написана не прочувственная страница в монографии об Ильфе и Петрове, Катаеве или Олеше, а кандидатская диссертация.

Я надеюсь, что будущий кандидат филологических наук неопровержимо установит кричащее противоречие между самым лучшим намерением и плачевным результатом. Это противоречие нужно установить немедленно, сейчас же. Потому что обнаруживается усиливающаяся тенденция ставить «Гудок» в пример всему написанному Олешей независимо от «Гудка». Эту тенденцию настойчиво, последовательно и вдохновенно внедряет лучший знаток жизни и творчества Юрия Олеши Виктор Борисович Шкловский.

С научной точки зрения знаток жизни, творчества и окружения поступает совершенно безошибочно, потому что невозможно представить себе, чтобы кто-нибудь стал проверять его по пыльным, как провинциальные переулки, газетам, которым исполнилось сорок пять лет. Тремя фразами Виктор Шкловский распахнул бескрайний литературоведческий простор и положил тайну писателя на абсциссе и ординате настоящей науки.

«Зубило» знал жизнь многих. Ю. К. Олеша — романист

замкнулся в свою жизнь,... — уверенно пишет Виктор Шкловский. — Он создавал арки и не мог сомкнуть их своды, — может быть, потому что... перестал быть «Зубилом», потому что вокруг него не было друзей — рабкоров».¹

Определив, насколько сделанное в «Гудке» лучше сделанного после «Гудка», Виктор Шкловский одной фразой безошибочно устанавливает генезис писателя.

«В стихотворном фельетоне, на ежедневной работе, на службе пролетариату вырос прекрасный писатель». (Там же, стр. 147).

И вот уже становится совершенно ясным, что только вернувшись на дороги своей молодости, писатель смог, наконец, довести себя до полного возрождения (пять фраз):

«В последние годы Ю. К. Олеша начал писать маленькие статьи... Он вернулся с новым опытом в газету и начал собирать новые кирпичи для того, чтобы построить здание, достойное времени... Он писал статьи о новой биографии Ленина. Он писал о поездке Н. С. Хрущева в Париж. Он писал о сегодняшнем, о самом главном». (Там же, стр. 148).

А для того, чтобы читателю было понятно, каких вершин достиг Юрий Олеша с помощью газеты «Гудок», Виктор Шкловский делает сравнительные замеры славы Юрия Олеши и Демьяна Бедного.

«Поэт Демьян Бедный, который в то время был не очень стар и очень знаменит, говорил мне, что его знаменитость не может быть сравнима с известностью «Зубила». (Там же, стр. 147).

Нужно немедленно написать кандидатскую, нет, докторскую диссертацию, в которой со всей непреклонностью будет установлено, что Демьян Бедный в связи с присущей ему скромностью несколько покривил душой и слегка уклонился от истины, уделив много больше, чем следовало, от своих сочных и кудрявых лавров.

Самое сильное в концепции Виктора Шкловского это ее юмор. Опытный и хорошо знающий историю русской литературы писатель, конечно, понимает, что после того, как вещь Олеши будет напечатана, к вступительной заметке никто серь-

¹ Виктор Шкловский. «Об авторе и его книге». Юрий Олеша. «Нидня без строки». «Октябрь», 1961, № 7, стр. 148.

езно относиться не станет. Таким образом, мы видим, что Виктор Шкловский приносит себя в жертву.

Этого, вероятно, не следовало делать по соображениям методологическим и педагогическим. В самом деле, сегодня он принес себя в жертву, чтобы напечатать произведение любимого писателя, а завтра он решит, что можно принести другую жертву, чтобы напечатать собственное произведение. Ведь даже Виктор Шкловский в состоянии пойти на это. Что же говорить о натурах, не закаленных в жизненной борьбе и склонных к беспринципным компромиссам? Не правда ли?

Самая уязвимая точка в строгой концепции Виктора Шкловского это надежда на то, что никто не совершит путешествия по пустыне.

Я, ученик В. Б. Шкловского, отправился в путешествие и привез образцы проб. Вот как выглядят эти самые образцы.

СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ, ТРЕБУЮЩАЯ ОСВЕЩЕНИЯ

Поэтому деловое предложение:
Пусть тот, кто давал распоряжение
О провозке состава такого
Под видом пустого, —
Пусть (не откладывая кстати)
Даст свое разъяснение в печати!
К тому же путь недалек:
К его услугам — «Гудок», —
А чтоб вышло весело и мило,
Можно обратиться к

ЗУБИЛО.²

Людям, которые не знакомы с особенностями литературной жизни, нужно объяснить причины, заставившие меня так обстоятельно рассказывать о «Гудке».

Дело в том, что газета это коллектив. В отличие от никому невидимой работы писателя за своим столом в своем кабинете, да еще часто запертом на ключ, работа в газете происходит на людях, под присмотром. Это очень полезно писателю, особенно молодому, который еще не знает окружающей действительности, а уже лезет судить о важнейших вопросах общественной

² «Гудок». Газета Центральн. Комитета Союза рабочих железнодорожн. транспорта. 1924, 18 января.

и государственной жизни, о воспитании молодых кадров. По этому работе в газете всегда придавалось громадное значение. В связи с этим я вынужден обильно цитировать произведения Юрия Олеши, напечатанные в «Гудке».

ЖИТИЕ СВЯТОГО ЕВГЕНИЯ

.....

Сколько раз о долгогривых,
О попах, стихи писал,
О пузатых,
О блудливых, —
А такого не видал!

Вот уж поп! Всем батям — батя!
Где уж лучшего найти:
Сколько божьей благодати —
Дальше некуда идти.³

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ...

У нас дела такого рода,
Есть для несчастья тьма причин:
У башни нет громоотвода,
А рядом — в баках керосин!⁴

Разнообразны темы и метрика поэта: от керосина он переходит к вредному влиянию алкоголя, от четырехстопного ямба к четырехстопному хорею.

ВЕСЕЛИЕ

Пьян Федот —
Не тот и тот,
Оба пьяные до точки.
Пьян Макар —
Открыл он рот,
А оттуда, как из бочки!⁵

Я процитировал четыре отрывка, из которых первый написан в одно время с «Тремя толстяками», а четвертый — с «Завистью». Однако, в «Гудке» Юрий Олеша был не только оперативным фельетонистом «Зубило», но и гражданским ли-

³ «Гудок». 1925, 13 июля, № 158. ⁴ «Гудок». 1926, 25 мая, № 118.
⁵ «Гудок». 1927, 5 июля, № 171.

риком. Лучшее из этой лирики он издал отдельной книгой. Вступительная статья к этой книге называется так: — «Поэт труда и революции — Зубило».⁶

Вот что обнаружено в этой книге.

РОЖДЕСТВО

.....
Нам смешно: о небесах забота!
В рай — врата! Мы видим рай иной. Через
заводские мы ворота
В рай войдем, да только — в рай земной!

С «ГУДКОМ»

.....
Быт. Житейское ... Совсем пустяк! —
В захолустном, так сказать, масштабе ...
Петр Иванович выпить не дурак,
Будет спать с компанией в ухабе ...

ЧТОБ ПОБЕДИТЬ...

.....
Нас воля двигает к победе ...
Но как же? ... Ведь как было встарь ...
Ведь нашей техники так беден, Так
примитивен инвентарь!

Можно предположить, что стихи, напечатанные в книге, не требовали такой высокой оперативности, какую требовали газетные отклики. В частности, стихотворение, посвященное Академии Наук, просуществовавшей к тому времени уже двести лет, как мною установлено, создавалось в сравнительно спокойной обстановке, а не в тревожной атмосфере возможного срыва графика. Несмотря на это, печать оперативности лежит на строфах и этого произведения. Разве это не ясно из такого примера?

Разбив самодержавия оплот,
Пройдя сквозь кровь,
Через борьбу и муку,
Вернул освободившийся народ
Украденную у него науку...

⁶ И. С. Овчинников. Поэт труда и революции — Зубило. В кн.: Зубило. Салют. Стихи (1923-1926). М., изд. «Гудок», 1927.

Все это убедительно говорит о том, что между произведениями, напечатанными в газете, и произведениями, напечатанными в книге, чудовищной пропасти нет.

Я настойчиво и обильно цитировал сатирические и лирические строфы поэта не для того, чтобы вскрыть, как плохо писал стихи Юрий Олеша. Я настойчиво и обильно цитировал для того, чтобы показать, что не на ежедневной работе, не на службе в газете «Гудок» вырос прекрасный писатель.

Опровержение «Гудка» в творчестве Юрия Олеши многими должно рассматриваться как демонстративная попытка прикоснуться грязными руками к чему-то самому дорогому.

Особенно настораживает тот факт, что подобные попытки уже предпринимались в прошлом. Однако, они встречали со стороны наиболее просвещенных современников достойный отпор. Так, например, один просвещенный современник аналогичную попытку сравнил с гостем в армяке и лаптях, втершимся в Московское Благородное Собрание,⁷ а другой решительно пресек намерение сообщить в стихотворной форме о пропаже перчаток.⁸

⁷ Мракобес А. Г. Глаголев сотрудник редактора «Вестника Европы» обскуранта М. Т. Коченовского.

⁸ А. Жданов. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград». М. Гос. изд. политической литературы. В докладе Жданова о пропаже перчаток рассказано очень подробно:

«Вот, например, пародия на «Евгения Онегина», написанная неким Хазиным. Называется эта вещь «Возвращение Онегина». Говорят, что она нередко исполняется на подмостках ленинградской эстрады. Непонятно, почему ленинградцы допускают, чтобы с публичной трибуны шельмовали Ленинград, как это делает Хазин? Ведь смысл всей этой так называемой литературной «пародии» заключается не в пустом зубоскальстве по поводу приключений, случившихся с Онегиным, оказавшимся в современном Ленинграде. Смысл пасквиля, сочиненного Хазиним, заключается в том, что он пытается сравнить наш современный Ленинград с Петербургом пушкинской эпохи и доказывать, что наш век хуже века Онегина. Приглядитесь хотя бы к некоторым строчкам этой «пародии». Все в нашем современном Ленинграде автору не нравится. Он злопыхательствует, возводит клевету на советских людей, на Ленинград. То ли дело век Онегина — золотой век, по мнению Хазина. Теперь не то, — появился жилотдел, карточки, пропуска. Девушки, те неземные эфирные создания, которыми раньше восхищался Онегин, стали теперь регулировщицами

Было бы крайне желательно, чтобы наряду с уже указанными диссертациями была написана еще одна, в которой со всей тщательностью следовало бы изучить, заглядывал ли Виктор Шкловский сам в газету «Гудок» или пользовался проникновенными страницами в монографиях и мемуарах, вступительных статьях и литературных портретах, а также авторитетными высказываниями читателей.

Впрочем, о роли «Гудка» в последовательном росте нашей художественной литературы написано так много проникновенных и научных слов, что мои попытки выяснить, что же было на самом деле, выглядят совершенно смехотворно.

Но особенно проникновенные и научные слова о «Гудке» написал сам Юрий Олеша. Эти слова лучше всего показывают меня в самом невыгодном свете. Вот что написал Юрий Олеша:

«Это было в эпоху молодости моей советской Родины, и молодости нашей журналистики, и моей молодости.

Когда я думаю сейчас, как это получилось, что вот пришел когда-то в «Гудок» никому неизвестный молодой человек, а вскоре его псевдоним «Зубило», стал известен чуть ли не каждому железнодорожнику, я нахожу только один ответ. Да, он, повидимому, умел писать стихотворные фельетоны с забавными рифмами, припевками, шутками. Но дело было не только в этом. Дело не в удаче Зубила. Его фамилия была Юрий Олеша.

Дело было прежде всего в том, что его фельетоны отра-

уличного движения, ремонтируют ленинградские дома и т. д. и т. п. Позвольте процитировать одно только место из этой «пародии»:

В трамвай садится наш Евгений	Ему сказали: «идиот!»
О, бедный, милый человек!	Он, вспомнив древние порядки,
Не знал таких передвижений	Решил дуэлью кончить спор.
Его непросвещенный век.	Полез в карман... Но кто-то спёр
Судьба Евгения хранила,	Уже давно его перчатки,
Ему лишь ногу отдалило,	За неимением таковых
И только раз, толкнув в живот,	Смолчал Онегин и притих.

Вот какой был Ленинград и каким он стал теперь: плохим, некультурным, грубым и в каком неприглядном виде он предстал перед бедным, милым Онегиным. Вот каким представил Ленинград и ленинградцев пошляк Хазин.

Дурной, порочный, гнилой замысел у этой клеветнической «пародии».

жали жизнь, быт, труд железнодорожников. Огромную роль тут играли рабкоры. Они доставляли материалы о бюрократах, расхитителях, разгильдяях и прочих «деятелях», мешавших восстановлению транспорта, его укреплению, росту, развитию. Вместе с рабкорами создавались эти фельетоны...

Зубило был, по существу, коллективным явлением — созданием самих железнодорожников. Он общался со своими читателями и помощниками не только через письма. Зубило нередко бывал на линии среди сцепщиков, путеобходчиков, стрелочников. Это и была связь с жизнью, столь нужная и столь дорогая каждому журналисту, каждому писателю».⁹

С нежностью вспоминает Юрий Олеша «Гудок». Это ему кажется, что он вспоминает «Гудок». На самом деле он вспоминает не «Гудок», а свою первую славу. Кроме славы, он вспоминает паровозы: «Его обдавало паром от маневрирующих паровозов, оглушало лязгом металла». (Там же). Рабкоров: «Сегодня сердечным словом хочется вспомнить рабкоров тех лет, очень часто безымянных, всегда горячих и смелых людей, помогавших в те времена строительству транспорта». (Там же).

Стихи, напечатанные в «Гудке», написаны не первооткрывателем, прокладывающим новый жанр и еще робко нащупывающим дорогу. Дорога газетной поэзии в русской литературе была широкой и хорошо вымощенной. Она прокладывалась такими строками:

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке.
Свету Божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъездов судов и палат.
Выдь на Волгу: чей стон раздается

⁹ Юрий Олеша. Ни дня без строки. «Октябрь». 1961, № 8, стр. 135.

Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется...¹⁰

Теперь мы, конечно, хорошо понимаем, что писать такие «произведения» да еще печатать их за границей, клеветая на свою любимую Родину, отвратительно, мерзко. Но тогда, конечно, люди, стоящие на очень низком идейном уровне, этого понять не могли. Впрочем, что это были за люди? Перевертыши! Наследники Смердякова! Да и те, которые печатали клеветнические измышления в адрес своей любимой Родины у себя дома тоже были не лучше. Вот что писали такие «деятели» прямо под носом у правительства (уму непостижимо!):

От увлечений, ошибок горячего века
Только «полиция в сердце» спасет человека ...

.....
Мысль, например, расшалится в тебе не на шутку —
Тотчас ее посади ты в моральную будку ...

.....
Кровь закипит, забуянит в тебе через меру,
С ней, не стесняясь, прими полицейскую меру ...

.....
Знайте ж, российские люди — и старцы и дети:
Только с «полицией в сердце» есть счастье на свете.¹¹

Или еще так:

КИТАЙСКИЕ АЛЬБОМЫ

.....
Ах, как счастлив я безмерно,
Научась читать по-русски!
Это чтение заменяет
Мне десерты и закуски.
Птичьи гнезда со сметаной,
Свекловичные котлеты
Для меня не так приятны,
Как российские газеты.

¹⁰ «У парадного крыльца»: «Колокол», лист 61 от 15 января 1860, стр. 505. (Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда. Через три года после нелегальной публикации в Лондоне у Герцена было напечатано в России: Н. А. Некрасов. Стихотворения, СПб, 1863, ч. II, стр. 187-191).

¹¹ Дмитрий Минаев. «Совет». «Русское слово», 1863, № 1, стр. 18.

В них так много разных фактов
Поучительных, блестящих
И в ушах седых китайцев
Как-то сладостно звучащих...

.....

Что не только в мир чиновный,
Но и в мир литературы
Проникают, слава небу,
Мандаринские фигуры!

.....

Но как сын своей отчизны,
Воздыхаю я глубоко
И шепчу «Увы, Китаю
До святой Руси далеко!»¹²

А то вот еще как:

.....

Если мы дикарями богаты,
Если мы на словах тароваты,
Если лупит слугу либерал,
Если многие спины все гибки,
Если подлостью пахнут улыбки,
Если силу имеет нахал, —
Так ведь это одни исключения,
И бледнеют они от сравненья
С тем, что ты нам так щедро дала,
О, великая русская гласность,
Все приведшая в яркую ясность...
Тра-ла-ла, тра-ла-ла, тра-ла-ла!¹³

Я цитирую эти стихи не для того, чтобы доказать, что Некрасов писал лучше Олеси, а для того, чтобы не создалось впечатления, будто я преувеличиваю газетный подвиг своего героя.

«Три толстяка» так мало похожи на фельетон из газеты «Гудок», что роман и эти стихи невозможно связать в какое-то единство и понять, как газета оказывала благотворное влияние на писателя. Все, что делал Юлий Олеши в «Гудке», оказалось связанным не с «Тремя толстяками» и не с «Завистью».

¹² Петр Вейнберг. Китайский альбом. «Искра». 1863, № 6, стр. 91.

¹³ Петр Вейнберг. Веселая песенка. «Искра». 1862, № 10, стр. 148. (Подписано «Гейне из Тамбова», напеч. в фельетоне «Отрывочные заметки»).

Чрезвычайно плодотворное влияние «Гудка» скажется через десять лет, после «Трех толстяков» и «Зависти», рассказов «Вишневой косточки» и «Списка благодеев». К этому времени литературное поприще Юрия Олеши будет уже завершено.

Мои попытки некоторого укрощения «Гудка» в истории отечественной культуры, вероятно, выглядят, по меньшей мере, столь же неуместно, как в свое время скептицизм Чаадаева, и я отдаю себе в этом отчет. Но в то же время в моем положении есть и некоторые преимущества. Так, например, автор «Философического письма», рассуждая о «законе духовной жизни», вынужден привести в свидетели Небо, я же, размышляя о газете «Гудок», могу сослаться на нечто более вещественное. И я ссылаюсь на 8-й номер 1965 года журнала «Новый мир», в котором напечатан «Театральный роман» (первоначальный вариант названия «Записки покойника») бывшего сотрудника газеты «Гудок» М. А. Булгакова, который весьма подробно останавливается на том, что мысль о самоубийстве у него возникла главным образом в связи с работой в газете. Газета в «Театральном романе» не называется «Гудок». Она называется «Вестник пароходства».

Бывший сотрудник «Гудка» рассказал без ликования и литавр о легендарном органе в автобиографическом романе, и, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что роман точно воспроизводит нагую истину, сообщил свое мнение о предмете в таком ответственном документе, каким, несомненно, является автобиография. В этом документе мы читаем удивительные и поражающие наш, воспитанный на лучших образцах, слух следующие не деликатные слова:

«В Москве долго мучился: чтобы поддержать существование служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания... Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни.¹⁴

Такой неуместный негативизм был связан с тем, что в 1921-1924 годы Н. А. Булгаков работает в качестве хроникера и фельетониста в газете «Гудок», — вместе с В. Катаевым, И. Ильфом и Е. Петровым, И. Бабелем, Ю. Олешей». (Там же).

¹⁴ М. А. Булгаков. Автобиография. В. кн.: Советские писатели. Автобиографии, т. III, М. Издательство «Художественная литература», 1966, стр. 85.

Кроме того, в газете «Гудок» он работал, как и Олеша, «в качестве обработчика. Так назывались в этой редакции люди, которые малограмотный материал превращали в грамотный и годный к печатанию». (Там же).

Это очень похоже на то, что вспоминает Юрий Олеша: — «Жалобе рабкора, его правильной мысли, наблюдению, пожеланию придавалась стихотворная форма — и на газетной полосе появлялись злободневные вещи, находившие живой отклик у читателя».

Оба сообщения очень близки друг другу и дают прекрасное представление о том, как именно и над чем протекала работа в редакции газеты «Гудок».

Однако, в важнейшем вопросе — оценке явления — писатели иногда расходятся. Вот как вспоминает об этих днях Михаил Булгаков: — «Одно могу сказать, более отвратительной работы я не делал во всю свою жизнь. Даже сейчас она мне снится. Это был поток безнадежной серой скуки, непрерывной и неумолимой. За окном шел дождь».

А вот как Юрий Олеша: — «И делается радостно при мысли о том, что и ты был вместе со всеми в начале славного пути, что и ты шел вместе с теми, кто прокладывал дорогу к этим сегодняшним дням...

Слова М. Булгакова вступают в ненужное противоречие с проникновенными словами Ю. Олеси и вызывают недоумение. В этой полемике мы должны безоговорочно поддержать Юрия Олешу. Тем более, что Булгакова не поддерживает никто, а Юрия Олешу все, и особенно Виктор Шкловский: — «Самой интересной была редакция «Гудка», — сообщает нам Виктор Шкловский, который все хорошо знает, — а в «Гудке» самой интересной — четвертая полоса, в которой работали рабкоры и молодые писатели. В этих комнатах Дворца труда вырастала профсоюзная советская печать и одновременно вырастала советская литература... Здесь начал работать и Юрий Карлович Олеша...»¹⁵

В отдалении от этой шумной, необыкновенно талантливой и принесшей столько реальной пользы толпы рабкоров и молодых писателей тихо стоял Бабель.

Так как я начал с того, что роман «Три толстяка» никакого

¹⁵ Виктор Шкловский. «Об авторе и его книге». Юрий Олеша. «Ни дня без строки». «Октябрь», 1961, № 7, стр. 147.

отношения к газете не имеет, то теперь я вынужден сказать, к чему же он имеет отношение. Железная последовательность критико-биографического очерка делает со мной, что хочет.

Незадолго до того, как Юрий Олеша стал писать стихи о паровозах, он писал стихи о королевских гробницах. Эти стихи звучали так:

Согнув над миром острых два плеча,
Раскрой, о вечность, желтые страницы, —
Где немы королевские гробницы
И тлеет византийская парча...¹⁶

Эти стихи мало похожи на произведения, напечатанные в газете «Гудок», не только потому, что они касаются вопросов вечности и византийской парчи, в то время как газетные нацелены на прямо противоположные моменты, а главным образом в связи с тем, что они (я имею в виду именно эти стихи), несмотря на традиционализм, написаны совершенно профессионально. Но такие хорошие стихи не стали большой литературой, потому что одно из обязательных условий большой литературы это отсутствие литературности.

Юрий Олеша, как и его одесские друзья, писал условно-исторические стихи, которых так много во всех литературах, которые никогда не становятся великой литературой, которые создаются от еще не пережитого удивления вдруг открывшимся миром поэзии и на которых большие писатели не задерживаются долго, которые стали прямыми предшественниками его первого романа.

Условно-исторические стихи Юрия Олеши были хорошими и плохими, но никогда не были такими, которые определяют писательскую судьбу их автора. Они были естественным, непосредственным и единственным преддверием произведения, которое определило судьбу их автора.

Создается впечатление, что стихи, напечатанные в «Гудке», написаны специально для того, чтобы мы никогда так и не смогли понять, каким образом вырос прекрасный писатель. Стихи, напечатанные в «Гудке», не случайны в судьбе Юрия Олеши и не бесследны в его творчестве.

¹⁶ Цит. по кн.: И. Гринберг. Эдуард Багрицкий. Л., Госуд. изд. худож. литературы, 1940, стр. 5.

Начиная со «Строгого юноши», настойчиво и властно орган Союза рабочих железнодорожного транспорта будет напоминать о себе в каждом новом произведении писателя.

Аркадий Белинков

З А У М Ь

Наши бедные милые радости,
Ну, хотя бы грибочки, огурчики,
Все такое-сякое, не редкости,
Что манило, маяча-играючи:

Пчелы, бабочки, девочки, мальчики
И, увы, одуванчики-венчики,
Мне годами знакомые, издавна,
Наяву и сегодня, но издали

Обернутся, уже откликаются
Незнакомой нечаянной радостью:
За промытой озоном околицей —
Чайной розой, укропом и радугой,

Затихая небесными гласными,
Околесицей зăуми — рая ли?
Поздней осенью, мнится, под ясенем
Удивленно глаза протираю я.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Не грусти и не обманывай,
У Георгия Иванова
Никого и ничего —
То ли трели, то ли вой...
Что-то нудится и — нравится,
Полюби его, Красавица,
Он и волк, и соловей,
И тоску его развей...

Разве воля за околицей,
Поле проволокой колетя.
Будто бы России нет.
Звезды, музыка, рассвет.

Юрий Иваск



Расцветают цветы. И в ночи,
Как весною оделись деревья.
Одинокaя птица кричит
Из старинного вырвaсь поверья.

Это сон или явь? Все равно.
Как воде ледяного колодца
Нам прозрачное счастье дано
Отраженного воздухом солнца.

Орошенная звездным дождем
Просыпается ночь для полета,
О котором забудем мы днем...



Просыпаемся. Плачет звезда
Об ушедших далеко, когда-то.
И проходят за годом года
И солдаты идут за солдатом.

Это воинство мертвых солдат
Гумилевскому подвигу верных
И идущих до райских врат
Своим шагом глухим, равномерным

На полях, на полях, на полях
Подымается облако пыли,
Высоко шелестят тополя,
Имена о которых забыли.

Не случайно я с детства верна
Гумилевскому подвигу битвы —
У парижского стоя окна
Я шепчу о солдатах молитвы,

Как о братьях всех стран и времен
И поет моя память живая,
Изгоняя в бессонницу сон
И в солдата меня превращая.

Зинаида Шаховская

О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Летом 1922 года в одном из берлинских кафе на Курфюрстендаме, где собирались русские писатели и издатели, Саша Черный познакомил меня с Мариной Ивановной Цветаевой. Я знал ее стихи и мне очень понравился ее только что вышедший маленький сборник «Разлука». Мне хотелось поговорить о нем, но, услышав, что я живу в Праге, МИ забросала меня вопросами. Она весной приехала в Германию из Москвы, а муж ее, Сергей Яковлевич Эфрон, офицер белой армии, с которым она не виделась несколько лет, попал после эвакуации денкинцев и врангелевцев в Чехословакию, поступил там в Карлов университет, и они собирались поселиться в Праге.

Она говорила не громко, быстро, но отчетливо, опустив большие серо-зеленые глаза и не глядя на собеседника. Порою она вскидывала голову, и при этом разлетались ее легкие золотистые волосы, стриженные в скобку, с челкой на лбу. При каждом движении звенели серебряные запястья ее сильных рук, несколько толстые пальцы в кольцах — тоже серебряных — сжимали длинный деревянный мундштук: она непрерывно курила. Крупная голова на высокой шее, широкие плечи, какая-то подобранность тонкого, стройного тела и вся ее повадка производили впечатление силы и легкости, стремительности и сдержанности. Рукопожатие ее было крепкое, мужское.

В кафе мы просидели долго. МИ рассказывала о своей голодной жизни 1918-1920 годов на московском чердаке с двумя дочерьми: одна умерла, вероятно от недоедания, другую — Ариадну (все ее называли Аля) она вывезла за границу. Тогда же я услышал от нее о том, как однажды к ней забрался какой-то субъект — она потом догадалась, что вор. Сперва, приняв его по близорукости за какого-нибудь малоизвестного поэта — их много ходило к ней — она гостеприимно предложила ему морковного чая. От скудного этого угощения он в недоумении

отказался, огляделся и, оценив убогую обстановку, ретировался, оставив на столе несколько рублей.¹ Вспоминая в юмористических тонах и об этом происшествии, и о том, как, благодаря марксистскому критику Петру Когану, она в 1921 году, наконец, получила писательский паек, МИ улыбалась, и усмешка приподымала кверху уголки ее большого, резко очерченного рта.

Я был в то время литературным редактором пражской «Воли России»: сперва ежедневная газета, она стала затем еженедельником, и мы собирались в ближайшем будущем превратить ее в ежемесячный журнал. Я предложил Цветаевой дать нам стихи и по приезде в Прагу зайти в редакцию в центре города, на Угольном рынке. Ей очень понравилось чешское звучание нашего адреса — Ухельни Трх — и впоследствии она часто спрашивала меня с лукавым смешком: «ну, как у вас там — угольный торг или политическое торжище?» Услыхав, что редакция находится в пассаже 18 века с ходами, сводами и переходами и занимает помещение, где в 1787 году Моцарт, по преданию, писал своего «Дон Жуана», в комнате с балконом на внутренний двор, МИ совершенно серьезно сказала «тогда я обещаю у вас сотрудничать». Я предупредил ее о политическом направлении журнала — мы были органом социалистов-революционеров. Она ответила скороговоркой: «политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней, и уж, конечно, Моцарт перевешивает». Я до сих пор убежден, что именно Моцарт повлиял на ее решение.

После своего переезда в Прагу осенью 1922 года, Цветаева с мужем и дочерью сперва поселилась в деревне, кажется, в Мокропсах, а потом в городском предместьи, на холмистом Смихове. В редакции она объявилась в ноябре, принесла «Широкое ложе для всех моих рек» — первое ее стихотворение, напечатанное в «Воле России», и познакомилась с моими товарищами по редакции — Владимиром Ивановичем Лебедевым, Евсеем Александровичем Сталинским и Василием Васильевичем Сухомлиным. Первые два умерли в пятидесятых годах в

¹ Об этом случае упоминает в своих воспоминаниях князь С. Волконский, свидетель цветаевской бедственной жизни тех лет, «не быта, а бытия», по его выражению.

Нью Йорке, а третий, возвратившийся в Советский Союз, — десятью годами позже — в Москве.

После кратких деловых разговоров, мы с МИ пошли в кафе «Славия» против Городского Театра, у моста через Влтаву, и там просидели добрых часа два, беседуя на разные темы. В то время я подготовлял предисловие к первому тому воспоминаний Казановы для берлинского издательства «Нева» (он появился в 1923 г., а второй том так и не вышел, «Нева» должна была закрыться из-за отсутствия средств, как и большинство русских литературных предприятий тех лет). МИ успела в 1922-23 году напечатать в Берлине, помимо «Разлуки», еще и «Психею», «Стихи к Блоку», сборник «Ремесло» и второе издание поэмы-сказки «Царь-Девница» — первое было выпущено в Москве.

К моему удивлению, МИ не только отлично знала Казанову и была очарована этим неукротимым любовником и авантюристом, но и написала о нем несколько пьес в стихах. Мы тотчас же условились, что она даст для «Воли России» «Приключение» — драму в пяти картинах, основанную на материале четвертого тома «Истории моей жизни» Джакомо Казановы, кавалера де Сейнгаля. Кроме того она обещала дополнить и несколько переделать для нас «Конец Казановы», выпущенный с искажениями в Москве, и дать ему новое название — «Феникс».² У нас тотчас же загорелся спор насчет эпиграфа к «Приключению». МИ перевела его — «Вы позабудете и Генриетту», а я — «ты забудешь также и Генриетту». Возлюбленная Казановы Генриетта вырезала алмазом эту надпись на оконном стекле гостиничной комнаты, где они любили друг друга — он нашел ее через пятнадцать лет на том же стекле и заплакал, потому что предсказание сбылось. Я был поражен, с какой страстью МИ отстаивала свою версию и приводила самые неожиданные аргументы. «Но ведь это мелочь», — попытался я остановить ее. «Мелочь? — спросила она с каким-то зловещим присвистом, точно я был повинен в богохульстве: — выбор слов — самое важное». Сколько раз после этого я наблюдал, как спокойствие и терпимость МИ исчезали лишь только речь заходила о точности отдельных слов, о законности мало употреб-

² «Приключение» появилось в «Воле России» в 1923, а «Феникс» в 1924 г.

ляемых оборотов или ритмических ходов, и она становилась воительницей, готовой уничтожить противника. Для нее первый стих Евангелия от Иоанна был священным: «В начале бе Слово, и Слово бе от Бога, и Бог бе Слово». Помню целую битву в 1929 году в Медоне, где МИ читала мне «Поэму воздуха» — одно из ее самых лингвистически изощренных произведений, с многочисленными словообразованиями, по преимуществу отглагольными прилагательными. Там есть такие строки:

О, как воздух ливок,
Ливок! Ливче гончей
Сквозь овсы, а скользок!
Волоски — а веек!

Я прекрасно понимал из какого корня МИ вела свои «ливок» (лить-ливень) или «веек» (веять), но не удержался и заметил, что для петербуржцев это слово прозвучит двусмысленно — ведь они могут принять его за родительный падеж от «вейка» — как называли извозчиков финнов и эстонцев, промышлявших в столице во время масленицы. А так как с упразднением «ять» исчезло различие между «вейка» (через «е») и «веять» (прежде — через «ять»), то я строку «волоски, а веек» принял холодно. МИ справедливо возразила, что нельзя менять из-за наличия второстепенных местных речений, и тут же воспользовалась случаем, чтобы произвести очередное нападение на новое правописание. Она его сперва люто ненавидела, потом презрительно не любила, и только к 1925 году с неохотой с ним примирилась. Но, например, нового, как она выражалась, календаря она никак не могла принять.

Те, кто упрекал Цветаеву в поэтическом буйстве и словесном неистовстве, вероятно, не подозревали, как много она работала над своими стихами, как тщательно выбирала — и по много раз переделывала — и целые строфы, и отдельные выражения. Она не раз повторяла, что любит «выгрызаться в слово, вылушивать его ядро, доискиваться до корня», и она придавала огромное значение ремеслу, недаром «ремеслом» назвала один из своих сборников. Все у нее было вымерено и проверено — не исключая и прозы. У меня сохранилась толстая тетрадь с черновиками ее сравнения Пастернака с Маяковским, в ней огромное количество поправок и вариантов первоначального текста, и «попытка чистовика», как она пишет. Очень любо-

пытна также ее работа над французским «Письмом к Амазонке» в той же тетради. Вообще в творчестве ее поражает именно это соединение внутреннего кипения и вихревой конструкции стиха с мастерством, и контролем формы, бури с тщательностью отделки. Когда было напечатано упомянутое мною стихотворение «Широкое ложе для всех моих рек», я заметил, что на самом деле русло ее стихов глубоко, но проходит в узких скалах, и она немедленно процитировала Теофила Готье:

...pour marcher droit

tu chausses,

Muse, un cothurne étroit.

(«Для прямого шага, Муза, ты носишь узкий башмачок»).

В течение трех лет — с 1922 по конец 1925 года — мы часто встречались с МИ, часами разговаривали, гуляли и быстро сблизились. Общность литературная скоро перешла в личную дружбу. Она продолжалась семнадцать лет и была неровной и сложной: размолвки и примирения, взлеты и снижения. В одном я оставался неизменным: я считал ее большим и исключительным поэтом, наравне с Пастернаком, Маяковским, Мандельштамом и Ахматовой, и еще в 1925 году писал, что в эмиграции ей соразмерен только Ходасевич. Этого мнения я держусь и по сей день.

Многое в характере и некоторые особенности МИ как человека постепенно стали мне ясны из ее отрывочных рассказов о собственном детстве. Она мало говорила об отце, Иване Владимировиче, но уважала и ценила его: сын бедного священника деревни Дроздово, возле Шуи Владимирской губернии, он трудом и настойчивостью достиг «степеней высоких». Профессор Московского университета, филолог и историк искусства, он был директором Румянцевского музея и создателем художественного музея императора Александра III-го (ныне Пушкинского). МИ говорила, что унаследовала от него упорство и самозабвенную преданность любимой работе. Он был так поглощен своей деятельностью, что у него едва хватало времени на детей — двух от первой жены — дочери известного историка Д. Иловайского, умершей в 1890 г., — и двух от второго брака — Марина (родилась в 1892 г.) и Анастасия (родилась в 1894 г.).

Во всяком случае, когда я спрашивал о влиянии на нее

отца, МИ тотчас же переводила разговор на воспоминания о матери, Марии Александровне Мейн. Полуполька из богатой семьи обрусевших балтийских немцев, культурная и образованная, она была талантливейшей пианисткой, ученицей Антона Рубинштейна. Замуж она вышла не по своей воле, а по настоянию отца и родни. МИ бывало говорила про себя, что по матери и отцу в ней слились три крови, и от них — любовь к Москве, польский гонор и привязанность к Германии. В беседах на эту тему она признавала, что природу, музыку и стихи ей открыла мать. Впрочем, Мария Александровна относилась к дочери с холодком, на ее обожание отвечала сдержанно и все старалась обуздать воображение Марины и ввести в границы ее бурный темперамент. МИ со смехом рассказывала о неудаче материнских попыток приохотить девочку к систематическим занятиям музыкой или внедрить в нее такие добродетели как почтительность к старшим и дипломатическую вежливость. (Марину-подростка исключили из гимназии фон Дервиз за дерзость, и кончать курс учения ей пришлось у Алферовой, в 18 лет). Но едва научившись грамоте и нотам, она шести-семи лет читала Пушкина и слушала сонаты Бетховена. Для нее рано начался период полу-детских увлечений — Сара Бернар, Наполеон, Ростан, последний пленил ее своею пьесой «Орленок», о несчастном сыне императора, герцоге Рейхштадтском, и в молодости МИ принялась переводить ее на русский язык. Из-за Ростана мы с ней повздорили: я говорил о Ростане скептически, и любовь к нему считал чуть ли не проявлением дурного вкуса, а МИ восхваляла его романтически и упрекала меня в литературном снобизме.

Благодаря матери МИ великолепно знала французский и немецкий, им ее обучали в детстве гувернантки, затем она провела почти два года (1903-1905) в пансионатах Лозанны и Шварцвальда, а 16 лет, вместе с младшей сестрой слушала лекции в парижской Сорбонне. Следы материнского строгого, слегка чопорного воспитания остались в МИ на всю жизнь, в ее манерах в обществе сказывалась барышня, выросшая в барской обстановке, но я думаю, что ей недоставало материнской нежности и любви и этим объясняется, что она всегда искала женской дружбы, и, например, в своей более пожилой чешской приятельнице, Анне Тесковой, явно ценила именно материнскую теплоту и заботу. Эта дружба была для нее заменой и компенсацией.

Мать умерла в 1906 г. от чахотки, и с этого момента четырнадцатилетняя Марина росла как дичок и в общем делала все, что хотела. В восемнадцать лет она выпустила — втайне от отца и родных — свой первый сборник «Вечерний альбом», за ним через год последовал «Волшебный фонарь». В 1912 г. она вышла замуж за Сергея Эфрона: ей было 20, ему 19 лет. Я отчетливо помню, как МИ говорила мне:

«1913-ый был знаменательным годом: родилась Аля, умер отец, и вышел мой сборник «Из двух книг». Обложку для него сделала Ася Тургенева, жена Андрея Белого». В эти годы МИ дружила с Максимилианом Волошиным, Кузминым и другими поэтами и вошла в литературные и театральные круги Москвы. Несмотря на близость к выдающимся символистам и обожание Блока, она к ним не примкнула. Точно так же ее не пленили и акмеисты, хотя она очень любила Ахматову и часто встречалась и была в приятельских отношениях с Мандельштамом. Судя по ее рассказам, он был к ней равнодушен (см. «История одного посвящения», опубликованную мною в Oxford Slavonic Papers, XI, 1964). Футуристы ее интересовали — особенно Маяковский и Хлебников — но она им была чужда. После отъезда ее мужа на Дон в 1918 г., она жила в Москве одна, в тяжелых условиях: они усугублялись тем, что она открыто восхваляла белое движение.

В конце 1922 г. и особенно в 1923 г. мы с МИ говорили, что наша дружба — на ходу. Мы разговаривали, блуждая по улицам и садам и неизменно заканчивали наши прогулки в кафе. МИ как-то сказала Анне Тесковой, что благодаря мне познакомилась с десятками пражских кафе. Но она познакомилась также и с Прагой. Я очень любил — и люблю — этот замечательный, несколько трагический город, и водил МИ по переулкам вокруг Клементинума, ставшего университетом, по Малой Стране, с ее дворцами и легендами, по узкой Златой улочке, с маленькими домиками, где, по преданию, в 16 и 17 столетии жили алхимики и звездочеты, мимо великолепных дворцов Лобковица и Валленштейна, в которых высокий Ренессанс переходит в Барокко. МИ особенно привлекали еврейское кладбище с его надгробными камнями, точно раскиданными в буйной траве, и Чертовка под Карловым мостом. Там у одного из каменных быков моста на узком цоколе — статуя рыцаря с подь-

ятым мечом. У него строгое лицо, стройное тело, из-под шлема выбиваются светлые кудри, весной и шлем и меч скрыты в листве разлапистых деревьев, птицы выют гнезда в сгибе рыцарского локтя. Неизвестно, кто этот хранитель вод — Роланд или легендарный чешский герой Брунsvик. МИ была в восторге от рыцаря, от тишины, от запущенной Чертовки, и через два дня после нашей прогулки прислала мне своего «Пражского рыцаря», вошедшего во все сборники ее стихов:

Бледно-лицый
Страж над плеском века —
Рыцарь, рыцарь,
Стережущий реку.

Она всех спрашивала о рыцаре и мечтала написать о нем повесть — на фоне Праги 18 века. Мне казалось, что она увидела в нем сходство с мужем — такое же узкое-древнее — лицо, и та же поза воина, обнажившего меч за правое дело. Все это соответствовало тогдашнему настроению МИ — в ее «творимой легенде» белого движения.

МИ всегда очень любила прогулки — у нее был легкий и твердый шаг, она могла ходить без усталости, недаром впоследствии написала «Оду пешему ходу» (отвергнутую в 1931 году «Современными Записками»). Единственное, что нарушало ее удовольствие от наших «броджений», как она говорила, соединяя «бродить» и «хождение» — был переход улиц. Она смертельно боялась автомобилей, и, ступив с тротуара на мостовую, судорожно вцеплялась в мой рукав и шептала, тщетно стараясь обратить страх в шутку: «миленький, пожалуйста, остановитесь, вот он, негодяй, едет прямо на нас, сейчас раздавит», и не успокаивалась, пока не оказывалась на другой, безопасной стороне.

После переезда из Чехии во Францию, МИ открыла, что крепко любит Прагу и даже создала об этом нечто вроде мифа. В него входили самые различные моменты. Ее привлекали самый дух столицы, ее романтическое прошлое, и чувство кровного родства с городом, где прошли самые яркие годы ее эмигрантской жизни, полные горестей и радостей, поэтического расцвета и творческих надежд. Здесь были написаны лучшие ее произведения — «Поэма горы», «Поэма конца», «Крысолов», «Деревья», «Поэма комнаты», «Лестница», «Полотерская» и

ряд прекрасных лирических стихов. Впоследствии, живя в парижских предместьях, она с умилением вспоминала свои более чем скромные жилища в чешских деревнях или на холме Смихова, и рвалась в Прагу, как в некую обетованную землю. Во время своего 13-тилетнего пребывания во Франции она постоянно писала и говорила о поездке в Прагу — хоть на две недели, и эта трогательная мечта превратилась у нее в навязчивую идею. При каждой встрече со мной в Париже в конце двадцатых и начале тридцатых годов она спрашивала совета, как устроить ее вечер в Праге и этим заработать деньги на поездку. Всякий раз, как я попадал в Чехию, я разговаривал с верным другом МИ, Анной Тесковой, которой она неоднократно писала об этом, но мы оба ясно понимали всю трудность, вернее невозможность подобного предприятия. У меня создалось впечатление, что умная и рассудительная Тескова, зная способность МИ творить мифы и самой в них верить, боялась, что поездка в Прагу принесет МИ не радость, а разочарование.

В привязанности МИ к Чехии, помимо чисто личных переживаний души и сердца и — как она бы сама добавила — духа, значительную роль сыграла и «Воля России». Она нашла в этом журнале не только материальную, но и литературную поддержку. В отличие от «Современных Записок» и «Последних Новостей», где ее не понимали, и стихов ее не любили, и где ее произведения безжалостно сокращали, «редактировали» и подвергали нелепой цензуре, я помещал и поэзию и прозу МИ, не меняя в них ни строчки, и заботясь лишь о том, чтобы наборщик не превратил «сирость» в «сырость». МИ благодарить не любила и не умела: когда редакция «Воли России» в 1925 г. преподнесла ей коляску для новорожденного сына, она попросила Тескову отвести меня в сторонку и выразить восхищение подарком: «я не умею благодарить в упор», пишет МИ. Но даже и она открыто признавала, что была многим обязана «Воле России». До сих пор полный текст «Крысолова», самой длинной и значительной поэмы ее эмигрантского периода, напечатан только в «Воле России» (1925-26 гг. В московском «Избранные произведения» 1965 г. «Крысолов» помещен с сокращениями). В журнале также появились циклы стихов и поэмы — «Земные приметы», «Деревья», «Сивилла», «Красный бычок», «Поэма воздуха», «Поэма лестницы», «Попытка комнаты», «Маяковскому» (вызвавшее резкую полемику), «Сибирь», ряд ли-

рических стихотворений, и проза — «Герой труда» (о Брюсове), «Октябрь в вагоне», «Твоя смерть» (о Рильке), «О Гончаровой», «Письма Рильке», «Поэт и время» и две уже упомянутые драмы «Приключение» и «Феникс» (конец Казановы).

МИ не знала, что мне было отнюдь не легко ввести ее в «Волю России» и утвердить ее в качестве постоянного сотрудника журнала. Как редактор литературного отдела я обладал свободой выбора материала, но на меня неоднократно вели атаку те, кого мы называли нашим окружением. У многих друзей — партийных и беспартийных — и даже сотрудников «Воли России» необычность стихов МИ вызывала недоумение и недовольство. Особенно мне доставалось от старого известного народника Егора Егоровича Лазарева. Он был — хотя лишь формально — издателем журнала и обычно не вмешивался в редакционную политику, но не скрывал своих мнений и чувств, если печатаемое нами задевало его за живое. Он родился еще при крепостном праве, учился на медные гроши, стал весьма образованным человеком, но, будучи воспитан семидесятниками, в литературе ценил только классиков, реализм и идейность. Прочитав цветаевские стихи, особенно «Земные приметы» и «Полотерскую», он приходил в редакцию, садился против меня, разводил руками, потряхивал бородкой и старческим голосом бубнил в нос: «читаю, ничего не понимаю, Цветаева, а никаких цветов не вижу».

Однажды он вывел меня из равновесия своими причитаниями и насмешками, и я, позабыв о своей молодости и его седилах, запальчиво воскликнул: «Да вы ведь не умеете читать эти стихи!» Добрый Егор Егорыч сперва опешил, а потом промолвил с улыбочкой: «а вот до сих пор считался грамотным». Я объяснил, что Цветаеву надо читать вслух, медленно, отдельно, выделяя, подчеркивая, сглаживая звуки и рифмы — согласно ритму каждого произведения — и тогда легче ощутить ее поэзию. Послушать мою демонстрацию такого чтения собрались все, кто находился в редакции, а когда я окончил, Егор Егорович вздохнул: «да, так, пожалуй, яснее, ну да все равно, вам, молодежи, лишь бы были новшества, да я не судья».

Другие трудности были политические. МИ считалась «поэтом белой мечты», и бывшие офицеры Деникина и Врангеля повторяли ударные строки ее популярной «Новогодней» (1922), предлагавшей тост

За почетную рвань,
За Тамань, за Кубань,
За наш Дон русский —
Старых вер Иордань
Грань
Кружка о кружку.

Других ее вещей они не знали, но полагали, что ей не следует печататься в эсеровском журнале. А эсеры удивлялись, почему «Воля России» помещает ее из номера в номер, и намекали мне, что ей, пожалуй, не место на страницах нашего органа «политики и культуры». Тут я приходил в ярость, называл их узколобыми сектантами, начетчиками, зараженными большевицкой догмой. К счастью, меня поддерживали мои товарищи по редакции, особенно В. И. Лебедев и Е. А. Сталинский, они сочувствовали моей ставке на молодых писателей и на новые течения в искусстве. Мы охотно помещали произведения Зайцева, Муратова, Осоргина, критические очерки Ходасевича и Шкловского, путевые заметки Андрея Белого, но меня особенно интересовала литературная молодежь. Мы «открыли» Поплавского и Газданова, отводили много места другим парижанам — поэтам и прозаикам — и привлекли к сотрудничеству в журнале таких еще неоперившихся пражан, как А. Эйсер, В. Лебедев, Н. Еленев, В. Федоров, Н. Андреев, Х. Кроткова, С. Рафальский, Г. Хохлов и многих других, независимо от их политических симпатий. Все они приходили на литературные чаи, устраиваемые в редакции — и когда на них появилась МИ, она сразу ощутила атмосферу приязни и даже любви. А она в них очень нуждалась: академические круги и писательская среда, за исключением разве семьи Чириковых, относилась к ней с осторожностью, порою даже с некоторой враждебностью, и никак не считала ее большим поэтом.

МИ в 1923-25 гг. часто заходила в редакцию и познакомилась там с Лазаревым. Она ему понравилась, и он сказал ей в своей обычной манере, полушутя, полусерьезно:

«Недаром о белых сочиняете, небось генеральская дочь». — «Да, — ответила Марина, — но генерал до 12 лет без сапог ходил, как и вы в детстве, Егор Егорович». В дальнейшем разговоре кто-то упомянул об одной пражской эмигрантке, сорившей деньгами, чудившей, не знавшей, что с собой делать.

Мы молчали. «Люблю богатых, — вдруг сказала МИ, беря новую папиросу, — мне их жалко». А через несколько дней прислала мне свою пародийно-саркастическую «Хвалу богатым». Помню, как в другой раз, она объявила тому же Егору Егоровичу, что не любит «белоскатертных». В Париже она говорила, что нигде не чувствует себя так плохо и неудобно, как на дамских чаях, приемах и званых обедах. Но там, вероятно, ее смущало сознание своей бедности, далеко не модной одежды и полного несоответствия между скудостью, почти нищетой, в которой она жила, и обстановкой русской буржуазной эмиграции.

То, что МИ предоставили страницы самого большого русского журнала в Праге, это было для нее очень важно, но, пожалуй, еще ценнее была возможность говорить **полным** голосом. Впоследствии она вспоминала об этом всякий раз, как ей приходилось испытывать обиду из-за всяческих ограничений, так отравлявших ее сотрудничество в самых влиятельных органах парижской эмиграции. В «Современных Записках» и «Последних Новостях», говорила она, меня «терпят», но не любят и как поэта не любят. В «Воле России» ее поэзией дорожили, и я высоко ставил ее еще до нашего личного знакомства. Еще в 1922 г. я указывал на значение «Разлуки», как нового этапа в ее творчестве, отмечал ее «героический идеализм, сознание своей предназначенности и чувство рока», и называл ее «одной из лучших русских поэтесс». Двумя годами позже я поставил ее имя рядом с именем Ахматовой.

Добавлю, что во время «пражского периода», да и потом, вплоть до 1932 г., гонорар из «Воли России» был основным писательским заработком МИ. И хотя она о деньгах не думала и считать их не умела, она знала, что «Воля России» — в пределах своих ограниченных возможностей — никогда не откажет ей в помощи. Во всех особо трудных моментах ее существования, она обращалась ко мне — будь то аванс или хлопоты для продления ей писательской стипендии, посылавшейся из Чехии в Париж.

Хорошее и дурное, пережитое в Праге, слилось впоследствии для МИ в некий символ интенсивного существования. Большую роль сыграло в этом ее увлечение Константином Род-

зевичем. Я видел его раза два, он мне показался себе на уме, хитроватым, не без юмора, довольно тусклым, среднего калибра. Некоторые из его товарищей-студентов, как, например, Н. Еленев, упрекали его в лживости и расчетливости и отзывались о нем резко отрицательно... Из отдельных замечаний МИ — она о нем говорить не любила — у меня составилось впечатление, что он был ошеломлен и испуган нахлынувшей на него волной Марининой безудержности и бежал от грозы и грома в тихую пристань буржуазного быта и приличного брака. Марина, конечно, была ему не по росту, особенно когда началось ее мифотворчество. Ее попытка вознести их любовь на-гора сорвалась, она за это жестоко поплатилась и поведала об этом в «Поэме горы» и «Поэме конца», написанных в 1924 году. Вступительная строка первой из них — «горе началось с горы» — точно передает происшедшее.

Как всегда это бывало у нее, МИ влюбилась не в Родзевича, каким он был, а в него, каким она себе его представляла — в ее собственное отражение и мечту. Это не была простая стендалевская «кристаллизация». В своей способности к восторгу и преувеличениям она создавала воображаемые образы и чувства нереальных размеров и огромной силы. Однажды, не удержавшись, я назвал этот уклон «гигантизмом», и она долго не могла мне простить этого, по ее словам легкомысленного, выражения. А между тем именно из-за этой ее особенности отношения с современниками так часто обертывались для нее неудачей и разочарованием.

Я не знаю, какой была МИ в эпоху «Юношеских стихов», и действительно ли она, по ее собственному признанию, «грешила со страстью Господом данными чувствами — всеми пятью!» Но в годы эмиграции все ее влюбления казались мне поэтической выдумкой, «пленной мысли раздражением».

В 1924 г. я жил в небольшой квартире в квартале Дейвиц, рядом с Лебедевыми, и МИ часто у меня бывала. Однажды она прочла мне «Поэму конца» и потом сказала, что если чувство иссыкает, рана еще не зажила, еще больно и жжет, но уже кровь свертывается, засыхает — и тогда приходит злость на себя, что опять поверила и обманулась, и желание разрушить тобою же сотворенного кумира и этим наказать и себя и его. Я потом понял, что через этот процесс возвеличения, почти обожествления, а затем гневного отрицания, враждебности, насмешки

— даже мести — МИ проходила по отношению к самым разным своим знакомым. Исключение составляли два поэта — Рильке и Пастернак. МИ переписывалась с Рильке, он посвятил ей одну из своих «Дуинских элегий», но они никогда друг друга не видели. Она много о нем писала. Стихи Пастернака МИ «открыла» в 1922 г. в Берлине, и восхитилась, а он в это же время прочел ее «Версты» в Москве и был поражен ее талантом. Так началась их заочная — письменная — дружба. МИ часто говорила, что увлекаешься чужим, а любишь родное, а в Пастернаке — родная душа, он ей «равносителен». Своего сына, родившегося в феврале 1925 года, она хотела назвать Борисом в честь Пастернака, но муж ее переубедил, и его окрестили Георгием. Впоследствии МИ убедилась, что в плане жизненном между нею и автором «Сестра моя жизнь» ничего произойти не может, но продолжала обожать его издаека. После писательского съезда в июне 1935 г. в Париже, она в кулуарах виделась и разговаривала с неожиданно приехавшим Пастернаком. Когда я спросил ее об этом свидании, она сказала с горечью, которой я никогда не забуду: «это была «невстреча», и потом вдруг повторила — не закончив — последнюю строфу своих стихов к Блоку:

Но моя река — да с твоей рекой
Но моя рука — да с твоей рукой
Не сойдутся...

Но все ее взлеты и поражения — в дружбе, как и вообще в восхвалении и отвержении, в любви и неприязни — к людям, книгам, городам — вытекали из ее органического романтизма.

Разрыв между скучными песнями земли и звуками небес, тоска сосны по воображаемой нездешней пальме — основные черты романтизма как психологической категории, неизменно пребывающей в веках и принимающей разные облики во времени, согласно велениям определенной эпохи. Одним из таких исторических воплощений был романтизм как литературное движение на Западе конца 18 и начала 19 столетия. Он достиг расцвета и огромного влияния, создал свой стиль и эстетическую теорию, воплотил в себе мятежную энергию, развязанную французской революцией, ее мечты и тоску, ее победы и падения.

Цветаева романтиком родилась, романтизм ее был природным, и она его громко утверждала: из-за этого многие обвиняли ее чуть ли не в актерстве и выверте — но те, кто хорошо знал ее, отлично видели всю естественность ее порывов, ее бунта и всего, что неправильно именовали ее «неистовством». Она сама себя правильно определила:

Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший сер,
Где вдохновенье хранят как в термосе,
С этой безмерностью в мире мер (апрель 1925).

Такой ее создал Бог, и такой она себя видела и принимала. Она отталкивалась от будничной реальности, и совершенно искренне признавалась: «я не люблю жизни, как таковой — для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес только в искусстве. Если бы меня взяли за океан, в рай и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая. Мне вещь сама по себе не нужна». И опять-таки, многим были не по душе ее постоянное самоутверждение (которое некоторые называли отсутствием скромности), ее гордость и та неудобная прямота, с которой она говорила о своей бедности, унижениях и ежедневных трудностях существования. На самом деле это была непоколебимая уверенность поэта в своей непохожести на других, в своем даре — от Бога — от рода — от судьбы. Она всегда повторяла, что если красавица делает вид, будто и не подозревает о своей красоте, она либо глупа, либо фальшивая кокетка. Сознание своей силы — правда, а не порок. Она часто мне говорила, что всегда находит в Пушкине и Гёте сознание их собственной силы — и радость от этого сознания. Она не оригинальничала, она была оригинальна, и этим отпугивала глупцов, ханжей и пуританских скромников, иногда скрывавшихся под псевдо-классической маской. В эгоцентризме, типичном для большого поэта, они видели самовлюбленность и агрессивность. Впрочем, сама МЦ часто давала повод к такому ложному мнению: иногда она попросту не видела окружающих, и они принимали ее уход в себя за презрение, она могла быть сухой, несправедливой и жестокой как раз с людьми, старавшимися ей помочь. Но не надо забывать каторжных условий ее существования, ее вечной обиды на судьбу: мыть посуду, готовить обед, подметать, чинить белье может каждая — а она

еще умела писать стихи — но не могла отдаться им целиком именно из-за обеда, посуды, подметания, из-за всего этого обязательного труда — она себя называла чернорабочей — и никто ее от него не избавил, и чернила приходилось разбавлять водой, потому что на новую бутылочку не хватало денег, и творить можно было лишь по ночам, или рано утром, за кухонным столом вместо письменного. К жизни она была неприспособлена, но бремя свое несла честно, упорно — из сильно развитого чувства долга — по отношению к мужу, детям, семье. Быт и все повинности физического труда ненавидела, «мелкие заботы не давали ей возможности отдаться писанию, она теряла время и силы на ненужное, изматывавшее, и предвидела, что никогда ей не удастся творить без помех, на свободе.

Однажды — в Медоне — в 1929 г., я спросил ее, когда она даст рукопись о Гончаровой для «Воли России». Она пожала плечами и ответила: «если удастся выкроить время, через две недели». И потом, помолчав, с усмешкой и горечью добавила: «вот у Бодлера — поэт, это альбатрос — ну, какой же я альбатрос, просто общипанная пичуга, замерзающая от холода, а вернее всего потусторонний дух, случайно попавший на эту чуждую, страшную землю». Слова эти я тогда же записал и навсегда запомнил. Она сама себя называла «столпником», избравшим малую пядь земли для утверждения своей правды, или же «крылатой, но безрукой», ибо могла летать, но поденщиной заниматься не умела.

Обычная ноша романтиков, — разрыв между действительностью и мечтой, их одышка **здесь** и полное дыхание только на вершинах, в лазури, — у МИ еще была отягощена грузом постоянной нужды, тяжкого физического труда, оскорблений, унижений и одиночества. Она была трижды изгнанницей, ибо в эмиграции была чужой и как человек — трудный; неспособный к простым человеческим отношениям — и как романтик, тоскующий в земном плену, и как поэт, выполняющий свое послание. Эту свою трагедию Цветаева переживала постоянно, вплоть до последнего часа, когда выходом оказалось самоубийство.

Но помимо романтизма природного, МИ принадлежала к романтизму, как литературной школе. Ее учителями были,

главным образом, немецкие романтики двадцатых годов прошлого столетия, она читала их в подлиннике, знала великолепно и цитировала наизусть — память у нее была исключительная. Она всегда перемежала разговоры со мной цитатами из своих любимцев — Гофмана, Гёльдерлина, Шамиссо, поэтов эпохи бури и натиска. Очень любила Гейне и Клейста, а из французов — Готье, некоторые поэмы Гюго, новеллы Мериме и романы Стендаля. Одно время сильно увлекалась «Большим Молном» Алэна Фурнье.

Многих удивляли некоторые ее суждения о писателях и книгах. МИ, например, определенно не любила ни Толстого, ни Достоевского, они ей были чужды. Она со смехом говорила, что на необитаемый остров взяла бы не их романы, а «Соборяне» Лескова и «Семейную хронику» Аксакова. Пушкина она боготворила, а Лермонтов ее чем то отталкивал, ей не по душе был его демонизм и байронизм. Напрасно в одной из наших долгих литературных бесед я доказывал ей, что Лермонтов не имитировал Байрона, а находил в нем самого себя, что юношеская поза превратилась у него в жизненную правду, восхищался силой и музыкой его стихов, и даже сравнивал ее собственные непрестанные переносы (анжамбман) — строчные, строфические и слоговые, — с лермонтовскими, — она уклонялась от прямого ответа. И вдруг начинала удивляться, что у нас в 19 веке не было ни одной женщины поэта, исключая Каролины Карловны Янш (она именно так ее называла), в тридцать лет, вышедшей за Павлова, откуда и пошла ее русская фамилия. МИ неизменно прибавляла — Каролина родилась в Ярославле, а умерла в родном Дрездене. После нее было какое-то движение в начале нашего столетия — стиль «Либерти», в роде Лохвицкой — и безжалостно цитировала: «поля, закатом позлащенные, уходят в розовую даль, в мои мечты неизреченные вплелась вечерняя печаль». А потом вдруг — Ахматова. МИ ею восторгалась, посвящала ей стихи. Говорят, что Ахматова к цветаевской поэзии относилась сдержанно — это, впрочем, вполне естественно.

Булнина МИ считала реалистом и рассказчиком — т. е. отрицала в нем истинно духовную сущность. Высоко ставила Ремизова, говорила, что его писательство — подвиг солдата на посту, и для России он сделал больше, чем все эмигрантские политики вместе взятые.

Некоторые книги МИ любила, потому что находила в них себя — иногда с радостью, как в хронике Сингрид Ундсет «Кристина, дочь Лавранса» — она ее постоянно перечитывала — иногда с горечью, если речь шла, например, о Катерине Мармеладовой, с ее бедностью, горем, оборванными детьми и ненужным французским языком. Как то я спросил, есть ли у нее мерило для оценки произведений, помимо ее излюбленных романтиков. Она задумалась, и потом сказала, что предпочитает высоту — глубине, дух парит ввысь, поэзия — это вознесение.

У МИ был ряд чисто внешних признаков романтизма: в молодости она представляла себя Мариной Мнишек, увлекалась фигурами бунтовщиков — Разина и Пугачева — охотно играла в обольстительницу и писала влюбленному в нее юноше — «милый сверстник, в вас еще душа жива, я же люблю слова — и перстни». Всю жизнь носила цыганского стиля кольца, браслеты и ожерелья, и сожалела, что Григорьевская «Цыганская венгерка» так затаскана, прибавляя — «не его вина». Я думаю, что и ее попытки русского фольклора — полностью соответствовали романтической обращенности к народности.

Патриотизм, а тем более национализм она резко отвергала, и не терпела показного «руссизма». Она понимала, что писателям-бытовикам надо в России жить, но «лирикам, эпикам и сказочникам самой природой творчества своего дальнозорким, лучше Россию видеть издалека». Это она написала на хранящемся у меня листе, вырванном из школьной тетрадки: он начинается с любопытного утверждения (она его часто повторяла): «родина не есть условность территории, а непреклонность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, тот потеряет ее лишь вместе с жизнью». Это убеждение было оправданием ее эмигрантства, и очень верно передавало ее чувства и мысли. Несмотря на свое европейское образование, неизменные уверения в любви к Германии, родине Бетховена и Гёте, и полное неприятие национальных, расовых и религиозных различий, она во всем — манерах, речи, душевном строе — была очень русской — и москвичкой. Недаром Москве посвятила она столько стихотворений («Москва, какой огромный, странноприимный дом»).

И о Цветаевском фольклоре, и о ее чувстве родины (ее замечательное: «Тоска по родине, давно / разоблаченная морока, / мне совершенно все равно, / где совершенно одинокой быть...») можно много спорить (как и об ее драмах и поэмах на древне-греческие темы), но несомненна их эмоциональная и литературная связь с романтизмом. При этом, у нее нет ни религиозного, ни мистического уклона, обычного для многих представителей этого направления, как нет у нее и сатанизма. В «Молодце» любовь девушки к упырю лишена демонического характера. Я указывал на это в 1924 г. Е. А. Ляцкому, убеждая его выпустить поэму в руководимом им академическом издательстве «Пламя». Оно, как правило, не печатало стихов, но, по моему настоянию, для «Молодца» было сделано исключение и он появился в свет в Праге в тот же год.

Любопытно, что в произведениях МИ нет никакой религиозной настроенности. Эта внучка деревенского священника была равнодушна и к церковности, и к обрядам, теологические проблемы и рассуждения о Боге ее не интересовали, а если речь заходила о смерти, смысле жизни, вечности, святости и высшей справедливости, она скучала и переводила разговор на другую тему или цитировала Монтэня. Она не любила, когда я над ней подтрунивал, намекая, что она, втайне, согласна со знаменитой строкой — «поэзия есть Бог в святых мечтах земли».

Ей также не доставало открытого романтиками чувства истории. Удаль, размах привлекали ее, где бы они ни попадались — в прошлом или в настоящем, и она понимала, что от старинного кресла можно дойти и до какой-то внутренней правды, но добавляла: «для души, но не для духа», настаивая на этом существенном отличии. У нее все было в данный, нынешний момент, движения событий она не понимала, от современности была далека, газет не читала, свое творчество определяла как «заговор против века, веса, времени, дробей». Спрашивая себя, чем движется искусство, она повторяла слова своего современника: «силой, страстью, пристрастием». История над этим не имела власти.

Еще одна черта, ее знали все друзья МИ. Она себя называла «защитником потерянных дел» и настаивала, что поэт всегда должен быть с побежденными. Истинного вождя она отождествляла с Дон Кихотом: («Конь — хром, Меч — ржав,

Плащ — стар, Стан — прям»). Отсюда ее гимны белому движению после его разгрома, и большая (очевидно, погибшая) поэма о гибели царской семьи — несмотря на то, что никаких подлинно монархических идей у нее не было — как и вообще не было политических верований.

МИ не была суеверна, но придавала особый смысл знакам, совпадениям, точно они открывали замысел судьбы. Она родилась в полночь с субботы на воскресенье (26/27 сентября 1892 г.) и в этом видела предзнаменование своего пути: от ночи к радости, от земного к духовному. И опять-таки — в этом не было никакого скрытого мистицизма — попросту пища для воображения. Точно также не доводы социального порядка и не политические теории питали ее ненависть к мещанству и буржуазности, с необычайной силой и страстью, проявленную и в «Крысолове» и в десятках стихотворений. Здесь тоже слились начало природное — органическое отталкивание от сытости и самодовольства — и наследие романтизма с его антибуржуазностью, разоблачением посредственности, плоскости, показной добродетели — недаром их высмеивали любимые писатели МИ — от Гофмана и Гейне до Стендаля и Флобера. О русской литературе я и не говорю.

МИ была чрезвычайно умна. У нее был острый, сильный и резкий ум — соединявший трезвость, ясность со способностью к отвлеченности и общим идеям, логическую последовательность с неожиданным взрывом интуиции. Эти ее качества с особенной яркостью проявлялись в разговорах с теми, кого она считала достойными внимания. Она была исключительным и в то же время очень трудным — многие говорили — утомительным, собеседником. Она искала и ценила людей, понимавших ее с полуслова, в ней жило некое интеллектуальное нетерпение, точно ей была неохота истолковывать брошенные наугад мысль или образ. Их надо было подхватывать налету, разговор превращался в словесный теннис, приходилось все время быть на чеку и отбивать метафоры, цитаты и афоризмы, догадываться о сути по намекам, отрывкам.

Как и в поэзии, МИ перескакивала от посылки к заключению, опуская промежуточные звенья. Самое главное для нее была молниеносная реплика — своя или чужая — иначе про-

падал весь азарт игры, все возбуждение от быстроты и озарений. Я порою чувствовал себя усталым от двух-трех часов такого напряжения, и по молодости лет как-то стыдился этого, как признака неполноценности и скрывал это. Лишь много лет спустя я услышал от других схожие признания об этих литературных турнирах. Впрочем, иногда МИ просто рассказывала о недавних впечатлениях или о своем прошлом — о последнем — обрывками, и тут проявлялся ее юмор, ее любовь к шутке, к изображению глупости и наивности ее соседей — но смех ее нередко звучал издевкой и сарказмом. Я не ощущал доброты в ее речах.

Почти всегда, расставшись со мной, МИ вдогонку посылала письмо, ей не терпелось договорить, добавить, или привести стихотворение, лучше всего выражавшее ее чувства и мнения. Вообще, она охотно писала письма — и мне порою казалось, что она забывала о том, кому пишет — так сильно было ее желание преодолеть молчание и найти «дружеское ухо». Этим объясняется множество ее умственных и эмоциональных излияний, отправленных, вероятно, не по адресу. Она писала четким, почти каллиграфическим почерком, с пост-скриптумами, добавлениями сверху, снизу, с боков, с выделенными словами — подчеркнутыми и в разрядку, чтобы сохранить интонацию. В корреспонденции своей — главной ее отдушине в годы одиночества — она тоже соблюдала свой «темп бега», как я ей говорил. Письма она отправляла немедленно по написании, и если не могла этого сделать (не было ни марки, ни денег на марку) — интерес пропадал, и когда письмо залежилось дня на два, она его рвала и выбрасывала. И ответа она требовала такого же стремительного, и если он медлил, яростно обвиняла корреспондента в небрежности, невнимании и прочих грехах.

На этой почве происходили у нее частые столкновения, и она, например, заявляла Тесковой, что я на письма не отвечаю, только потому что мой ответ из Праги в Париж запоздал на несколько дней — обвинение совершенно несправедливое, я сказал бы, вздорное. Это было одно из тех недоразумений, каких было не мало за долгие годы нашего общения, всегда сложного и после 1925 г. порою двойственного — со стороны МИ, причем дело тут было не в наших спорах. А споры у нас бывали часто, и по самым различным причинам.

Например, в 1932 г. МИ очень разволновалась из-за моего случайного замечания о синкретизме всех видов искусства. Я говорил, что различные формы самовысказывания — на одной плоскости, одного происхождения, и, вероятно, жест и танец предшествовали слову и выражают бессознательное, тайное в человеке — Дионисово начало ДО Аполлона. Как многие близорукие люди с необычайно развитым слухом, Цветаева не ВИДЕЛА, а слышала, и сама соглашалась, что в этом ее основное различие от Пастернака. Она ничего не унаследовала от отца, директора музея и искусствоведа, и живопись, скульптура и архитектура, танец до нее по-настоящему не доходили — точно так же, как мать-пианистка не внушила ей желания заниматься музыкой. И ей казалось ересью, богохульным выпадом против поэзии сравнение (не мое, я повторял) балета — движения во времени — с архитектурой, застывшим движением в пространстве или застывшей музыкой. «И вы балет сравниваете с Реймским собором!» — воскликнула она в негодовании. И тут пошла новая баталия: я был воспитан на итальянском Возрождении, а МИ — на германской готике, она инстинктивно отталкивалась от Греции и Средиземного моря. В конце концов, МИ подтвердила, что не любит всяких там лазурных берегов, а признает лишь океан, а еще больше — горы, высоту. Она мне как-то написала, что для нее высшее наслаждение — подыматься на гору, «все-таки ближе к небу».

Года три после этого разговора, я чуть не поссорился с МИ из-за Гронского. Она преувеличенно хвалила его, как поэта, а меня его стихи не трогали и мало интересовали. Ее это возмущало, она обвиняла меня в черствости. Но порою размолвки наши были более глубокими. Трещина в наших отношениях произошла в конце 1924 — начале 1925 года, когда выяснилось, что у нас нет того идеального согласия — литературного и личного — о каком она мечтала. Да, наши основные взгляды на поэзию, и вообще на творчество слова, совпадали, но ряд моих мнений и оценок расходился с Мариниными, и несмотря на ее «попытки терпимости», как я их насмешливо называл, она ощущала недовольство и разочарование. Доходило до того, что она величала меня «литературным критиком» — в ее словаре это был бранный термин.

Наша личная дружба тоже прошла через ряд изменений. Она укрепилась в месяцы после разрыва МИ с Родзевичем. Она

переживала его трудно, мучительно, и ей нужно было, как она говорила, «дружественное плечо, в которое можно зарыться, уткнуться — и забыться», надо было на кого-то опереться. Ей показалось, что я могу дать ей эту душевную поддержку, тем более, что и я в это время разошелся с моей первой женой, и в приблизительном сходстве личных осложнений МИ увидела залог взаимного понимания. Но тут произошло столкновение наших индивидуальностей, темпераментов и устремлений. Во-первых, как обычно, МИ создала обо мне некую иллюзию: она представляла себе меня как воплощение духовности и всяческих добродетелей, совершенно не зная ни моей личной жизни, ни моих наклонностей или страстей или пороков. Поднявшись в заоблачную высь, она недолго в ней парила, и приземление, как всегда, причинило ей ушибы и страдания. Во-вторых, она от близких требовала безраздельной отдачи, безоглядного растворения, включая жертву, причем хотела, чтобы принес ее не слабый, а сильный человек, слабого она бы презирала.

В одном письме к Тесковой в апреле 1929 г. МИ откровенно признается: «раньше я давала, как берут — штурмом! Потом смирилась. Людям нужно другое, чем то, что я могу дать». Но дело было прежде всего в том, что она сама отбрасывала предложенное другими — она желала большего. Я же не мог принять ни штурма, ни ее абсолютов, сводившихся к отказу от жизни, от самого себя, от собственного пути. Она помнила, как я однажды ответил ей: «одна голая душа! даже страшно». Она этого не могла мне простить, а еще пуще ее обижало, что я не испытывал к ней ни страсти, ни безумной любви, и вместо них мог предложить лишь преданность и привязанность, как товарищ и родной ей человек. МИ писала: «я хотела бы друга на всю жизнь и на каждый час (возможность каждого часа). Кто бы мне ВСЕГДА, даже на смертном одре радовался». А я знал, что наши жизненные пути не совпадают, только порою скрещиваются, и что у нас обоих совершенно неодинаковые судьбы. Отсюда ее ошибочное мнение, будто я ее оттолкнул, более того, променял на ничтожных женщин, предпочел «труху гипсовую каррарскому мрамору» (так она писала в «Попытке ревности»).

А после прославления принялась говорить мне колкости при свиданиях и ругать за глаза. Одно время она это делала почти со злобой, во всяком случае со страстью, со своим

всегдашним упорством в последовательности и непоследовательности, в возведении пьедесталов и разрушении статуй. Я знаю, ей это было нелегко, ведь я продолжал помогать ей, чем мог, и защищал ее во всех моих публичных выступлениях. Но прошло несколько лет, прежде чем она сменила гнев на милость, и уверовала в надежность моей дружбы.

Жизнь МИ была трагической, и не малую роль в этом сыграли ее одиночество и невозможность длительных связей с людьми. Она, в сущности, была однолюбом, и несмотря на увлечения и измены, по настоящему любила одного лишь Сергея Эфрона, ее мужа. И потом — когда стало ясным, что он, несмотря на такую же взаимную любовь, не может отказаться ни от своей политической деятельности, ни от самостоятельного, ей чуждого существования — она весь запас неистраченной нежности перенесла на сына. В отношениях с дочерью тоже происходили срывы и охлаждения. А с другими людьми все неизменно рушилось: слишком она была требовательна, слишком «швырялась» друзьями, если они ей чем-либо не угождали, и то возводила монументы, то разбивала их в прах. А некоторых своих знакомых, готовых для нее на все, как-то не замечала — и, быть может, того сама не зная, унижала и отпугивала — холодом и презрительным равнодушием. Но и тех, кто все от нее сносил, она не признавала подлинными друзьями. У нее вспыхивало на миг чувство расположения, общности — например, к Елене Александровне Извольской, к семье кино-режиссера Туржанского, ко второй жене Леонида Андреева, Анне Ильинишне, о которой она рассказывала, что она «огнеокая и по ночам в лесу соловьев руками ловит», к Тукалевским, Лебедевым, — но прочной, постоянной связи не устанавливалось, и чувство ее угасало. Со Святополк-Мирским, сперва ее хулившим, а потом раскаявшимся, у нее была кратковременная дружба, он пригласил ее на две недели в Лондон в 1926 г. и до отъезда в Россию помогал финансово, — но виделась она с ним редко и случайно. Дружба с Гронским и Штейгером была, как я уже сказал, умственной, а с Тесковой — заочной. Я думаю, что после рождения сына в 1925 г. никакой любовной, в широком смысле эротической, жизни у МИ больше не было. Ей минуло тогда 33 года. Во всяком случае, как раз после рож-

дения Мура МИ решила покинуть Прагу и избавиться от чувства провинциальности, которое она там нередко испытывала. Она надеялась, что в Париже найдет и новых друзей, и читателей, и слушателей — и откроет более широкие возможности печататься. Ведь Париж стал, после заката русского Берлина, столицей нашей эмиграции.

У меня не было уверенности, что МИ найдет во Франции осуществление всех своих планов, но спорить с ней я не хотел, тем более, что отъезд ее был сопряжен со множеством практических и денежных трудностей, и она просила меня о помощи. В те годы нансеновских паспортов для переезда из одной страны в другую требовались особые разрешения. Я был хорошо знаком с французским консулом, и достал для Эфронов необходимую визу. Затем нужно было закрепить за МИ чешскую писательскую субсидию и аванс из «Воли России». Под эти будущие блага Тесковой удалось устроить заем у одной знакомой дамы, и 31 октября 1925 г., временно оставив мужа в Праге, МИ, дрожа и волнуясь, пустилась в путь с Муром и Алей. В том же поезде ехала Анна Ильинишна Андреева, взявшая на себя всякие пугавшие МИ хлопоты, вплоть до кормления девятимесячного младенца.

Так закончился пражский период жизни Цветаевой. 1-го ноября она уже была в Париже, где ей предстояло провести тринадцать лет трудов и мук.

(Окончание следует)

Марк Слоним, Женева, 1970.

СТАНСЫ. ДОЖДЮ

Какая честь оказана тебе —
Свободой от несуществованья
Отмечен ты. И выше нет призванья
Быть равным человеческой судьбе.

Пролей себя на добрые поля,
Найди опять судьбу свою большую.
Ведь небо плачет, тихо негодуя,
Что так еще суха твоя земля.



Не так легко тревожить первый снег.
Идешь благоговейно и несмело
По снегу легкому, неснежный человек.
Вокруг тебя так медленно и бело
На землю падает потухший блеск
Невыразимо-сладостных пределов.

ПАМЯТЬ ЗИМНЕГО САДА

Чрез пустыню неразделенных,
Разделяющих жизни лет,
Добредает ко мне твой сонный,
Не глядящий в глаза привет.

Словно утренним первоснегом
Заболело мое окно,
Той холодной и водной негой,
Позабытой уже давно.

УТРО

В моей младенческой ночи
Зажгли сознания проблеск первый:
Косые, ранние лучи;
Они, как огненные нервы —
Пронзали золотым снопом,
Сквозь щели ставень, сумрак спальни.
И навсегда во мне, потом
Остался этот образ дальний:
Остался, как восход со дна,
Как счастье первого подъема
Из небытья, из полусна
В волшебный мир родного дома.
Свет солнечный очаровал,
Мое внимание, впервые,
И я впервые узнавал
За дверью голоса родные.
И сумрак сдвинулся слегка,
Чуть заскрипела половица.
И чья-то легкая рука,
Затронула мои ресницы,
И обручальное кольцо
Коснулось лба своей прохладой,
И наклоненное лицо
Наполнило меня отрадой.
Но я тогда еще не знал,
Что это мать лицо склонила,
Я только сердцем понимал,
Что в ней и в солнце — та же сила.

А. Величковский

СОВЕТСКИЕ ПОЭТЫ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ*

Работая над жизнью и творчеством Сергея Есенина (1895-1925), автор этой статьи послал анкету многим современным советским поэтам. Анкета состояла из вопросов:

1. Каких русских и советских поэтов Вы прежде всего уважаете и любите? Имел ли кто-нибудь из них влияние на Ваше творчество?

2. В частности, как Вы относитесь к поэзии Есенина? Высоко ли цените его творчество? Какие стихотворения и поэмы его Вам больше всех нравятся? Какие недостатки, по-Вашему, в его творчестве?

3. Можете ли что-нибудь сказать о роли Есенина в развитии русской советской поэзии?

Ниже публикуемые письма получены в ответ на эту анкету.

Гордон МакВэй.

Корней Чуковский (1882-1969). Москва, 16 декабря 1964.

Вы можете обвинить меня в дурном вкусе, но я очень не люблю поэзию Есенина и никогда не интересовался ею.

Встречался я с ним не раз, но встречи эти были мимолетные и не оставили во мне хороших воспоминаний.

Желаю Вам успеха!

* Мы с удовольствием печатаем, присланную нам профессором Гордоном МакВэй, краткую анкету о творчестве Сергея Есенина, проведенную им среди советских поэтов в 1964-66 гг., когда проф. Г. МакВэй был в Москве. Проф. МакВэй — исследователь творчества С. Есенина и Н. Клюева. В недавно вышедшем за рубежом собрании сочинений Н. Клюева (см. отзыв Ю. Иваска в кн. 99 «Н. Ж.») он опубликовал с своими комментариями неизвестные письма последнего. Проф. Г. МакВэй преподает русскую литературу в университете в Норвич (Англия). Мы публикуем полностью, без к. н. сокращений, ответы советских поэтов на пункты 2 и 3 вопросника проф. Г. МакВэй. И опускаем ответы на пункт 1, как малоинтересные. РЕД.

Вера Инбер (р. 1890). Москва, 3 февраля 1965.

Вы спрашиваете о Есенине. Это был поэт исключительной лирической силы. Я люблю Есенина. Но он шел совсем другой дорогой и мне с ним как-то не по пути.

Вы спрашиваете, какие недостатки я нахожу в его творчестве. Основным — не то, что недостатком, а скорее, основной особенностью, далекой от меня — была его тематика. Я — прирожденная горожанка. Всю жизнь провела в больших городах, и стихия деревни, такая близкая Есенину — далека от меня.

Вы спрашиваете о роли Есенина в русской советской поэзии. Его роль велика...

Всеволод Рождественский (р. 1895). Ленинград, 12 июня 1967.

Поэзию Есенина люблю, так как вижу в ней полное и искреннее выражение чувств человека, любящего свою Родину — и в ее природе, и в основных свойствах русского характера.

Творчество Есенина ставлю высоко, потому что оно очень национально и вместе с тем включает в себя и обще-человеческие черты.

Из стихов Есенина люблю те, в которых проходят две близких ему темы: природа и любовь. Они пленяют необычной чистотой выраженного в них лиризма, основа которого несомненно лежит в близкой поэту мелодике народной песни. Столь же свежа и его образная система — не книжная, не опосредственная, а свойственная людям, живущим в непосредственном общении с миром окружающей их природы. Из поэм Есенина мне больше всего нравится «Анна Снегина», в которой несомненно есть что-то от пушкинских интонаций.

Недостатки Есенина? Их не так уж мало. Строго говоря, он не был взыскательным мастером стиха. Писал кровью, порою поддаваясь минутным, скоро-проходящим настроениям — и потому иногда небрежно. Но в лучших своих достижениях он несомненно поднимался до классической высоты — особенно в своей лирике.

[О влиянии поэзии Есенина] сказать можно было бы многое. И самое главное в том, что чистый лирический голос Есенина, так любимый нашим народом и притом людьми различного интеллектуального уровня, очень резко выделяется на фоне поэзии, которую условно можно было бы назвать

«книжной», своей удивительной непосредственностью и ярко выраженным мелодическим началом. Его стихи хочется петь, да они и в самом деле часто становятся песнями. Он и сам исполнял их, слегка напевая.

Это преобладание интонационного, песенного строя не могло, конечно, не оказать влияния на творческую манеру ряда поэтов — и современников, и последующих поколений. Распевность Есенина в первую очередь отразилась на творчестве тех поэтов, которые сами вышли из народной среды, которым близки песенные и фольклорные мотивы: я имею в виду ранние и последующие произведения Исаковского и Твардовского. Но, если смотреть на дело шире, то взволнованный интонационный тон есенинской лирики оказал большое влияние на очень многих поэтов, ставивших себе целью непосредственное выражение глубоко-личных переживаний.

Нет никакого сомнения и в том, что богатая по содержанию, свежая и смелая его **образность** (почти всегда связанная с природой и менее всего с урбанистическими мотивами) была воспринята и поэтами, характер поэзии которых весьма отличается от приемов и от тематики самого Есенина...

В заключение можно сказать, что широкая популярность Есенина — и в читательской, и в литературной среде — обусловлена тем, что его стихи — простые и ясные по своей форме — всегда насыщены глубоким внутренним волнением и с предельной искренностью выражают правду его сердца. А трагические обстоятельства его жизни, о которых он сам рассказывает с исключительной искренностью, делают его произведения особенно впечатляющими, потому что это исповедь человека, для которого жизнь и искусство сливаются в единое органическое целое...

Павел Антокольский (р. 1896). Москва, 31 декабря 1964.

Пока Есенин был жив, он казался мне далеким, чужим и чуждым поэтом и человеком: существом с другой планеты. Эта другая планета — деревня. Трагическая гибель Есенина потрясла меня страшно и раскрыла его личность, его судьбу и значение заново, в ином неожиданном ракурсе, в ином — багровом освещении.

Когда, уже в 30-х годах я писал свою поэму о Франсуа

Вийоне, то у меня возникла невольная оглядка на Есенина, на его бездомность и неприкаянность — в культуре, в любом человеческом обществе. Из произведений Есенина я больше всего люблю «Москву кабацкую», «Исповедь хулигана», «Черного человека» — то есть «урбанистический» цикл.

Теперь — на старости лет! — ясно вижу, что этот гениальный юноша (навсегда оставшийся юношей) в глазах новых поколений вырастает с каждым годом. Вырастает, как мощное и вечно цветущее явление. Есенина поют! Это не романсы, не кем-то сложенные песни, а нечто большее! Это первоначальное, первобытное свойство настоящей поэзии, ее **синкретизм**. Ведь поэзия сначала только звучала, была произнесена или спета; гораздо позже, через много веков ее стали читать глазами. Таким образом бессмертие Есенина возвращает нас к первоначальным истокам поэзии, к ее синкретизму — к рапсодам, труверам, ашугам...

Кажется, во втором абзаце я ответил и на третий Ваш вопрос. Вообще же я думаю, что формула «роль поэта в развитии...» и так далее — это неудачная формула. Она годится для учебника, для литературоведения в дурном смысле термина, а не для самой поэзии, которая была, есть и будет становым хребтом всей данной культуры в целом (имею в виду национальную культуру)...

Николай Тихонов (р. 1896). Москва, 19 января 1965.

Сергей Есенин — замечательный русский советский поэт. Он превосходно передал в своем творчестве ту большую лирическую силу, ту песенность и предельную искренность, которые так близки к народным чувствам, к народным лирическим созданиям.

Недаром он глубоко вошел в сознание советских людей разных поколений. Его стихи пользуются большой популярностью у современных молодых людей. Они поются, как романсы и песни. Он — цельный поэтический характер, с трагической судьбой, которая отразилась в его стихах. Его считают иные, и он сам это иногда подчеркивал — последним поэтом деревни. Это не совсем так. Конечно, он оплакивал гибель старой деревни, старое отношение к родной природе, заменяющееся иным сегодня, — но он поэт широкой темы, все-

человеческой, и его печаль, его грусть, его ощущения мира — это не только поля или хаты, это мир огромных радостей и печалей, огромных переживаний и жажда настоящей вдохновенной любви, смелости, дерзаний, русской вольности. Он любит жизнь и поет о ней всем сердцем...

Что сказать о недостатках есенинской поэзии? Когда перед Вами такое законченное, цельное, прекрасное явление, как стихи Есенина, то о них можно говорить много, но очень трудно ставить поэту в упрек, почему он писал так, а не как, скажем, Маяковский, или кто другой.

Можно подойти по-другому к его стихам, чисто индивидуально. Мне, например, ранний период стихов молодого Есенина не кажется сильным. Поэт только начинает накапливать эту силу. Мне не очень нравятся все его стихи с явным религиозным содержанием. Это очень розовое, от Клюева, от церковных картинок. И попытки смешать новую революционную тему и нечто божественное в образах имажинистских позже — попытка не из удачных.

В последний период, его слабый технически, привычный, классической закваски стих, был бы бледным и невыразительным, если бы он не пропитал его своей биографией, и тогда этот стих зазвучал трагически и убеждающе, потому что в нем уже преобладала такая последняя искренность, которая заменяла все красоты образного языка. В нем говорила сама судьба поэта. Эти стихи — как дорожные знаки по пути к безвыходному тупику.

В развитии русской советской поэзии он сыграл необыкновенно интересную роль. В те годы господствовало много разных поэтических школ. Но Маяковский и Есенин представляли как бы основное деление направлений. Все приемы у этих двух поэтов, чьи имена стали во главе поэтической эпохи, были совершенно противоположными друг другу. Искренняя классическая интонация, песенная — Есенина, и — разговорная, прозаическая и насыщенная условной гиперболической речью — Маяковского, говорили и о богатстве поэзии. И Маяковский недаром признавал мастерство Есенина, назвав его народным «забудыгой подмастерьем», который получил это высокое право у «народа, у языкотворца».

Влияние творчества Есенина на всю последующую поэзию неоспоримо. Оно живо и сейчас, но перешло в песенное начало несколько иного склада.

Степан Щипачев (р. 1899). Москва, 18 декабря 1965.

Одно скажу: Сергей Есенин — это чудо нашей поэзии. Я уверен: лучшие его стихотворения не увянут и в веках. Образности и емкости многих его вещей будут долго завидовать лучшие поэты России...

Илья Сельвинский (1899-1967). Москва, 4 января 1965.

Есенина очень люблю: это сердечный лирик и великолепный живописец. Что касается его недостатков, о которых Вы говорите, то у меня на это своя точка зрения. У большого поэта недостатков не бывает. Какие-то грани его творчества могут нам не нравиться, но это не значит, что перед нами недостатки. Нет, это говорит лишь о том, что мы столкнулись с такими чертами его личности, которых не умеем объяснить. Больших мастеров надо изучать; они не подлежат критике. Можно ли воспринять клёкот орла, как недостаток? Орел ведь не канарейка.

Роль Есенина в развитии русской поэзии своеобразна. Он далеко двинул вперед поэтическое ощущение природы. До Есенина в поэзии почти не было березы, после Есенина она стала эмблемой России. Но этим не исчерпывается значение этого поэта. В своем творчестве Есенин с предельной откровенностью обнажил основные противоречия души человека переходного периода — от капитализма к социализму. А откровенность в поэзии один из лучших показателей талантливости натуры.

Александр Прокофьев (р. 1900). Ленинград, 5 ноября 1965.

Мне нравятся, особенно нравятся «Персидские мотивы», лирика. Он вообще лирик в каждой своей строчке. Не считаю его удачей «Москву кабацкую» и слабо воспринимаю некоторые его имажинистские вещи. Во всей остальной своей работе он для меня светел.

Михаил Исаковский (р. 1900). Санаторий «Барвиха». 5 декабря 1964.

Поэзию Сергея Есенина я очень ценю и люблю... Особенно мне нравятся его лирические стихи (почти все), а также поэмы такого типа, как например, «Анна Снегина». Когда-то в юности

я очень сильно увлекался поэмой Есенина «Пугачов», но потом она перестала мне нравиться, т. к. написана она все же довольно вычурным языком. (Она была написана, повидимому, в период увлечения Есенина имажинизмом).

Определенно мне не нравятся стихи Есенина из так называемого цикла «Москва кабацкая». Не нравятся и некоторые другие стихи Есенина, которые у нас принято называть упадочническими. Все это я считаю недостатком творчества Есенина.

Вкратце же я могу сказать, что Есенин, по-моему мнению, оказал большое влияние на развитие советской поэзии. Это влияние, повидимому, продолжается и сейчас.

...Извините, что ответы столь кратки. Я сейчас довольно серьезно болен, нахожусь на лечении в санатории и мне трудно чем-либо заниматься.

Александр Жаров (р. 1904). Москва, 7 декабря 1965.

Есенина я считаю поэтом не меньшим чем Маяковский. При этом я не противопоставляю этих двух поэтов друг другу. Они разны по характеру, по манере, по подходу к явлениям жизни. Но для меня они — две стороны одной медали, золотой медали русской поэзии.

У Есенина почти все отмечено печатью большого, оригинального дарования, в том числе и его большие (кабацкие) стихи. Но более всего меня потрясают его стихи о России, о природе, о любви к людям и ко всему живому на земле.

Недостатки есенинского творчества, по-моему, не снижают его значения. Не хочется говорить о них. Скажу лишь, что мне неприятен налет чуждых Есенину формалистических влияний, который можно видеть в отдельных стихах или строфах («рванные животы кобыл, черные паруса воронов» или «любители песенных блох» и некоторые другие вольности, являющиеся мальчишеской данью Есенина имажинизму).

Роль Есенина в развитии русской (и не только русской) советской поэзии весьма значительна. Мне думается, что роль эта будет возрастать по мере роста в нашей стране коммунистических отношений.

Александр Твардовский (р. 1910). Москва, 31 марта 1965.

Что касается Есенина, отвечаю кратко: я не испытал его

влияния, разве что в самом раннем, бессознательном возрасте, когда только что начинал писать. Его лирический дар я признаю, но не склонен преувеличивать его значение, влияние на развитие нашей поэзии. Для меня в юношеский период куда большее значение имел Михаил Исаковский с его реализмом в изображении деревни (об этом Вы могли прочесть в моей «Автобиографии»), хотя сам Исаковский в то время как раз был под заметным влиянием Есенина. Так бывает!...

Николай Грибачев (р. 1910). Москва, 11 января 1965.

Не чья-то злая воля, а рука истории наложила свою печать на творчество Сергея Есенина — одного из ярчайших и удивительнейших представителей русской поэзии...

Не приемлю кабацких стихов, «Черного человека» и всего того, что к этому близко — здесь вроде бы и остается еще есенинская искренность и живописность, но утрачивается цельность и непосредственность натуры поэта, чистота души. Он как бы искусственно, без достаточного внешнего и даже внутреннего повода, доводит себя до крика и срывает голос. Малоубедительной становится интонация, эклектической — образная система, ибо кричать в меру боли — дело нормальное, а делать из боли как бы предмет самолюбования — значит, изменять поэзии...

Школы Есенин не породил и не мог породить. Почему? Потому, я думаю, что форма не может развиваться последовательно в отрыве от содержания, а содержание, мир есенинской поэзии ушел вместе с ним. Для современных поэтов проблемы, волновавшие Есенина и ставшие для него трагедией, навсегда остались в далеком прошлом — таком далеком, что нынешние молодые люди даже не могут его представить в реальном аспекте. Для них это — времена «царя Гороха». К тому же и форма русского стиха проделала огромный путь развития, значительно обогатилась и усложнилась. Более того, современная молодежь вообще-то относится к Сергею Есенину с некоторой прохладцей — ценит живописность его поэзии, искренность, но равнодушна к ее содержанию, так как она не способна ответить на вопросы, волнующие нынешнее поколение... У Есенина слишком много идущего только от конкретной личности и он остается в узкой полосе времени.

Ярослав Смеляков (р. 1913). Москва, 18 мая 1965.

Считаю необходимым сказать, что творчество Есенина сыграло большую роль в нашей поэзии и что все известные мне писатели относятся к Есенину уважительно и нежно и все мы до сих пор горюем о его ранней и трагической смерти...

Сергей Смирнов (р. 1913). Москва, 15 января 1966.

Мне представляется, что в русской советской поэзии Есенин является звездой первой величины... Если бы я был ваятелем, я бы изобразил Сергея Есенина не просто красивым русским человеком, а человеком — несущим на протянутой ладони собственное сердце и это было бы выражением доверия к людям, верой в грядущее, где по праву займет свое почетное место пронзительная, напевная, нежная, образная и навечно молодая муза этого редкостного русского умельца слова...

Если взять всех современных поэтов, то Есенин был и остается для меня — самым первым, даже по количеству стихов, дорогих мне... Я бы не хотел говорить о недостатках в творчестве Есенина, но мне какими-то чужими кажутся все стихи и поэмы, где Есенин рядится в одежду инокa, оперирует церковными речениями. Тут он, по-моему, выглядит театрально и эти его произведения не пользуются широкой популярностью... Ясность, искренность, предельная простота, нигде не переходящая в простоватость, образность, внутренний, лишенный афиширования патриотизм — вот свойства, которые наследует от Есенина русская советская поэзия.

Виктор Боков (р. 1914). Москва, 26 января 1965.

Я всегда считал и считаю, что Есенин — величайшее национальное явление в русском искусстве.

Я выделяю его из круга поэзии в круг искусства, потому что в Есенине выразилось много сторон народного искусства — и орнамент и живописность и певучесть и образность, которой в такой силе проявления и яркости, ни у кого из русских поэтов больше нет, разве только есть в гениальном «Слове о полку Игореве».

Я ставлю Есенина рядом с Андреем Рублевым. Оба они апостолы певучей человечности, оба изрекли из русского быта

великие создания художественного духа, оба пропели нежную песню живой плоти, паря на крыльях великого одухотворения.

Я принимаю Есенина всего целиком и никогда не думал, какие недостатки в нем есть. Хотя все поэты-современники в один голос теперь поют хвалу Сергею Есенину, но, думаю, глубинного постижения этого гения многим из них нехватает. Понять Есенина во всей его глубине без глубокого понимания русского народного искусства в единстве стиля, во всей его совокупности — нельзя.

Усваивают часто только одну из сторон его поэзии: или искренность и автобиографичность, или живописность стиха, или его музыкальность. А его свечение, его грешную молитвенность перед плотью — многие не осознают, но это не вина Есенина. Для меня поэзия Есенина, как древняя церковь Покрова на Нерли — стоит, белеет на зеленом лугу и из дальних веков седой старины зовет меня, современника, к себе, присесть, отдохнуть, подумать, кто я, человек, есть, что я на земле должен делать, как я обязан относиться к своему ближнему.

Есенин — ярко зеленая травинка под ослепительно синим небом России. Она и бессильна и могуча, ее можно примять, но можно и обойти. Есенин — природа, Есенин — дух, Есенин — великая любовь, которая, собственно, и творит все лучшее, что есть на земле...

Константин Симонов (р. 1915). Москва, 26 октября 1965.

Объективно Сергей Есенин, конечно, высоко-даровитый и замечательный поэт, но субъективно его поэзия для меня всегда была очень далека. Я ею не увлекался ни в молодости, ни в зрелые годы...

В русской поэзии 19 века я больше всего люблю Пушкина и Лермонтова; в русской поэзии 20 века я больше всего люблю Блока, Маяковского и Твардовского.

Маргарита Алигер (р. 1915). Москва, 14 июня 1965.

...О Сергее Есенине. Я очень высоко ценю этого поэта, считаю его существование событием в русской поэзии, и в юности моей были такие периоды, когда я очень им увлекалась. Но, становясь старше и взрослее, я все больше от него отходила, он все реже бывал мне интересен и необходим. В его поэзии,

столь волнующе пленительной и музыкой своей и эмоциональным строем, мне недоставало интеллектуальности, разнообразия и глубины мысли. Подчас она казалась мне чересчур эгоцентрической, даже порою самовлюбленной, а этого я в искусстве не люблю. Я не знаю, можно ли назвать эти мои ощущения недостатками в творчестве Есенина, может быть, это только мои субъективные ощущения, объясняемые моими, а не Есенина, недостатками. А может быть, это объясняется тем, что он был еще так молод, когда писал все, что нам осталось... Меня, разумеется, и сейчас трогают отдельные лирические стихи, очень уж они тонки, музыкальны, эмоциональны, но больше всего другого я предпочитаю более зрелые вещи: «Анну Снегину», «Черного человека»...

Жена Александра Солженицына (р. 1918). Рязань, 24 октября 1965.

Вам отвечает жена писателя Солженицына. Александр Исаевич находится в длительной отлучке и потому ответить на Ваши вопросы пока не может.

Я знаю хорошо, что Есенина он издавна любит и часто читает...

Владимир Солоухин (р. 1924). Москва, 24 февраля 1965.

Есенин — великий русский поэт. Больше всего люблю, пожалуй, поэму «Анна Снегина». О недостатках большого поэта говорить трудно, хотя они есть у каждого.

Есенин бесспорно оказывает большое влияние на всю последующую поэзию и будет его оказывать...

Булат Окуджава (р. 1924). Ленинград, 24 мая 1965.

Есениным я «переболел» в юности. Отдавая высокое должное его таланту, я все-таки не отношу его к числу своих любимых поэтов: мне с ним немного скучно. Многие из его вещей нравятся мне, перечислять долго.

Поэзии необходимо сочетание интеллекта и поэтичности. Первым Есенин обладал в малой степени. Может быть, это мешает мне принимать его полностью.

Влияние Есенина на советскую поэзию огромно, если говорить о советской поэзии 30-х годов.

Боюсь, что Вас не смогут удовлетворить столь краткие и банальные ответы, но подробнее в письмах — не умею.

Евгений Винокуров (р. 1925). Москва, 8 декабря 1964.

Я очень люблю и ценю Есенина, считаю, что он имел самое прямое влияние на мое творчество; Есенин для меня — один из важнейших поэтов, — **принципиально важных**. Его недостаток — некая однообразность, если это можно считать недостатком, а не свойством его.

Римма Казакова (р. 1932). Москва, 2 февраля 1965.

Есенина я люблю как очень **русского** поэта. Все мы дети своей родины, своего языка, это у нас в крови. Есенин человек, честен, народен. И это, мне кажется, главная причина его огромной популярности. Не буду перечислять свои любимые стихи — я воспринимаю Есенина как-то целиком, и эта цельность затрудняет также разговор о недостатках поэзии Есенина. Большинство их проистекают как раз из этой цельности и являются обратной стороной достоинств. В этом смысле, на мой взгляд, у Есенина по отношению к какому-нибудь другому поэту недостатков не больше чем, скажем, у блондина в сравнении с брюнетом. В своем роде он превосходен, пел, как птица, во все легкие, и его не хочется анализировать, а хочется прикинуть к нему, как прикидают в лесу к ручью, когда хотят напиться.

После Есенина нельзя писать стихи выпендренные, бездушные, притворяться, что ты лучше чем есть на самом деле. Его поэзия не дает нам сфальшивить, как камертон — хору, задает тон искренности, любви к человеку, к родине. В его стихах свежо, вкусно, волнующе до слез звучит наш богатый, великолепный язык, наша гордость и радость.

Белла Ахмадулина (р. 1937). Москва, 17 октября 1965.

К поэзии Есенина я отношусь с нежностью и ценю ее высоко — если следовать выбранной Вами формулировке.

Я более суть ее люблю, всю ее сразу, чем то или иное стихотворение. Все же назову: «Мы теперь уходим понемногу», «Не жалею, не зову, не плачу», «Выткался над озером...», «Разбуди меня завтра рано», «Анна Снегина», «Пугачев».

О недостатках поэзии Есенина судить не смею, тем более так поспешно. Да и нужно ли это? — с течением времени и недостатки поэта становятся достоинствами его своеобразия. Скажу только, что печаль Есенина ближе мне, чем его разум, — я из его творчества извлекла много эмоциональных уроков, и не извлекла уроков технических. Предмет его поэзии более меня привлекает, чем слово, которым он обозначен. Впрочем, все это требует более точного и глубокого объяснения.

Я думаю, что движение русской литературы Есенину многим обязано. Он всем напомнил и напоминает, что поэзия — не лукавый вымысел, а точное объяснение обширной и мятежной жизни человеческого духа. В Есенине — все истинно и всерьез, в речи его — полная горестная свобода.

Разумеется, эту справедливую скороговорку можно отнести и к любому другому подлинному поэту. Мое отношение к Есенину таково, что я любила его много, а думала о нем — мало...

ПРОРОК

Мой волосатый облик страшен
Для юных дев и добрых жен.
Верблюжьей шерстью припоясан,
Постом суровым изможден.

Я не курю, не пью, не плачу,
Свой буйный укрощаю нрав,
Пророчествуя наудачу,
Всеведения не стяжав.

По малодушию и чтобы
Страстного избежать венца,
Средь мира алчности и злобы
Глаголом я не жѣг сердца.

Я раб ленивый и лукавый,
Но на челе несу печать.
Мне пред Престолом Божьей славы
За все придется отвечать.

Искать ли у людей опору?...
Ведь им никак я не помог.
Упрямо поднимаюсь в гору,
Сандалии срываю с ног...

Сомнения томят и жалят.
Навек заграждены уста.
Стою без сил и без скрижалей
У негорящего куста.

Глеб Глинка

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ГОДЫ УЧЕНИЯ. С. Ф. ПЛАТОНОВ

1

Я окончил Московскую 5-ую классическую гимназию с золотой медалью весной 1905 года. Среди моих учителей было несколько выдающихся педагогов. Были, конечно, и посредственные. Я больше всего ценил уроки Якова Лазаревича Барскова, ученика Ключевского. Он преподавал историю в старших классах. Барсков добивался того, чтобы ученик не только знал предмет, но вдумывался в него, научился самостоятельно мыслить об историческом процессе.

Среди моих товарищей-одноклассников оказалось несколько юношей, близких мне по духу. Как-то естественно мы объединились в «кружок» и поставили себе целью «самоусовершенствоваться» — беседовать о «смысле жизни» (!), обсуждать этические проблемы, литературу, искусство и т. д. В состав этого кружка вошли Вася (Василий Григорьевич) Сахновский, Володя (Владимир Андреевич) Фаворский, Миша (Михаил Владимирович) Шик и два брата Вольф — Юлий и Вильгельм. Юля был очень болезненный и умер, еще не кончив гимназии. Его смерть как-то еще крепче сблизила остальных. Собирались по вечерам на дому у каждого по очереди. Сахновский образовал среди гимназистов не только нашего, но и более старшего класса еще другой кружок иного характера и с большим количеством членов — кружок драматического искусства. После окончания университета Сахновский работал в одной из театральных студий, а потом стал одним из главных режиссеров Московского Художественного театра.

Человек кипучей энергии и большого напора, Вася первенствовал в нашем кружке. Володя Фаворский, вдумчивый и глубокий, еще будучи в гимназии, начал серьезно заниматься рисованием и живописью и неуклонно шел в дальнейшем по этому пути. Он и стал впоследствии знаменитым художником-

гравером. В искусстве и искусствоведении он нашел выход своему творческому исканию.

Летом 1902 года (между пятым и шестым классом гимназии) Сахновский, Фаворский, Шик и я совершили интересную экскурсию в Суздальско-Владимирский край, чтобы осмотреть старинные церкви и другие памятники древнерусского искусства, набрались много ярких впечатлений. Поздней весной или летом 1903 года (между 6-м и 7-м классом) мы той же компанией решили отправиться на паломничество к Л. Н. Толстому. Оделись соответственно: рубахи-косоворотки (на Сахновском было что-то вроде толстовской блузы), высокие сапоги.

Пришли в Ясную Поляну, кажется, часа в четыре дня. Подошли к дому — видим на балконе София Андреевна с несколькими гостями, пьют чай. Мы полезли было прямо на балкон. София Андреевна послала к нам навстречу какого-то молодого человека. — «Кто вы такие? Что вам нужно?» — «Гимназисты из Москвы. Нам необходимо поговорить с Львом Николаевичем». — «Он болен, нельзя его видеть». — «Пожалуйста, спросите его. Мы не надолго, не утомим. Нам очень нужно!»

Толстой велел нас пустить к нему. Когда мы вошли в его комнату, он лежал на постели под простыней, без одеяла. Вероятно, у него был жар. Я был поражен его маленьким ростом. Как многие, не видевшие его раньше, я представлял его себе чуть ли не великаном. Второе мое впечатление было его жесткие, пронзительные, почти можно сказать — злые глаза.

«Зачем пришли?» — сказал он сердитым голосом. Вася Сахновский начал объяснять, немного волнуясь и от этого стараясь говорить громко и почти развязно. После нескольких ответов Толстого на Васины слова, начали задавать вопросы или вставлять замечания и остальные трое. Сколько помню, Толстой в сжатой и краткой форме выражал нам свои основные мысли, с которыми мы были знакомы по его сочинениям, но которые в живой его речи производили более сильное впечатление.

Приехав домой, я сразу, по своей памяти, записал все сказанное Львом Николаевичем. Эта запись, к моему сожалению, затерялась в моих бумагах.

Мы возвращались в Москву в приподнятом и взволнованном состоянии. Но толстовцами мы не сделали.

По мере роста в России революционного движения, среди гимназистов и нашей и других гимназий начал подыматься интерес к политическим и общественным вопросам. Никто из нашего основного кружка не имел склонности к революции и террору. Но появилась потребность обсуждать эти вопросы, чтобы постараться понять что происходит.

К концу 7-го класса гимназии (весна 1904 г.) Фаворский, Шик и я начали посещать беседы у гимназистов братьев Липеровских (их было, кажется, четверо, один из них наш одноклассник). Вероятно, родители их жили не в Москве и наняли сыновьям квартиру. Разговоры были и о гимназических делах, и о литературе, и об общественном движении. Узнав, что существует социал-демократический кружок среди гимназистов 7-ой гимназии (кажется, один из Липеровских учился в 7-ой гимназии), мы решили устраивать иногда общие заседания с этим кружком для ознакомления с их взглядами. Эти собрания продолжались и осенью 1904 года.

Собственно, только руководители кружка 7-ой гимназии были социал-демократы, остальные же члены кружка, насколько помню, еще не сделали выбора между партиями. Главным руководителем был студент с.-д. Платон Лебедев. Помощником его был гимназист Валерьян Оболенский (его партийный псевдоним был Осинский). У него был холодный, какой-то озлобленный ум. По выходе из гимназии Осинский стал быстро двигаться в большевицкой партии. Впоследствии он был расстрелян во время сталинских чисток.

Чего мы не знали, — по крайней мере, в начале нашего знакомства, — что кружок 7-ой гимназии был в связи с «Северным Союзом Учащихся Средних Школ» в Петербурге. «Союз» этот зародился в гимназии Я. Гуревича. Осенью 1904 года устроено было собрание представителей этого союза от разных петербургских школ. «Разумеется, представители были все самозванные», как тогда же написал своему отцу С. О. Гессен, один из членов кружка гимназии Гуревича. Собрание было арестовано полицией. Несколько участников собрания (в том числе Гессен) были исключены из гимназии. (См. И. В. Гессен «В двух веках», Берлин, 1937, стр. 189-191).

На этом я и заканчиваю мои гимназические воспоминания. Оглядываясь на эти годы, хочу только еще упомянуть о том значении, которое имели в моем духовном и умственном раз-

витии мои отец и мать — мать еще с детства. Отец подошел ко мне ближе, когда я подрос, стал понимать отвлеченные разговоры и начал, сперва по-отрочески, интересоваться наукой. Под его влиянием я, будучи, кажется, еще в 5-ом классе гимназии, заинтересовался геологией. Позже это увлечение сменилось интересом к истории. Отец был человек необыкновенного размаха, пытливой мысли и широты научных исканий. В круг его интересов входила и история. Когда он заметил, что у меня намечается склонность к истории, он сразу обратил на это внимание. Вероятно, разговоры об истории у нас начались, когда я ему рассказывал свои впечатления от уроков Барскова. Как бы то ни было, когда я кончал гимназию, я уже решил поступить на историко-филологический факультет Московского университета.

2

Из-за бурных событий осени 1905 г. регулярные занятия в Московском у-те стали невозможны. Посоветовавшись с отцом, я решил весной 1906 года поехать в Германию, сначала в Берлин подучиться немецкому языку, осмотреться, и на лето поступить студентом в один из немецких университетов.

Холодный казенный Берлин мне не понравился. Холодный он тогда был не только духовно, но и физически — я приехал туда в конце марта, а дома с дешевыми комнатами — такую только я мог себе позволить — не отапливались.

Наведя справки у знающих людей, я решил поступить во Фрейбургский университет в Бадене. Туда же направился и Миша Шик. Мы приехали во Фрейбург за несколько недель до матрикуляции. Обставлена она была торжественно. Большой зал, в глубине которого на возвышении длинный стол для начальства. Секретарь вызывал студентов по одному, в алфавитном порядке фамилий. Студент кланялся начальству и получал удостоверение о приеме. Одного из студентов звали Юлиус Цезарь. Вышел невзрачный маленького роста немчик. Все дружно захохотали.

Я записался на три курса — Георга фон Бэлова («город немецкого средневековья»), Риккерта (философия истории) и Фридриха Мейнеке (сколько помню, английская история середины 19 века). Все трое были крупные ученые. Лекции их были очень содержательны (а курс Риккерта особенно давал толчок

мысли), но меня поразила странная для меня манера преподавания в немецких университетах. Профессора буквально «читали» лекции по своим запискам, а студенты старательно записывали. Когда им нравилась какая-нибудь остроумная фраза (или шутка) профессора, они в знак одобрения громко стучали ногами об пол (так как руки были заняты писанием).

Фрейбург и окрестности были необыкновенно привлекательны, особенно в это время года. Мы с Мишей Шиком по воскресеньям обыкновенно отправлялись пешком по соседним местам. Во время каких-то летних праздников мы совершили большую прогулку по Шварцвальду. Ездили и в Гейдельберг. К нам иногда присоединялся Володя Фаворский, который в это время учился в художественной студии венгерца Холлоши в Мюнхене. Во Фрейбургском университете, кроме меня и Шика, было довольно много русских студентов. Из них я подружился с пасынком И. В. Гессена, Семеном Ильичем Штейном, изучавшим раннее средневековье. Его сводный брат Сергей Осипович Гессен (о котором я уже упомянул выше, говоря о гимназических кружках), поступил в Гейдельбергский университет, где занимался философией. Он довольно часто наезжал во Фрейбург, и я с ним тоже подружился.

К сентябрю 1906 года я вернулся в Москву. Занятия начались, но революционное меньшинство студенчества все еще бурлило. Часто собирались общие сходки в одной из аудиторий без разрешения университетских властей. Произносились громовые речи. Инакомыслящим не давали говорить. Однако, большинство студенчества хотело заниматься учением и постепенно стало давать отпор, чем дальше, тем с большей энергией. Это привело к тому, что в следующем учебном году (1907-1908), после правильно проведенного референдума общая сходка была отменена значительным большинством поданных голосов, и избран для обсуждения студенческих дел центральный орган с пропорциональным представительством от каждой политической группы или партии (была представлена и группа беспартийных). Крайне-левые (большевики и левые эсэры) оказались в меньшинстве и на некоторое время притихли.

Составляя план своих занятий в университете, я решил уделить достаточно времени и сил на всеобщую историю, хотя меня определенно тянуло уже к русской истории. По всеобщей истории я выбрал курсы и семинары Д. М. Петрушевского

(средние века) и А. Н. Савина (17-18 века). Слушал также лекции Р. Ю. Виппера. По русской истории наслаждался, конечно, лекциями Ключевского (семинаров в мое время он уже не вел). Очень полезны были для меня лекции и семинары М. М. Богословского. Работал также в семинаре А. А. Кизеветера и про-семинарах Ю. В. Готье и А. И. Яковлева. Очень содержательны были лекции М. К. Любавского (в семинарах его я не работал).

Общение студентов с профессорами не ограничивалось посещением лекций и участием в семинарах. По окончании лекции беседа профессора со студентами часто продолжалась в коридоре. При семинарской работе почти каждый участник семинара заходил к профессору на дом для выбора темы своего доклада, и позже — просить советов при разработке темы. Иногда такие деловые посещения переходили в беседу уже на общие темы.

Многие из профессоров, у которых я учился, настаивали на необходимости для каждого серьезно занимающегося студента пополнять университетские занятия самостоятельным чтением в области истории, чтобы ознакомиться с классиками русской исторической науки и быть в курсе новых трудов. Я старался, насколько хватало времени, следовать этому совету. Большое впечатление на меня произвели труды С. Ф. Платонова, и я тогда уже проникся глубоким уважением к нему.

В студенческой среде у меня с самого поступления в университет оказалось много друзей — бывшие товарищи по гимназии, родственники и друзья, так сказать, по наследству от родителей — дети их друзей «приютинцев». (О «Приютине» и «приютинцах» см. мои статьи в «Новом Журнале», книги 93, 95, 96 и 97). Из близких мне гимназических товарищей поступили в Московский университет Фаворский, Шик и Сахновский. Фаворский вернулся из Мюнхена в 1908 году и поступил на вновь открытое при историко-филологическом факультете отделение искусствоведения. Из родственников упомяну прежде всего мою двоюродную сестру Софию Марковну Любошинскую. Соня училась в Алферовской гимназии (кончила ее в мае 1908 г.). Я познакомил ее с моими гимназическими товарищами, и она вошла в наш дружеский круг, а потом, уже когда я поступил в университет, познакомилась и с моими университетскими друзьями.

Еще когда я был в старших классах гимназии, приехал в

Москву и поступил на юридический факультет мой троюродный брат Игорь Владимирович Ильинский, а затем две его сестры — Екатерина (поступившая в консерваторию) и Нина (поступившая на Высшие Женские Курсы). Их отец, военный врач Владимир Никанорович Ильинский, был учеником Бородин по Военно-медицинской академии. Бородин же привлек его к «Могучей кучке». У Владимира Никаноровича, по всем воспоминаниям, был чудный баритон, и он артистически исполнял на собраниях «Кучки» все новые романсы Мусоргского и других «кучкистов». Он умер еще молодым. Музыкальность его передалась и его детям.

Игорь был необыкновенно талантливый и привлекательный человек. Душа общества, — где бы он ни появлялся. Пел русские песни, аккомпанируя себе на гитаре, был замечательный рассказчик, играл в любительских спектаклях как настоящий актер, имел большие способности к писательству. Вместе с тем он серьезно занимался юридическими науками. По окончании университета он решил стать адвокатом и сделался помощником присяжного поверенного у А. Р. Ледницкого. Через Ильинских я познакомился с их земляком по Тульской губернии студентом-юристом Николаем Александровичем Цуриковым. Мы с ним быстро подружились.

Из детей «приютинцев» поступили в московские высшие учебные заведения дети Дмитрия Ивановича Шаховского (Илья, Наталия и Анна) и сын Сергея Федоровича Ольденбурга — Сергей. Илюша Шаховской поступил на математическое отделение естественного факультета, Сережа Ольденбург — на юридический факультет. У Сережи с детства был туберкулез, и одну зиму он пролежал в санатории в Швейцарии. И у Сережи, и у Илюши было — у каждого по своему — какое-то внутреннее отталкивание от «приютинского» духа. Илюша был человек замкнутого характера. Он не любил делиться своими мыслями и переживаниями, но чувствовалось, что переживает он все очень глубоко. Он любил математику — и стихи. Он и сам писал стихи, которые он мне изредка читал. Напечатаны они никогда не были. Общественными «вопросами» и политикой Илюша совершенно не интересовался. По окончании университета Илюша поступил на службу в Пулковскую астрономическую обсерваторию и, повидимому, был удовлетворен своей работой. Тем не менее в 1914 году он пошел добровольцем в действующую армию и погиб на войне.

Сережа Ольденбург был человек совершенно другого склада. Политикой он очень интересовался, но в противоположность «приютинцам» был убежденный монархист и студентом еще поступил в умеренно-правый «Союз 17 октября». Живое помню его выступления на общих сходках. Он спокойно выходил на трибуну, поправлял пенснэ (был близорук), и спокойно, но твердо заявлял: «Я, как представитель Союза 17 октября...» — сейчас же начинался дикий вой и крики «Долой!» Сережа оставался невозмутимым и, когда собрание немного успокаивалось, повторял то же заявление — и опять тот же вой.

Но с этим у Сережи сочеталась другая — более интимная — сторона его духовной жизни — любовь к поэзии. Он знал наизусть и отлично декламировал стихотворения нового тогда направления — символистов и декадентов. Сам он тоже писал стихи, но друзьям читал их очень редко, за исключением шуточных экспромтов. Позже, уже за рубежом, он прислал мне несколько своих стихотворений, написанных им в Берлине в начале 1920-х годов. Не знаю, были ли они где-нибудь напечатаны. Что он охотно читал друзьям, это своеобразные поэтические сказки, написанные прозой. В этих сказках почти не было фактического содержания — только настроения и оттенки настроений. Описывались большей частью маленькие девочки.

Много позже, в 1930-х годах, когда Сережа с женой и детьми жил в Париже, он рассказывал на ночь своим двум старшим девочкам такие же сказки, может некоторые из них те же самые, что он нам читал в Москве. Старшая девочка, Зоя, стала потом знаменитой французской писательницей. Думаю, что Сережины сказки дали первый толчок развитию ее таланта.

Не помню, как я познакомился с Михаилом Алексеевичем Бакуниным (племянником анархиста). Вероятно, он зашел к моим родителям (они знали некоторых из его дядей и двоюродных братьев). Михаил Алексеевич окончил Поливановскую гимназию в Москве, после чего уехал в Германию и поступил в университет в Галле. Вернулся в Москву в 1906 или 1907 году и поступил на естественный факультет Московского у-та. В это время он уже был владельцем родового имения Бакуниных «Прямухино» Новоторжского уезда Тверской губернии. Он был старше меня (родился в 1880 г.). Живой и деятельный, немного застенчивый с малознакомыми людьми, твердый в своих

убеждениях. Как все Бакунины (этой линии) он впитал в себя лучшие традиции земского либерализма. Мы с ним очень сблизились.

Вероятно, через Илью Шаховского я познакомился со студентом-математиком Всеволодом Александровичем Кудрявцевым (пасынком Кизеветтера) и его сестрами Натальей (Кудрявцевой) и Екатериной (Кизеветтер). Обе они поступили на высшие женские курсы. Все эти новые друзья перепознакомились со старыми.

Почти все были любители театра — и оперы и драмы. В драме и комедии это было время продолжавшегося яркого цветения Малого театра и расцвета Московского Художественного театра.

При всем том нам еще хватало времени и сил на просветительскую деятельность среди рабочих. Кажется, два раза в неделю Аня и Наташа Шаховские, Нина Ильинская и я ходили преподавать на рабочие курсы в Дорогомилове. К некоторому нашему удивлению, к нам присоединился и Сережа Ольденбург — за компанию, и чтобы набраться новых для него впечатлений. Кажется, он учил слушателей и слушательниц правилам русской грамматики. Как все, что он делал, он преподавал отчетливо и основательно. Я кроме того осенью 1908 г. месяц или два ездил в Мытищи читать лекции по русской истории на тамошних воскресных курсах для рабочих. Слушателей у меня было человек сорок. Слушали они с напряженным вниманием и после лекции задавали много вопросов.

Каждую зиму наш тесный кружок друзей увлекался ходьбой на лыжах по отрогам Воробьевых гор и за ними. Иногда ходили довольно далеко. Это были чудесные освежающие прогулки. Весной и осенью мы ходили осматривать старинные барские дворцы и старые церкви в окрестностях Москвы или ездили по железной дороге по Московскому уезду с той же целью. Многие из того, что мы видели, мы хорошо изучили.

Принимал я участие и в политической жизни студенчества. Я вступил в студенческую фракцию партии Народной Свободы (конституционно-демократической, в просторечии «к.-д.», или кадетской партии). Туда же вошел Цуриков. Кроме Цурикова вошло еще довольно много юристов. Среди лидеров фракции, кроме Цурикова, было еще несколько выдающихся людей — Борис Михайлович Овчинников, Е. А. Ефимовский, А. А. Котельников, Фельдштейн. Овчинников и Ефимовский по оконча-

нии университета пошли в адвокатуру, став помощниками присяжного поверенного у Ледницкого.

Фракция успешно боролась с тиранией общей сходки и в конце концов добилась организации студенчества на демократических началах, как об этом я уже кратко упоминал. В этой борьбе умеренные меньшевики и правые эсэры поддерживали кадетов.

Представители фракций вошли в центральный орган по пропорциональному принципу. Наибольшее количество голосов (но не абсолютное большинство) получили кадеты (за них голосовали и многие умеренные беспартийные). Их делегация не только была самая многочисленная, но и самая блестящая интеллектуально. Следующие по численности были социалисты-революционеры (среди них были и правые и левые эсэры). Делегации меньшевиков и большевиков, сколько помню, были приблизительно одинаковы по числу. Октябристы получили всего двух представителей в центральном органе (один из них — Сергей Сергеевич Ольденбург).

Самый видный из правых эсэров был Михаил Михайлович Карпович. С ним я быстро подружился. Талантливый и обаятельный человек, Миша был необыкновенно общителен. У него были друзья в самых разнообразных кругах. Почему-то он не любил смешивать эти круги и не любил в одном кругу говорить о других. Один из этих его кругов был эсэровский, другой — музыкальный. Миша был хорошо знаком с Гнесиными, у которых была очень известная музыкальная школа.

В ноябре 1908 года я женился на Нине Владимировне Ильинской. К тому времени она уже окончила Высшие Женские Курсы по историко-филологическому факультету, специализировавшись по истории. Но историей она не собиралась заниматься. Ее влекло к музыке, пению и литературе. Она начала брать уроки пения. Для заработка взяла на год место учительницы в одной из московских городских школ. Ученики любили ее преподавание. Она довольно часто водила их на экскурсии — в зоологический сад или в музей. Потом они должны были писать в классе отчет о своих впечатлениях. Некоторые такие сочинения были очень живо написаны. У Нины был уже педагогический опыт. Одну зиму еще до замужества она была учительницей в сельской школе в Чернском уезде Тульской губернии, недалеко от имения ее матери «Воронцовка».

При школе была маленькая комната, где она жила. Учила

она с увлечением, но жить было неудобно. Вскоре после ее приезда стала протекать крыша. Она вызвала старосту и пожаловалась ему. Староста отнесся к делу равнодушно.

— Ишь, что выдумала! Да у кого ж не тякёт? и у меня тякёт, и у попа тякёт, и у псаломщика тякёт. У всех тякёт.

Крышу он все-таки немного подправил.

Работа в городской школе навела Нину на мысль написать воспоминания о школе сельской. Она показала их Александру Александровичу Корнилову, который был тогда одним из членов редакции журнала «Русская мысль». Корнилову воспоминания понравились, и он передал их, со своим одобрительным отзывом, редактору журнала Петру Бернгардовичу Струве. К сожалению, рукопись затерялась в редакции, а копии у Нины не было.

На Рождество 1908 г. Михаил Алексеевич Бакунин пригласил к себе в Прямухино целую компанию своих друзей (они все были и наши друзья). Из приглашенных смогли поехать мы с Ниной, моя двоюродная сестра Соня Любошинская, Нинина сестра Екатерина («Киса»), Фаворский, Шик, Сахновский, Овчинников, Ефимовский и курсистка княжна Анна Мамина.

Для меня, как историка, особенно интересно было побывать в Прямухине, так как это было одно из тех родовых дворянских гнезд, которые сыграли такую видную роль в истории русской интеллигенции (Прямухино — особенно в 1830-40-х годах). Мать Михаила Алексеевича, Мария Николаевна (рожденная Мордвинова), встретила нашу ораву очень приветливо. Нас с Ниной и трех девиц (Кису, Соню и Анну Мамину) поместили в верхнем этаже дома, а мужчин этажом ниже. Все мы тогда были в расцвете молодости и сил: Целые дни проводили вне дома — катались на ледянках* по крутой горе к реке Осуге, ходили по окрестностям, по снежным дорогам. Погода стояла морозная, но солнечная. По вечерам сидели дома, играли в «почту» или какие-нибудь другие салонные игры. Под Новый год гадали, лили воск. На бортик таза с водой сажали «верхом» записки с отрывками стихов, пословицами, пожеланиями. Затем

* Ледянка делалась так: довольно длинная доска (на ней можно было сидеть и вдвоем и втроем) снизу обмазывалась коровьим помётом, а потом несколько ночей обливалась водой, так что образовывался слой льда.

пускали в воду ореховую скорлупу с зажженной свечой — чью записку она поджигала, того желание и должно было исполниться.

Общее настроение было несколько омрачено, когда Михаил Алексеевич и Соня, катаясь на ледянке, потерпели аварию — на повороте перед самой Осугой от быстроты движения их выкинуло и они свалились в сруб, который предохранял устой моста от льдин во время ледохода. У Михаила были порваны связки на щиколотке одной ноги, он ковылял на костылях. Соня ударилась правым бедром о сруб. Ее дня три носили в плетеном кресле, переноса то в столовую, то в гостиную. В 1909 г. Михаил женился на Соне.

3

Когда я был на четвертом курсе (1909-1910 гг.), мне предстояло решить, как дальше наладить жизнь и научную работу. Было две возможности. Или просить профессора по специальности об «оставлении при университете для подготовки к профессорскому званию», или начать заниматься самостоятельно, а затем, когда уже будут доказательства серьезной работы — первые научные труды — тогда и обратиться к соответствующему профессору просить его руководства при подготовке к магистерским экзаменам и писанию диссертации. Первый путь был для меня закрыт, так как я у Любавского в семинаре не работал, и у меня не было оснований просить его об оставлении. Приходилось идти вторым путем.

Темой своих занятий я избрал историю Сибири. Отец, с которым я советовался по этому поводу, одобрил мой выбор. Кажется, я советовался и с М. М. Богословским. Громадный, тогда еще сравнительно мало разработанный, материал находился в московском архиве Министерства юстиции за Девичьим Полем. В этот материал я с увлечением и погрузился. Плодом моих занятий были три статьи — предварительная вводная заметка «О движении русских на восток» («Научно-исторический журнал», II, 1914), общий исторический очерк «Против солнца. Распространение русского государства к востоку». («Русская мысль», 35, 1914) и «Государевы служилые и промышленные люди в Восточной Сибири 17-го века» («Журнал Министерства», 55, 1915). Это было уже основательное исследование.

В 1911 г. Московскому ун-ту пришлось пережить большое потрясение. Министр народного просвещения Л. А. Кассо, грубо нарушив университетскую автономию, устранил от должности ректора и проректора университета. В виде протеста большое количество профессоров и преподавателей, в том числе и мой отец, ушли из университета. Многие из них нашли себе применение в только что тогда открытом городском университете имени Шанявского и других высших учебных заведениях Москвы.

Мой отец еще в 1909 г. был избран экстраординарным академиком, и Академия Наук настаивала на его немедленном переезде в Петербург, обещая предоставить ему возможность создать там свою лабораторию и подобрать сотрудников. Отец медлил — ему трудно было оторваться от Московского ун-та и учеников. Теперь вопрос решился сам собой, и родители мои переехали в Петербург. В 1912 г. отец был избран ординарным академиком. В связи с этим изменилось и мое положение. Не говоря уже об уходе отца, из Московского ун-та ушли и двое из моих учителей — Д. М. Петрушевский и А. А. Кизеветтер. Любавский и Богословский остались. Любавский сохранил за собой кафедру русской истории и был назначен ректором университета. Богословский получил вторую кафедру русской истории. При создавшихся условиях для меня, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы возобновить связь с Московским ун-том, хотя мы с Ниной продолжали еще жить в Москве.

Обдумав положение, я решил обратиться к Сергею Федоровичу Платонову с просьбой разрешить мне готовиться к магистерским экзаменам и писать диссертацию под его руководством. Платонов вызвал меня к себе и, после долгого откровенного разговора, согласился. Начиная с 1912 г. я начал регулярно ездить в Петербург для исполнения всех требований подготовки к магистерским экзаменам. Мне полагалось изучить четыре специальных вопроса — по русской истории (Платонов), по древней истории (Ростовцев), по средневековой (Гревс) и по новой (Кареев). По русской истории требовалась также так называемая «клаузурная работа» (тема которой заранее не объявлялась). Ее надо было писать без всяких пособий в одной из подвальных комнат университета. В эту комнату клались письменные принадлежности и, в запечатанном конверте, тема. Данная мне Платоновым тема была «Послание Василиана к Ивану III».

После моего прихода сторож запер комнату снаружи на ключ. Случилось так, что как раз в это утро Нева вздулась, и началось наводнение, о ходе которого давалось знать пушечными выстрелами. Я побаивался, что мне предстоит судьба княжны Тарakanовой, но наводнение не пошло достаточно высоко.

Для специальных вопросов надо было, по соглашению с соответствующим профессором, наметить тему, на которую написать сочинение. Это сочинение надо было потом представить профессору на одобрение, а затем выдержать коллоквиум в присутствии еще одного или двух членов факультета, каждый из которых имел право задавать вопросы. Сколько помню, по русской истории Платонов дал мне тему о Земских соборах 17-го века; Ростовцев — о римской финансовой администрации; Гревс — об аграрном строе раннего средневековья; Кареев — о положении крестьян во Франции в 18-ом веке.

На последнем коллоквиуме произошел забавный инцидент. Кроме Кареева за столиком сидело еще два члена факультета — Гревс и кто-то еще (не помню уже теперь кто). И вот, когда я отвечал Карееву на один из его вопросов, его куда-то вызвали. Я остановился. Гревс, который знал меня с детства, удивительно умел передразнивать голоса и манеру людей говорить. Гнусавым голосом Кареева он наставительно сказал мне: «Ну, что же вы остановились? Продолжайте, продолжайте»... Я едва удержался от смеха и чуть не сбился. Кареев вернулся, и все кончилось благополучно.

Теперь мне предстоял выбор темы для магистерской диссертации. Сперва я думал было взять тему по истории Сибири, для чего у меня была уже довольно прочная основа. Против этого было, однако то, что главные фонды материалов находились в Москве, а я уже чувствовал себя связанным с Петербургским ун-том. Пришлось бы все время ездить в Москву наводить справки и запасаться материалами, а теперешней техники фотографической репродукции рукописей тогда еще не существовало.

Платонову, видимо, хотелось, чтобы я взял тему из близкой ему Московской эпохи. Мне, однако, захотелось через работу над диссертацией освоиться с более новым периодом русской истории — с 18-ым веком. Я советовался с отцом, с А. С. Лаппо-Данилевским и с моим гимназическим учителем Яковом Лазаревичем Барсковым. Для меня было счастливым обстоятельством, что я опять встретил Барскова — он был в это время

одним из старших научных сотрудников Государственного архива в Петербурге. Главным научным интересом Барскова была история старообрядчества (он сам был старообрядец), но он вообще хорошо был осведомлен о хранящихся в Государственном архиве материалах и 17 и 18 веков. В числе этих материалов он обнаружил и переписку московских масонов последней четверти 18 века. Он издал ее в 1915 году.

Лаппо-Данилевский советовал мне написать биографию видного елизаветинского сановника и дельца графа Петра Ивановича Шувалова на фоне его правительственной и коммерческой деятельности. Это был хороший совет, но мне, не знаю почему, не захотелось основать диссертацию на биографии хотя бы и крупного государственного деятеля.

Барсков убеждал меня взять темой историю русского масонства при Екатерине II. Он сказал мне, что в Государственном архиве и в рукописном отделе Публичной Библиотеки есть много ценного рукописного материала по масонству, а что в самой Публичной Библиотеке я найду драгоценное собрание книг 18 века, и русских и иноязычных, которые также будут мне необходимы для разработки темы.

Обдумав все, я решил остановиться на теме о масонстве. Я не масон и никогда масоном не был, но меня заинтересовали широкие международные связи русского масонства и возможность исследования его на фоне истории европейской умственной жизни. На эту сторону вопроса обратил мое внимание и мой отец, посоветовавший мне взять эту тему. Одобрил ее и Лаппо-Данилевский, который, как и Барсков, в дальнейшей моей работе оказал мне ценное содействие. Платонов предпочел бы, чтоб я взял темой биографию Шувалова, но все же согласился и на масонство. Этим он наглядно показал широту своих взглядов и свое внимательное отношение к интересам своих учеников.

Приняв решение, я энергично взялся за работу и прежде всего поставил себе целью выяснить главнейшую литературу вопроса и характер и местонахождение важнейших источников.

Осенью 1913 г. мы с Ниной переехали в Петербург. Сняли квартиру в большом благоустроенном новом доме на Большом проспекте Васильевского острова, кажется, на третьем этаже. В Петербурге мы сразу обжились и полюбили его (не разлюбив и Москву). У нас было там довольно много родственников.

Родители мои жили в большой квартире, в доме, принадлежавшем Академии Наук. С ними жила моя двоюродная сестра (племянница отца) Анна Сергеевна (Нюта) Короленко, хорошо игравшая на арфе. В это время она уже была тяжело больна. В Петербурге же жил мой дядя Павел Егорович Старицкий (брат моей матери), выдающийся инженер, директор Балтийского завода. Упомяну еще мою тетку, сестру моего отца, Ольгу Ивановну Алексееву.

Довольно часто бывали мы по вечерам у Родичевых. Жена Федора Измайловича Родичева, Екатерина Александровна, была родная сестра Нининой матери и двоюродная — моей матери. Федор Измайлович был бессменный депутат всех четырех Государственных Дум и один из лидеров партии Народной свободы. У них всегда толпилась масса народа, обменивались последними политическими новостями, спорили. Из двух их дочерей старшая, Софья, была замужем за Георгием Фердинандовичем Бернацким, принадлежавшим к с.-д. партии. Про Софью поэтому шутили, что она по отцу кадетка, а по мужу эс-дечка. Младшая дочь, Александра, была правоверная кадетка. Двоюродной сестрой приходилась моей матери и Мария Сергеевна Гревс. У Гревсов мы также довольно часто бывали. Там собиралась публика другого характера, главным образом коллеги и ученики Ивана Михайловича Гревса по университету и Высшим Женским Курсам. Дочь Гревсов, Екатерина, страстно любила музыку. Она училась у одной из лучших преподавательниц игры на рояле (не помню ее фамилию). Катя особенно любила Баха и могла часами его играть. Мы с Ниной любили слушать ее игру.

Нина продолжала брать уроки пения, перепробовала нескольких преподавателей (Ирецкая, Морской, Алчевский). Ни один ее не удовлетворил (больше других — Алчевский). Она, однако, сделала большие успехи. Только в 1919 г. в Крыму она нашла себе идеальную преподавательницу — камерную певицу Анну Михайловну Ян-Рубан. После смерти Анны Михайловны (она скончалась в 1955 г. в Париже) Нина ярко описала ее поэтический образ и пение в своих воспоминаниях о ней (напечатаны в 1965 г. в 157-ой книге журнала «Возрождение»).

Довольно часто Нина ходила на симфонические концерты (мне почти не было времени на них бывать) — и обыкновенно

с Катей Гревс — на фортепианные. Изредка оба мы бывали в опере.

Из наших московских друзей немного раньше нас переселился в Петербург Сережа Ольденбург. По окончании университета он получил хорошее место в Министерстве финансов. В 1915 г. он женился на Аде Дмитриевне Старынкевич, дочери инженера Дмитрия Сократовича Старынкевича, очень даровитого человека, но неуравновешенного и с большими странностями. Нам Ада сразу очень понравилась. Мы бывали у них (они поселились в Царском Селе), а они у нас на Большом проспекте.

Однажды они пришли к нам в марте 1916 г. — Ада уже давно была беременна, и мы побаивались, что она разродится у нас в квартире. И действительно, как только они вернулись в Царское Село у них родилась старшая их дочка Зоя.

На зиму 1913-1914 гг. приехал из Москвы Михаил Михайлович Карпович, еще не кончив формально университет. В Петербурге жила его мать с ее вторым мужем, а также ее брат, Мишин дядя, историк Александр Евгеньевич Пресняков. В эту зиму Миша написал свою кандидатскую работу об Александре I и Священном Союзе. Весной 1914 г. он выдержал государственные экзамены и окончил Московский ун-тет с дипломом первой степени. К этому времени его политические взгляды стали более умеренными. Он отошел от партии с.-р. и примкнул к партии Народной свободы. По окончании университета Миша получил место помощника ученого секретаря Московского Исторического музея. У него оставалось довольно много досуга, и он начал готовиться к магистерским экзаменам под руководством М. М. Богословского. В 1915 г. — на второй год войны — Миша, для отбытия воинской повинности, поступил чиновником в Военное Министерство. После Февральской революции он ушел с этой службы. В апреле 1917 г. случайная встреча с Борисом Александровичем Бахметевым на Невском проспекте круто повернула ход Мишиной жизни. Бахметев тогда только что был назначен послом в Вашингтон, и ему нужен был личный секретарь, на которого он мог бы вполне положиться. Бахметев, с своего детства в Тифлисе, хорошо знал семью Карповичей — его отец был другом Мишиного отца. Миша был ошеломлен неожиданным предложением Бориса Александровича и в первую минуту заколебался. Решать надо было сразу. Миша согласился. В мае он уехал с Бахметевым в Америку.

4

Предвоенные годы и первые годы войны были периодом необыкновенного расцвета русской культуры — литературы (особенно поэзии), искусства и науки, в частности, исторической науки. Петербург тогда был на гребне этого подъема. Только уже зима 1916-17 г. наложила на всех печать тревоги и предчувствие надвигающейся катастрофы.

Я принимал участие в заседаниях нескольких ученых обществ, посвященных истории и истории литературы. На этих заседаниях читалось много интересных докладов, сопровождавшихся оживленными прениями, часто не менее интересными, чем самые доклады. На этих заседаниях я познакомился с несколькими историками литературы и литературоведами, как например, Н. К. Пиксанов, Е. А. Ляцкий, В. П. Семенников, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, также и с мистиком и оккультистом Н. П. Киселевым, интересовавшимся мистическими течениями в масонстве.

Весной 1914 г. я прочел пробную лекцию и получил звание приват-доцента. При Петербургском ун-те было тогда очень много приват-доцентов, но лекции и семинары только немногих из них давали студентам право зачета в прохождении университетского курса. По представлению Платонова, факультет отнес мои лекции к «зачетной» категории. Это для меня было очень важно, так как, во-первых, было больше шансов, что хоть несколько студентов запишутся на мои лекции, и во-вторых, за такие лекции полагался гонорар, хоть и скромный.

С одобрения Платонова, я объявил два курса (каждый по два часа в неделю) по истории Сибири и по истории русского масонства. На эти курсы каждый год записывалось от трех до пяти студентов. Ввиду малого их количества эти мои курсы были нечто среднее между лекциями и семинаром. На курс по истории Сибири каждый год записывались один или два сибиряка — якуты или буряты. На курс по истории масонства один год записался Андрей Грабар, будущий выдающийся исследователь византийского искусства.

Платонов пригласил меня приходить на его «среды». Не помню, бывали ли эти вечера у него раз или два в месяц. Эти собрания были чрезвычайно интересны, и я старался не пропустить их. Там бывали многие бывшие ученики Платонова, а в

это время — его коллеги по университету или другим высшим учебным заведениям Петербурга — С. В. Рождественский, А. Е. Пресняков, М. А. Полиевктов, П. Г. Васенко. Отдельную группу составляли более молодые ученики Сергея Федоровича, еще не получившие магистерской степени — А. И. Андреев, С. Н. Валк, А. А. Введенский, А. И. Заозерский, П. Г. Любомиров, Б. А. Романов и В. В. Саханев. Их называли «кружок молодых историков». Они дружелюбно приняли меня в свою компанию.

Гости сначала сидели или стояли в гостиной и там беседовали. Когда почти все завсегдатаи собрались, переходили в обширную столовую, где уже накрыт был стол. Стоял большой самовар, расставлены бутерброды с ветчиной, колбасой и сыром и всякие сладкие печенья. Все это гости сами передавали друг другу. За самоваром сидела супруга Сергея Федоровича Надежда Николаевна. Ей помогала их старшая дочь — Надежда Сергеевна, ученица своего отца по русской истории.

Разговаривали сосед с соседом или через стол, обмениваясь научными и житейскими новостями. В таких разговорах участвовал и сам Сергей Федорович. Иногда он овладевал ходом беседы, и разговор становился общим. Под конец вечера кто-нибудь из присутствующих просил Сергея Федоровича рассказать что-либо из его воспоминаний. Довольно часто он рассказывал о своих поездках по старым городам и монастырям в поисках древних рукописей. Рассказывал он необыкновенно ярко и увлекательно.

Иного характера были вечерние приемы (кажется, по понедельникам) у акад. Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского. Туда приходило обыкновенно всего по несколько человек. Разговор носил характер чисто научных бесед. Александр Сергеевич обыкновенно беседовал с каждым гостем отдельно по очереди — другие в это время были предоставлены самим себе. Потом бывал и общий разговор. Под конец вечера горничная приносила чай с сухарями. Супруга Александра Сергеевича, кажется, никогда не появлялась, но мы с Ниной видели ее у Гревсов. У Лаппо-Данилевского были широкие связи с иностранными учеными. Он довольно часто ездил за границу. В 1913 г. он участвовал в международном историческом конгрессе в Лондоне и прочел там доклад о развитии идеи государства в России от Смутного времени до реформ 18 века. В

Европе его считали как бы представителем русской исторической науки. Когда, благодаря этому, кто-либо из иностранных историков приезжал для занятий в Петербург, он прежде всего обращался к Александру Сергеевичу, и тот налаживал для него знакомства с русскими коллегами и заведующими нужными ему архивами или библиотеками. Таким образом и я познакомился на вечерах у Александра Сергеевича с несколькими иностранными историками, в том числе с двумя американцами — Франком Гольдером (занимавшимся историей Сибири) и Р. Г. Лордом (занимавшимся польской историей). С Гольдером я подружился (он хорошо говорил по-русски). Он довольно часто приходил к нам с Ниной обедать.

У Лаппо-Данилевского была необыкновенная широта охвата всего течения русской истории. Его первая большая научная работа была о скифских древностях. Затем он занялся Московским периодом. Его магистерская диссертация была по финансовой истории Московского государства 17 века. Потом он перешел к 18 веку и написал несколько ценных монографий по экономической истории, истории крестьянства и истории кодификации в России. Большое значение Лаппо-Данилевский придавал методологическим вопросам. Его книга «Методология истории» вышла в двух томах в 1910-1913 гг. Он работал также по сфрагистике и археографии (дипломатике частных актов). Я говорю здесь обо всем этом, чтобы показать, как много знаний, навыков и идей могли приобрести — и приобретали — от общения с Александром Сергеевичем не только начинающие историки как я, но и вполне сложившиеся ученые.

Я старался не пропускать ни одного из вечеров у Лаппо-Данилевского, но не всегда это удавалось. Разумеется, я с ним беседовал главным образом о ходе моей работы над диссертацией и советовался по некоторым вопросам, которые мне самому еще не были ясны. Постоянным посетителем бесед у Лаппо-Данилевского был и С. Н. Валк, с которым я познакомился на «средах» Платонова. Валк учился археографии у Лаппо-Данилевского — прошел через его семинар — и совещался с ним относительно своей дальнейшей работы в этой области. Часто приходил и историк русского права Михаил Александрович Дьяконов. Остальных обычных посетителей этих вечеров сейчас не помню.

Из других, живших тогда в Петербурге русских историков

(не бывавших ни у Платонова, ни у Лаппо-Данилевского), я ближе всего познакомился с Михаилом Дмитриевичем Приселковым, занимавшимся историей русского летописания и русской церкви Киевского периода. Приселков был талантливый историк с большим чутьем к подноготной исторических источников, но иногда слишком смелый в своих гипотезах. Его магистерская диссертация «Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси» вышла в свет в 1913 г. Защищал он ее уже в 1914 г. Я присутствовал на диспуте в публике. Диспут был очень интересен и прошел довольно бурно. Главным оппонентом Приселкова был один из его учителей А. А. Шахматов, автор «Разысканий о составе древнейших летописных сводов», основоположного труда для нового подхода к исследованию русского летописания. В этой книге Шахматов дал свою реконструкцию многих летописных текстов.

На диспуте Шахматов, признавая в общем ценность книги Приселкова, довольно резко возражал против некоторых его толкований и выводов.

— Помилуйте, Алексей Александрович, — возопил Приселков, — да это же я из вашей реконструкции летописных текстов взял.

В публике раздался смех.

— А вот этого вы и не должны были делать, — убежденно ответил Шахматов. — Вы должны были исходить из текста как он сохранился в рукописях. А затем уже критически рассмотреть мои выводы и или подкрепить их вашими собственными соображениями и тогда принять, или же отвергнуть.

После официальных оппонентов говорило несколько человек из публики. Один из них, византинист Безобразов, резко осудил книгу Приселкова и назвал его методы «гибельными для науки». Факультет большинством голосов присудил Приселкову степень магистра русской истории.

Из других русских историков я много общался с Александром Александровичем Корниловым, другом моих родителей, а, когда я подрос, ставшим и моим другом. О моей работе по масонству я с ним мало разговаривал, а беседовал обыкновенно о его собственных трудах и о ходе новейшего периода русской истории, приведшего к современному положению. Корнилов был в это время секретарем Центрального комитета партии Народной свободы, но продолжал заниматься и русской историей (см.

«Новый Журнал», кн. 97, стр. 224-225). Жил он в Ковенском переулке (Литейной части) с женой (сибирячкой) Екатериной Антиповной. Она была скромная и тихая женщина, беззаветно преданная мужу. У них была прелестная маленькая дочка Талочка (Наталья). Я часто у них бывал по вечерам. Сначала мы сидели с Александром Александровичем в его кабинете, обрамленном полками с книгами и папками с рукописями. Беседы с ним всегда бывали для меня интересны и поучительны. Екатерина Антиповна в это время готовила ужин и потом, уложив Талочку спать, ужинала с нами.

Перехожу теперь к писанию моей диссертации. Кроме моего отца и Лаппо-Данилевского я советовался о плане моей работы и об источниках для нее с Яковом Лазаревичем Барсковым. Я изучил большое количество материалов по истории масонства в Публичной Библиотеке; в Государственном Архиве; в библиотеке, рукописном ее отделе и архиве Конференции Академии Наук и в Морском Архиве в Петербурге; в Историческом музее и Румянцевской библиотеке в Москве и в Тверской Ученой архивной комиссии. Кажется, в начале 1915 г. Вера Александровна Пыпина-Ляцкая предложила мне издать в виде книги, с моими примечаниями и дополнениями, статьи ее покойного отца, академика А. Н. Пыпина, по истории русского масонства 18 и первой четверти 19 века. Я охотно согласился, так как эта работа могла быть (и оказалась) очень полезна для подготовки моей диссертации.

В 1870 г. Пыпин сам стал готовить издание своих статей (переработав их), но за множеством своих занятий так и не собрался это сделать (он умер в 1904 г.). Я снабдил книгу обширными примечаниями, основанными на новейших трудах о масонстве. Составленный Пыпиным список масонских лож мне пришлось переработать. Некоторые сведения оказались неверными, и их я выбросил. Список я значительно дополнил. Все это потребовало много усилия. Книга вышла в 1916 г. под заглавием: «Русское масонство. 18-ый и первая четверть 19-го века». Пиксанов написал на нее очень одобрительную рецензию, подчеркнув ценность моей редакторской работы.

В своей диссертации, которую я озаглавил «Русское масонство в царствование Екатерины II», я поставил себе задачей изучить масонство как явление духовной культуры русского общества той эпохи, определить главные нити этого движения

и выяснить соотношение элементов рационализма и мистицизма в развитии русского масонства. В общем, рационалистические настроения преобладали в первую половину царствования Екатерины, а мистические — в 1770-1780-ых гг. Во введении к моей книге я дал обзор источников и литературы предмета, в 1-ой главе обрисовал организацию русского масонства, во 2-ой — идеологию масонства, в 3-ей главе я охарактеризовал их социально-политические взгляды, а в последней (4-ой) — их роль в общественной жизни (масонская филантропия и масонская политика). Параллельно с писанием диссертации я составил, с помощью Нины, карточный каталог имен всех мне известных русских масонов 18-го и первой четверти 19-го века. Издать этот каталог я уже не успел и оставил картотеку в рукописном отделении библиотеки Академии Наук.

В 1916 г. редактор подготавливавшегося к изданию очередного тома «Русского биографического словаря» предложил мне написать биографию Н. И. Новикова. Деятельность Новикова была тесно связана с масонством, я хорошо изучил ее во время писания диссертации, и мне было интересно обрисовать полнее его личность и жизненный путь. Я согласился. Закончил я эту статью и сдал в редакцию «Русского биографического словаря» в 1917 г., незадолго до большевицкого переворота. После октябрьского переворота издание словаря было прекращено, но некоторые, имевшиеся уже в портфеле редакции статьи, в том числе и моя, были изданы отдельными книжками (моя в 1918 г.).

В первый день февральской революции умерла моя двоюродная сестра Нюта Короленко. Родители мои предложили нам с Ниной переехать к ним в ее комнату, что мы и сделали.

Закончив писание диссертации, я заявил об этом Платонову, показав ему рукопись моего труда. По его представлению, факультет принял мою будущую книгу в серию своих «Записок». Декан Федор Александрович Браун определил номер тома, в котором моя диссертация должна была появиться. Ляцкий указал мне хорошую и сравнительно дешевую типографию, и я напечатал книгу на свой счет. Книга вышла в свет в мае 1917 г. Оказалось, что я сделал большой промах, который чуть не испортил мои отношения с Платоновым. Я не понял, что перед сдачей моей диссертации в печать я должен был получить на это окончательное формальное разрешение и Пла-

тонова и декана. Когда я принес экземпляр книги Платонову, он страшно взволновался: «Что вы наделали, как я об этом доложу декану?» Но Федор Александрович Браун отнесся к происшедшему с философским благодушием и успокоил Платонова.

Кроме Платонова, факультет назначил моими официальными оппонентами С. В. Рождественского и И. А. Шляпкина. Защита диссертации назначена была на 22 октября. Платонов заботился и о дальнейшем моем устройстве. Кажется в июле, он сообщил мне, что в Омском Политехническом институте учреждена кафедра русской истории, и объявлен на нее конкурс. Я послал туда полагающееся заявление и довольно скоро получил ответ, что я избран на кафедру. Приехать туда надо было к середине сентября. Я оговорил, что на вторую половину октября мне необходимо будет съездить в Петербург для защиты диссертации.

В начале сентября мы с Ниной выехали в Омск, но доехали только до Перми, где нас задержала железнодорожная забастовка, конца которой не предвиделось. Мы остановились в гостинице. Я познакомился с профессорами Пермского университета, которые отнеслись ко мне с большим дружелюбием. Им как раз оказался нужен профессор новой русской истории (древнюю читал Б. Д. Греков), и они предложили мне эту должность. Я, конечно, с радостью согласился, опять-таки оговорив, что на конец октября должен буду съездить в Петербург. Мы легко нашли себе небольшую квартиру и поселились в Перми. В Омск я телеграфировал о случившемся.

В Петербург я поехал один, оставив Нину в Перми налаживать жизнь там. Я приехал дня за два до защиты диссертации. Петербург произвел на меня мрачное впечатление. Все жили в предчувствии надвигающейся катастрофы. Люди боялись ходить по улицам, особенно по вечерам, когда орудовали всякого рода бандиты. Продукты быстро исчезали. Временное правительство было уже совершенно бессильно.

Я остановился, конечно, у родителей. Большая радость была повидать их. Обдумывая, что мне нужно приготовить, чтобы явиться на защиту диссертации, я сразу натолкнулся на затруднение. По русской университетской традиции, защищающий диссертацию должен был быть во фраке. У меня же был только сюртук. Ничего не оставалось, как нарушить традицию.

Впрочем, тогда было уже такое время, что о традициях стали забывать. Я боялся, что из-за начавшейся разрухи мало кто сможет прийти на диспут. Дни были уже короткие, в Петербурге уже очень рано темнело, и выходить на улицу было рискованно. Не решился прийти Барсков. Все же пришло довольно много народа.

Платонов в своих замечаниях указал мне на несколько мелких ошибок и неточностей в моей книге и задал мне несколько вопросов, на которые я смог ответить. В общем, он признал ценность моего труда. Замечания Шляпкина были в сущности библиографическими дополнениями к использованным мной источникам. Тон его был очень благожелательный. Рождественский говорил кратко, сделал несколько мелких замечаний, а в общем одобрил мой труд. Из публики несколько интересных соображений о мистических течениях в русском масонстве высказал Н. П. Киселев. Сказали несколько слов и еще два-три человека. Факультет единогласно присудил мне степень магистра.

После диспута я пригласил к себе в квартиру родителей, моих оппонентов и нескольких друзей. Шляпкин просил его извинить и поехал к себе домой. Кроме Платонова и Рождественского пришли Приселков, Пресняков, кажется, почти в полном составе «кружок молодых историков» и еще несколько человек. К нашему приходу мать моя приготовила угощение — чай, бутерброды, сладости, вино. Было даже шампанское. И отец и мать принимали участие в оживленной беседе. Атмосфера была дружеская и теплая. Но под этим невольно чувствовалось, что все мы — и вся Россия — на самом краю бездны.

Я пробыл в Петербурге еще два дня и 25 октября утром пустился в обратный путь. Меня провожали до вокзала моя мать и ее брат, инженер Павел Егорович Старицкий — в его распоряжении был автомобиль с шофером от Балтийского завода. Доехали до вокзала благополучно. На улицах попадались кучки красногвардейцев, но это было и в предыдущие дни. Вокзал был забит солдатами-дезертирами с фронта и гражданской публикой. Поезд не был подан к платформе. Носильщик взялся провести меня к запасным путям. Я простился с матерью и дядей. (Позже я узнал, что, когда они ехали назад, красногвардейцы реквизировали их автомобиль, и они еле добрались домой).

Носильщик с трудом впихнул меня в вагон III-го класса, набитый уже солдатами. Поезд долго еще стоял, наконец, тронулся. Я залез на верхнюю полку и почти всю дорогу на ней пролежал. Доехал до Перми совершенно измученный. Нина встретила меня как чудесно спасенного — я только от нее узнал о перевороте 25 октября.

Платонова мне больше не суждено было видеть. В 1927 году я послал ему в Ленинград из Нью-Хэвена недавно тогда вышедшую мою книгу «Начертание русской истории». В ответ я получил от него открытку, в которой он благодарил меня за книгу и написал, что с интересом следит за новыми течениями в исторической науке. В 1932 г. советское правительство исключило Платонова из числа членов Академии Наук. Сергей Федорович был арестован и после допроса сослан в Самару. Жить ему там пришлось в чрезвычайно тяжелых условиях, без книг и без возможности заниматься наукой. Здоровье его было уже надорвано. Он умер 10 января 1933 года.

Г. Вернадский

КУРМАСЦЕП

Этим словом я не без удовольствия ошеломлял всех спрашивавших меня, пятнадцатилетнего школьника, куда это я хожу по вечерам? В ту эпоху «комгорхозов», «окрхозупров» и «упродпетокров» «курмасцеп» был не диво, но расшифровать его никто не мог. «Курсы Мастерства Сценических Постановок». К этому неизменно прибавлялось: «Первые в мире режиссерские курсы».

Сейчас самая память о них изгладилась. Даже в советской театральной энциклопедии им не отведено ни строчки, даже рядом с реабилитированным именем Мейерхольда они не ставятся. Чуть ли не все, имевшие к ним причастность, умерли. Живы, может быть, человека три-четыре, которые могли бы написать о них, но двадцатилетний запрет на все мейерхольдовское отучил их, повидимому, от самой мысли об этом.

Будет жалко, если это учреждение не удостоится упоминания в истории русского театра. Оно не сделало эпохи, не породило ни одного выдающегося деятеля, но оно было из числа тех, что в молекулярном процессе культурной жизни первых лет революции сыграло не последнюю роль. Через такие, как оно, старая Россия передавала новым временам накопленные ею богатства.

История его не сложная: учреждено Мейерхольдом в 1918 г.; просуществовало до 1922 г., слилось со «Школой актерского мастерства», образовав «Институт Сценических Искусств» (И.С.И.). Ныне где-то, кажется, на Моховой, в здании бывшего Тенишевского училища, оно существует под именем Ленинградского Театрального Института. В этом детище, конечно, нет уже ни капли курмасцепской крови и можно с уверенностью сказать, что там никто не горит тем огнем театрального восторга, каким горели мы в те блаженные «года глухие». Там обучают и тренируют; это профессиональная театральная школа, тогда как Курмасцеп был чем-то вроде масонской ложи, где приобщались истине и искали тайн и театральных откровений.

И время было особенное. Шла жесточайшая гражданская война — голод, тиф, замерзшие, облупленные города, но весь Петербург, вся Москва (дети и взрослые) с упоением предавались театру. Было в этом что-то от пира во время чумы — то ли один из видов наркомании, то ли предчувствие конца великой эпохи и жадное стремление вкусить ее яств, которых никогда больше не будет. По вечерам, выходя из театра или с концерта, шли по неосвещенным улицам; валялись мертвые лошади, иногда люди, но не страшно было. С прощального концерта А. И. Мозжухина расходились под отдаленный гром пушек у Пулкова, куда подступал Юденич. Придет ли Юденич, останутся ли большевики — не важно. Важно пение прекрасного артиста, очарование концертного зала, свет, воздух претворенные в волшебное вино. Блажен вкусивший его!

Когда объявлялся набор в какую-нибудь студию или театральную школу, подавались сотни прошений. Хорошо помню зал театра в доме Елисеева на Невском, переполненный желающими поступить в студию Малого театра, как назывался в то время бывший театр Суворина на Фонтанке. На двенадцать вакансий явилось пятьсот соискателей. Самым молодым был я. Один за другим поднимались на сцену, чтобы прочесть стихотворение, либо монолог и сыграть маленькую пантомиму на сюжет, предложенный жюри. Меня не допустили до сцены.

— Сколько вам лет? — грозно спросил Коля Петер (Н. В. Петров).

— Милый, вам надо подрасти, — сказал К. А. Марджанов.



Впоследствии, когда я познакомился с Н. В. Петровым и припомнил ему свой елисеевский позор, он сказал: — «Будете в поминание меня записывать и благодарить, что избавил от пещи огненной. Разве можно в таком возрасте карабкаться на сцену?» И он рассказал, сколько горя хлебнул сам, когда будучи совсем молодым, попал в Александринский театр, чем-то вроде помощника режиссера. В первом же спектакле играла Савина. — «В жизни своей не видел более противной женщины! Постучался к ней в уборную: Марья Гавриловна, ваш выход через пять минут. А она: — ‘А кто вы такой? Я вас не знаю!’ У меня пол закачался под ногами. Никто сейчас понятия не имеет, каким деспотом для всей труппы была Савина. Одного ее немилостивого взгляда боялись самые заслуженные артисты.

Долго она меня «не знала». Предупреждать ее о выходах сделалось невыносимым мучением. А не предупреждать нельзя. Наскучив одним номером, придумала другой. — ‘Марья Гавриловна, ваш выход’. — ‘А я сегодня не играю’. В самом деле, сидит не загримированная, не одетая. Опять пол вертится под ногами. Стою за кулисами, считаю минуты. Вот — последняя, а ее все нет, вот уже реплика после которой она должна выходить... И в самую последнюю секунду, когда скандал и катастрофа казались неизбежными, выходит моя мучительница в костюме, в гриме — как полагается. Много она мне крови перепортила. Все другие невзгоды казались пустяшными в сравнении с ее выходами, даже тот случай, когда за мной с поленом гонялись». Он назвал имя неизвестного мне, давно сошедшего со сцены актера, исполнявшего роль воеводы в исторической драме. Гонец ему приносит грамоту. Текст ее актер не считал нужным заучивать наизусть, он был написан в грамоте. Но случилось так, что грамота куда-то пропала. Николай Васильевич выбился из сил отыскивая ее, а «гонец» уже стоит и требует. Пришлось наскоро свернуть первый попавшийся лист бумаги, который и был подан. Развернув его и поняв в чем дело, «воевода» нашелся: «Я что-то тут не разберу. Прочти-ка ты, гонец». Но гонец тоже был не лыком шит — вернул с поклоном: «Неграмотен, батюшка». А суфлер, как нарочно из будки куда-то вышел. Чудом довели сцену до конца и избежали скандала. Зато, как только занавес опустился, «воевода», схватив первую попавшуюся палку, бросился отыскивать виновника происшествия.



Меня никуда не принимали. И вдруг приняли без всякого испытания в «Институт Ритма Совершенного Движения». Велели только сшить греческую тунику. Петербург в те годы переполнен был студиями, школами, «институтами». Когда в 1920 г. открылась в здании Пролеткульта «конференция по движению», на ней оказалось представленным больше десятка таких учреждений: студия «Гептахор», школа Далькроза, школа Дельсарта, студия Мусиной-Озаровской, последователи Айседоры Дункан и многие другие. Особенно нравился мне Гептахор, чьи пантомимы казались танцами греческих статуй, сошедших с пьедестала. У каждого института была своя «си-

КУРМАСЦЕП

стема», своя теоретическая платформа. Была она и у нашего института, не помню уж какая, да вряд ли кто и знал ее. Для меня этот институт был «эрзацем» театрального учебного заведения; в числе предметов преподавания там значилось «сценическое движение».

Помещался он на Миллионной. В небольшом сравнительно зале, устланном мягким голубым ковром, с громадным зеркалом во всю стену, кружились и прыгали в белых туниках люди разных возрастов. Мы с Петей Приходько, моим однолеткой, были самой юной порослью. На другом фланге высилась фигура пятидесятилетнего инженера В. В. Пименова — лучшего специалиста по расчету мостов. Была одна особа явно уставшая для «ритма совершенного движения».

Возглавляла институт Софья Венедиктовна Ауэр — очень милая почтенная дама лет сорока. Когда она садилась в кресло и смотрела на наши беснования под музыку С. Ю. Бруни-Витковского, наш зал походил то ли на сатурналии, то ли на хлыстовский корабль. Самой привлекательной чертой этого учреждения была связь его с артистическим Петербургом. Приходили музыканты, певцы, актеры. Пришла, однажды, группа поэтов из «Дома Искусств», уселась всей оравой на ковер, занявши целый угол, и оттуда читала стихи.

Помню Сергея Ауслендера, Всеволода Рождественского. Раза два приходил странного вида молодой человек, «подметивший» ритм в русской истории. Курс «ритма стиха» читал Вл. Пяст. Сводился он к тому, что Пяст, усевшись на рояле и свесив ноги, разносил в прах стихи неугодных ему поэтов. Особенно доставалось Анне Радловой. Конст. Эрберг читал Эстетику. И все это в непроглядные петербургские вечера. Пустынные улицы, ни одного фонаря, ни извозчиков, ни трамваев.

Сценическое движение преподавал А. Л. Грипич — ученик Мейерхольда по его студии на Бородинской улице. От него я впервые научился различать движение человека на сцене от движения в жизни. Особенно хорошо учил он нас всевозможным падениям. Это искусство сейчас почти забыто и большинство актеров падают вульгарно, с задиранием ног кверху. Грипич и соблазнил меня перспективой поступления в Курмасцеп. Как все 15-летние любители театра, я мечтал, разумеется, об актерской карьере: Давыдов, Яковлев, Юрьев, Горин-Горяинов были моими богами. Встретить кого-нибудь из них на улице — все

равно, что увидеть небожителя. О режиссуре ничего еще не знал, несмотря на школьные спектакли, которые я «ставил». Тем не менее, попасть в Курмасцеп — настоящее театральное учебное заведение, было соблазнительно. Да и наслышался я о нем давно от своей школьной учительницы А. А. Петровской — фанатической поклонницы Мейерхольда. Она приносила мне журнал «Любовь к трем апельсинам», рассказывала о постановках «Балаганчика» и «Незнакомки», о студии на Бородинской. И постепенно, рядом с александринскими олимпийцами вставал, в венце легенд, новый неведомый бог. Но был у нас в школе другой учитель словесности, не переносивший самого имени Мейерхольда — Борис Михайлович Энгельгард, известный ученый литературовед. В то время сохранялась еще старая традиция, когда университетские профессора не только не гнушались преподаванием в средней школе, но считали это чем-то вроде почетной миссии. Борису Михайловичу я многим обязан. Но к моим театральным увлечениям он относился скептически; Мейерхольда бранил беспощадно. — «Несносный, препротивный человек, заносчивый, тщеславный. Лучше к колючему репейнику прикоснуться, чем иметь с ним какое-либо дело».

Мысли и чувства мои раздваивались. Впоследствии я понял, что речь шла о разных Мейерхольдах. На известном портрете работы Бориса Григорьева — две фигуры: одна в черном фраке и цилиндре, угловатая, петушино-задорная, другая, позади, в огненном фантастическом одеянии, вдохновенно пускающая стрелу в небо. Анна Александровна говорила про этого дерзающего артиста, искателя новых театральных выражений, тогда, как Б. М. Энгельгард, равнодушный к театру, знал Мейерхольда житейского, повседневного, бывшего, в самом деле, не очень приятным человеком. В 1925 г. на многочленном собрании он устроил совершенно неприличный скандал Радлову за его (в общем хвалебную) рецензию о «Ревизоре» и за то, что в своей постановке он употребил дугообразный пандус, похожий на придуманный Мейерхольдом в «Лесе». В то время я уже смог, поборов неприятное чувство, простить Мейерхольду эту выходку за его талант, но до сих пор не пойму, как в 1919 году, ни разу не видев его, не зная ни одной его постановки, я стал «мейерхольдовцем», вопреки всему, что говорил Б. М. Энгельгард?

В Курмасцеп я поступил, когда там не было уже Мейерхольда. Он уехал в Крым лечиться и вернулся оттуда не в Петербург, а в Москву. Во главе курсов стоял один из питомцев его студии на Бородинской улице — С. Э. Радлов, успешно начавший карьеру созданием в 1918 году первой передвижной коммунальной труппы при ТЕО для обслуживания фронтов гражданской войны. В нужный момент он постарался избавиться от этого рода деятельности и привлек к себе внимание театром «Народной Комедии», открытым под его руководством в Железном зале Народного Дома на Петроградской стороне. Там он осуществил мысль, давно возникшую в театральном мире — соединение драматического спектакля с цирковым. Труппа его была составлена из малоизвестных, даже совсем неизвестных актеров. Известностью пользовалась лишь Л. Д. Басаргина и то не как актриса, а как жена А. А. Блока. Участвовала она, сколько помнится, всего в одной пьесе «Проделки Смеральдины», где этой, изрядно отяжелевшей сорокалетней даме пришлось играть роль молоденькой грациозной проказницы. Пикантность труппе придавали цирковые клоуны и акробаты — Серж, Таурек, Дельвари, жонглер Такошима, трансформатор Карлони, умевший молниеносно переодеваться. До «Народной Комедии» такие драматически-цирковые постановки пытался насаждать Ю. П. Анненков, но его эрмитажные спектакли прошли незамеченными широкой публикой. Радлову же повезло.

При поступлении в Курмасцеп надо было пройти через коллоквиум. И тут мои неполные пятнадцать лет грозили мне новым провалом. Радлов беспощадно резал всех, кто на вопрос: «зачем вы поступаете на курсы?» отвечали: «хочу быть режиссером». По какому-то наитию у меня сорвалось: «хочу получить театральное образование». Благодаря такому лукавому ответу, нож гильотины не опустился на мою шею и я стал слушателем «первых в мире режиссерских курсов».



Помещались они на той же Миллионной улице, в двух шагах от Института Ритма. Большинство домов по левой стороне Миллионной пристроено к задворкам роскошных дворцов и особняков, выходящих фасадами на набережную. В каждое из этих пышных зданий можно войти, как с Набережной, так и с Миллионной. В Курмасцеп входили с Миллионной. Войдя

в большие деревянные ворота, переходили двор и по черной лестнице поднимались на третий этаж. Там — дверь в кухню. Парадные комнаты выходили окнами на дворцовую набережную. Что это были за окна! Огромные, без переплетов, в одно сплошное стекло. Из них открывалась изумительная панорама Невы, Петропавловской крепости, Биржи. Жалею, что никогда не интересовался дореволюционным прошлым этого дома, стоявшего рядом с дворцом вел. князя Владимира Александровича. Обитателями его были, конечно, особы знатные. Но в мое время, комнаты курмасцепской квартиры стояли совершенно пустые. От прежней роскоши не сохранилось следа. Несколько жалких столов, да дюжины две убогих, скрипучих венских стульев принесены были, безусловно, из какого-то склада старья. На голых стенах — фотографическая копия портрета Мейерхольда, работы Бориса Григорьева и всевозможные диаграммы, рисующие законы сценического искусства. На столах, на подоконниках — макеты театров различных эпох — античного, средневекового, эпохи Возрождения. Комнаты никогда не отапливались и заниматься в них можно было лишь до наступления холодов и весной. На зиму они запирались и все лекции на «первых в мире режиссерских курсах» происходили в теплой кухне. Там стоял и податель благодати тепла — большой дровяной ящик с крышкой, на котором величественно, как жрица, восседала Луша — уборщица и блюстительница хозяйственного благополучия Курмасцепа. Вместе с нами, она слушала лекции об античном театре и Комедии дель Арте.

Слушатели, все кроме меня, были не моложе 25 лет. Были там дамы лет за 40. Одна, со слуховой трубкой — писательница Л. Я. Бруштейн, кажется, и до сих пор жива. Поступивших при Мейерхольде было уже мало. Такие как К. Н. Державин, А. В. Голубенцев, Л. П. Якунина, Р. Раугул, А. Г. Мовшензон успели кое-где пристроиться и бывали у нас редко. Державин работал в каких-то политпросветах, участвовал в постановках «мистерий», вроде «Взятия Зимнего дворца», композитор Голубенцев писал музыку для различных спектаклей, искусно пользуясь сокровищами мировой музыкальной литературы, Л. П. Якунина, художница, работала в мастерской Петрова-Водкина, но Курмасцеп посещала довольно исправно. Чаше бывали Мовшензон и Раугул. «Старые» и «новые» смешались так быстро, как будто всегда были однокурсниками. Я — единственный несовершеннолетний — сделался предметом забот и опеки стар-

ших, как маленький жеребенок в табуне. Особое покровительство оказывала мне Луша. Раз как-то, перед началом лекции, я отправился за макетом, необходимым по ходу занятий, а тем временем, кто-то занял мой стул. Луша прогнала захватчика: «Здесь Коля сидит». Теплая, уютная кухня сроднила и сближала всех. Не было и тени вражды или соперничества, какие бывают в актерских школах, где борьба за роли и за благоволение руководителей начинается уже при постановке учебных спектаклей. Я уверен, что если оставшиеся в живых курмасцепцы вспоминают эти годы, они вспоминают, прежде всего кухню. Это она придавала нашим лекциям характер интимных дискуссий и собеседований.

Когда кто-нибудь из наших лекторов ездил в Москву, а в то время это было трудное дело, то по возвращении, не один вечер, посвящался рассказам о театральной жизни первопрестольной. Особенно продолжительные разговоры вызвала постановка Мейерхольдом «Зорь» Верхарна — первого агитационно-пропагандистского спектакля. В партийных кругах она была встречена весьма не ласково; Крупская разнесла ее вдрызг, но у нас ее расценивали, как новое театральное явление, независимо от всякой политики. Вообще, о политике мы никогда не говорили, не потому что боялись; в те дни можно было говорить многое такое, что впоследствии каралось тюремным и лагерным заключением; но просто вкуса к этому не было. Царил у нас, только, дух театра.

Иногда мы получали приглашения. Цирк Чинизелли поставил феерическое «обозрение» и щедро отвел нам несколько лож. Феерия вышла безвкусной, но давала много материала для размышлений о представлениях такого типа. Пришло однажды приглашение в Дом Искусств на лекцию проф. В. М. Алексеева о китайском театре. Отправились всем скопом. Лекция оказалась на редкость интересной. О китайском театре ни мы, ни наши учителя ничего не знали. Когда я, лет через четырнадцать увидел, приезжавший на гастроли в Петербург театр Мей-Лань-Фана, его первобытную условность, прелесть его истинно театральной стихии и необыкновенную красочность одежд, я вспомнил альбомы с рисунками костюмов и сцен, показанные нам В. М. Алексеевым, и слова, которыми он начал лекцию: «думая, что мы всемирны, мы глубоко заблуждаемся».

Было еще одно «приглашение». Раз как-то перед началом

лекции Радлову подали записку приблизительно такого содержания: «Дорогой Сергей Эрнестович, в 7 часов сегодня будет постановка моей пьесы. Это не какая-нибудь агитка и не передвижническая археология, а совершенно новое и полное разрешение проблемы современной драматургии». Говорилось и о постановке, как о новом откровении. Заканчивалось письмо приглашением посетить спектакль.

Автором письма был наш слушатель Левушка Лисенко. Звали его Левушкой, несмотря на 25-летний возраст. Отчества его никто не знал и не знали, зачем он ходит в Курмасцеп. Он был заика и ни к какой театральной деятельности не годился. Но он посещал также все студии и «институты», все литературные объединения, мастерские Академии Художеств и ничем другим не занимался. Драматических произведений написал великое множество. При встрече каждый раз объявлял: — Мы с Борей Папоригопуло закончили драму в пяти актах; принята к постановке. Ни в печати, ни на сцене никто его драм не видел. В половине 7-го, всем Курмасцепом мы двинулись на Мойку в соседнее с Домом Искусств здание, где был зал с маленькой сценой. Оказалось, что кроме нас, публики почти не было. Чудо современной драматургии прошло перед пустым залом. Нас угостили такой банальной агиткой, в такой плоской и небрежной постановке, что с возвращением в свою кухню, у нас хватило веселых разговоров на весь остаток вечера. Вскоре пришел и сам виновник зрелища и заикаясь старался убедить нас в ошибочности наших впечатлений.

Совсем необычное по тем временам приглашение получили от Дома Искусств. Это было на заре НЭП'а. Петербург начал оживать. Еще ходили в дырявых ботинках, еще простаивали в бесконечных очередях за осьмушкой хлеба, но уже начались... маскарады. Нас и пригласили на маскарад. Много было приготовлений. Мы решили блеснуть и явиться в виде дракона. Е. П. Якунина сделала фантастический цилиндр. Водруженный на высокий шест он должен был означать голову чудовища. Тело же, добрых пяти метров в длину, состояло из темно-зеленой попоны, покрывавшей весь состав «первых в мире» режиссерских курсов. В особой комнате в Доме Искусств мы переоделись и забрались под шкуру монстра. Самый высокий встал впереди и держал шест с головой-цилиндром, за ним вы-

строились остальные по нисходящей линии. Последним пришлось стоять в согнутом положении. Меня, как самого маленького, поместили в хвост. Так шествовали мы по залам Дома Искусств, как во чреве китовом. Дышать было трудно. Некоторые спотыкались. Горше всех пришлось мне. Изображая хвост дракона, я должен был почти ползти на четвереньках. Вся пыль собиралась ко мне и я чуть не задохся. Когда вернулись в раздевальню и я стал жаловаться на выпавшие мне мучения, кто-то из старших сказал: — «Вот вам урок: никогда не плетитесь в хвосте». Мы не видели своего шествия, но по словам очевидцев, оно не было таким эффектным, как мы и предполагали. Маскарад продолжался далеко за полночь, но был вял и неинтересен. На другой день, мы ему в своей кухне поставили тройку с минусом.

С кухней связано незабываемое воспоминание об одном ясном мартовском вечере 1921 г. Слушали лекцию А. А. Гвоздева о Гамлете, о той заключительной сцене, когда перед телом убитого датского принца, является другой принц Фортинбрас — авантюрист, искатель престола.

«На это царство мне даны права
И заявить их мне велит мой жребий».

Стекла в окнах, вдруг задрожали. Гвоздев пробормотал что-то вроде «гм...» и продолжал читать, но через минуту — новое сотрясение. Начался штурм Кронштадта. Тухачевский пустил по льду свои многотысячные полчища, а кронштадтские форты и броненосцы били по этому льду. После минутной паузы лекция продолжалась под аккомпанимент шестнадцатидюймовых орудий. На утро, придя в школу, я взобрался со своими товарищами на крышу нашего шестиэтажного дома, чтобы увидеть Кронштадт. Солнце сливало в сплошную белую пелену небо и лед и ничего другого не было видно. Только грузные залпы неслись из сверкавшей дали. Вечером опять Курмасцеп и опять сотрясение окон. Так — три дня. Решалась судьба России. У Габриэля д'Аннунцио есть сцена: Франческа да Римини, стоя в башне замка, перед которым идет бой, ждет с замиранием сердца меткого выстрела Паоло, от которого зависит все их счастье. Такое же «попадет или промахнется?» стояло в петербургском воздухе. Даже мы, дети, чувствовали

это затаенное ожидание. Когда, к концу третьего дня грохочущая даль смолкла, ни лекции, ни разговоры в Курмасцепе не клеились.



Главную роль у нас играл С. Э. Радлов. Он же — один из лекторов. Читал драматургию. Едва ли не единственным трудом по теории драмы, на русском языке, был перевод немецкой работы Густава Фрейтага. Написан он был задолго до новых веяний в театре и отражал обычный взгляд на драматургию, как на один из видов литературного творчества. Радлов сделал попытку подойти к предмету со стороны сценического зрелища. Особенно глубокой работы мысли тут, пожалуй, не было, но сделаны были некоторые любопытные наблюдения, отмечены «игровые» приемы, наблюдающиеся во всей мировой драматургии. Но сколько-нибудь стройной теории создано не было.

Радлов был фигурой примечательной. Хотя постановщиком он оказался «без искры» и работы его, кроме чистоты отделки, ничем не блистали, но сам он блистал воспитанием, образованием, умением держаться в любой среде, в которую попадал. Он был рожден для преуспевания. Вырос в университетских кругах, как сын известного профессора Э. Л. Радлова, как крестник Влад. Соловьева, как ученик Ф. Ф. Зелинского. Перевел, еще в студенческие годы, «Менехмов» Плавта. Но, в противоположность своему отцу, отличался исключительным тактом — знал когда что сказать, когда не сказать. Старик этим даром не обладал. В университете мне довелось слушать его курс логики. На вступительной лекции, перечисляя виды логики — формальную, диалектическую, метафизическую, дедуктивную и проч., он воскликнул: «А недавно я услышал, что существует еще «пролетарская логика». Таких выхонок у него было не мало. Сын обладал, в этом отношении, безукоризненной выдержкой. Питая к советской власти такие же «симпатии», как отец, он замкнул свои уста для всего сколько-нибудь антисоветского. Таким же сдержанным, «воспитанным» был он и в отношениях с людьми. На этих, в сущности не театральных талантах, зиждилась вся его карьера. Он сделался режиссером «академических» театров — Михайловского и Мариинского, «заслуженным деятелем искусства», создал свой театр, так и

называвшийся «Театром Радлова» (по образцу Театра Мейерхольда). Не начнись вторая мировая война, он достиг бы, вероятно, самых высот театрального Олимпа. Но выбравшись из осажденного Питера со всем своим театром и эвакуированный на Северный Кавказ, он был застигнут там немецким наступлением и попал в Берлин, в «Винету», а после репатриации — в концлагерь, где просидел до 1953 года. Последние пять лет жизни провел в Двинске и в Риге, работая в тамошних театрах.



Другой видный наш лектор, А. И. Пиотровский, совсем еще молодой человек лет 24-х, всегда представлялся мне жертвой театра. Не то, чтобы он стремился к актерской или режиссерской карьере; этого он никогда не держал в мыслях; но воздух театра был единственный, которым он мог дышать. Талант и образование сулили ему другое поприще и другую известность. Призванием его была наука, он был прекрасный латинист, знаток греческой литературы, его перевод комедий Аристофана признан лучшим в русской литературе, он сделался бы несомненно выдающимся ученым, если бы не театр — сирена, погубившая тысячи душ. Ходили слухи, будто он — незаконный сын Ф. Ф. Зелинского и В. Ф. Петуховой. В самом деле, он был очень похож на Веру Федоровну, пожилую, в то время, женщину преподававшую латынь в Петроградском университете. К академической среде он, надо думать, был с детства близок, но университетская карьера не прельщала его. Вероятно, по чьему-то настоянию, он начал вести семинарий в университете, году в 1924-1925-м, но вместо Вергилия и Горация читал студентам свои собственные пьесы, вроде «Дуни тонкопряхи». На одном из таких чтений мне довелось быть. Драматургия увлекала его. Писал, чаще всего, простые агитки, рассылавшиеся по рабочим клубам, где они шли в дни Первомайских и Октябрьских торжеств. Единственная его пьеса, увидевшая свет рампы настоящего театра — «Падение Елены Лей» — была поставлена А. Л. Грипичем в «Театре новой драмы» в 1923 году. «Дуня тонкопряха» тоже должна была идти в Михайловском театре под режиссерством А. Н. Феона в 1926 г., но на генеральной репетиции была забракована и снята с репертуара. «Феона с Дунькой сбежал» — говорили в Петербурге.

И вот, несмотря на явную бездарность, как драматурга, несмотря на чиновничьи посты «художественного руководителя», явно недостойные такого человека, несмотря на всем очевидное ученое призвание, он уходит из университета, мытарится по разным театральным задворкам, пока не попадает в Совкино, где и находит свою гибель. Человек он был не из приятных. Его ценили, но не любили. Был склонен к интриге.

В 1936 г., когда я сидел на Шпалерной, ко мне в камеру попал один из руководящих работников Совкино. С негодованием отзывался он об ипокритстве, об иезуитских качествах Адриана Ивановича. В таком гнезде склок и подкопов, как Совкино, он нашёл, повидимому, много врагов, сочинивших на него политический донос и подведших под расстрел. У нас он читал историю античного театра — суховато, скучновато. Интереснее был в беседах на «вольные» темы и еще интереснее в статьях. По книжным каталогам вижу, что в СССР выпущен недавно сборник его театральных статей. Да послужит он памятником трагически погибшего талантливого человека!



Когда я после своего зачисления впервые явился в Курмасцеп, я увидел довольно высокого человека с густой черной бородой в чудовищных самоедских унтах из оленьей шкуры, видимо, только что полученных в КУБУЧ'е. Они были очень теплые, но выглядели устрашающе. Представленный их обладателю, как новый курсант, я был удостоен рукопожатия и нескольких ласковых слов. В тот же вечер, человек в унтах обращался и разговаривал со мной, как со своим старым слушателем. То был Владимир Николаевич Соловьев, писавший в «Любви к трем апельсинам» под именем Вольмара Люсциниуса, один из основателей театра в Териоках, театральный критик и один из столпов идеи нового театра. В Курмасцепе он читал курсы о Мольере и о Комедии дель Артэ. Детская улыбка, необыкновенная простота с которой он разговаривал с людьми, располагали к нему с первого же знакомства. Каждый тотчас убеждался, что перед ним трогательный взрослый ребенок. Я никогда не слышал не только о его «врагах», но не знал никого кто бы говорил о нем плохое. А. А. Блок, чуткий в распознавании хороших людей, очень любил Владимира Николаевича. Это видно по его дневникам. Один раз, я наблюдал, как в Доме

Литераторов на Бассейной, Блок, разговаривая с К. И. Чуковским, увидел поблизости В. Н. Соловьева и с каким-то повеселевшим лицом сразу повернулся к нему, чтобы поздороваться.

Быть может, эта всеобщая любовь и спасала его. Он был из тех, кто без посторонней помощи не мог жить. Все наши дамы дружно опекали его: следили за его костюмом, за тем, чтобы тесемки не болтались, рубашка не показывалась где ей не следовало, чтобы в парадных случаях, крахмальная грудь не вылезала из-за бортов пиджака. Время от времени приводили в порядок его квартиру, где он жил со старой тетушкой, давно неспособной исполнять роль хозяйки. Квартира походила не на обломовскую уже, а на плюшкинскую.

Мы ни за что не могли поверить, когда кто-то из непричастных к Курмасцепу и к театру людей сказал, что Владимир Николаевич в молодости был блестящим гвардейским офицером. Особенно трудно было поверить в это после сцены разыгранной однажды в кухне на лекции, повторявшейся потом не один раз. Владимир Николаевич, расхаживая в своих унтах, говорил что-то о Мольере, потом, неизвестно по какому поводу впал в раздражительность — стал бранить постановки передвижного театра Гайдебурова и Скарской, от них перешел на свою горькую долю, на холод в квартире, на скудость пайка и еще на что-то. Накаляясь и возвышая голос, он дошел до «конька». «Конек» этот до того меня сразил, что сидевшая рядом дама, при виде моего растерянного лица улыбнулась и успокаивающе похлопала по руке. Владимир Николаевич испустил вдруг крик, вероятно, такой с которым индеец бросался на врага с томагавком. «Рявкнул», — шепнула Луша. Не переставая кричать, он направился к дровяному ящику. «Вот, возьму два полена и никто мне ничего не имеет право сказать!» Никто и не собирался. Дрова были завернуты в газету с помощью Луши, прибавившей от щирого сердца еще два полена. После этого наш лектор притих, уселся рядом с Лушей и минут пять мрачно смотрел в пол. Потом сделал несколько маршрутов по кухне и повернувшись к нам с детской улыбкой спросил: «А знаете, что глубже всего сидело в Мольере?... Табарэн!» И тут начался вдохновенный рассказ о влиянии балаганного театра на Мольера.

Однажды весной он явился бритым, так что в первую минуту не все его узнали. Никто не задал вопроса, пока он сам,

месяц спустя, не объяснил загадки. Оказывается, в трамвае какой-то малыш назвал его дедушкой.

— Дедушка!!!... — повторял он с грозowymi нотками в голосе.

Теперь, когда на него «находило», лицо его становилось страшнее, чем при бороде. Оно годилось для экрана, для всех сцен безумства. Один раз он и выступил в такой сцене. Это было после смерти Блока, когда мы устроили вечер его памяти и сыграли «Незнакомку». Участие в этой постановке приняла В. Н. Стахова, актриса Александринского театра. Режиссировал В. Н. Соловьев. Спектакль получился неудачный и, как водится в таких случаях, на другой день начались попреки, ссоры, поиски виновных. Стахова винила во всем Соловьева. К ее обвинениям присоединился А. В. Рыков — художник, ведущий у нас курс макета, большой друг Владимира Николаевича. На бурном собрании, он, держась рукой за сердце, прерывающимся голосом упрямо выкладывал грехи постановки. Слушая его речь, мы первое время не замечали, как Владимир Николаевич бледный, со сжатыми за спиной кулаками, подкрадывался шагом пантеры к своему «Сандро». Неизвестно, что было бы, если бы две наших дамы не взяли его ласково под руки и не усадили на место.

Но с подобным «буйством» уживалась в нем невероятная застенчивость, особенно, когда надо было разговаривать с начальствующими лицами или произносить речь перед многолюдным собранием. Он терялся, бормотал невнятное, холодный пот выступал на лбу. В 1922 году, во время чествования Мейерхольда, ему, как старому соратнику и другу юбиляра, выпала задача произнести торжественную речь. Мы ахнули, прочтя в газете, что слово о Мейерхольде перед началом чествования скажет «действительный член Института Истории Искусств В. Н. Соловьев».

Пышный Александринский театр переполнен. Раздались звонки, свет стал меркнуть и все ожидали поднятия занавеса. Полагалось в таких случаях: освещенная сцена, стол покрытый красным сукном, графин с водой, председатель, президиум и... докладчик. Но занавес не поднялся, а свет в зрительном зале продолжая меркнуть, дошел до того, что лиц сидевших почти нельзя было различить. Тогда из директорской ложи раздался замирающий от страха голос Владимира Николаевича: «Уважаемые зрители!...» Он говорил о семи городах древности, спо-

ривших за честь считаться родиной Гомера. Такой же спор в наши дни ведут Москва и Петербург из-за Мейерхольда. Речь была, конечно, заучена наизусть, но мы по голосу чувствовали, что оратор сам не свой и в один прекрасный момент может забыть все. Вздохнули облегченно, когда «торжественное слово» кончилось.

Все важные случаи своей жизни Владимир Николаевич переживал глубоко. Такова была женитьба. Когда умерла тетушка, друзья и почитатели встревожились; один он жить не может. Надо женить. Нашли невесту, устроили свадьбу. Это было при НЭП'е, когда много церквей еще действовали и венчания совершались легально. Я не был в церкви, но рассказывали, что Владимир Николаевич стоял под венцом бледный, как смерть. Таким же он был в день его чествования, по случаю пятнадцатилетия своей театральной деятельности. Это было уже во дни Института сценических искусств в 1925 году. Чествование происходило в зале Тенишевского училища.

Юбилера вывели под руки, он едва передвигал ноги; глаза и лицо, как у приговоренного к казни. «Шествие на эшафот», — шепнул кто-то из наших курмасцепцев. Посаженный на почетное место, он зябко потирал руки, шевеля посиневшими губами. Отошел немного, когда начались речи. Прочувствованное слово сказал Радлов, за ним, кажется, говорил Вивьен, наконец встал Ю. М. Юрьев. Юрьев был столп и утверждение старинной ложно-классической декламации и игры, чудом пронесенной через полтора века. И вот, этот александринский лев, в самой середине своей патетической речи запнулся, смешался, потер смущенно лоб и покраснев сел на место. Надо было видеть магическое действие этого смущения на В. Н. Соловьева. Он ожил, заулыбался и все последующие речи слушал с ясным лицом. Особенно взбодрила его группа студентов драматического отделения во главе с Полицеймако, приветствовавшая его на заумном языке: Джимбамбуре Соловьев!... Под конец В. Н. настолько расхрабрился, что произнес ответное слово, после чего, окруженный студентами, с букетом цветов, веселый сидел на сцене и смотрел «ревю». П. Березов, великолепный имитатор, изображал его шагающим по Петербургу в голодные и холодные годы, с поленом под мышкой. На перекрестке ему встречается прелестная Комедия дель Артэ и танцует с ним фокстрот.

Говоря о Комедии дель Артэ, нельзя не упомянуть автора

одной из книг о ней — К. М. Миклашевского, приходившего иногда в Курмасцеп. Он был обладателем редкой коллекции костюмов и масок. Одевшись каким-нибудь Пульчинеллой или Бригелло, он, по старинным гравюрам, по рисункам Калло, так воспроизводил движения и позы этих масок, что я до сих пор убежден в невозможности проникнуть в дух итальянской импровизированной комедии без таких сеансов.

В. Н. Соловьев был единственным педагогом, задававшим нам режиссерские экзерсисы. Мы ему разрабатывали целые акты из наиболее знаменитых драм и комедий. Мне выпало «поставить» первый акт «Макбета», что сошло сравнительно легко. Но с монологом Ланчелота Гоббо из «Венецианского купца» пришлось повозиться. Этот персонаж — явный буффон и я хотел построить его монолог на кривляниях, гримасах, легких акробатических выходках. «Плоско», — сказал мой учитель и раза два браковал экспозицию. В наказание мне было предложено разыграть монолог самому, как актеру. Это было, действительно, наказание, потому что «практические» занятия производились не в кухне, а в холодных «парадных» комнатах, а дело было не то в январе, не то в феврале. Я снял свои ботинки, назвал один из них Ланчелотом, другой — Гоббо, а поставленные вместе они означали «доброго Ланчелота Гоббо». Слова: «Пусти ноги в ход и беги во все тяжкие, удирай отсюда» сопровождалась соответствующей игрой с ботинками. Всякое вовлечение в игру вещей и бутафории ценилось так высоко, что мое разрешение монолога было принято на этот раз с одобрением.



Был еще один профессор, устраивавший свой класс не в кухне, а в парадных комнатах — Николай Андреевич Тырса, высокий человек с ассирийской рыжей бородой. Это был замечательный художник, писавший одной черной краской. Но писал он так тонко и виртуозно, извлекал из нее такое обилие нюансов, что многие его вещи казались многокрасочными. Преподával он нам рисунок. Но это был не рисунок. Тырса вооружал нас кистью, баночкой с черной краской и сразу же заставлял писать с натуры. Моделями снабжала нас Луша — самовар, чайник, кастрюля. Никто из нас раньше не писал, не рисовал, но через несколько уроков у всех стало «что-то по-

лучаться». После чайников и самоваров перешли к живым моделям. Однажды Николай Андреевич явился в сопровождении мальчика лет десяти. Беднягу раздели до гола и он, посиневший, продрогший, терпеливо отсидел на сооруженном для него возвышении добрых полчаса. Такое мученичество оплачивалось хорошей краюхой хлеба, что было дороже всех других гонораров. В следующий раз наш мэтр привел профессиональную натурщицу. Когда она, раздетая, взошла на «пьедестал», Луша, опасаясь за мою нравственность, с тревогой спрашивала то того, то другого, неужели мне тоже позволено будет писать голую женщину? Но рисунок у меня получился лучше всех и заслужил одобрительное «хм!» Николая Андреича.



Курмасцеп был не просто учебным заведением. Сюда приходили «отводить душу», делиться театральными впечатлениями, излагать проекты. Выходили отсюда и смелые замыслы. Об одном из них стоит рассказать.

Михаил Димитриевич Туберовский так редко заглядывал к нам, что я так и не знаю, был ли он когда-нибудь нашим курсантом, как об этом говорили? Зимой 1921 года он зачистил. Тайна его визитов скоро открылась: он подыскивал людей для какого-то театрального предприятия. Облюбовав несколько человек, сделал им предложение, в том числе и мне. Штаб квартира его помещалась на Мойке, в старинном здании постройки Растрелли. Первоначально это был дворец графа Разумовского, превращенный впоследствии в Николаевский сиротский институт. Ныне это — Педагогический институт им. Герцена. Но что помещалось там в начале 20-х годов сказать трудно — то ли общежитие, то ли учреждение. По коридорам ходили молодые люди в зеленых и синих шарфах, девушки с папками под мышкой. Какое-то отношение имело это огромное здание к Академии Художеств. Комната, в которой мы собрались, была необъятна и совсем пуста. Стол, рояль, несколько стульев и дымящая буржуйка. Тут нам объяснена была идея обрядового театра. Она ничего общего не имела с тем обрядовым театром Мусиной-Озаровской, что учредился в Петербурге к концу 20-х годов. Там этнографически точно воспроизводился обряд русской крестьянской свадьбы. Такое зрелище, ничего общего с искусством не имевшее, чуждо было Ту-

беровскому. Но припомнить через пятьдесят лет его собственные мысли не так легко. Наш мэтр, видимо, захвачен был поэзией богослужения и церковных церемоний, он хотел извлечь из богослужебной обрядности ее чисто театральный «экстракт», построив на нем действие, независимое от церкви и религии. Готова была и пьеса им самим написанная — «Тема о блудном сыне». Над ней мы и начали работу. Время для репетиций выбиралось так, чтобы ущерба нашему посещению Курмасаца не наносилось.

Много спектаклей, виденных мною в детстве и в юношеском возрасте, хорошо помню, но от этого, в котором сам участвовал, сохранились в памяти обрывки. Может быть потому, что текст «темы» был совершенно неосмыслим — какая-то заумь на богослужебные мотивы. Действия почти не было, во всяком случае, не больше чем в православной литургии — главным образом, входы и выходы. Условность и символика литургии, рождающие религиозное чувство, поставлены были здесь на службу эстетическим переживаниям. Идея была, видимо, та же, что у греков, пригласивших послов князя Владимира на богослужение в Св. Софию. Язычники и варвары ни слова не понимавшие из того, что говорилось и пелось, были очарованы и не знали на земле они или на небе.

Первое выступление состоялось в Доме Искусств на Мойке. Стояли холода, публика сидела в пальто, у актеров вылетал пар изо рта, но при тогдашней театромании, самый Коцит, обращенный в театральные залы, никого не смутил бы. Никакого подобия сцены и занавеса. Актеров от первого ряда зрителей отделяло всего два шага. Вся обстановка состояла из кресла, в котором величественно восседал А. Г. Мовшензон, покрытый какой-то хламидой. Это был, пожалуй, единственный «костюм» во всем ансамбле; все остальные выступали в своей обычной одежде. Старшего сына играл Г. А. Гуковский, сделавшийся впоследствии известным литературоведом, а тогда еще студент последнего курса университета. На нем была простая гимнастерка и ботинки с обмотками. Он стоял по одну сторону кресла, а по другую — красивый, стройный Стригущенко, «блудный сын», единственный актер с профессиональными данными — в пиджаке и разглаженных брюках. Неподалеку от него две женские фигуры. Кто были эти женщины и как их звали — не помню. Начиналась «тема» монологом отца:

Женщины чужие мне, чужие и этому дому,
Благостен и разумен чин гостеприимства.
Но вас ли двух примем под кров свой ?

Не помню, в это время или после, выходили мы. «Мы» — это хор мальчиков — Левушка Лисенко, я и еще два юнца школьного возраста. Мадам Туберовская сделала нам бумажные белые воротнички, галстуки. С зажженными свечами и с красными от холода носами шли мы друг за дружкой и пели:

Идем! Идем! Воспевши, воспевши
Видеть свое земли лица погребение.

Блудный сын, почти нараспев, отвечал отцу:

Больше греха и смеха я в жизни не видел, отец.
Нет в доме лишнего меха, двух лишних овец?
Заколоть овец и налить вина,
Накормить людей, напоить друзей!
Какие были кубки, когда город весь пил!...
Ты отец так мне мил, но возьму горшее,
Изыду с ними.

После этого, он и женщины удалялись.

Зрительный зал состоял из «избранной» публики, понимавшей значение эксперимента и дерзания в искусстве и, несмотря на всю бедность внешней стороны постановки, не только не осудил ее, но принял тепло. А. И. Пиотровский написал благоприятную статью в «Жизни Искусства». Недели через две «тема» повторена была в зале городской думы на Невском и опять зал не был пуст.

Ободренные, мы стали репетировать новую вещь. Теперь внимание нашего руководителя обратилось на «комедии» М. А. Кузмина. Но в составе «труппы» произошли изменения. Перестал ходить Мовшензон и братья Гуковские, пропал куда-то Стригущенко. Туберовский не унывал. Его не смущало, что пришедшие новые люди оказались мало пригодными для какого бы то ни было театрального действия. Один был косноязычен, не произносил буквы «р», говорил в нос, другой, обладатель неумного баса, «рычал аки лев» и не было сил придать его чтению хоть подобие лиризма. Стоило большого труда не смеяться, когда он громыал:

О, Евдокия! Евдокия!
Какие
Услышу завтра от тебя слова?
Нова
Мне мука эта, я не знал пути
Пройти
На те далекие блаженства острова.

Дело Туберовского погибало из-за невозможности подобрать сколько-нибудь сносный состав исполнителей. Из актерских школ, где карьерный нюх был развит очень сильно, никто к нему не шел, а материал поставляемый любителями и энтузиастами никуда не годился. Впрочем, наш энергичный директор не унывал. Репетиции были по-прежнему оживленные, набиралось много народа, ни-весть кто, ни-весть откуда — студенты из университета, из Академии художеств, из каких-то других «ВУЗ'ов». Заводили споры, заставлявшие забывать о холоде, обо всех домокловых мечтах, висевших над нами. Удалось пригласить на одну из репетиций самого М. А. Кузмина.

Он вошел худенький, шуленький, в пальтишке совсем не зимнем, подал нам всем руку и усевшись на стул, терпеливо прослушал всю свою комедию. М. А. Кузмин, как известно, был и композитором; музыка к его комедиям написана им самим. От Радлова я слышал, что он был и лучшим ее исполнителем. В интимной компании, под аккомпанимент гитары, он совершенно бесподобно напевал песенки из той же «Евдокии» и из других своих вещей. Наше исполнение вряд ли умилило его. Несмотря на то, что Туберовский отставил в этот вечер от репетиции всех гнусавых и косноязычных, взял их роли на себя и, аккомпанируя на рояле, читал и пел вместе с нами, тем не менее, у всех осталось впечатление «провала». Михаил Алексеевич, наглотавшийся дыма и, видимо, изрядно прозябший, встал и попрощался. Никто не слышал, что он сказал Туберовскому, когда тот провожал его. На другой день прошел слух, что поэт заболел воспалением легких. Всем стало ясно, что это он у нас простудился. Когда, собравшись вечером, мы обсуждали эту новость, дверь приоткрылась, показался конец синего шарфа и громадный кулак. Внушительный бас возвестил: «Если со стариком что случится, то вот вам будет!»



Никто не знал и не интересовался, где служил Туберов-

ский, на какие средства и пайки содержалась его семья — жена и маленькая дочка, кто предоставил ему «ателье» для репетиций? В эпоху «военного коммунизма» такие вопросы считались неуместными. Но наступал НЭП, отменялись пайки, фиктивные должности, бесплатные квартиры. Предельно униженный, почти аннулированный рубль, заявил о своем существовании и начал вступать в прежние права. Все перевернулось. Студии и институты ритма таяли и исчезали, как снег весной.

Мне не пришлось наблюдать агонию «обрядового театра». Готовясь к поступлению в университет, я перестал посещать его репетиции. Стороной слышал, что дела Туберовского плохи, что ему нечем жить, что затея его накануне краха. Увидел его однажды на Невском. Весел, приветлив, как всегда, полон надежд, готовит к постановке, кроме «Евдокии», еще «Мартиньяна», «Алексея, человека Божьего», даже... «Сон Макара» Короленко. Задумал какие-то гастроли «для заработка»... Но к осени ничего уже не было слышно ни об обрядовом театре, ни о его руководителе.

Лет через двенадцать, разговорившись как-то с Г. А. Гукотским и вспомнив наше участие в «Теме о блудном сыне», я спросил, что ему известно о судьбе Туберовского. — Ничего, — ответил Григорий Александрович, — как сквозь землю провалился. Талантливый человек, но ничего из него не вышло. — И сколько было таких! Если воздвигнут когда-нибудь могилу неизвестного артиста, в огне вожженном на ней затрепещет дух и создателя «Блудного сына» — одного из редких, виденных мной, театральных энтузиастов.



Пришла очередь умирать Курмасцепу. В марте 1922 года Радлов заявил нам, что в каком-то высоком учреждении решено, в предстоящем учебном году «заморозить» больше сотни учебных заведений вроде нашего. Быть или не быть? В поисках выхода возник проект объединения курсов со «Школой актерского мастерства» Л. С. Вивьена с целью образовывать «Институт сценических искусств». Все лето ушло на решение этого вопроса. А помещение на Миллионной у нас огобрали, ютились то на квартире у Радлова, то в мастерской пригревшего нас художника Школьника. Наконец, в большом доме на Литейном отведено было два этажа для нового института, в котором наш Курмасцеп занял место под именем «режиссерского отделения».

Физически детище Мейерхольда не перестало существовать, но прежний его дух отлетел.

В отличие от других театральных школ, оно было прежде всего «бескорыстно». При поступлении в Курмасцеп люди, может быть, мечтали по-детски, вроде меня, о какой-то карьере, но мечты эти быстро отошли в сторону, заменившись страстным увлечением «чистым» театром. Мы влюбились в это искусство, мало думая о том, выйдут из нас профессиональные работники сцены или нет. Теперь бы назвали это «любовью на высоком уровне». Вспоминая состав курсантов, я вижу очень милых, очень интеллигентных людей и мне ясно, что Курмасцеп был последним проявлением замечательного интеллигентского движения, породившего новый театр.

В XX веке все сдвиги в театральном искусстве зарождались вне театральных стен — в университете, в литературе, в любительских кружках, в студиях. Да и только ли в XX веке? Не от «охочих ли комедиантов» пошел весь русский театр? Не Шляхетский ли корпус и Московский университет, выдвинувшие Сумарокова, Мелиссино, Остервальда стояли у колыбели театра XVIII века? Не театралы ли помещики создали крепостной театр? Такого же происхождения был МХТ, выросший из литературно-художественных обществ и клубов, основанных К. С. Станиславским. Причины и следствия в области культуры, часто, неисповедимы. Они похожи на подземные течения, неизвестно где зарождающиеся и выходящие наружу в самых неожиданных местах. Известен случай, положивший начало целой эпохе русского театра, когда Щепкин, тщетно искавший секрет актерской игры, который он предчувствовал, но не мог найти, увидел старого князя Мещерского в любительском спектакле и открыл у него ту желанную простоту, что сделала Щепкина великим артистом и реформатором.

Составители советской театральной энциклопедии, не уделившие ни строчки Курмасцепу, обнаружили что угодно только не это понимание значительности мелких и незаметных явлений. Но придет день, когда их начнут изучать.

Н. Ульянов

С. В. РАХМАНИНОВ*

ДРУЗЬЯ-МУЗЫКАНТЫ В РОССИИ

В России у С. В. была группа друзей-музыкантов, с которыми он часто виделся, любил обсуждать с ними разные музыкальные события, поговорить о приезжавших из-за границы артистах, дававших концерты в Москве, о литературе и пр. Этим друзьям он всегда играл свои новые сочинения, ценил их замечания и делился с ними своими сомнениями. Уехав из России, живя за границей, он был лишен этого обмена мнениями, дружеских критических замечаний приятелей и остро чувствовал эту потерю. Мне хочется сказать несколько слов о наиболее близких ему музыкантах.

Н. С. Морозов — музыкант теоретик, окончивший одновременно с С. В. Консерваторию по классу специальной теории. И он и жена его были очень гостеприимными людьми. Жили они очень просто. Морозов был очень серьезный и интересный собеседник, спокойный, сдержанный и хорошо образованный. Если не ошибаюсь, до поступления в Консерваторию он окончил математический факультет Московского университета.

А. Б. Гольденвейзер — пианист, мы любили бывать у него в гостях. Его жена и две сестры были очень приятные собеседницы, и пока гости-музыканты, уходившие в кабинет хозяина, играли на ф. п. и говорили о своих делах, мы приятно проводили время в своей компании.

В. Р. Вильшау — пианист, педагог. Один из любимых приятелей С. В. Он считал его одним из лучших преподавателей ф. п.

А. Ф. Гедике — композитор-пианист, милейший человек, хорошо игравший кроме ф. п. еще на органе. Любитель рыбной

* С любезного разрешения С. А. Сатиной мы публикуем отрывок из воспоминаний о С. В. Рахманинове его жены Наталии Александровны. Эти воспоминания печатаются впервые. РЕД.

ловли. Был у него аквариум и когда, подходя к нему, он свистел рыбы немедленно подплывали к стеклу. Он довольно часто бывал у нас и приезжал даже как-то к нам летом в Ивановку.

А. А. Брандуков — великолепный виолончелист. Большой друг С. В-ча.

Н. К. Метнер — композитор-пианист. Он не принадлежал к указанному выше близкому кругу приятелей С. В. Но последний очень высоко ценил его талант. Прослушав его первую сонату для ф. п., С. В. пришел от нее в восторг и предсказывал ему блестящую будущность. Мы часто видались с Метнерами, но близко сойтись с ним было трудно.

С. И. Танеев — замечательный человек и музыкант, пользовался исключительным всеобщим уважением не только в Москве, но и в Петербурге. С. В. был очень предан ему. Он всегда обращался к нему за советом, за помощью по поводу возникших иногда недоразумений, искал его поддержки, и следовал его указаниям.

Ф. И. Шаляпин — этот гениальный певец и артист бывал у нас очень часто. Перед выступлениями в концертах он и С. В. репетировали все романсы и арии, стоявшие в программе Шаляпина, а по окончании репетиции Шаляпин очень забавно дурачился. То он вскакивал на ф. п., изображая цирковую наездницу, то уходил в переднюю, что-то там делал со своим лицом и шапкой и выходил оттуда то Наполеоном, то Данте, то еще кем-нибудь. А затем принимался до исступления дразнить большого леонберга, собаку С. В. Мы угощали его пельменями, пирогом и другими русскими кушаньями, или приносили просто кочан кислой капусты, которую он очень любил и он съедал его весь. Правда и вкусная была эта капуста.

Хочу еще рассказать о А. Н. Скрябине. Он был однокашником С. В. в Консерватории. Оба учились у Зверева и у Аренского; дружбы между ними никогда не было, но отношения были хорошие и простые. Он как-то приехал к нам с женой вскоре после возвращения из-заграницы, где провел несколько лет. С. В. встретил его очень приветливо, а Скрябин все почему-то удивлялся, что москвичи к нему так хорошо относятся. Когда вскоре после этого визита Скрябин играл в Филармоническом Обществе свой ф. п. концерт С. В. ему аккомпанировал. Один из оркестрантов предупредил С. В., что Скрябин из-за волнения может ему «подложить» и что ему придется

«попотеть». После репетиции С. В. удивлялся этому предостережению, т. к., по его словам, Скрябин играл просто и был совершенно спокоен. Но когда мы пришли вечером перед концертом в артистическую, то увидали Скрябина белым как полотно, разгуливающим по комнате. Он был в ужасном волнении и ничего не понимал, что ему говорили. На столике стояла бутылка с шампанским. «Ну, знаешь, мы лучше уйдем отсюда», сказал мне С. В.

Скрябин, играя, не помнил себя от волнения, забывал пассажи, пропускал такты. С. В. приходилось его все время ловить, но кончили они все же вместе. Никогда так С. В. не мучился, как при этом выступлении Скрябина.

Был у нас еще как-то Римский-Корсаков, приезжавший в Москву на постановку своей оперы «Пан Воевода», которой дирижировал С. В. Он обедал у нас вместе с Танеевым. С А. К. Глазуновым я встретила в Петербурге после постановки его балета «Раймонда», но у нас он никогда не бывал.

Упомяну еще о Феруччио Бузони, который играл в Москве кому-то свои сочинения в присутствии С. В. «Нет, ты послушай, — обратился он к своей жене, беря какой-то дикий аккорд, — это ему не нравится, он же не понимает!»

В Петербурге, после исполнения «Колоколов», с С. В. выходил кланяться и поэт Бальмонт. Вот была забавная пара: высокий с коротко стриженными волосами С. В. и маленький Бальмонт с рыжими кудрями до плеч. Но, конечно, он заслуживал успеха, его перевод «Колоколов» Эдгара По действительно был замечателен.

КОНЦЕРТНЫЕ ПОЕЗДКИ ПО АМЕРИКЕ

Обыкновенно мы выезжали из Нью Йорка вчетвером: помощник мэнэджера, настройщик от Стейнвея, С. В. и я. Чтобы проверить себя в подготовленных для текущего сезона программах, концерты, по желанию С. В., всегда начинались в небольших городах. «Как бы вещь не была хорошо разучена, надо проверить на эстраде как она звучит», говорил С. В. Сыгравши ее раза два-три в концертах, он уже знал все, что ему нужно. При поездках по ж. д. мы брали обыкновенно купэ, с собственной уборной, кушеткой помимо постелей, столом, словом, со всеми удобствами. Часто и обед нам приносили в купэ.

При длинных переездах, например, в Калифорнию, чтобы убить время мы играли в карты, в «фонтэн». На место назначения мы приезжали обычно часов в 7 утра. Трудно было вставать так рано зимой, когда было еще совсем темно. Если наш отель был недалеко от вокзала, то один из наших спутников ехал с багажом на такси в отель, а мы шли пешком. С. В. очень любил такие прогулки по пустынным улицам. В отеле мы сразу заказывали кофе, а потом поднимались в наши комнаты, где читали полученные в этот день письма. Затем С. В. занимался в течение часа или двух на ф. п., а я разбирала вещи. Потом мы непременно гуляли около получаса, и шли обратно в отель завтракать. После завтрака С. В. ложился спать, а я сидела рядом и читала детективные романы, которые всегда покупала по дороге на больших станциях.

В четыре часа мы опять выходили погулять на полчаса. После прогулки он ненадолго садился за ф. п., а я готовила в это время его фрак, чистила его, просматривала на рубашке запонки. Удивительно, что за все эти годы я никогда ничего не забывала и не теряла несмотря на частую спешку.

Должна еще сказать, что до того как С. В. садился за ф. п. мне почти всегда приходилось мыть клавиши, до того они бывали грязны. Нередко мне приходилось выходить из комнаты в коридор и просить разойтись собиравшихся иногда не в малом количестве слушателей, стоявших за дверью. Комнаты в отеле всегда заказывались заранее. Апартамент наш обычно состоял из спальни, гостиной, в которой стояло ф. п., и второй спальни для помощника нашего мэнэджера. Таким образом, гостиная стояла между двумя спальнями и игра С. В. не доходила до соседей.

Когда С. В. одевался к концерту я никогда не давала ему застегивать пуговицы на башмаках самому, боясь, что он как-нибудь повредит себе ноготь. При этом он всегда, смеясь надомной, протягивал сперва правую ногу, т. к. знал, что у меня есть примета, по которой, если я начну застегивать с левого башмака, то концерт будет особенно удачным.

В семь часов заказывался ужин, который приносили в гостиную. Он состоял обычно из жареного цыпленка и кофе. Кофе перед концертом разрешалось ему пить сколько он хочет. После ужина С. В. занимался либо заклеивкой трещин на коже пальцев ватой, смоченной раствором коллодиума, либо

пасьянсом, а я, т. к. мы обычно после концерта сразу уезжали на поезд, укладывала вещи. Иногда приходилось очень спешить. Ни один артист, вероятно, не спешил так, как С. В.

Если концерт давался где-нибудь в отдаленном от города месте, например, в каком-нибудь колледже, отстоявшем было миль 40 от города, мы брали автомобиль. Меня всегда удивляло и огорчало, что артисту, приезжавшему издалека, зимой, в холодную погоду в такие колледжи никто из распорядителей там не догадывался предложить даже чашку кофе, чтобы согреться. Такое отношение к артисту нам, русским, казалось невероятным.

Поражали меня также артистические комнаты в провинциальных американских городах. Это были какие-то грязные углы с неподметенными полами, поломанными стульями, без всяких удобств. Приходя в такую артистическую С. В. включал штепсель моей электрической муфты, о которой будет сказано ниже, грел руки и садился в откуда-то всегда раздобываемое нашим мэнэджером удобное кресло. Я же уходила в зал. В антракте я иногда приходила проведать С. В., а иногда оставалась в зале среди публики. После первого биса я бежала в артистическую, иногда он спрашивал меня, что еще сыграть.

Часто после концертов приходилось так торопиться на вокзал, что С. В. не мог принимать в артистической многочисленных поклонников, желавших пожать его уставшую руку, и мы были принуждены тайком пробираться на улицу к такси, которое везло нас прямо на станцию. Если же мы оставались ночевать, то приехав в отель С. В. снимал фрак и отдыхая раскладывал пасьянс.

Однажды, когда мы приехали в Минеаполис, С. В., зная что его будут осаждать репортеры и, конечно, фотографы, которых он всегда старался избегать, сговорился с мэнэджером, что мы не выйдем из вагона пока все пассажиры не разойдутся. Из опустевшего поезда мы вышли на платформу, окольным путем прошли прямо к ждавшему нас такси. Но в отеле стоял уже наготове фотограф. С. В. так быстро шмыгнул в лифт, что фотографу удалось снять только спину С. В. Когда мы, умывшись, сошли в ресторан и заказали кофе, надеясь спокойно его выпить, к столу подошел фотограф и навел на С. В. свою камеру. «Оставьте меня в покое, я не хочу сниматься», сказал С. В., но слова эти несколько не подействовали на фотографа

и он спокойно продолжал свои приготовления для снимка. В последнюю минуту С. В. успел закрыть лицо обеими руками и был снят в таком виде. Через три часа, купив местную газету, мы увидели фотографию с надписью: «руки, которые стоят миллион». Находчивость фотографа сильно рассмешила С. В.

Я очень любила поездки в Калифорнию. Там жили наши русские друзья. Обычно мы приезжали туда в феврале или марте, когда все кругом цвело. Чудный воздух, солнце. Останавливались мы обычно в так называемом «Саду Алла», в одном из бангалов. Это был ряд небольших домиков с двумя спальнями, гостиной и кухней. Утреннее кофе и завтрак я всегда готовила сама. Мы много гуляли, по вечерам встречались с друзьями, жившими около Лос Анжелеса. Были хорошие друзья и в Сан Франциско: семья Шульгиных, Сережа Михайлов, адмирал Дудеров. Шульгин и Михайлов были музыканты-педагоги. В Сан Франциско С. В. играл иногда в громадной зале, вмещавшей до 15.000 человек. Для концерта часть залы отгораживали какой-то перегородкой для 9.000. Играя там, С. В. казался совсем маленьким; конечно, ф. п. в таком помещении не могло звучать как следует. Я очень не любила его концерты в таком помещении. Позже в Сан Франциско построили другую залу и С. В. всегда играл в ней.

Когда мы приезжали в какой-нибудь город, где должна была состояться репетиция С. В. с оркестром, то, едва выпив кофе, мы спешили на эту репетицию. Когда С. В. входил в залу, музыканты всегда встречали его аплодисментами. Оркестранты, по-моему, всегда очень хорошо к нему относились. Помню, как однажды мы, приехав в Филадельфию, пошли прямо на репетицию. Я как всегда, не заходя в артистическую, прошла прямо в неосвещенный партер и села вдали от эстрады. С. В. репетировал свой 2-й концерт с Орманди. Дойдя во 2-ой части до репризы, С. В. вдруг остановился, что-то сказал дирижеру и потом совершенно неожиданно для меня громко спросил: «Наташа, что по твоему здесь скрипки должны играть с сурдинами или нет?» Я опешила, но тут же ответила, «по-моему, с сурдинами». На это С. В. заметил Орманди: «Видите, и композиторы бывают неправы». Так они и сыграли с сурдинами.

Приезжая в какой-нибудь небольшой город меня иногда удивляло, зачем мы сюда приехали, откуда возьмется публика, кто может интересоваться здесь концертами. Оказывалось же,

что в этом городке громадная концертная зала, около этого помещения стояли ряды автобусов, на которых публика приезжала на концерт чуть ли не за 200 миль. Меня это всегда очень радовало.

Перед войной сезон С. В. делился на две части. Обычно первую и более продолжительную мы проводили в Америке, а вторую в Европе. С октября до половины декабря С. В. играл в Америке. Рождество мы проводили в Нью Йорке. Заканчивали американский сезон обычно в феврале и уезжали в Европу. Там была совсем другая жизнь.

Европейский концертный сезон начинался обычно в Англии. Я очень любила концерты в Лондоне. Чудная была публика, хороший порядок во всем. У нас был милейший мэнэджер в Англии — г. Иббс. «Он как бульдог оберегает меня», говорил С. В. В Лондоне мы всегда останавливались в отеле Пиккадили. Занимали большой, великолепно обставленный апартамент. Все же в отеле было всегда страшно холодно. Еще в Америке, при одной мысли об английском холоде меня пробирала дрожь. Когда мы приезжали в отель, то, по распоряжению Иббса, у нас в гостиной уже горел камин. Присутствовавший при этом Иббс шутил, что ему надо поскорее уходить, т. к. иначе от жары у него размякнет крахмальный воротник. Англичане всегда удивлялись тому, что мы можем переносить невыносимую жару в американских отелях, на что я отвечала, что в Америке отопление всегда можно закрыть, а в Англии спастись от холода в отелях никакими каминами невозможно.

В отеле был очень хороший грил-рум. Кухня была итальянская и вообще еда и обслуживание посетителей были первоклассные. С. В. хорошо знали все служащие; он щедро раздавал всегда за малейшую услугу «на чай».

Разъезжая в поездах по Англии, мы всегда брали купэ, оплачивая 4 места, чтобы пассажиры не открывали постоянно двери и главное окон. Как правило, после концертов публику в артистическую не пускали. За этим следил Иббс. Он же собирал альбомы любителей автографов и, дав их для подписи С. В., аккуратно возвращал владельцам.

Осенью 1938 г. перед отъездом С. В. в Америку он должен был заехать в Лондон и принять участие в юбилейном концерте дирижера Генри Вуда. Вуд был большим любителем русской музыки. Он всегда очень хорошо относился к С. В. и всегда

играл его новые произведения. Концерт в Лондоне состоялся в громадном Альберт-Холле и был очень торжественно обставлен. На большой эстраде помещались два оркестра, а над эстрадой два хора. Хористки были одеты в розовые атласные платья, хористы были все во фраках. Это было очень красивым зрелищем. Зал был переполнен, в нем помещалось 9.000 человек. Я не помню всей программы, но незабываемо эффектен был конец концерта — когда оба хора в несколько сот человек и вся многотысячная публика под акомпанимент двух оркестров, запела английский гимн.

Из Англии мы уезжали в Бельгию, Голландию, Скандинавию, Германию, Австрию и пр. Заканчивали сезон в Париже, где нас ждали дочери.

Однажды в Вене С. В. должен был играть свой 2-й концерт под управлением дирижера Х. С. В. предупредили заранее, что выступление это не будет приятным, т. к. г. Х. совершенно не умеет дирижировать. С. В. заранее потребовал, чтобы г. Х. по грамофонной записи концерта наигранного автором, выучил все темпы и оттенки. Дирижер приехал к нам накануне репетиции в отель. С. В. показал ему некоторые темпы и убедился, что дирижер знает концерт наизусть. Перед репетицией концертмейстер оркестра подошел к С. В. и опять сказал ему: «Будьте осторожны! На дирижера положиться нельзя». Репетиция прошла все же более или менее благополучно. Вечером же в концерте, в фугато третьей части солист и оркестр чуть не разошлись совсем. С. В. в первый и последний раз в жизни начал громко считать во время исполнения, обращаясь к дирижеру по-немецки: «Раз! Два! Раз! Два!» Когда после концерта я пришла в переполненную народом артистическую, то увидела пробирающегося вдоль стены, обливавшегося потом, несчастного дирижера. Мне стало так его жаль, что я подошла к нему и сказала ему несколько слов.

В Париже после концерта, у наших дочерей, у Ирины или у Тани, был всегда большой прием гостей. Дети закатывали шикарный холодный ужин и мы имели возможность встретить у них всех наших русских друзей. После этого концерта, мы через день или два уезжали в Сенар на нашем автомобиле. У нас был и русский шофер М. И. Губкин. Выезжали мы обыкновенно часов в 6 утра. Париж еще спал. Дети приготавливали нам провизию на дорогу. Целую корзинку. Какое это было необычайное чувство — ехать на чудной машине по совершенно еще

пустынным Елисейским Полям! Всю дорогу правил сам С. В. Обычно мы по дороге останавливались лишь раз где-нибудь в лесу, чтобы перекусить и, поев, сразу же мчались дальше. К 4-м часам мы обычно подъезжали уже к Сенару. Какая была радость обойти весь сад, осмотреть все деревья, кусты, цветы. В молодости С. В. не мог отличить одно дерево от другого, а тут он изучил их все до тонкости.

С. В. — ПИАНИСТ

Мне было 15 лет, когда я впервые слышала С. В., игравшего в концерте. Это было в сентябре 1892 года. Он выступал в симфоническом концерте, устроенном на электрической выставке в Москве, под управлением Главача. С. В. играл первую часть д-мольного концерта Рубинштейна и несколько мелких вещей соло: Шопена — «Колыбельная», Гуно-Лист — «Вальс» из Фауста и свою, обошедшую впоследствии весь мир, «Прелюдию» cis-моль.

В молодости у С. В., как он говорил, так «шли руки», что он мог играть публично, не повторяя вещей предварительно дома. У него была громадная техника, в особенности октавы. О ней слушатели забывали так захватывала их его игра. Он был раб акустики. Нередко, когда я прибегала к нему в артистическую в антрактах, он бывал в ужасе, что его не слышно. На мои уверения, что в зале великолепно его слышно он говорил: «мне все равно, что ты говоришь, я **сам** себя не слышу». В особенности донимали его заглушавшие звук бархатные или другие занавеси, которыми украшались эстрады. Это делали дамы — устроительницы концертов в провинциальных городах.

В отличие от многих пианистов С. В. был композитор-пианист. Публика его вдохновляла, он переживал исполняемые им вещи, как бы сам сочиняя их. Ему нужно было полное душевное спокойствие во время игры, чтобы сосредоточиться на данном произведении. Играя, он вдохновлялся сам и вдохновлял слушателей. В его исполнении я больше всего ценила общую концепцию, порыв, достигаемые им подъемы-нарастания звуков. Звучность его аккордов была оркестровой и потому исполняя ф. п. концерты с оркестром слияние этих звучностей было полным.

Из всех многочисленных сочинений, которые я слышала в

его исполнении, я считаю, что лучше всего он играл свои собственные концерты для ф. п., первый концерт Бетховена и концерт Шумана. Из сольных номеров я могу назвать сонаты Бетховена (Апассионату, оп. III, оп. 31, № 2, оп. 10 Д-дур) С-мольные вариации, обе сонаты Шопена, Карнавал Шумана, Фюнерай и Сонет 104 Петрарки Листа, Андантино с варьациями Шуберта-Таузига, Итальянский концерт Баха и т. д. С. В. никогда не играл в каждом концерте одинаково одно и то же сочинение. Вещи не разучивались им механически и исполнение зависело от его вдохновения. Между прочим, он очень любил играть в Вене. Венская публика была очень музыкальна. Там он давал всего себя и играл с особенным удовольствием.

Игра в концертах доставляла ему большое удовлетворение. Он любил выступать публично.

Странно, ни от кого так не требовали исполнения музыки «модерн», как от С. В. Дальше Дебюсси, Равеля и Пуленка С. В. не пошел.

В годы, когда С. В. переживал свой провал с 1-й симфонией и не мог заставить себя заниматься, он видел во сне Антона Рубинштейна, говорившего ему «почему вы не занимаетесь, почему вы не играете?» Сон этот произвел на него громадное впечатление. Возможно, что он повлиял на его душевное состояние.

В первые годы нашего пребывания в Америке, С. В. ездил концерттировать без меня. Я оставалась с детьми, и когда он давал свои реситали в Нью Йорке, я слышала программы текущего сезона в первый раз. Это было для меня необычайно интересно. Я сидела в своей ложе, в которой были только люди, относившиеся к С. В. с неменьшим благожелательством, чем я. В ложе кроме моих дочерей, моей сестры и наших друзей Сомовых обыкновенно никого не бывало. Впоследствии, когда я начала ездить по Америке с С. В., я знала буквально как и что он играет. Тем не менее я продолжала волноваться, слушая его игру. Конечно, я никогда не говорила ему о своем волнении. Зная характер С. В. и его необычайную впечатлительность, я не сомневалась в том, что малейший пустяк может выбить его из настроения. Например, скверная акустика, опаздывающая и входящая между номерами публика и разные другие мелочи. Помню как однажды во Флориде С. В. играл на фоне нарисованного замка с утесами и пр. Когда он вышел на эстраду то

над ним летали живые бабочки. Только что он начал играть, как какой-то фотограф снял его. Через мгновение другой фотограф сделал то же самое. С. В. оборвал игру и ушел с эстрады. Началась погоня и поиски назойливых фотографов, разместившихся в разных углах зала. Я указала местному мэнэджеру на скрывавшегося на галерее фотографа. Как только С. В. вернулся на эстраду и начал играть, опять нашелся кто-то снимающий С. В. Хотя он на этот раз не видел этого человека, но последнего вывели из зала.

Перед концертами С. В. в артистической пил только кофе. Иногда я давала ему валериановые капли. В Англии, где всегда было так холодно, он иногда выпивал глоток коньяка. Перед выходом на эстраду он, как многие другие пианисты, грел свои руки. Мы прибегали к разным методам. Он пробовал надевать на короткое время очень тесные перчатки, или грел их в горячей воде, но от этого кожа делалась слишком мягкой, пробовал растирать пальцы, и вот мне в конце концов пришлось в голову сшить ему муфту, в которую мы положили электрическую грелку. За 10 минут до выхода на эстраду мы вставляли штепсель, муфта быстро нагревалась и С. В. грел свои руки. Муфта эта производила на всех огромное впечатление. Кажется, кто-то собирался взять патент на нее. Помощник мэнэджера, ездивший с нами, преподнес С. В. черный бархатный мешок для этой муфты и она всегда сопровождала С. В. в его поездках.

С. В. — КОМПОЗИТОР

Что сказать о композиторе Рахманинове? Если он принимался за работу, то она шла очень быстро, особенно если он сочинял на какой-нибудь текст. Так было не только с романами. Свою оперу «Скупой Рыцарь», например, он сочинил чуть ли не в четыре недели, гуляя по полям в Ивановке. Так же быстро шла работа с «Колоколами». Когда он сочинял, то он отсутствовал для окружающих. И днем и ночью только и думал о сочинении, весь уходил в работу. Так было в молодости и то же самое я наблюдала в августе 1940 г., когда он сочинял свое последнее произведение «Симфонические Танцы».

Не могу забыть, что это была за работа. Мы жили тогда на берегу моря, на даче недалеко от Нью-Йорка. В 8 часов утра С. В. пил кофе, в 8½ садился за сочинение. В 10 ч. он играл

два часа на ф. п., готовясь к предстоящему концертному сезону. В 12 часов до часа опять работал над «Танцами». В час дня завтракал и ложился отдыхать, а затем с трех часов дня с перерывом на обед работал над сочинением до 10 часов вечера. Он непременно хотел кончить «Танцы» к началу концертного сезона. Намерение свое С. В. выполнил; все это время я мучилась, наблюдая за ним. Вечерами глаза его отказывались служить из-за этой работы, когда он своим мелким почерком писал партитуру. Да и после было много работы во время его поездок по концертам. На каждой большой станции, где мы останавливались, его ждали корректурные оттиски «Симфонических Танцев» и С. В. немедленно садился за корректуру этих зеленых листов с белыми нотами. Как это утомляло его глаза. Корректировал он и до и после очередного концерта.

Я никогда не знала, что он пишет пока он сочинял. Он никому не говорил о том, пишет ли он симфонию, или концерт, или еще что-нибудь. Во время работы он мало ел, мало спал, весь был углублен в свое творчество. «Музыкант должен быть одиноким», нередко говорил С. В. Но сам он совершенно не переносил одиночества. И какой он был семьянин, как он любил свою семью. Возможно, что это было следствием его грустного детства.

Мне не разрешалось быть близко от той комнаты, в которой он сочинял. В Ивановке мы жили во флигеле и все мои вещи были, конечно, там. Но если он работал над каким-нибудь сочинением я уходила в большой дом. За то мне он всегда первой играл свою новую вещь с самых ранних лет.

Я любила сверять свои музыкальные впечатления с мнением С. В. Когда мы бывали в каком-нибудь концерте или опере и сидели вместе, то я, встретив потом С. В., первая высказывала свое мнение о слышанном произведении или исполнителе. Оно обычно совершенно совпадало с его мнением. Незадолго перед второй мировой войной мы были с С. В. в Англии и один английский дирижер, исполнявший его «Колокола», просил автора приехать на этот концерт. С. В. в этот день играл тоже где-то и не мог этого сделать. Но он ответил дирижеру, что на его концерт вместо него приедет жена и то, «что она скажет будет и моим мнением».

С. В. — ДИРИЖЕР

В 1904 г. С. В. принял, предложенное ему дирекцией Боль-

шого Театра, место дирижера. Я не попала, к сожалению, на его дебют 3-го сентября, когда он дирижировал оперой «Русалка» Даргомыжского, т. к. была на похоронах жены моего брата Володи. Но в течение двухлетней работы С. В-ча в театре я пересмотрела весь репертуар. Директор театра, г. Обухов, часто уступал мне свое кресло во втором ряду партера. Как хорошо я помню «Неделю Чайковского», организованную С. В-м в память Чайковского. Он дирижировал тогда операми «Евгений Онегин» (205-ое представление этой оперы в Б. Т.), «Пиковая Дама» (100-ое представление в Б. Т.) и «Опричники». В «Евгении Онегине» и «Пиковой Даме» пел Шаляпин, а Пастушку в «Пиковой Даме» — Нежданова. Дирижировал С. В. и своими операми «Скупой Рыцарь», «Франческа да Римини» и «Алеко» и операми других композиторов — «Жизнь за царя», «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Демон». Новой постановкой при нем, кроме его опер, была опера «Пан-Воевода» Римского-Корсакова.

Большим огорчением и, вероятно, обидой для С. В. было равнодушие Шаляпина с каким он отнесся к сообщению С. В. об окончании им «Скупого Рыцаря» и о том, что, сочиняя партию Барона, он представлял себе Шаляпина в этой роли, и что партия написана для его голоса. Поняв, что Шаляпин не был заинтересован этой ролью, он предложил эту партию Бакланову и просил, с согласия этого певца, артиста Малого Театра — Ленского пройти с ним эту роль. Исполнением Бакланова С. В. был очень доволен. В особенности хорошо прошла сцена в подвале. Не менее хорошо Бакланов пел и играл, исполняя роль Ланчотто Малатеста в опере Франческа. Ария «О, снизойди, спустишься с высот» производила большое впечатление.

Не могу забыть как Шаляпин, исполняя роль Варлаама в «Борисе Годунове», после требования публики повторения арии, шел по сцене с огромным животом, на котором он держал свои руки и крутил большими пальцами, внятно приговаривая: «спОем, спОем...»

Когда С. В. дирижировал оперой «Русалка», то он потребовал исполнение цыганского танца в гораздо более быстром темпе, чем это делалось до него. Из-за этого быстрого темпа танцоры не могли справиться с заученными ими «па». Балетмейстер поддерживал, конечно, смущенных и протестовавших танцовщиков, но С. В. не уступал и настаивал на том, что взя-

тый им темп правильный. Балетмейстеру пришлось уступить и подогнать все «па» к новому и непривычному темпу дирижера. На первом же представлении «Русалки» публика требовала повторения танца. Танцоры, никак не ожидавшие такого успеха, были в восторге. Позднее, после очередной репетиции этого танца, танцоры даже жаловались С. В-чу, что он дирижировал танцами недостаточно быстро.

Дирижируя в Большом Театре С. В. ввел несколько новшеств. До него главный дирижер Альтани сидел спиной к оркестру у самой суфлерской будки. С. В. настоял на перестановке своего пульта к рампе, отделяющей партер от оркестра, чтобы видеть оркестр, которым он управлял. Это немедленно вызвало жалобы певцов и певиц, что им трудно следить за дирижером, но они скоро привыкли к новому порядку. Значительно больше борьбы вызвало введенное С. В-м запрещение биссирования отдельных номеров среди акта, нарушавшее нормальный ход представления. Добивался он также более строгой дисциплины в оркестре. До него оркестранты, особенно игравшие на духовых инструментах, во время больших пауз в своих партиях любили «нырять» в дверь и исчезали из оркестра в курилку. С. В. запретил это; оркестранты были так возмущены этим запретом, что прислали к нему делегацию с протестом и угрозой, что они, при дальнейшем запрещении покидать свои места во время действия, будут принуждены подать в отставку. На это С. В. ответил кратким — «ну, что же, подавайте». Пришлось им подчиниться. Вели себя так же свободно и члены оркестра, игравшие на других инструментах. В паузах они читали книги, ставя их на свои пюпитры вместе с нотами. Все это тоже было запрещено С. В-м. Через год после ухода С. В. из театра, попав в Большой Театр, мы увидели, что всё и все вернулись к прежним беспорядкам. Одни оркестранты время от времени уходили в курилку, другие читали.

Позднее С. В. пригласили дирижировать симфоническими концертами Московского Филармонического Общества. Дирижировал он и концертами Керзиных, организовавших в Москве очень популярный Кружок Любителей Русской Музыки. Я не могу забыть как С. В. дирижировал 4-й и 5-й симфониями Чайковского, симфонией г-моль Моцарта, «Пер Гюнт» Грига и «Приглашение к танцу» Вебера. Под его управлением оркестром — солистами выступали Крейслер, Изай, Казальс, Зилоти,

Скрябин и многие другие. Я ездила, конечно, на все генеральные репетиции. На репетициях С. В. был очень строг, требователен и спокоен. С. В. любил дирижировать, но его утомляла необходимость требовать стопроцентное внимание от оркестрантов. Позднее в Америке он говорил, что предпочитает выступать как пианист, т. к. тогда он зависит только от самого себя.

Директора Филармонии были исключительно милы и внимательны к С. В. Он получал очень хороший гонорар; кажется, по 3000 рублей за выступление. Его издатель, К. А. Гутхейль, бывший одним из директоров Филармонии, устраивал в честь С. В. торжественные обеды и с большим пафосом обращался к нему с приветственными речами.

В 1907 г. С. В. принимал участие в одном из Исторических Симфонических Концертов, организованных Дягилевым в Париже. Он выступал как дирижер и пианист. В 1912 году С. В. был приглашен в Мариинский Театр дирижировать целую неделю оперой «Пиковая Дама».

Н. Рахманинова

ЖИВОЙ КАК ЖИЗНЬ

ПИСЬМА К. И. ЧУКОВСКОГО

В свое время, в “Повести кривых лет”¹ я уже вкратце рассказала о том, как еще студенткой, работая в книгохранилище Академии наук СССР в Киеве, натолкнулась на забавную книжечку знакомого мне с детства автора — это были “Колотки и копатки” Корнея Чуковского, в дальнейших изданиях превратившиеся во все более разрастающийся и приобретающий широкую известность труд — “От двух до пяти”. В этой, тогда еще тоненькой, книжке автор делал упор на то, что дети стараются осмыслить многие слова по функции обозначаемого ими предмета — так “молоток” становится “колотком” потому, что им колотят гвоздь, лопатка гораздо логичнее называется “копаткой”, “вазелин” превращается в “мазелин”, потому что мама мажет им лицо и т. д.

Я тут же вспомнила, как в Каневе, где я часто проводила лето, гостя у деда с бабушкой, белоголовая соседская малышка гордо сообщила мне, что ее отец работает на “песковаторе”. Зная, что он занят на подготовительных работах по постройке моста через Днепр, я тщетно старалась обучить мою маленькую приятельницу трудному слову “экскаватор”. Девчужка упорно качала головой и повторяла: “Нет, нет, на песковаторе, он песочек копает, я сама видела...”

В книжечке, которую я держала в руках, был призыв ко всем читателям присылать автору по тут же указанному адресу кажущиеся им интересными слова и выражения из лексикона детей. И вот, подхваченный мной “песковатор” полетел к Корнею Ивановичу, положив начало переписке, а затем и знакомству. Это словечко так и кочевало из одного издания в другое, но особенно приятно было услышать его через много лет из уст самого Корнея Ивановича, когда он привел его среди примеров в записанных на пластинку отрывках из книги “От двух до пяти” в чтении самого автора.²

¹ Нью Йорк. Изд. «Нового Русского Слова», 1963, стр. 51-53.

² Международная книга, Д00014879-14880 (а); выпущена в 1963 г.

Не буду повторяться, снова рассказывая о приездах Корнея Ивановича в Киев и встречах с ним, о его интереснейших, тщательно хранившихся у меня письмах, которые мне все-таки не удалось сберечь в годы войны — они пропали уже на чужой земле. Скажу только, что в 1962 году, когда Корней Иванович получил почетную степень доктора литературы Оксфордского университета, мне пришла мысль поздравить его и послать ему мою работу,³ изданную Библиотекой Конгресса в 1961 г., а также книгу, написанную нами с мужем (А. В. Фесенко) о русском языке советского периода (“Русский язык при Советах”, Нью-Йорк, 1955), соприкасающуюся с темой книги Чуковского “Живой как жизнь”. Я ограничилась только надписями на обеих книгах, поздравив К. И. с высокой оценкой его заслуг в области литературы и упомянув о том, что, покидая родную страну, я взяла среди немногих дорогих мне вещей и когда-то подаренную мне Корнеем Ивановичем книгу “От двух до пяти”, позже погибшую в огне войны. Подписалась я, присоединив и девичью фамилию, под которой он когда-то меня знал.

Как и в юности, я не ждала ответа, но он пришел, и даже очень скоро — сначала я получила открытку, с которой и началась снова наша переписка, затем и книгу — шестнадцатое издание “От двух до пяти” с надписью:

Татьяне Павловне Фесенко,
задушевный привет
от Корнея Чуковского.
Переделкино, 1962, сент.

Как видно из текста открытки, Корней Иванович был не совсем уверен, к чему именно относится мое поздравление — к присуждению ему докторской степени английским университетом или награждению его орденом Ленина в СССР!

Dear Mrs. Fessenko,

Спасибо за книги. Буду рад прислать Вам второе изд. “Живого как жизнь”. Проглотил обе книги с жадностью. Ту, что о XVIII веке, подарил акад. Н. К. Гудзию. А ту, что о XX — использую, по возможности, в какой нб. новой работе. Благода-

³ Eighteenth Century Russian Publications in the Library of Congress, a Catalog.

рю Вас обоих за поздравление. Знаете ли Вы, что я —
Litt. Doctor of Oxford U-ty?

Ваш К. Ч.⁴

Следующая весточка была также краткой:⁵

Дорогая Mrs. F.

Спасибо за фото, за письмо и за чудесный вид Главный Читальный Зал в библиотеке Конгресса. Знаете ли Вы мою книгу “Современники” и книгу моей дочери Лидии Чуковской “В лаборатории редактора”? Если нет, — мы пришлем их Вам.

У Вас на карточке очень *интенсивное* (курсив К. Ч.) лицо, лицо человека, привыкшего думать и действовать. Привет Леве и Маринке. *Знают ли они русский язык?*⁶

[На лицевой стороне открытки, на белом поле под пейзажем]:

Все же мне кажется, что наша задача — примирить наши *великие* (курсив К. Ч.) народы, а не наоборот. Приезжайте в СССР. *Приезжайте!*⁷

Ваш К. Чуковский.

Скоро пришла и третья весточка:⁸

США, Вашингтон (курсив К. Ч.).

Поздравляю Вас с праздниками и жду с нетерпением Вашу книгу.⁹ Сейчас у нас в Подмоскovie — чудесная многоснежная зима. Ходим в валенках, звенят синички. Только что прочитал

⁴ На открытке с интерьером: «Кусково. Малиновая гостиная». Без даты. Штемпель неразборчив. Сбоку, как и на последующих открытках, адрес: К. Чуковский, Москва, К9, ул. Горького 6, кв. 89.

⁵ На открытке с видом: Альбер Марке (1875–1947) «Площадь св. Троицы в Париже». Гос. Эрмитаж.

⁶ Я послала К. И. наши снимки с маленькими друзьями-американцами, указав, что они с малых лет знают сказки Чуковского. Т. к. я не упомянула, что эти дети русского происхождения, Корней Иванович мог думать, что его сказки известны им в переводе на английский.

⁷ Все слова, переданные здесь курсивом, вставлены К. И. позже и написаны на открытке чернилами другого цвета.

⁸ На открытке с видом: «СССР. Москва. Советская площадь. Московский Совет депутатов трудящихся». Без даты.

⁹ Я написала, что в ближайшее время выйдет моя повесть, построенная на автобиографической канве.

книгу В. Маркова о Хлебникове — очень талантливо, не знаете ли: кто он такой?¹⁰

Ваш К. Чуковский.

Пришлите, пожалуйста, какой нб. хороший детектив (свежий).

[На лицевой стороне открытки, на белом поле]:

Вчера закончил Updike's Rabbit Run. Здрово! Привет мужу.

Затем в ответ на мои письма стали уже приходиться тоже письма:

23/XII. 62.

Милые мои Фесенки!

Спасибо, спасибо — и трижды спасибо. И за памятник Фенимору Куперу,¹¹ и за Ваши портреты, и за Новогодний привет и за дружественное отношение ко мне. У нас теперь великолепная подмосковная зима. “Пришла рассыпалась клоками”. Я почти безвыездно живу в Переделкине, на даче, в 20 километрах от Москвы, в Городке писателей. Здесь жили Бабель, Пильняк, Фадеев, Б. Пастернак и мн. др. Живут: Федин, Леонов, Сельвинский, Вс. Иванов, Катаев, Леонов (повторение! Т. Ф.) — и мн. др. Неподалеку находится так называемый “Дом Творчества” — здание, в сорока комнатах коего живут и работают 40 писателей — каждый месяц новая смена. Я люблю бывать там. Там сейчас Беленков (написавший книгу о Тынянове — читали?), проф. Нейгауз, чудесный музыкант, друг Бориса Леонидовича, автор замечательной книги “Техника фортепианной игры”. Название узкое, а книга широкая. Жил поэт Андрей Вознесенский, очень любопытная фигура. Вообще очень много поэтов — главным образом молодых и талантливых.

Встаю я очень рано — в 5 ч. Сейчас же берусь за работу — пишу до 10. В 10 приезжает из Москвы моя помощница (“секретарь”) Клара Израилевна, мы завтракаем, я иду гулять и вернувшись, читаю — преимущественно английские, америк. книги.

¹⁰ Я поделилась с автором книги лестным мнением К. И. Чуковского о его работе, и с разрешения В. Ф. Маркова, сообщила некоторые факты из его биографии.

¹¹ Я послала К. И. несколько фотографий; на одной из них был изображен памятник Куперу, стоящий в Куперстауне на участке земли, когда-то принадлежавшем писателю.

Сейчас читаю Симмонса “Чехов”, рассказы Updike, критические очерки Эдмунда Уилсона. Жду новой книги Сэлинджера — любимейшего моего писателя. Потом — снова за письменный стол. Когда четыре назад я обнаружил, что у меня лишние деньги, получил гонорар за “От 2 до 5”, построил рядом со своей дачей детскую библиотеку — веселый теремок — четыре комнаты, где вся мебель — сказочная (мы сами раскрасили ее) и крыша теремковая, дети размалевали фасад, художники Васнецов и Конашевич пожертвовали в библиотеку чудесные картины (своего изготовления) — в библиотеке 12.000 книг, обслуживает она тысячу (немного больше) ребят из семи окрестных поселков. Я часто бываю в библиотеке. Летом я устраиваю у себя в лесу костры (два костра: “здравствуй, лето!” и “прощай, лето!”), на кострах (или вернее: у костров) бывает около 1500 детей. Плата за вход — 10 пишек. У костра выступают фокусники, жонглеры, а также писатели. И артисты: Рина Зеленая, Сергей Образцов (который, кстати сказать, собирается в США. Непременно посмотрите его: он изумительный мастер).

Ну вот. Не знаю, почему я так расписался. Не собираетесь ли в СССР? Вот было бы чудесно! Недавно был у меня Роберт Фрост. Написал в “Чукоккалу” отличные стихи. Право, приезжайте.

А мне пора идти в Библиотеку: мы устраиваем с детьми елку — и готовим новогодний концерт.

Ваш Е. Чуковский.

21 февраля 63.

Дорогая Татьяна Павловна!

Спасибо за “Ущелье соболей” и “Встречу с детством”. Как хорошо, что недавно перед этим Вы прислали мне снимок с памятника Фенимору Куперу. Представьте, я даже не знал, что Фенимор — это фамилия его матери и что Самюэль Морс — изобретатель “азбуки Морзе”. И не знал трогательной надписи на ирокезском могильнике. Вообще Вы так искусно описали свою поездку в Куперстаун, что мне кажется, будто и я был вместе с Вами.¹²

¹² Здесь речь идет о моих двух путевых очерках, напечатанных в «Новом Русском Слове» (Нью Йорк) от 1 апреля и 3 марта 1962 г. В более раннем, упомянутом К. И. на втором месте, я писала о посещении городка Куперстаун, в штате Нью Йорк, заложенного от-

Прочитав Вашу “Встречу с детством”, я решил послать Вам свою встречу с детством — повестушку “Серебряный герб”, где я очень неумело, но правдиво описываю свою раннюю жизнь.¹³ Я родился в Петербурге, но мать разошлась с отцом и поселилась в Одессе, где я и провел свое детство. Вы хотели бы прочитать “Современники”. Сейчас в “Молодой Гвардии” печатается второе издание, чуть оно выйдет в свет, я сейчас же пошлю его Вам. А первое издание все разошлось в первый же день, те экземпляры, какие были у меня, я раздарил и даже у букинистов не могу достать ни одного. Странная судьба у моих книг: “Мойдодыр” в прошлом году вышел 50-м изданием, по сведениям Книжной Палаты, в советское время отпечатано 63.000.000 моих книг, книжек, книжонок и пр., и вот сейчас книжка “Айболит” вышла тиражом 1.300.000, а если через 2-3 дня я зайду в книжную лавку — книги уже нет и в помине! На ул. Горького есть огромный “магазин № 100”, выставляющий свои ларьки на улицу, и всегда к ним такая очередь, что невозможно пробиться. Колоссально много читает у нас молодежь! А как слушают поэтов! Под Москвою есть зал, вмещающий 14.000 человек. И вот два дня подряд выступали там мои друзья, моло-

цом любимого в России писателя Джемса Фенимора Купера. В перестройке и украшении дома Куперов (сгорел в 1853 г.) принимал участие и известный американский художник и изобретатель Самуэль Финли Б. Морзе (1791-1872).

Ирокезский могильник находится там же, на земле принадлежащей семье Фернлей-Овер. Сюда перенесены кости индейцев, в разное время найденные на территории Куперстауна. Так, каменная ограда на «Участке Куперов» на Ривер Стрит, по словам внука писателя, все время давала трещину на одном и том же месте. Многие, включая и знаменитого американского поэта Роберта Фроста, полушутя высказывали догадку, что там находится нечто, не терпящее ограды... Найденные там кости когда-то похороненного в традиционном сидячем положении ирокезского воина были также перенесены в могильник. Надпись на плите, составленная белым, Вильямом Вильберфорсом Лордом, гласит: «Белый человек, приветствуем тебя! Мы, чьи кости лежат у твоих ног, были ирокезами. Широкие просторы, ныне принадлежащие тебе, были когда-то нашими. Дружеские руки вернули нам достаточно земли для могилы».

¹³ Книга эта (Москва, Гос. изд-во детской лит-ры, 1963) с надписью «Дорогой Татьяне Павловне — Корней Чуковский» была вскоре получена нами.

дые поэты, и оба раза аудитория не могла вместить всех желающих!

Вы чудесно рассказали в “Ущелье соболей” о своих земляках — особенно о бабушке, которая кричит “Сиди внутри!”¹⁴

В сущности, оба очерка родились из туристских поездок. Оба поэтичны, талантливы, но как бы это сказать? — слишком уж пышут благополучием, счастьем. У мальчика врожденный дефект позвоночника, но мать его “так и расплывается в улыбке” “...Нам очень, очень повезло!”

Сегодня я совершил более печальную прогулку. Дело в том, что в Переделкине есть чудесная старинная церковь, и при ней — на холме — кладбище. Там похоронена моя жена Мария Борисовна († 1955), там и моя будущая могила. Сейчас февральская (очень милая мне) вьюга, я пробрался туда пешком, постоял над могилой и поглядел вниз на чудесную заснеженную поляну, у края которой видны дачи друзей (писателей), и в том числе поэта, погребенного тут же, под тремя старыми соснами. А поляна называется “Неясная поляна”.

Я не люблю тех наших портретов, которые написал Игорь Грабарь.¹⁵ Я люблю тот портрет, который написал с меня Репин; он же сделал чудесную акварель Марии Борисовны.

Вы говорите о поездке в США. Она представляется мне очень нетрудной. Самолет не утомляет меня. Если я не помру к лету и если подготовлю собрание своих сочинений для Гослита, я стану хлопотать о поездке в США, побываю в Кэмпдене в доме Уитмена, побываю в Бостоне (Эмерсон и вся его группа), посмотрю памятники Фенимору Куперу, Гансу Андерсену, Линкольну и т. д., побываю в картинной галерее Вашингтона, о которой мне рассказывали чудеса.

¹⁴ В этом очерке я описывала необычайно живописное ущелье в том же штате Нью Йорк, в свое время отмеченное знаменитым составителем путеводителей Бедкером в числе восьми американских чудес. Прогулка по каньону, прорезанному бурной рекой, включает и поездку на специальной лодке, приспособленной для прохождения порогов. Описывала я и нашу встречу с земляками — давними выходцами из России.

¹⁵ Я упомянула, что у нас есть репродукции портретов К. И. и его жены, работы Игоря Грабаря, находящихся в Третьяковской галерее.

Конечно, все это м. б. “мрії”.

“Фантастичні думи, фантастичні мрії”¹⁶ — но почему же не пофантазировать в разговоре с друзьями.

Ах, если бы Вы знали, какая чудесная группа молодых лингвистов — научных работников Института русского языка — сейчас пришли ко мне в гости. Среди них дочь Винокура, тоже очень сильный лингвист. Они очень дружны, остроумны и знают.

Ваш К. Чуковский.

21 февр. 1963. [Дата повторена].

В ответном письме от 28 февраля 1963 г. я спрашивала, получил ли К. И. несколько детективных романов, посланных нами, а также писала:

“Несколько дней тому назад я послала Вам свою только что вышедшую книгу и томик стихов нашего друга, о котором также идет речь в моих воспоминаниях.¹⁷ Очень рада, что Вас заинтересовали мои американские впечатления. Не удивляюсь, что Вам показалось неправдоподобным то, что вначале поражало и нас — удивительное чадолюбие американцев, их стремление иногда ценой огромного напряжения сил и финансов не только спасти от смерти, но и по возможности создать нормальное детство калеке, паралитику, слепому ребенку. Поэтому-то я и писала о счастливой улыбке матери инвалида. Здесь ведь много жертв полио — детского паралича, и ими не тяготятся, а как-то еще больше жалеют и любят их”.

На это письмо я уже не получила ответа. Вероятно, кто-то, контролировавший эту переписку, остался недоволен моей книгой или моими письмами. Такую догадку подтверждает и тот факт, что после долгого отсутствия каких-либо вестей от Корнея Ивановича, я получила конверт с испанскими марками и штемпелем: La Sabina (Balears) 6 AGO 64.

В нем была русская открытка: “Искал подарок целый день я, чтобы поздравить с днем рожденья” (художник А. М. Лаптев) с выпускными данными: 8.1.64 г. На открытке изображен цыпле-

¹⁶ В киевские времена Корней Иванович часто называл меня «украиночкой» и любил вставлять в разговор украинские слова и выражения.

¹⁷ Это была моя «Повесть кривых лет» и сборник стихов Ивана Елагина «По дороге оттуда».

нок, держащий в клюве мотылька и подносящий его удивленному щенку.

Текст, как мне кажется, написанный рукой К. И., гласил:

I have just returned from the Soviet Union where I was asked by Kornei Ivanovich Chukovsky to send you his greetings as at the moment it is "неудобно" for him to do so himself.

Yours sincerely,

Amanda [Height?].¹⁸

14-го сентября 1964 г. нам позвонило одно лицо, известное в американских научных и журналистических кругах, с которым мы не были лично знакомы. Не упоминаю имени этого человека, т. к. не заручилась на это его согласием. Он сообщил, что за неделю до этого он был в гостях у Чуковского в Переделкине. Несмотря на бывший у него незадолго перед тем сердечный припадок Корней Иванович уже совсем оправился, был бодр и очаровал гостя своим живым умом. Он встретил посетителя на главной дороге в Переделкино и показал ему библиотеку—"теремок". В то время К. И. продолжал работать над собранием своих сочинений. "Он просил меня обязательно передать Вам привет", сказал мне мой собеседник по-английски, добавив, что Корней Иванович также просил его, вместе с разными изданиями, которые его посетитель обещал прислать ему из университета, прислать ему экземпляр и моей "Повести кривых лет", что любезный американец и поспешил сделать.

Это была последняя весточка от Корнея Ивановича.



В эту зиму, недалеко от "Неясной поляны" синицы снова будут звенеть над засыпанной снегом могилой, но нам не дано поклониться ей.

Мне хотелось бы, чтобы опубликование этих немногих писем хоть в малой мере помогло сохранить в памяти людей живой облик человека, своим большим талантом и чудесной выдумкой украсившего и наше детство, человека, смотревшего на широкий мир добрыми и полными интереса глазами.

Татьяна Фесенко

¹⁸ «Я только что вернулась из Советского Союза, где Корней Иванович Чуковский попросил меня передать Вам привет, т. к. в данный момент ему «неудобно» это сделать самому». Подпись неразборчива.

ЭМИГРАНТЫ У БОГОМОЛОВА

Ниже мы печатаем исторически довольно ценный документ: запись «обмена мнений» группы эмигрантов при посещении ими сопосла Богомоллова — вскоре после войны — в Париже в феврале 1945 г. Группу возглавлял быв. посол Временного Правительства во Франции В. А. Маклаков. В свое время это эмигрантское «хождение в Каноссу» вызвало много шума за рубежом. Позже некоторые участники «хождения» — В. А. Маклаков, М. М. Тер-Погосьян — вспоминали о своей «Каноссе» с сожалением, ибо события как внутри Сов. Союза, так и большевицкая политика во вне никак не оправдали надежд русских патриотов-эмигрантов. Конечно, не все, пошедшие к Богомоллову, были свободны. В этой группе были и люди уже сильно «ангажировавшиеся» перед сов. властью, как, например, Ступницкий и Вердеревский.

Ценен этот документ и как лишнее напоминание эмигрантам о том, что все попытки «сближения» с комдиктатурой — на протяжении 50 лет — исторически были обречены на неудачу, ибо большевицкая диктатура по своей природе неизменно тоталитарна и «сближения» с иными политическими, идейными, общественными течениями для нее противоестественны. Это доказано судьбой левых с.-р., Помгола, меньшевиков, пошедших на службу к диктатуре, смениховеццев, евразийцев, младороссов, даже судьбой членов Союза за возвращение на родину, кончившейся расстрелом в Москве их лидера (Эфрона) и отправкой в концлагеря возвратившихся в Сов. Союз.

Все подобные «сближения» большевицко-ленинская диктатура всегда рассматривала только как диверсии в лагерь противника для уничтожения этого лагеря. Сейчас на наших глазах — новая большевицкая диверсия, на этот раз в лагерь церковной эмиграции в Америке. Диверсия называется «сближением» с Матерью-Церковью путем «дарования автокефалии» при фактическом сохранении представительства «московской патриархии» только под другим наименованием. Излишне говорить о том, кто из Москвы руководит этим.

В печатаемом документе есть очень характерные для большевицкой тактики места при проведении таких «сближений-диверсий». В ответ на (пусть, с нашей точки зрения, политически-наивные) но, несомненно, искренние и честные слова В. А. Маклакова сопосол (он же

и чекист к тому же) Богомолов говорит: «мы должны к вам присмотреться, вас изучить, **убедиться в вашей искренности**», и даже указывает путь к дальнейшему «сближению» — контакт с организацией «Русский Патриот» (вскоре переименовавшейся в «Советский Патриот»), которая была переполнена комсексотами и контролировалась парижским резидентом НКВД, чекистом А. А. Гузовским. Р. Г.

12 февраля 1945 г. в 12 часов дня посол СССР Богомолов принял группу эмигрантов в составе В. А. Маклакова, А. С. Альперина, А. А. Титова, А. Ф. Ступницкого, М. М. Тер-Погосьяна, Е. Ф. Роговского, Д. Н. Вердеревского, В. Е. Татаринова и адм. Кедрова.

В. А. Маклаков. Хочу пояснить почему мы пришли. Эмиграция была разнородна, но сходилась в одном: в враждебном отношении к советской власти. Считала ее главным злом, помнила только вред, который она причинила и ждала, когда она упадет. Примирение с ней она считала изменой и предпочитала здесь вымирать. Это — общее явление для эмиграции; таковы были отношения и революционной эмиграции к царской России.

Тяжелое испытание наступило тогда, когда Германия Гитлера начала войну с демократиями, а советская Россия была с нею в союзе. Эмиграция не знала смысла такого союза. Но если союз России с Германией и представил бы непреодолимую военную силу, он не мог быть бы прочным и мы опасались, что за него позднее заплатит Россия. Потому первые успехи Германии над Европой уже казались нам ударами по России, в которых повинна советская власть. И когда в 41 году Германия открыто пошла наконец на Россию, опасность казалась громадной. Как надеяться, что Россия устоит против победоносной Германии?

Тогда произошел в эмиграции глубокий раскол. Часть ее все-таки желала победы Германии, надеясь, что эта победа вернет России возможность собой располагать. Но большинство считало такую победу, даже на короткое время, величайшим злом для России. Но действительные события оказались для всех откровением. Мы не предвидели насколько за годы изгнания Россия окрепла. Победоносная Германия принуждена была перед ней отступать. Мы восхищались патриотизмом народа, доблестью войск, искусством вождей. Но должны были признать кроме того, что все это подготовила советская власть,

которая управляла Россией, что в ее руках исход этой войны. Это меняло наше прежнее отношение к ней. И когда ставленники Германии старались привлекать эмиграцию на сторону Гитлера, мы стали вести борьбу с этим течением.

Мы указывали, что победа Германии была бы гибелью Великой России, что ее защищает советская власть, и что в войне за Россию мы с ней на одной стороне баррикады. И из этого должно было сделать логический вывод: признать, что советская власть — национальная власть и противодействие ей прекратить. Эту проповедь мы вели не в подполье, а среди легальных и легко достигаемых слоев эмиграции. Приходилось быть осторожными; многие из нас и не знали, что вместе работали. И нужна была позиция, которая могла найти отклик во всех; нашей целью было привлекать не отдельных людей, что бывало и раньше, а содействовать примирению всей эмиграции с советскою властью. Это — не горделивая претензия считать их равносильными сторонами. Эмиграция перед нею бессильна. Но они представляли два равноправных принципа. Эмиграция стояла за начала, на которых развивалась жизнь старого мира, вы же несли с собою основы для нового. Вы достаточно реалисты, чтобы знать, что новое прочно только тогда, когда приводит к синтезу со старым, что истинная победа не в уничтожении побежденного, а в примирении его с этой победой. Вы на примере религии узнали насколько целесообразнее мирить с собою врага, которого раньше пытались искоренять. Примирение эмиграции с советскою властью могло получить значение символа восстановления мира в России. И мы над этим работали.

С разгромом Германии этот процесс мог бы ускориться. Но оказалось не так. С устранением внешней опасности у одних воскресло старое недоверие к власти. Другие торопились заявить себя на новой дороге, не хотели понимать живучести и законности прежних чувств эмиграции и ее этим отталкивали. Нужно много работать для взаимного понимания и примирения.

Эту работу мы делали независимо и будем ее продолжать. Мы Вам о ней говорим не для практических целей. Как наши отношения сложатся, никто предвидеть не может; жизнь определяется не только человеческой волей и многое не в нашей власти. Но раз мы признаем советскую власть национальной властью и с нею не боремся, мы хотим, чтобы про нашу работу,

которую мы ведем только для пользы России, Вы непосредственно узнали от нас. Мы более таиться от Вас не хотим. И наконец те, которые думали окончить свои дни в эмиграции и России больше не видеть, счастливы, что воскресения России дождались и могут лично приветствовать ее в лице ее представителя.

Посол СССР Богомолов. До войны Сов. Союз мало интересовался эмиграцией. Теперь в сов. народе пробудился некоторый интерес к эмиграции. Мы могли ожидать, что немцы в борьбе с Россией используют эмиграцию, что эмиграция соблазнится и пойдет с ними. Этого не случилось. В 1929 г. на Дальнем Востоке в рядах японцев против нас были целые батальоны белых. Теперь мы таких батальонов не встретили. Отдельные эмигранты пошли на службу к немцам в качестве шоферов, переводчиков, комендантов лагерей, но их было мало. Наоборот, в разных странах эмиграция проявила свои симпатии к сов. народу. К нам обращались с просьбами о зачислении в армию, предлагали вносить деньги в фонд обороны и т. д. Мы это считаем положительным явлением и его учитываем.

(Далее посол отмечает проявление русского патриотизма в эмиграции, но подчеркивает разницу между русским и сов. патриотизмом. Последний, по его мнению, шире первого и его сущность заключается не только в любви к России, но в принятии всех тех изменений, которые в ней произошли. Ребенок любит свою мать, когда она молода и красива, но он любит ее и тогда, когда она стареет. Только в России мать не постарела, а стала молодой и новой).

Пересмотр отношения к Сов. Союзу происходит сейчас в буржуазных кругах Запада, но когда эмигранты пересматривают свои прежние взгляды, то это имеет особое значение, потому что они русские.

Перед эмиграцией открываются два пути. Она может пойти по тому пути, на который она теперь как будто бы стала: изучения, понимания и принятия того, что произошло в России. Вполне естественно, что сейчас в эмиграции преобладает русский, а не советский патриотизм. Однако, этого мало и эмигранты, любя Россию, должны принять все те коренные изменения, которые в ней произошли. Другой путь состоит в том, что эмиграция после войны будет попрежнему относиться враждебно к Сов. Союзу. Тогда мы предоставим ее естествен-

ному историческому процессу и для нас она утратит всякий интерес. Эмиграция будет изолирована, старое поколение постепенно вымрет, а молодое будет денационализировано — уже сейчас в эмигрантской молодежи идет сильный процесс денационализации. В интересах самой эмиграции идти по первому пути и укреплять свои связи с сов. народом.

(Посол просит его извинить, если его слова покажутся не слишком любезными, но в Сов. Союзе в политических вопросах привыкли говорить правду. Мы привыкли критиковать и прежде всего критиковать самих себя. Напрасно за границей думают, что критика в СССР отсутствует).

В. А. Маклаков. Я должен прибавить несколько слов пояснения. Если существуют течения прежней борьбы с советской властью, то это не мы. Мы борьбу прекратили; от тех, кто ее хочет вести мы отделились. Самого крушения советской власти мы уже не хотим. Мы знаем, чего стоит стране революция, и еще новой революции для России не пожелаем. Мы надеемся на дальнейшую ее эволюцию.

Но «русский патриотизм» Вы противоположили «патриотизму советскому». Вы предлагаете любить Россию в той ее форме, советской, в которой она сложилась сейчас. Но формы и советской России меняются. Россия 1918 года, которую по личному опыту запомнила эмиграция, не та, которую устанавливала конституция 1936 г. И эта эволюция далеко не закончена. Никто не знает, какой Россия будет после войны. И не только Россия. Вы отметили, что глубочайшие трансформации происходят повсюду, что пропасть между советской Россией и миром очень уменьшилась; но это сближение их происходит с обеих сторон, обе стремятся к какому-то синтезу. Что в будущей России воскреснет из старого, что переживет из советской России, ни предсказать, ни искусственно сделать нельзя. Дорожить не самой Россией, а ее временной, советской формой, значило бы следовать Константину Леонтьеву, который писал: «на что нам Россия, если она не самодержавная и не православная». Возьму Ваше сравнение. Дети должны любить свою мать и молодой, и старой, и здоровой, и больной. Но они любят мать, а не болезнь и не старость ее. В чем неизменная сущность России и в чем ее преходящие формы, покажет нам сама жизнь. И потому «русский патриотизм» не исключает «советского», но шире его.

А. С. Альперин. Русская эмиграция с самого начала войны заняла патриотические позиции, радуясь победам красной или русской армии — дело не в названии — скорбя по поводу ее неудач. Я имел возможность убедиться в этом, наблюдая толщу эмиграции в ее разрезе, когда сидел в немецком лагере в Компье. Пересматривая свое отношение к тому, что происходит в России, эмиграция отнюдь не руководится какими бы то ни было практическими соображениями. Само собой разумеется, большинство эмиграции стремится вернуться на родину, хотя бы для того, чтобы умереть на родной земле, но не это нас двигает. Мы считаем, что занятие нами патриотических позиций и признание сов. правительства национальной русской властью есть наш внутренний долг, долг односторонний, ни на что не претендующий и ничего не требующий. Чувствовать и мыслить иначе мы не можем. Наша позиция диктуется чисто внутренними чувствами и нашей любовью к России.

Мы делим эмиграцию на три сектора. Одни сразу заявили себя «100-процентными сторонниками сов. режима». Позиция ясная, четкая и этих людей мы скидываем со счетов. Другие — полярные первым — остались на прежних, непримиримых позициях. С ними нам нечего делать. Мы их также скидываем со счетов. Масса эмиграции состоит из людей, которые почувствовали, что происшедшее требует пересмотра старых позиций, переоценки некоторых ценностей. К ним мы и должны идти, помочь им разобраться в том, что тревожит их души. Они несомненно пойдут с нами.

А. А. Титов. Указания на процесс денационализации в эмиграции не совсем отвечают действительности. Наоборот, из всех существующих во Франции эмиграций, русская сохранила более чем все остальные свой национальный характер. Примером этому может служить обилие русских церквей и всяких общественных организаций. Но, к сожалению, эмиграция имеет очень мало возможностей познакомиться с тем, что делается в России. Мы лишены всякой непосредственной связи и даже научные и технические журналы мы принуждены были получать через посредство иностранцев. Мы очень просили бы оказать нам содействие в получении необходимых материалов из России для широкого ознакомления с ними всей эмиграции, что послужило бы лучшим способом сближения и устранения всяких недоразумений.

А. Ф. Ступницкий. Интерес эмиграции к объективному изучению того, что происходит в Сов. Союзе существовал задолго до начала войны. В эмиграции были значительные группы, ставившие своей целью изучение положения в Сов. Союзе и ознакомление иностранцев с результатами своих исследований.

Часть эмиграции шла еще дальше. Задолго до войны были группы, считавшие, что в области внешней политики нужно не только занимать позицию с крайней осторожностью, но даже в определенных случаях поддерживать позиции сов. власти. Пример: позиция Милюкова и его группы печати в момент конференции в Монтрё, где была не критика, но поддержка линии, занятой в этом вопросе Сов. Союзом.

Становясь на почву определенных конкретных задач надо установить, что у эмиграции имеется свой капитал. Капитал этот — знание западного мира и обширные связи с ним. Г. посол указывал, что русская эмиграция постоянно использовалась в корыстных целях иностранцами. Это, конечно, ненормально. Если же этот капитал будет использован Сов. Союзом это будет нормально. Это поведет к полезным результатам и в другом смысле: на почве конкретной работы легче будет присмотреться к эмиграции. Есть все основания предполагать, что те, кто привлекут эмиграцию к работе, не будут разочарованы.

Проблема русской молодежи крайне важна. Не верно, что русская молодежь повсюду денационализуется. Личные наблюдения при исследовании в 1937-38 гг. положения эмиграции в 15 странах Европы приводят в известном смысле к противоположным заключениям. Эмигрантская молодежь, в частности, не проявила никаких признаков денационализации ни на Балканах, ни в прибалтийских странах. Конечно, положение сложнее во Франции, где русской молодежи пришлось даже отбывать воинскую повинность во французской армии. Это больной вопрос и заслуживает пристального внимания.

Д. Н. Вердеревский. Эмиграция живет окруженная буржуазной стеной, заслонившей от ее сознания мировую значимость трансформации жизни в СССР. Когда эмиграция поймет, что наша родина, в ее нынешней форме Сов. Союза, идет по пути мировой трансформации жизни, «советский патриотизм» станет для нее понятным и естественным.

М. А. Кедров. Буду говорить, г. посол, как офицер во главе с другими ведший борьбу с Вами. Да, мы были враги, как сказал В. А. Маклаков. Мы боролись, особенно офицеры, отстаивая дорогую для нас государственность, называем ее императорской, которая тогда разрушалась, мы защищали от разложения нашу армию, которая была плоть от плоти, кровь от крови наша. Все обращалось в хаос в порядке революции и мы встали на защиту разрушаемого. Русский же народ то был с нами, то с Вами, но мы проиграли борьбу и ушли за границу, рассчитывая, что русский народ рано или поздно поймет нас и присоединится к нам. Но годы шли и наши ряды редели — одни умирали, другие уходили, разочаровавшись в борьбе. Мы же, ведшие борьбу, остались одними ярлыками без содержания. Уже в 1936-37 годах я и другие начали сознавать, что в России народилось новое поколение, которое не с нами, а с Вами, создается новая государственность, крепнет новая армия процесс из разрушительного сделался созидательным.

Наступила великая война. Сов. Союз вначале пошел на соглашение с Германией. Мы, русские за границей, приветствовали это, рассчитывая, что вне процесса войны Россия останется нетронутой и еще более окрепнет. Но в гордыне своей Германия пошла против Сов. Союза. Кровавыми слезами мы плакали, когда слышали о первых поражениях и сотнях тысяч русских пленных, но в глубине души мы продолжали верить, что Сов. Союз победит, так как для нас он представлял русский народ. Как Вы правильно отметили, г. посол, что немцам не удалось увлечь за собой нашу эмиграцию — только единицы пошли за ними, мечтая о своих имениях, когда немцы не переставали повторять, что русский народ только и годится как на удобрение для «великого германского народа». Сов. Союз победил — Россия спасена и спасен весь мир. Новая государственность и новая армия оказались необычайно стойкими и сильными и я с благодарностью приветствую их и их вождей.

М. М. Тер-Погосьян. Сегодняшняя наша встреча не переговоры сторон, ибо никак не могут быть сторонами представитель величайшей державы и группа эмигрантов. Это — диспропорция и мы это прекрасно понимаем. Однако, в одном смысле, в известном плане мы — стороны: как представители различных отрядов русской общественности, которая неизменно стреми-

лась к осуществлению социальной справедливости. Борьбу с сов. властью мы вели во имя этой правды. Мы вели эту борьбу не из-за личных или классовых интересов. Мы, социалисты, боролись с сов. властью по поводу методов осуществления идеалов социальной справедливости и в первую очередь во имя величия нашей родины. Мы считали, что советские методы попирают как раз те идеалы, которые нам были дороги.

Не совсем точны указания на то, что русская эмиграция денационализуется. Несмотря на весьма тяжкие условия жизни, эмиграция упорно стремилась к сохранению своего родного языка. Русская эмиграция может быть единственная, которая дала ничтожное количество натурализаций.

Если название «русский патриот» не было бы предвосхищено другими, то было бы правильным нам называться русскими патриотами.

Е. Ф. Роговский. Во время немецкой оккупации юга Франции, работая в различных организациях «резистанс», мне пришлось близко соприкоснуться с бывшими военнопленными, солдатами и офицерами красной армии. Эти встречи и разговоры с сов. людьми приводят меня к убеждению, что между ними и эмигрантами нет существенных разногласий — наоборот, и те и другие быстро находят общий язык. На вопрос эмигрантов о возможности возвращения на родину советские люди неизменно отвечали: «раз вместе боролись против общего врага, то, конечно, вернетесь».

Я оптимист и верю в возможность искреннего сближения и взаимного понимания. Вы должны снабдить нас необходимыми материалами для ознакомления путем печати и докладов среди широких слоев эмиграции с тем, что представляет собою Сов. Россия и ее достижения.

В. Е. Татарinov. Надо высказать пожелание, обратив его прежде всего к эмиграции, а затем и к сов. общественности: во всех разговорах, которые несомненно будут, меньше говорить о прошлом, о том, кто и когда правильно или неправильно поступал, а думать о будущем, о тех общих началах, которые стоят перед всеми русскими.

Посол СССР Богомоллов. Те изменения, которые произошли в эмиграции, мы считаем положительным явлением и относимся к ним с симпатией. Ваше заявление о прекращении борьбы с

сов. властью мы рассматриваем, как положительный факт. Он глубже, чем будущая судьба эмиграции. Но некоторое недоверие к эмиграции вполне понятно. Мы должны к вам присмотреться, вас изучить, убедиться в вашей искренности. Если мы в этом убедимся, то отношение к эмиграции будет изменено. Не берусь предсказывать сроков, но во всяком случае на огульные решения, на всеобщую амнистию, как говорят в эмиграции, нельзя рассчитывать. Если изменения, происшедшие в эмиграции, не поверхностны, то перед эмиграцией откроются интересные перспективы. Вполне возможно, что те, кто хотят вернуться на родину, смогут это сделать.

(Посол дальше отвечает на замечание В. А. Маклакова. На его вопрос, что останется стабильным в Сов. Союзе, посол отвечает, что во всех тех изменениях, которые происходят, основные черты строя остаются неизменными. Богатства страны — земля, недра, заводы и фабрики — принадлежат всему государству и не могут быть предметами частной собственности; не могут быть поэтому и источником эксплуатации одного человека другим. В СССР нет социальных классов в прежнем их смысле. Классы между собой различаются только формой труда. Есть рабочие, крестьяне-колхозники и интеллигенция. Эта интеллигенция в СССР играет громадную роль. Она составляется главным образом из детей крестьян и рабочих. В высших учебных заведениях Сов. Союза обучаются больше людей, чем во всей Европе; их 500 тысяч человек. Но все эти классы составляют одно целое и между ними нет противоречий. Другая черта Советского Союза — полное равенство между всеми народами, населяющими Советский Союз. Эти черты породили радикальные перемены в психологии народа и эта психология стала новой. В результате произошла спайка всего народа, которая и проявилась во время войны. Того, что было сделано на войне никакой диктатурой объяснить нельзя. Такая спайка обусловила и отношение народа к его прошлому. Народ не боится прошлого, он его ценит и знает, берет из него самое лучшее. Сов. народ с почтением и уважением относится к реформам Петра Великого и деяниям тех прежних русских правительств, которые шли на благо России. Вот почему теперь дают ордена имени Суворова, Кутузова, Александра Невского. В этом нельзя усматривать какой-то поворот «направо» или возврат к прошлому. Прошлого не вернешь, ни монархии, ни

того строя, который промелькнул между февралем и октябрём. Точно так же надо посмотреть и на изменение отношения правительства к православной церкви. Раньше, когда православная церковь была враждебной или равнодушной к сов. режиму, таково же было и отношение к ней правительства. Православная церковь сама изменила свое отношение к сов. власти, во время войны она пошла вместе с сов. народом и сов. правительство видит в этом естественное и положительное явление. Собор православной церкви, заседающий в Москве, обратился с приветствием к сов. правительству и председатель последнего приветствовал собор.

Посол еще раз обращает внимание на то, что психология народа стала иной. Сов. люди читают и любят Толстого и Достоевского, но они очень далеки от их героев. Мы люди трезвые, знаем чего хотим, потому и побеждаем.

Отвечая А. Ф. Ступницкому, посол говорит, что надо, чтобы исчезло деление на красную и белую Россию, как должна исчезнуть возможность использования эмиграции врагами России.

Во время беседы посол попросил всех присутствующих выпить за советский народ, за красную армию и за маршала Сталина. Затем были провозглашены тосты за здоровье посла и за всех присутствующих.

При прощании посол выразил надежду на то, что между теми кругами эмиграции, представителей которых он видит сейчас и группой «Русского Патриота» не было бы никаких столкновений. Вы все, говорит посол, стоите по существу на одних основных позициях, а нюансы во мнениях вполне понятны и в этом нет ничего плохого).

Свидание закончилось в 2 часа дня.

ИЗ ИСТОРИИ ПАРТИИ С.-Р.

ПОКАЗАНИЯ В. М. ЧЕРНОВА ПО ДЕЛУ АЗЕФА В СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПАРТИИ С.-Р.

2 февраля 1910 г.

В самый момент образования Партии социалистов-революционеров, т. е. вернее объединенной партии, я находился за границей. Россию я покинул в январе 1899 г., когда объединенной партии еще не было. В это время еще только возникал Северный Союз, с программой которого я был знаком лишь в первоначальном ее тексте, который был написан еще в Саратове. Тогда только что произошли первые совещания нескольких кружков южных с-р-ов: киевлян, харьковцев, воронежцев. До моего отъезда из России я виделся только с представителем этих южных групп, Сазоновым (Анатолием?) и кое с кем из Северного Союза. Объединенной партии еще не существовало.

Я переехал за границу с поручением от тамбовской группы, которая в тот момент не имела особого названия и вела работу в крестьянстве, причем ею был разработан маленький проект программы, впоследствии, впрочем, пропавший во время обысков и нигде не опубликованный. Поручение тамбовцев заключалось в том, чтобы попробовать устроить за границей какое-нибудь печатание брошюр для крестьян, так как наша работа к тому времени настолько разрослась, что нужно было иметь специальную литературу для крестьян.

Приехавши за границу, я снесся с целым рядом лиц, из которых затем составила Аграрно-Социалистическая Лига, поставившая первоначальной своей задачей объединение всех, кто пожелает работать в создании революционной литературы, которая могла бы служить для восстановления революционной

Мы получили этот исторически ценный и нигде не напечатанный документ из русского архива известного писателя и журналиста Томаса П. Витни и печатаем его с любезного разрешения владельца. РЕД.

работы в крестьянстве. В качестве представителя Аграрно-Социалистической Лиги и в качестве литератора, писавшего в «Русском Богатстве», меня уже нашли представители партии, именно Гершуни, Азев¹ и Селюк, когда они приехали за границу в декабре 1901 года.

За это время мои сношения с отдельными разрозненными группами с-р-ов ограничивались немногим: я был приглашен участвовать в «Революционной России», когда она только что была основана в России; я обещал свое сотрудничество и послал им одну статью, которая, однако, погибла при арестах. Затем мы находились в кое-каких сношениях с некоторыми группами с-р-ов по поводу издания «Вестника Русской Революции», который тогда еще издавался, как орган непартийный, просто потому, что тогда еще никакой определенной партии, подходящей к его направлению, не было. Таким образом нам было известно, что южные и северные группы находятся между собой в состоянии постоянных переговоров. Я еще имел дело по пово-

¹ ПРИМЕЧАНИЕ В. ЗЕНЗИНОВА: К транскрипции имени Азеф-Азев следует сказать следующее: По свидетельству ростовчан (А. Я. Браиловский), на вывеске, под которой жил отец Азефа, значилось «Азеф» — он был либо портным, либо у него была лавочка с «красным товаром». В справке Донского областного Жандармского управления от 9 мая 1893 г. (Новочеркасск) говорится: «Гродненский мещанин Евно Фишелев Азеф (или как его называли в Ростове н/Д. Азевым), кончил ростовскую гимназию, близкий соучастник Ростовского еврейского революционного кружка... Отец — Фишель, мать — Соша, проживающие с 1874 г. в Ростове н/Д. и имеющие небольшую торговлю красным товаром, вообще люди бедные». Сам Азеф, как это видно из официальных документов (счет в банке), обнаруженных уже после 1908 г., подписывался Азеф. В материалах «Судебно-следственной комиссии» он всюду обозначен, как «Азев» — и в дальнейшем эта транскрипция здесь сохраняется, как она значится в бумагах «Комиссии». Я лично, познакомившись с ним в Берлине летом 1900 года (у М. Ф. Селюк), знал его всегда, как «Азева», пока в 1953 г. в Нью Йорке не услышал от А. Я. Браиловского о том, что он помнит на одной из ростовских улиц вывеску, на которой было написано «Азеф». Повидимому, верно и то и другое — Азев и Азеф. В настоящих документах сохраняется та транскрипция, которая в них имеется. В литературе вообще принята транскрипция «Азеф».

ду Аграрно-Социалистической Лиги с представителем южных групп Дижуром.²

Мне было известно, что между северными и южными группами идут переговоры о слиянии. Переговоры эти не были закончены в России, так как этому помешал арест группы Аргунова. Когда она была арестована, то от нее остались уехавшая раньше за границу М. Ф. Селюк и Азев, которому Аргунов, предвидя арест, передал все свои дела и все связи.

В то же самое время Гершуни, вместе с Бабкой особенно много действовавший для этого слияния северных и южных групп и особенно опиравшийся на саратовскую группу, части лиц из которой впоследствии было поручено исполнять функции центра образовавшейся партии, приехал с некоторыми материалами от «Революционной России» за границу и в Берлине, через посредство Левита, встретился с приехавшими туда же Азевым и Селюк. Азев и Селюк обладали всеми необходимыми полномочиями от северных групп, а Гершуни — от южных, и формально объединение их закончилось в Берлине. Оттуда Гершуни, а вслед за ним и Азев, приехали в Женеву с заявлением, что в настоящее время переговоры между северными и южными группами уже закончились и что теперь их миссия по возможности устроить за границей такое же объединение социально-революционных сил, какое уже закончилось в России. Переговоры эти вели Гершуни и отчасти Азев — главным образом Гершуни, потому что Азев скоро уехал в Берлин, где у него был ряд практических функций: он вместе с Гершуни особенно занялся вопросом об организации транспорта.

Таким образом переговоры велись одновременно по трем линиям: с одной стороны Гершуни вел переговоры через меня и Гоца с Аграрно-Социалистической Лигой о слиянии ее с партией; затем шли переговоры с редакцией «Вестника Рус-

² ПРИМЕЧАНИЕ В. З. В оригинале стоит только буква «Д.» Расшифровка таких обозначений сделана мною по общему смыслу документов. В «показаниях» вообще нигде полных имен нет, все имена зашифрованы; они всюду расшифрованы мною либо по косвенным данным, либо по устным (Веры Самойловны Гоц и других), либо по письменным указаниям. Ва — А. А. Аргунов, Вб — Мельников, Вд — М. Ф. Селюк, Вз — Х. Житловский, Вл — М. А. Натансон, Ве — С. Н. Слетов, Вп — Б. В. Савинков. Для облегчения в тексте всюду приводятся действительные фамилии.

ской Революции», чтобы он превратился в теоретический орган партии; наконец, были переговоры по организации временной редакции «Революционной России». «Временной», потому что тогда предполагали, что «Революционная Россия» будет издаваться за границей лишь временно и что при первой же возможности она будет вновь перенесена в Россию.

Мне и Гоцу было предложено образовать редакцию «Революционной России», на что мы, после различных переговоров, согласились. При посредстве Гоца начались, а затем продолжались сначала Гершуни, а потом Азевым, переговоры с редакцией «Вестника Русской Революции» и закончились тем, что он стал теоретическим органом партии. С «Аграрно-Социалистической Лигой» переговоры велись при посредстве моем и Гоца и закончились тем, что на первых порах был образован временный союз партии и «Лиги» на федеративных началах и впоследствии договор об этом союзе был опубликован в одном из номеров «Революционной России». Впоследствии же «Аграрно-Социалистическая Лига» совершенно слилась с партией. Так происходило объединение социально-революционных сил за границей.

Мы, как редакция, вели сношения с Россией главным образом через отдельных лиц, приезжавших и уезжавших в Россию, и по постоянным адресам в Саратове, где находился в то время Центральный Комитет партии. Я знал только, что ядро находится в Саратове, знал, что в качестве разъездных членов ЦК были два лица: Бабушка и Гершуни, а затем после отъезда в Россию Азева и Азев. Точно момент, когда Азев стал называться членом Центрального Комитета, я не знаю. Первое время я считал его все время членом ЦК, но затем некоторые говорили, что вряд ли это так, что вернее, что он сделался членом ЦК с того момента, когда он переехал из заграницы в Россию, а это было в июле 1902 г.

Итак, первоначальное ядро Партии с.-р. составилось таким образом: части одной из местных групп, именно Саратовской, были поручены функции центра, причем к ней примыкали другие лица в качестве разъездных агентов. Затем за границей возникли редакции «Вестника Русской Революции» и «Революционной России». Затем, после того как некоторые заграничные дела стали развиваться, возник и Заграничный Комитет партии с.-р., причем в составе его было одно лицо, М. Гоц,

который, кроме этого своего звания, был также и деловым представителем заграницей ЦК, а впоследствии и Боевой Организации, причем ему же, на случай ареста всего ЦК, было дано право организации нового временного центра.

Что касается возникновения первой Боевой Организации, то она образовалась вокруг Гершуни, причем после переговоров с ЦК она должна была получить название Боевой Организации Партии социалистов-революционеров на особых условиях, именно с того момента, когда она совершит первый крупный террористический акт. До этого же момента она была просто инициативной группой и теоретически предполагалось, что возможны и не одна, а даже несколько таких инициативных групп, а с момента, когда какая-либо группа произвела бы первый крупный террористический акт, она и должна была бы уже выступать, как Боевая Организация партии с.-р., монополизирующая в своих руках ведение центрального политического террора.

Первое время Боевая Организация не имела определенного устава. Собственно центром БО, диктатором ее, в настоящем смысле этого слова, был Гершуни. Что касается остальных членов ее, то хотя число их достигало до 12-13 человек или может быть даже до 15, то они были в большинстве своем, так сказать, потенциальными членами БО, т. е. им было дано со стороны Гершуни принципиальное его согласие на участие их в террористических делах БО, причем они должны были, соответственно этому, устранившись от местных дел и соблюдая величайшую конспирацию, быть готовыми в любой момент быть вызванными для совершения какого-либо дела. В то же время из состава всех этих лиц, двое были его ближайшими помощниками, и им он передавал время от времени свои функции, функции организаторства. Эти лица были Крафт, которого он называл помощником № 1 и в отсутствие Крафта — Мельников. Это было только первое время, так как в очень скором времени он от услуг Мельникова совершенно отказался. Крафт жил в то время в Саратове и все время разъезжал. Если не ошибаюсь, Крафт первое время, в отсутствие Гершуни, работал над Оболенским. Крафт жил в Саратове на положении поднадзорного. Он приехал туда в 1901 г. Затем там был арестован при аресте Милашевских и других. Избрал себе место жительства (Саратов) и приехал туда в сентябре 1901 г. Мо-

жет быть дело Оболенского подготовлял не Крафт, а Мельников. Отношение к террору было сформулировано при личном участии Гершуни в № 7 «Революционной России».³

Со слов Гершуни: в партии в это время вопрос о терроре стоял, как вопрос открытый. Из двух — не совсем одинаковых частей, из которых составила партия — Северного Союза с примыкавшими к нему группами и Южного Союза с его группами и отдельными лицами, отношение к террору было неодинаковое. Северный Союз решительно выставлял террор, как одно из центральных средств борьбы, относясь даже довольно скептически, например, к деятельности среди крестьянства. Соответствующая часть программы Северного Союза только постепенно расширялась, а первоначальный проект совершенно отрицал деятельность в крестьянстве, так что я, когда впервые познакомился с этим проектом, помню, отнесся к нему в целом совершенно отрицательно, главным образом из-за этого пункта. Что касается южан, то они были по преимуществу массовики, и отношение к террору у них было различное. Были лица даже довольно скептически настроенные по отношению к террору, большинство же говорило (в этом отношении наша тамбовская группа сходилась с этим большинством), что террор есть такое средство борьбы, которое в программу не следует включать до тех пор, пока фактически не организуется сила, способная вести эту борьбу, что только с того момента, когда партия фактически приступила к террору, он может и должен занять определенное место в ее программе. Что касается южных групп, то они в то время ничего подобного организовать не могли и поэтому они включение террора в программу откладывали на неопределенное время. Но среди южан были и прямые скептики по отношению к террору.

В виду такой разницы отношения к террору и невозмож-

³ ПРИМЕЧАНИЕ Н. И. РАКИТНИКОВА: Крафт, действительно, жил в Саратове под надзором полиции. Но он приехал туда значительно раньше сентября 1901. Когда я весной 1901 вернулся из-за границы в Саратов, Крафт был уже там. Вероятно, он приехал осенью 1900. Крафт скрылся из Саратова в августе 1902 и с тех пор был в разъездах. Арестован, если не ошибаюсь, в Харькове или в Киеве, немедленно по приезде из Харькова, поздней осенью 1902. До августа 1902 он мог временно на короткое время отлучаться из Саратова.

ности широкой дискуссии по этому вопросу («Рев. Россия» была прекращена с арестом Аргунова) им оставалось только формулировать свое отношение к террору в одной коротенькой фразе, которую можно найти в № 3 «Рев. России» (стр. 8: «ПРИЗНАВАЯ В ПРИНЦИПЕ НЕИЗБЕЖНОСТЬ И ЦЕЛЕСОБРАЗНОСТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ, ПАРТИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПРИСТУПИТЬ К НЕЙ ТОГДА, КОГДА, ПРИ НАЛИЧНОСТИ ОКРУЖАЮЩИХ УСЛОВИЙ, ОНА ПРИЗНАЕТ ЭТО ВОЗМОЖНЫМ», январь 1902). Это было в то время и мнением Гершуни: этот вопрос будет очень легко разрешен, когда какая-нибудь инициативная группа сделает хоть один крупный политический акт. Руководящие сферы партии, т. е. все наиболее крупные лица того времени, как Бабушка, Б. (Буланов?) и другие, относились к этому с полным одобрением. Так что с их одобрения и с их помощью — особенно много помогала Бабка, потому что она рекомендовала Гершуни многих лиц, которые и вошли, как потенциальные силы, в первоначальную Боевую Организацию, — так и было сделано.

Так что о каких-нибудь формальных директивах по отношению к этой инициативной группе говорить не приходится. Тут была прежде всего личная уния: член ЦК Гершуни, который берет на себя организацию этой инициативной группы, отчасти Бабушка, как вербовщица людей для нее, и целый ряд других лиц. Крафт тоже входил в состав ЦК и он тоже, как лицо, посвященное в целый ряд планов, вел, так сказать, агентуру этой группы.

Мельников в то время играл также довольно видную роль в Южном Союзе, и только после дела Сипягина, а главным образом после дела Оболенского, Гершуни постепенно менял свое отношение к нему и, наконец, после дела Оболенского окончательно сказал, что Мельников помимо всего прочего находится несколько не в своей тарелке и что «я жалею, что с ним связался, что он теперь отходит от дел и тем лучше». Таким образом Мельников отошел от дел. Крафт был арестован, кажется, в конце 1902 г. Весной 1902 в Саратове, как раз 3 или 4 апреля, в день, когда было получено известие об убийстве Сипягина, была попытка арестовать Мельникова, но он бежал, поранив большим перочинным ножом агента, который хотел его задержать; тот испугался и удрал, а Мельников скрылся из Саратова.

Значит были отношения личной унии и только. И поэтому никаких формальных отношений не требовалось, но как только дело было поставлено на более прочную почву, как только был сделан первый акт, явилось стремление несколько урегулировать эти отношения, и вот эти отношения между ЦК и Гершуни были зафиксированы на бумаге, при некотором нашем редакционном участии, и опубликованы. Гершуни написал все это, а мы извлекли кое-что и напечатали. Не знаю, сохранился ли в архиве подлинник того, что написал Гершуни: это была целая записка о самом деле и в связи с этим об организационных началах Боевой Организации.

Первоначально заграничная организация состояла из нескольких лиц и первый ее съезд был съездом всех этих лиц.

В Киеве в это время уже существовала довольно прочная социально-революционная работа — там еще с 95-96 года существовала группа с.-р., работа велась систематически. Там была организация, были и низы, и прием новых членов шел не только сверху, но и из низов. Но в целом ряде городов не было ровно ничего, так что прием новых членов в организацию — это был, в сущности говоря, объезд этих городов главным образом Бабкой и Гершуни, привлечение ими новых людей и поручение тем создать новую группу или комитет партии, который затем уже самостоятельно принимал в свою среду новых лиц. Так что способ вербовки был в то время, вероятно, преобладающим способом построения организаций, способом таким чисто централистическим — набором людей разъездными лицами из ЦК. В Киеве в это время уже был создан Рабочий Союз, создавались и Крестьянские Союзы.

Первая Боевая Организация была, в сущности говоря, инициативной группой, создавшейся при ближайшем участии Гершуни, и существование такой инициативной группы в качестве БО зафиксировано даже отчасти в литературе. Первая прокламация этой группы была подписана «Боевой Организацией социалистов-революционеров», а второе издание той же прокламации уже было подписано «Боевой Организацией Партии социалистов-революционеров». Так что это изменение произошло в промежутке между первым и вторым изданием одной и той же прокламации, причем оба эти издания были даже в одном и том же городе.

По уставу Боевая Организация была автономна. Автономность заключалась в следующем: ЦК указывал для БО только

круг лиц, по отношению к которым она может практиковать боевые действия; ЦК имел право временно приостановить действия БО, совершенно прекратить деятельность ее, расширить круг ее деятельности или сузить его, но только в пределах этих общих, чисто политических указаний ЦК имел право воздействовать на Боевую Организацию. Во всех организационных, материальных и всяких других отношениях БО была автономна, независима. Она, конечно, получала деньги от ЦК, в особенности в последнее время; в первое же время она даже денег не получала, потому что имела свои взносы и даже, если я не ошибаюсь, в первое время ее существования бывали нередки случаи, когда деньги, пожертвованные в БО, шли на некоторые совершенно неотложные общепартийные надобности. Так, насколько я помню, Гершуни говорил: «партия начинает жить на счет БО, и ничего не поделаешь». Впоследствии же, наоборот — все время Боевая Организация требовала ассигновок со стороны ЦК партии.

Автономность была во всем. ЦК, например, вовсе не должен был знать всех лиц из БО, членов ее, и не знал. Поскольку БО действовала технически, ее совершенно конкретных планов ЦК в целом не знал. Отдельные лица из ЦК иногда и могли знать что-нибудь, просто по личному доверию Гершуни, который иногда советовался с кем-нибудь о делах, но это могли знать даже и не члены ЦК. Например, мне приходилось иногда знать кое-какие детали, хотя я и не состоял тогда членом ЦК.

Что касается количества членов этой БО, которое я определил в 12-15 человек, то я, например, узнал об этом совершенно случайно. Когда М. Гоц был арестован в Неаполе (в 1903 г.), то мы произвели тщательный обыск в его вещах, и в одном из его тайничков нашли бумагу — список имен. По характеру списка — там было записано приблизительно 12-15 человек — я понял, что это список членов БО, и когда М. Гоц вышел из тюрьмы, — а его страшно мучило все это время, не было ли у него обыска, — то он сказал мне, что это был, действительно, список членов Боевой Организации, составленный Гершуни и переданный ему на случай, если Гершуни будет арестован, чтобы Гоц мог восстановить БО, так как ее отдельные члены личной связи между собой не имели, и связь поддерживалась только через Гершуни. Я думаю, что этих лиц знали, по всей вероятности, и его помощники, но

уверенно сказать этого не могу. Но это был такой момент, когда у него помощников в России, кажется, вовсе не было. Впрочем, я наверное не помню сейчас, может быть в это время Гершуни был даже уже арестован. Азев в это время был тоже уже в России — это было в то время, когда они вместе с Гершуни обсуждали второе, несостоявшееся покушение на Оболенского. Только у Гоца и был этот список, но это потому, что на нем лежала некоторая экстраординарная функция: в случае полного провала в России на нем бы лежала задача восстановления ЦК и Боевой Организации.

Какую роль играл ЦК в организации БО в дальнейшем? В сущности он не играл до некоторого времени почти никакой роли, потому что, когда Гершуни был арестован, у него уже был заместитель, им самим указанный — Азев. Затем БО получила уже несколько другую организацию — смотри воспоминания Савинкова. У них был комитет из нескольких лиц с решающими голосами, и пока лица эти оставались во главе БО, до тех пор ЦК, по общему договору, и не представлялось надобности вмешиваться в дела БО. Впервые этого вопроса пришлось ЦК коснуться, когда БО в полном своем составе вышла в отставку. Вот тогда перед ЦК и встал вопрос о том, как он организует новую БО. На первых порах ЦК должен был отказаться от этой задачи за отсутствием в его составе такого лица, которое, с одной стороны, было бы способно взять на себя руководство такой организацией, с другой стороны — которому боевики были бы согласны вручить это руководство. В виду этого ЦК, не восстанавливая в тот момент БО, организовал только два или три отдельных отряда: один отряд под руководством Бэлы (Лапиной), другой — под руководством Вноровского (Владимира), поехавший на юг для местной работы и третий — под руководством Льва Зильберберга (Серброва). Так что в первое время существовали эти три отряда. Затем у них произошло следующее: между Лапиной и Зильбербергом произошли несогласия, они повергли эти несогласия на рассмотрение ЦК, ЦК разрешил их частичный спор в пользу Зильберберга. После этого и так как в это время дела Лапиной шли неудачно, а Зильберберг получил полную возможность взять в свои руки дело Лауница и сделал его, Бэла в несколько подавленном настроении уехала за границу. В то же время у нее произошли некоторые столкновения с теми, которые были у нее

в отряде на работе: она была несколько нервна и они жаловались на ее чрезмерную властность и требовали большей демократичности; она на это не соглашалась, исходя из традиций старых боевых организаций. После ее отъезда остались только две группы, а после ареста Зильберберга с оставшейся группой произошел ряд изменений. Туда вступили новые лица, одно время ответственность на себя брал С. (Савинков?). Затем группа совершенно расстроилась; часть ее была захвачена по делу так называемого заговора на царя. Ее место занял отряд Карла (Трауберга), который был ликвидирован в два приема. Наконец, дела группы во главе с В. (Вноровским?) шли неудачно; они не справились с делом и в очень подавленном настроении уехали за границу.⁴

После этого вернулся Азев, вернулся Гершуни. Первоначально Гершуни, при ближайшей помощи Карповича, начал отдельные предприятия террористического характера, совещаясь постоянно с Азевым, и наконец Азев взял на себя возобновление деятельности БО, т. е. собственно он по условию с Гершуни должен был взять на себя это дело вместе с ним, но в ЦК начались разговоры против того, чтобы Гершуни шел туда, голоса разделились поровну и вопрос остался нерешенным. В это время Гершуни заболел. Таким образом, в виду того, что Гершуни не был отпущен на боевую работу по отсутствию достаточного количества голосов в ЦК, временно взял на себя эту деятельность только один Азев, который имел своим ближайшим помощником Карповича, а затем и Н. (?).

Новые члены БО принимались совершенно самостоятельно

⁴ ПРИМЕЧАНИЕ Н. И. РАКИТНИКОВА: Отряд Лапиной был организован раньше, до выхода в отставку Азева, Савинкова и всей БО. Разногласие ее с Зильбербергом (она требовала для акта двух лиц, Зильберберг давал одного) привело ее к отказу от дела. Когда в сущности дело Лауница считалось брошенным и Бэла удалилась, у Зильберберга, благодаря полученным сведениям, явилась неожиданно возможность совершить его, совершенно не пользуясь результатами работы Бэлы. По поводу неудачи южного отряда припоминаю следующее: Каульбарс, дотоле свободно появлявшийся в Одессе на улице и в других местах, с момента приезда летучки заперся у себя во дворце и никуда не показывался. У меня тогда же явилось предположение, что Каульбарс предупрежден из Петербурга. Никто из летучки выслежен не был.

— без соглашения с ЦК и без санкции его. ЦК даже не уведомлялся никогда о приеме. Было время, когда ЦК воплощался для нас в одном Иване Николаевиче (Азеве), который разъезжал по России и говорил нам, что он вербует новых членов. Было два человека, которых он, как он говорил, принял в ЦК условно, это Селюк и Слетов. Они фактически исполняли многие центральные функции; место их пребывания, Киев, сделался как бы центральным пунктом для целого ряда мест в России. Азев в то время говорил, что он наберет в ЦК Фейта, Фрейлиха, Леоновича, Бельского, Фрейфельда, Геденовского и других. Это было перед первым выборным ЦК. Одно время было так, что голоса ЦК не было слышно и что приезжие из России говорили, что мы его не видим и не слышим и что единственно, откуда мы узнаем, что делается, это из «Революционной России».

Были разговоры о диктаторском поведении М. Гоца (слова Лункевича) у членов Заграничного Комитета. М. Гоцу в шутку было дано прозвище «Марат» — и помню, даже Григорий (Гершуни) писал в письмах: «Марата обнимаю и целую».

Лично я видел Азева еще до существования объединенной партии. Я встретил его, как приезжего из Москвы, в доме Житловского, в Берне. Это свидание мне особенно памятно тем, что я впоследствии не раз ссылался на него, когда поднялись разные сомнения в личности Азева. Я даже аргументировал этим свиданием и говорил тем лицам, которые получили неприятное впечатление от Азева, что, увидевши в первый раз Азева, я спросил Житловскую, «что это за подозрительный господин такой?» Встретил я его там случайно и тогда же сказал Житловской, что он мне как-то очень не нравится. Она сказала, что и ей он, собственно говоря, тоже очень не нравится. Тут подошел сам Житловский и говорит: «Да что вы! ведь это наш человек! Он из московской организации — человек совершенно верный и давно известный!». На меня такое впечатление он произвел кроме своей внешности еще и тем, что он был довольно молчалив, но когда он заговорил, то сразу стал дебатировать очень острый вопрос — вопрос о терроре, с его практически-организационной стороны.

После этого я с ним не встречался и только впоследствии я увидел его уже вместе с Гершуни. В промежуток между этими двумя моментами я его не видел и совершенно ничего о нем

не слышал. Житловский мне сказал, что во время своего пребывания за границей Азев помогал Союзу социалистов-революционеров: он был в одной из тех местных групп за границей, которые примыкали к Союзу и помогали ему. Таких групп было две-три. Житловский говорил: «хотя у нас сил и мало, но уже заводятся некоторые островки среди молодежи», и он указал мне, как на представителя в Дармштадте, на Левина, который вместе с Азевым и Виттенбергом имел впоследствии электрическое предприятие, это было в конце 1902 г., электрическое общество «Энергия». Уже позднее я узнал, отчасти со слов Азева, отчасти со слов Аргунова, что он примыкал к Союзу соц.-рев. за границей, что он приехал в Москву и вступил там в организацию по рекомендации здешнего заграничного Союза. Союз этот состоял в то время из крайне ограниченного числа лиц, из Житловского, его жены, затем Вм (?), бернской студентки П. (?), затем Вн (?). Это были основные лица Союза. К ним примыкали отдельные группы молодежи, и в одной из таких групп был Азев. Я впоследствии также вступил в этот Союз с.-р., вскоре после того как в него вступил целый ряд новых лиц. В это время в него входили еще Во (?), С. А. (?), Вн (?). По рекомендации заграничного Союза с.-р., Азев вступил в Московский Союз, а затем уже я познакомился с ним, уже как с москвичем-эсером.

Когда я видел Азева вторично, я видел его уже как одного из основателей партии, одного из лиц, которые, будучи снабжены надлежащими полномочиями, завязали переговоры о слиянии северных и южных групп. В качестве такового он являлся одним из членов-учредителей партии, и уже он и Гершуни приглашали нас в объединенную партию, к которой мы не принадлежали в то время. Я тогда входил в заграничный Союз с.-р., а главным образом я работал в Аграрно-Социалистической Лиге. Я сначала даже не знал его настоящей фамилии, а согласно революционным традициям, и не спрашивал о ней. Узнал его фамилию совершенно случайно. Один человек, живший в Берлине, по фамилии Вп (?), почему-то знал его настоящую фамилию; я с ним виделся, когда объезжал Германию с рефератами о новообразовавшейся Партии социалистов-революционеров и он мне как-то написал потом письмо: «сообщите то-то и то-то Азевым». Я сначала ничего не понял, а затем уже из дальнейшего содержания письма понял, что речь идет о Любови Григорьевне (Азевой) и Иване Николаевиче (Азеве).

Во время пребывания Азева в Дармштадте и его поездок он был везде известен, как яркий террорист; письма его, которые мне показывала Любовь Григорьевна (Азева), везде свидетельствуют о ярких террористических воззрениях. Он именно с такой точки зрения критикует социал-демократическую литературу, дает очень резкие отзывы о лицах, отвергающих террор. Розенбаум нередко останавливался у Азева во время своих поездок за границу по устройству транспорта.

Мое вторичное знакомство с ним началось с того, что я вел переговоры с Гершуни. Происходили эти переговоры на квартире одного из членов московского Союза, сосланного впоследствии, некоего Чепика. На его квартире бывали Гершуни и Азев, и я приходил туда неоднократно для разных разговоров. Гершуни в то время поддерживал оживленную переписку с Россией, сообщал о результатах своих переговоров; помню, что все письма, которые он получал из России, он обсуждал вместе с Азевым, они их вместе проявляли, расшифровывали и читали и вообще те дела, которые тогда стояли у Гершуни на очереди, они обсуждали вместе. А в то время стояло у него на очереди, например, дело Сипягина. Я в точности не знаю, какие именно дела обсуждали они; но об этом до некоторой степени можно судить уже по тому, что впоследствии Азев дал охране кое-какие указания на Григорьева, Юрковскую и еще на кого-то. Значит, приезд его был в декабре 1901. С декабря 1901 до середины 1902, именно по июль, Азев жил за границей. Живя в Берлине, он устраивал в это время кое-какие свои дела; он имел командировку от своего электрического общества (Всеобщая Компания Электричества) и пробыл в этой командировке около полугода. Какие он имел самостоятельные сношения с Гершуни и вообще с центром, я не знаю, но знаю, что он уже там изучал взрывчатые вещества, а главным образом устраивал транспорт в это время. Это был летучий транспорт, чемоданный. Он поставил этот чемоданный транспорт — в чемоданах с двойным дном — в Берлине в очень широких размерах. Большинство этих чемоданов проходило совершенно благополучно, и он постоянно хвастался результатами и говорил, что это дело можно поставить очень хорошо и литература будет перевозиться очень быстро, нужно только следить за этим; при этом он жаловался, что в партии мало практических людей.

В этот период — первая половина 1902 г. — он в наших

сношениях никакой видной роли не играл, мы с ним сталкивались редко, переписку с ним вел Михаил Рафаилович (Гоц) и только по делам этого чемоданного транспорта.

С июля 1902 он переехал в Петербург, где он пробыл почти год, по апрель-май 1903. Если раньше он не считался членом ЦК, — а на меня производило такое впечатление, что он им уже был, — то, очевидно, вот в этот период именно он вошел в состав ЦК. В Петербурге он организовал петербургский комитет и транспорт через Финляндию. Помимо того, он завел там электрическое общество «Энергия», помещение которого в то же время служило складом для литературы. В то же время он начал подумывать об устройстве транспорта литературы в прессованном сене, а может быть даже и устроил его, но главным образом действовал опять-таки чемоданный транспорт через финляндскую границу. По его письмам тогдашнего времени, можно судить, что эта транспортировка шла очень быстро. Некоторые аресты были однако. В это же время он ездил на юг; в октябре 1902 г. он ездил в Киев для обсуждения боевых дел. Там он прожил недели две; он ожидал Гершуни, так как не застал его, когда приехал.

По приезде Гершуни они обсуждали всевозможные дела, в частности, обсуждали план второго покушения на Оболенского. В первый план Азев был также посвящен, но в исполнении его не принимал непосредственного участия, а только участвовал в обсуждении его еще за границей. Во втором плане он принимал более близкое участие, но затем они перерешили этот вопрос, потому что Оболенский ходатайствовал в это время о помиловании Качуры — и они решили, что нужно отложить покушение.

К этому же времени относится целый ряд его поездок с организационными целями, о которых он потом нам рассказывал: Воронеж, Саратов, Самара, Киев, Одесса и целый ряд других мест. Вообще в два приема — от июля 1902 по апрель-май 1903 и от января 1904 до июля 1904 он, в сущности говоря, объездил всю Россию и неоднократно объезжал более крупные пункты. Например, у меня тут записаны еще такие города: Баку, Харьков, Вятка, Ростов н/Д., Киев и т. д., словом, вряд ли был сколько-нибудь крупный пункт, в котором бы он не был. В Воронеже и затем еще в Киеве у него были свидания с Гершуни; не помню, было ли в Петербурге.

В Петербурге он организует петербургский комитет и транспорт, а также ведет личные занятия с рабочими. Судя по его тогдашним письмам, он одно время даже увлекался этой работой. Петербург он брасает на том основании, что там была обнаружена довольно широкая рабочая провокация. Пришел один рабочий и покаялся: «я служу в полиции». Рассказал, что у них есть целая организация рабочих, служащих в полиции, которые распределяются по районам по указаниям Охранного Отделения и стараются входить в различные рабочие кружки. Этот коллектив имеет свои собрания. Есть у них на́больший, они приносят ему свои сведения и таким образом у того сосредоточиваются все сведения о существующих рабочих кружках. Задача всей этой организации — иметь во всех рабочих кружках своих людей и выяснять интеллигентский пропагандистский состав. Тогда Азев, ожидая, по его словам, крупного провала, должен был покинуть Петербург.⁵ Это он рассказал нам по приезде за границу. История с рабочей провокацией не вымышлена, это, действительно, было. Это все было в апреле-мае 1903 г. А 13 мая 1903 был арестован в Киеве Гершуни.

В июле 1903 Азев из Петербурга приехал за границу, где и пробыл до января 1904. Он все ближе сходил к Гершуни по боевым делам. Гершуни указывает на него, как на своего преемника по боевым делам — он уже и раньше указывал на него Михаилу Рафаиловичу, ему он поручает в случае ареста взять в свои руки дело БО. Поездка Азева в Самару связана с обсуждением им вместе с Гершуни покушения на Богдановича (я это помню со слов Гершуни). После этого свидания Азев должен был прислать людей для совершения дела. Люди эти не приехали и были арестованы. Мы думали последнее время, что это Азев их выдал, но теперь, к удивлению нашему, оказывается, что они были арестованы совершенно случайно, очевидно, по данным киевского провокатора Розенберга, который выдал и Гершуни.

⁵ ПРИМЕЧАНИЕ Н. И. РАКИТНИКОВА: Вскоре после отъезда Азева из Петербурга, где он оставил вместо себя Петрашкевича, в Петербурге в середине мая произошел крупный провал: арестовали Петрашкевича и склад литературы на даче около Петербурга. Как я слышал, Азев поспешил вернуться в Петербург и собрать уцелевшие остатки организации, спасти уцелевшую литературу, которую сам упаковывал для перевозки на новое более надежное место.

В аресте Гершуни действовали с двух разных концов. Арестовал его Спиридович, пользуясь данными киевской агентуры. Но в то же время по следам Гершуни скакал Медников, очевидно, по данным более центральной агентуры. О готовящемся покушении на Богдановича знали и послали Медникова в Уфу предупредить это покушение, но Медников не успел доехать, как покушение совершилось. Когда Медников приехал в Уфу, следовательно, Гершуни он там не нашел уже, — Гершуни уже уехал. Тогда он бросился по следам его в Киев. Другие данные были у Спиридовича. К нему явился его секретный сотрудник, какой-то студент, который присутствовал на какой-то частной квартире, на которой было очень немного народа и на которой была получена в это время какая-то условная телеграмма. Из разговора между этими лицами, а может быть и из самой телеграммы, он понял, что тут идет речь о приезде какого-то важного революционера. Он сейчас же доложил об этом Спиридовичу. Тот пошел на телеграф, потребовал телеграфную ленту и из телеграммы по фамилии Дарниценко понял, что дело идет о приезде на станцию Дарницы. Он послал туда своих агентов и таким образом арестовал Гершуни. Когда приехал Медников, Гершуни был уже арестован. Лопухин позднее отрицал первую версию и утверждал, что акт в Уфе был для них совершенно неожиданным и очень их всех переполошил. Медникова послали в Уфу уже после совершения акта и он уже на месте пришел к убеждению по каким-то данным, что это было дело Гершуни, но где Гершуни находится и куда поехал, этого Медников совершенно не знал. По словам самого Гершуни, он из Уфы поехал в Саратов, а не в Киев. После Саратова он колебался, куда ему ехать, в Смоленск или Киев; решил, что удобнее в Киев и только тогда дал телеграмму. Так что раньше он даже сам не знал, куда поедет. Тов. Розалия Рабинович, на имя которой была прислана телеграмма, уже тогда заподозрила в предательстве студента Розенберга, но она не имела против него никаких данных. Этот Розенберг потом ушел от работы и впоследствии вошел в СЕРП. Серписты нашли киевскую работницу Дору Рабинович (однофамилицу Розалии), которая рассказала им обо всем этом инциденте с телеграммой. Оказывается, когда эта телеграмма была получена, как раз этот самый Розенберг отнес ее Розалии Рабинович, он читал ее содержание. Розенберг должен был быть объявлен провокатором

по расследованию Серпа. Розенберг ездил в Бердичев по своим делам и указал там ряд людей, которых Азев должен был направить в Уфу — Леонида Варенова, Якова Загородского и еще третьего, фамилию которого забыл. При слежке в Бердичеве за указанными Розенбергом людьми филеры нашли одного подозрительного человека, который поехал в Двинск и выяснили там каких-то трех людей, наружность которых была подозрительна. Они спросили разрешения на арест, разрешение это было им дано, они произвели арест и совершенно неожиданно нашли при них кинжалы и револьверы — сами они не имели о них ни малейшего представления. Это было для них совершенно непонятно и они никак не могли выяснить, в чем же тут дело. Они их держали очень долго, потому что ясно увидели, что это террористы — но к чему и для чего, не могли понять. Таким образом и выясняется этот арест в Двинске. Эти данные, несомненно отводят от Азева обвинение в выдаче Гершуни и этих трех молодых людей, которых сам же Азев и навербовал (вернее поручил это сделать другим). Лопухин категорически отрицает, что Медников был послан в Уфу для предупреждения покушения. О покушении на Богдановича они заранее не знали. Но суд Серпа признал недоказанным, что Розенберг выдал этих троих с Вареновым во главе (через Бердичев). Сам Розенберг на суде сознался в выдаче Гершуни.

Эпизод о деле Шнеерова — «Саши-Миши», который заведывал транспортом ледников, организованным Гершуни вместе с Азевым. Уже вместе с Гершуни Азев долго толковал о способах устройства большого транспорта. Одним из их совместных предположений было предложение Азева устроить транспорт в прессованном сене, которое ввозилось из Финляндии в Петербург. Этот проект был отложен до того времени, когда Азев переедет в Петербург, другие проекты были: комнатные ледники с двойными стенками, причем нужно было совершенно вскрыть ледник, чтобы обнаружить литературу; когда эти ледники пересылаются через границу, то по самому характеру транспорта никакого вскрытия их в таможне не происходит. Сооружение этих ледников обходилось довольно дорого, но они могут продаваться и действительно их продавали. Вообще дело было поставлено коммерчески. Агент, который торговал этими ледниками и выписывал их из заграницы, каждый раз получал вместе с ними большую партию литературы. Дело это было

специально изучено Шнееровым, чтобы можно было извлекать литературу и продавать ледники. Несомненно, что Азев какое-то общее сведение об этом деле дал. Бакай говорил: «нам из Петербурга было дано знать в Варшаву, чтобы мы следили за Шнееровым. Почему, не было сказано. Были к нему прикомандированы два филера. Следили они, следили, но ничего подозрительного не находили. Ходит по сионистам и больше ничего». От киевской агентуры получили предупреждение: «направляется к вам некий студент Иванов в сопровождении филера, будет у Шнеерова, принять его». Иванов на вокзале был принят, было прослежено его свидание со Шнееровым. На обратном пути, недалеко от Киева, Иванов был арестован, у него найдена была литература, полученная им от Шнеерова. Тогда у Шнеерова был произведен обыск; сначала ничего найдено не было, но один из ледников — был поцарапан — показался подозрительным. Вскрыли: там, где должен был быть мох, ничего не оказалось. Вскрыли другие ледники и нашли литературу. До этого уже много ледников прошло. Их получали, литературу вынимали и рассылали по местам. В некоторые места посылали и ледники нетронутыми (Саратов, Москву). Это дело показывает, как оберегали Азева. Очевидно, можно было просто сообщить, что Шнееров занимается транспортом, но предпочли сказать лишь, чтобы за ним следили. Если бы из Петербурга прямо дали такие сведения, что такой-то занимается транспортом, то ясно было бы, что его выдал кто-нибудь из лиц, непосредственно знающих об организации этого транспорта; но число таких лиц было совершенно ничтожно, их было всего 7-8 человек, так что в конце концов подозрения могли пасть и на Азева. Вот почему они так замаскировали все дело. Вообще, когда мы ближе присмотрелись к этому делу, мы убедились, до какой тонкости у них доведена маскировка обысков и арестов, когда у них налицо серьезная провокация. Их первой заботой является обставить дело таким образом, чтобы решительно всем, даже жандармским офицерам, производящим обыски и аресты, они казались совершенно естественными, а не являющимися результатом сведений, идущих сверху. Сначала было предупреждение из Петербурга: «следите за дантистом Шнееровым». Сомнительно, чтобы здесь обошлись без Азева.

Итак, Азев занимался организацией транспорта в Берлине

(чемоданный), организовал транспорт ледников, организовал петербургский комитет, затем в Петербурге организовал транспорт через Финляндию. Затем участвовал вместе с Гершуни в обсуждении боевых дел, причем они окончательно сговорились о совместной работе в боевом деле сейчас же после покушения на Сипягина. Когда, после смерти Сипягина, Гершуни снова явился из заграницы, то здесь они сговорились окончательно, причем Гершуни поехал на юг, где он должен был принять работу по делу Оболенского у Мельникова, у которого она двигалась очень слабо, а Азев поехал в Петербург. Затем они съехались снова уже после покушения на Оболенского и совместно обсуждали второе покушение на Оболенского, которое, впрочем, было ими потом отложено. Вот приблизительные функции Азева первого периода. В это время он, очевидно, уже числился членом ЦК, хотя я лично затрудняюсь сказать, когда было оформлено его вступление в ЦК. Может быть уже после его поездки из заграницы в Петербург.

Обсуждался вопрос о транспорте в сардиночных коробках. Был транспорт в сале, очень большой транспорт, им было перевезено громадное количество литературы. Азев, очевидно, и об этом транспорте давал сведения. Один купивший нашел в сале литературу. Несомненно, Азев дал о нем знать, но решено было сверху его не ликвидировать, а отложить до какого-нибудь повода — местного или случайного. При аресте боевиков по треповскому делу у одного из них была найдена квитанция от только что посланных туда денег; был произведен обыск и так как производившим обыск, очевидно, не было дано сверху сведений, что там замешан транспорт, то они, разгромив предприятие, настолько ничего не подозревали, что оставшиеся бочки с салом продали с аукциона. Весь этот эпизод относится к периоду треповского дела. Это было в Риге или под Ригой. Заведывал этим Саша-Ангел (Александр Гуревич). Узнали об этом деле через несколько лет — от Лопухина.⁶ Лучшим доказательством непроваленности была эта про-

⁶ ПРИМЕЧАНИЕ Н. И. РАКИТНИКОВА: В деле с салом было два пункта — один в Риге, которым для приема его ведал Саша-Миша, у него был рабочий, помощник; другой — точно не знаю где — завод, перерабатывавший это сало в мыло или еще что-то. Им заведывал Саша-Ангел. Был арестован в Риге по квитанции Саша-Миша. Этот арест даже не вызвал обыска в конторе. Его помощник, съездив к

даже бочек сала с литературой. Арест Саши-Ангела считали случайным. Эти бочки с салом делаются с особыми отверстиями, в них при осмотре в таможене просовывается пробная ложка и из нескольких мест в бочке берется проба. Это дело было организовано в Лондоне — Вс (Чайковский или Волховской) вместе с Азевым. Ими было исследовано, что при просовывании ложки есть места, куда ложка никак попасть не может. Такие места и наполнялись литературой, а из остальных мест при проходе через таможенную получалось при пробе прекраснейшее сало. Этот транспорт в короткое время доставил массу литературы. При продаже купивший промышленник заявил о находке, литература была сожжена. Об этом деле было даже напечатано в газетах. Когда был произведен арест, было открыто, что Саша-Ангел нелегальный, остальные все разбежались, дело осталось без хозяина, продавала сало полиция.

Широкий транспорт был поставлен Азевым (сало, ледники). Он заявил, что мелкие транспорты стоят очень дорого, а результаты от них минимальны, что надо ставить крупные. Ледники хотя и продержались недолго, но в короткое время дали множество литературы. Он настаивал, что именно таким образом и надо ставить дело, т. е. на широкую ногу. Он ездил специально для этого в Лондон. Вс (Чайковский или Волховской) взял на себя кое-что по организации этого дела в Лондоне, Азев — в России.

В выработке партийной программы Азев не играл никакой роли. Первоначально положение было таково: существовала программа южных групп и программа Северного Союза. Кроме того существовала Аграрно-Социалистическая Лига и «Вестник Русской Революции». Эти два заграничных органа приблизительно соответствовали воззрениям Северного Союза и южных групп. Члены южных групп — массовики, их настроениям и воззрениям соответствовала заграничная Аграрно-Социалистическая Лига. В Северном Союзе — террористы, склонные даже несколько скептически относиться к работе в крестьянстве; им соответствовал «Вестник Русской Революции», который в первоначальном своем проекте содействовал несколько скептическим отзывам о работе в крестьянстве, и только во

Саше-Ангелу, через несколько дней после ареста Саши-Миши, мог вернуться в эту контору, послать в Лондон предупреждение. Это я слышал от помощника Саши-Миши, приехавшего после ликвидации дела в Саратов.

втором проекте, после замечаний с нашей стороны — моих и некоторых других товарищей — эти места были несколько видоизменены. Программа и тактика составила как синтез того и другого элемента: элемента массового и элемента индивидуальной борьбы, борьбы в городе и борьбы в деревне.

Редакция была поручена мне и Гоцу. Гоц в первое время был тоже склонен несколько скептически отнестись к работе в крестьянстве, но после того что ему рассказал Гершуни, он коротко и ясно заявил: «я могу этому только в высокой степени порадоваться; лично я крестьянства не знаю, и раз товарищи из России говорят, что они среди крестьянства работают и находят там такую почву, то тем лучше, стало-быть я всецело присоединяюсь в этом отношении к вам». Я с самого начала стоял на «крестьянской» точке зрения. Поскольку мне еще в России приходилось встречаться с Аргуновым и его кружком, мои споры с ними всегда заключались главным образом в том, что я отстаивал важность, необходимость и возможность работы в крестьянстве, основываясь на опыте нашей тамбовской группы. Заграницу я уехал именно с той целью, чтобы изданием соответствующей литературы содействовать работе среди крестьянства. Что касается террора, то я всегда к нему относился положительно, но считал, что постановка его в программу партии возможна, целесообразна и произведет надлежащее впечатление только тогда, когда фактически образуется отряд, который будет вести террористическую борьбу.

К этому сводились и взгляды Гершуни, когда он приехал. Он и занял эту позицию, выраженную в № 3 «Революционной России», что «партия оставляет за собой право» и т. д. Всю задачу он видел в том, чтобы составить эту инициативную группу, которая совершила хотя бы только первый крупный террористический акт. Тогда, после такого акта, введение террора в программу сделалось бы вполне своевременным и целесообразным. Вот благодаря такому совпадению взглядов Гершуни и остановился на мне и на Гоце. В это время еще продолжали оставаться некоторые несогласия между нами и парижской группой, т. е. между нами и Рубановичем и Вг (Русановым?), которые говорили, что они остаются в большей степени, чем мы, марксистами, несколько в большей степени оценивающими экономический момент и несколько более скептически относящимися поэтому к крестьянству и т. д.

Вот в чем заключались в это время наличные теоретиче-

ские разногласия в партии. Первое время существования партии было моментом сравнительно большой пестроты в программных воззрениях, так как в состав партии вошли элементы, до того времени занимавшие довольно различные позиции. Ведь в то время дело происходило так: заграница была расколота между несколькими группами — группой «Вольной Русской Прессы», отношение к которой со стороны некоторых товарищей было довольно подозрительное в том смысле, что она уже слишком идет на всякие соглашения с либералами и т. д. Затем была «Группа старых народовольцев», которые к этому времени были уже довольно пассивны. Ее основным замыслом было издание «С родины на родину», выпусков по истории социально-революционных движений в России. Это предприятие закончилось неудачей в том смысле, что главнейшие руководители группы — а таковыми были частью Вт (?), а отчасти чуть ли не Богданович, перешли к социал-демократам и оставили их, так сказать, без представительства. Был затем еще молодой «Союз социалистов-революционеров», к которому, однако, более старые революционеры относились не особенно серьезно, не видели в нем серьезной организации и быть может смотрели на них немножко, как на революционных парвеню. Те, со своей стороны, тоже относились к «Группе старых народовольцев» с не очень дружелюбным чувством, видя в них стариков, которые, с одной стороны, являются как бы естественными представителями старых народовольческих идей, но, с другой стороны, ничего не делая, или почти ничего не делая в защиту этих идей, только, так сказать, занимают место.

Наконец, четвертая группа, т. е. вернее не группа, а несколько человек, с Серебряковым во главе (Эспер Эсперович), не встречала поддержки ни в тех, ни в других. Он тоже стоял несколько обособленно и разошелся с группой старых народовольцев, членом которой раньше был, так как они смотрели на его инициативу (журнал «Накануне», издаваемый в Лондоне), как на желание некоторого революционного сепаратизма и вообще не считали его способным к редактированию большой политической газеты, считали, что это должно быть делом «Группы Народной Воли» и тогда естественным редактором был бы Кудрин.

Таким образом были четыре группы, между которыми отношения были довольно натянутые. Когда я приехал заграни-

цу, я застал такое положение и поставил себе целью сделать какую-нибудь попытку к некоторому сближению этих элементов вокруг какого-нибудь, хотя и узкого, но практического дела. И вот «Аграрно-Социалистическая Лига» и была попыткой положить начало сближению этих элементов, так как во всех других вопросах, в вопросах о программе революционных действий, неизбежно с самого начала опять возникла бы вся эта совокупность старых счетов и старых разногласий. Предложение составить «Аграрно-Социалистическую Лигу» заключалось в том, чтобы вступить в нее лицам, которые могли бы оказать помощь начинающейся работе среди крестьян созданием нелегальной популярной литературы, причем остальные взгляды могут быть как угодно различны. Объединившись на практическом деле, люди будут легче понимать друг друга, сотрутся взаимные разногласия. Прибытие Гершуни с товарищами ускорило этот процесс. Правда, Аграрно-Социалистическая Лига уже существовала и уже в нее входили, с одной стороны, некоторые члены из Фонда Вольной Русской Прессы, как например, Вс (Чайковский или Волховской) и Шишко, с другой стороны, люди из «Группы старых народовольцев», как Серебряков и в нее же входили Житловский с женой и Вр (Розенбаум?). Таким образом такое практическое объединение уже отчасти совершилось, когда поднялись вопросы, какие же пункты можно считать приемлемыми для всей партии. Все такие переговоры приходилось вести с Гершуни мне и Гоцу.

«Террористический элемент в нашей программе» написал я. Затем мы вместе подвергли ее подробнейшему разбору, причем особенное участие принимал в этом Гершуни. Прежде всего террор, как орудие обороны; затем уже как вывод из этого — его агитационное значение, затем как результат — не столько как цель, но как результат и то лишь при совокупности известных благоприятных для этого условий — его дезорганизирующее значение. Гершуни сказал: «ну, уж теперь хорошо; потел, потел да и выпотел!»

Другая статья, имеющая наибольшую важность — относительно нашей позиции в крестьянстве. Это манифест нашего крестьянского союза ПСР. Эта статья была целиком прислана из России и была плодом коллективного творчества. Мы, со своей стороны, нашли на нее несколько возражений, списались с авторами, нами были внесены только некоторые ре-

дакционные поправки в теоретические построения этой статьи.

«Вестник Русской Революции» все первое время был редактирован Русановым и Рубановичем, только впоследствии вошел в редакцию Гоц. Затем они отказались от редакции и передали ее всецело нам, мотивируя это тем, что мы ближе и точнее выражаем идеи партии и что они более марксисты. Когда редакторами «Вестника Русской Революции» были еще Рубанович и Русанов, там была помещена статья в защиту террора.

К нам долго не доходили письма Гершуни, и мы находились в большом затруднении: акт произошел, Сипягин убит, мы должны немедленно откликнуться, а письма никакого нет. Оказалось, что письмо было перехвачено. Там в России и прокламация вышла, но мы ее не получили. Поэтому, когда вышел № 6 «Революционной России» — он был только что сверстан, когда получилось известие об убийстве Сипягина — то в нем мы поместили только одну заметку и то в очень неопределенном виде, а к выходу 7-го номера уже подоспел сам Гершуни и там уже была совершенно определенная статья по этому поводу.

История партийной программы: спор шел вокруг вопроса о программе-максимум и программе-минимум. Ракитников — за программу-максимум, Чернов — за минимум. Ракитников доказывал, что в «Народной Воле» и в программе других социально-революционных партий — «Пролетариате» и «Польской Социалистической Партии» — программа-максимум и программа-минимум не столь резко разделены друг от друга и как бы вытекают одна из другой. Отсюда он заключил, что возможна и необходима «программа социально-революционного переворота»; разница между программой социально-революционного переворота и обычной программой-минимум заключалась, по мнению Ракитникова, в том, что требования, составляющие обычную программу-минимум, предъявляются к существующему государству, в котором власть еще является чуждой рабочему классу, та же программа-максимум, которой хотел Ракитников, это была программа первоначальных мер, которые, хотя и не осуществляют полного социализма, вполне уничтожают, однако, эксплуатацию. Он приходил к тому теоретическому выводу, что на каждой данной ступени развития производительных сил возможна такая совокупность революционных мер, которые, не осуществляя вполне социалистического

строю, уничтожают эксплуатацию. Первоначально такой проект программы был написан в России и ходил там по группам, но Гершуни, показывая его нам, заметил, что он лично считает этот проект неудовлетворительным, да и в России он не видел большого сочувствия к нему со стороны товарищей. Гершуни предложил нам здесь составить другой проект программы. В это время приехал за границу и Ракитников. История программы вращалась главным образом вокруг вопроса о максимализме и минимализме. Первоначальный проект программы был составлен на основании некоторого компромисса: составилось нечто вроде трехэтажной программы: программа-максимум и программа-минимум и еще что-то, но этот проект в таком виде даже не решились напечатать и послали его в Россию, так как Ракитников твердо стоял на том, что большинство партии стоит на его точке зрения. Мы послали это на рассмотрение местных комитетов и групп и ждали оттуда ответов. Все эти ответы не оставляли сомнений, что промежуточный член программы, эта середина, должна быть непременно выкинута. Таким образом программа и составила в том виде, в каком она была напечатана в № 46 «Революционной России». Во всем этом Азев совершенно никакого участия не принимал, но очень большое участие принимал Гершуни, который стоял на той же точке зрения, на которой стоял я.⁷

Вопрос о крестьянской программе был выработан в России саратовской группой, террористическая статья была написана мною при ближайшем участии в обсуждении плана статьи и даже отдельных формулировок Гершуни, наконец, по рабочему вопросу еще раньше была написана статья тоже мною. Так как рабочей пропаганды у нас в то время почти вовсе не шло, то могу сказать, что эту статью мне приходилось писать главным образом по собственному вдохновению.

Азев и Бабка были за участие в Булыгинской Думе, Чернов и Гоц — против; победила в партии точка зрения бойкота.

(Окончание следует)

⁷ ПРИМЕЧАНИЕ Н. И. РАКИТНИКОВА: На заседаниях и в общих разговорах Гершуни выражался иначе: он говорил, что теоретически он стоит на точке зрения Ракитникова, но по соображениям политической агитации считает необходимой программу-минимум.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В последние годы вопрос о происхождении и развитии русского литературного языка очень деятельно обсуждается как в Советском Союзе, так и за его пределами. Но к бесспорным заключениям это обсуждение так и не привело по нескольким причинам. Во-первых, нет единого понимания термина «литературный язык», в который каждый пытается вложить нужное ему содержание. Во-вторых, несмотря на присутствие в заглавии исследований слова «происхождение», вопрос о происхождении литературного языка чаще всего подменяется вопросом о соотношении церковнославянских и русских элементов в современном литературном языке. В-третьих, как это ни странно, нет единого понимания того, что следует считать «церковнославянизмом». Неудивительно, что столь неясные предпосылки не могут не привести к весьма спорным и расплывчатым заключениям, или, чаще всего, оставить вопрос о происхождении русского литературного языка вообще без ответа. Цель настоящей статьи внести в этот вопрос некоторую ясность.

По-видимому, уже не вызывает сомнений, что первым литературным языком восточных славян (тогда еще не разделенных на русских, украинцев и белоруссов) стал т. н. древнецерковнославянский язык, т. е. то западномакедонское наречие болгарского языка, на которое свв. Кирилл и Мефодий перевели во второй половине 9 века с греческого Новый Завет и некоторые литургические книги. Язык этот, вместе с богослужебными книгами, был принесен в Киевскую и Новгородскую Русь при принятии восточными славянами христианства в конце 10 века. Все предположения о существовании письменности и литературы в дохристианский период основаны лишь на превратно понимаемом патриотизме.

Древнецерковнославянский язык, первоначально лишь

язык церкви, стал в культурных условиях средневековья совершенно естественно также языком богословия, литературы и науки, т. е. литературным языком в широком смысле слова. Конечно, с самого начала, древнецерковнославянские тексты читались в Киеве и Новгороде в местном произношении, что было совершенно естественно, т. к. восточные славяне, разумеется, не имели никакого представления об их македонском или болгарском произношении. Морфологически оба языка — древнецерковнославянский и восточнославянский — были чрезвычайно близки, с почти одинаковым склонением и одинаковой системой глагольных форм. Словарь был тоже одинаковым в своем основном составе и еще очень близким к праславянской эпохе. Лишь в верхнем, абстрактном слое он был несравненно обильнее в древнецерковнославянском языке, обогащенном переводами с греческого; но нельзя сказать, что слова этого верхнего слоя оставались непонятными восточным славянам — они ведь были составлены гл. обр. из привычных общеславянских корней. То же самое можно сказать и о синтаксисе. Поэтому древнецерковнославянский язык и воспринимался в Киевской Руси не как язык чужой, а как свой, только высшего порядка, примерно так же, как русский крестьянин 19 века воспринимал бы, скажем, язык Достоевского.

Эта близость обоих языков должна была неизбежно вести к их сближению и смешению. Действительно, во многих текстах низших литературных жанров Киевского периода, как напр., летописи или паломничества, трудно иногда сказать, на каком языке они написаны — на церковнославянском с примесью восточнославянского или на восточнославянском с примесью церковнославянского (этот измененный древнецерковнославянский язык принято называть, после 12 века, просто церковнославянским). Это постепенное смешение было, однако, приостановлено в самом конце 14 века возрождением церковнославянского языка, известного под очень неточным и спорным названием «второго южнославянского влияния». Толчком к этому возрождению послужила иммиграция в Московскую Русь многих образованных болгар и сербов, бежавших от турецкого завоевания славянских земель на Балканах. Эти иммигранты принесли с собой лучшее знание церковнославянского языка, более утонченную его фразеологию и синтаксис.

Возрождение мертвого культурного языка, каким был

церковнославянский язык, это прежде всего возвращение вспять, к чистым незамутненным истокам. Таким же путем шло в Западной Европе каролингское возрождение латыни на рубеже 8 и 9 веков. Это возвращение к истокам, к более чистой древней традиции неизбежно отдалило церковнославянский язык от разговорной речи. Но не одним возрождением церковнославянского языка можно объяснить расхождение между ним и разговорным языком. В то время как мертвый ц. сл. язык не только сохранил свои позиции, но и ушел вспять, разговорный язык непрерывно развивался в течение четырех веков. Во-первых, восточнославянское единство распалось на три языка — русский, украинский и белорусский. Во-вторых, русский язык, который отныне только и будет нас интересовать, за эти четыре века успел утратить многие древние формы, как аорист и имперфект, двойственное число и стал изменять уже склонение существительных. Таким образом, вместо симбиоза двух чрезвычайно близких языков — древнецерковнославянского и восточнославянского — в Киевском периоде, в 15 и 16 вв. происходит все большее расхождение между церковнославянским и русским языком в Московский период.

Не следует представлять себе, что церковнославянский язык, вернувшись к грамматической первоначальной чистоте, на ней и застыл. Нет, он бурно развивался в своем словаре, фразеологии и синтаксисе. За два века его словарный состав почти удвоился, за счет гл. обр. сложных слов, образованных по древним образцам, большей частью калькированным с греческого. Нет ничего легче чем создавать неологизмы в мертвом языке, вне естественного контроля языка живого. За бурный расцвет церковнославянской литературы в 15-16 вв., за ее золотой век, пришлось заплатить дорогой ценой — разрывом с языком разговорным. Если в Киевской Руси церковнославянский язык еще ощущался как свой язык, только как бы высшего порядка, в Московской Руси это был уже язык чужой, который надо было специально изучать.

Однако, литературный церковнославянский язык противопоставлялся не только языку разговорному. Дело в том, что на этом разговорном языке также писали, т. ч. в Московской Руси существовало при одном разговорном языке два письменных языка — церковнославянский и собственно русский. Если церковнославянский язык был языком литературным, то ка-

ковы были функции чисто русского письменного языка? Это был, во-первых, язык права, что вполне естественно. Еще до принятия христианства у восточных славян несомненно существовало устное обычное право. Поскольку оно было устным, оно естественно пользовалось разговорным языком. После принятия христианства и церковнославянского алфавита, право это было записано в том виде, в каком оно употреблялось, т. е. на разговорном языке. Позже все документы, имевшие юридическое значение, стали вполне последовательно писаться на том же разговорном языке. Постепенно этот язык стал языком городского, княжеского и царского управления, тем, что принято называть деловым, а позже, в 17 веке, и приказным языком. У этого языка, естественно, образовалась со временем уже своя письменная традиция, несколько отделившая и удалившая его от разговорной речи, но никоим образом не сближавшая его с церковнославянским языком: до 18 века язык права и администрации был свободен от ц. сл. влияния.

Таким образом, в Московской Руси сосуществовали бок о бок два письменных языка: церковнославянский, служивший для выражения моральных, эстетических и научных ценностей, и который можно назвать литературным в широком смысле этого слова, и чисто русский, служивший практическим — юридическим и административным — целям, и который можно назвать языком не-литературным. Эта функциональная языковая двойственность является одной из самых характерных черт письменной традиции Московской Руси. Ее не найти, например, в чешском и польском языках, ни в неславянских языках Европы. Причем следует подчеркнуть, что дело идет о двух различных языках, а не о двух стилях одного и того же языка, как это иногда утверждается, особенно в Советском Союзе. Точно так же нужно самым решительным образом протестовать против попыток, частых особенно в Советском Союзе, называть оба языка одним и тем же термином «литературный язык» или «письменный литературный язык».

Рассматривать оба языка лишь как стилистические варианты, это значит либо переносить в Московскую Русь современные условия, либо принимать для русского литературного языка тот же путь развития, как, скажем, для польского или чешского. И та и другая точка зрения не соответствует языковой реальности Московской Руси: они вносят путаницу не

только в терминологию, но в самое представление развития письменного языка в России. Образованные люди допетровской Руси очень хорошо различали оба письменных языка и не ошибались в их употреблении. Правда, само понятие того, что считалось литературой, могло несколько меняться с течением времени, но лишь в деталях. Само собою разумеется, что граница между обоими языками не была непроницаемой, особенно в низших жанрах литературного языка, куда могли проникать русские элементы. Реже церковнославянские слова проникали в деловой язык.

Все же описанное выше двуязычие сохранилось в довольно чистом виде до второй половины 17 века, когда грамматическая система литературного церковнославянского языка подверглась сильной русификации. Причину этого надо искать, по-видимому, в возникновении светской литературы, рассчитанной на более широкий круг читателей, для которой сложная и во многом устаревшая грамматическая система была неудобной обузой. Впрочем, как это ни удивительно, вопрос о русификации церковнославянской морфологии в 17 веке так же мало исследован, как и другие стороны позднего церковнославянского языка. Во всяком случае, во второй половине 17 века создалось положение во многом напоминавшее положение в Киевской Руси: оба письменных языка снова стали очень близкими морфологически и отличались практически лишь в словарном составе и синтаксисе. Как и в Киевской Руси, такое положение вело к неизбежному их смешению, и сто лет, примерно, между 1650 и 1750 гг., были эпохой одновременно и языкового брожения и становления современного русского литературного языка. С этой именно эпохой и связано происхождение современного литературного языка.

Как не отрицалась церковнославянская природа литературного языка древнего периода, так никем не отрицается и присутствие огромного количества церковнославянских слов и выражений в современном русском языке. Причем так же единогласно признается, что произношение этого языка чисто русское, основанное главным образом на московской устной традиции, с небольшими примесями извне. Точно так же и морфология, за немногими исключениями (как, напр., причастия и господство окончания **-а** в род. падеже ед. числа слов мужского рода), признается русской. Как мы уже видели, церков-

нославянское произношение было национализировано с самого начала, морфология — в 17 веке.

Как объяснить смешанный церковнославянско-русский характер словаря, присущий лишь одному русскому литературному языку и не встречающийся в других славянских языках? Обыкновенно отделяются указанием на «слияние» этих языков. Но этот термин ничего не обозначает в лингвистике. Слияния языков не бывает, как не бывает слияния рек: одна река впадает в другую, один язык поглощается другим. Кто же кого поглотил при образовании русского литературного языка в 18 веке? Иными словами, является ли литературный язык славянизированным русским языком или русифицированным церковнославянским? Это не педантизм, а кардинальный вопрос, от того или другого ответа на который зависит вся концепция происхождения русского литературного языка. В Советском Союзе, да часто и за его пределами, вопрос этот не ставится прямо, а говорится все о том же пресловутом «слиянии». Но поскольку церковнославянские элементы литературного языка воспринимаются апологетами «слияния» чаще всего как заимствования, очевидно, молчаливо принимается тезис о русской базе литературного языка, впитавшей в себя церковнославянские слова и выражения.

Защитима ли такая точка зрения? Она косвенно предполагает замену традиционного церковнославянского литературного языка языком русским. Какой же его разновидностью? Едва ли деловым языком, на котором в Московской Руси, как известно, не писались ни литературные, ни научные произведения; еще меньше языком разговорным, вообще не употреблявшимся в письме. Не мог им быть и язык фольклора, оказавшего лишь минимальное влияние на русскую литературу 18 века. И зачем надо было заменять церковнославянский язык русским, если сразу же приходилось наполнять этот русский язык церковнославянскими словами? Но главным недостатком тезиса славянизации русского языка является разрыв многовековой традиции, который из него неизбежно следует. Не проще ли предположить, что церковнославянский литературный язык, не отказываясь от своей старинной традиции, стал проникаться элементами русского языка, будь то деловой, или, что более вероятно, разговорный язык?

В самом деле, русифицировав свою фонетику, как мы ви-

дели, с самого начала в Киевской Руси, и свою морфологию в 17 веке, литературный язык начал интенсивно русифицировать свой словарный состав в 18 веке. Немалым достоинством тезиса о русификации церковнославянского литературного языка является следующая из него непрерывность письменной традиции — от Киевского периода до наших дней.

Результатом русификации церковнославянского литературного языка является смешанный состав основного словаря современного литературного языка. В нем есть слова, которые по причинам фонетическим, морфологическим или историческим следует признать бесспорно церковнославянскими, как напр.: **глава, прах, время, сладкий, облако, прибрежный, равный, вождь, гражданин, пища, просвещать, существо, горящий, ведущий** (как и все причастия наст. вр. действ. залога), **воздух, восстать, собор, современный, юг, юный, единый, болезнь, терзать, восклицать, полководец, землепашец, учитель, крест, проникновение, качество, напутствие, здравоохранение, истребитель, живопись, закон, животное, лев, верблюд.**

С другой стороны, в нем есть слова, которые по тем же причинам следует признать бесспорно русскими, как напр.: **голова, порох, побережье, оболочка, воротник, солод, горожанин, одёжа, рожа, ночь, горячий, летучий, ровный, лодка, сбор, один, олень, урод, ужин, уха, учёба, бомбёжка, озорство, большой, говорить, ручей, лошадь, собака, глаз.**

Наконец, есть третья группа слов, чья форма и история не позволяют зачислить их бесспорно в одну из двух упомянутых групп. Ломоносов очень точно называл их «речениями славенороссийскими», общими обоим языкам и унаследованными ими из праславянского языка. Благодаря крайнему консерватизму славянских языков, их число чрезвычайно велико и включает самые употребительные слова, как напр.: **земля, трава, книга, сила, душа, рука, нога, птица, рыба, дом, гость, снег, пояс, конь, ноготь, стекло, железо, новый, добрый, белый, черный, широкий, близкий, великий, ходить, плакать, терпеть, спать, радоваться, три, третий, четыре, четвертый.** Огромное большинство предлогов и союзов также принадлежат к этой группе.

Если принять тезис о непрерывном развитии русского литературного языка, то слова этого общего «славенороссийского» слоя придется неизбежно признать по существу церковнославянскими, но также и русскими, а не русскими, но также

и церковнославянскими, как это, по-видимому, молчаливо принимается в наше время. Как правило, эти общие слова не привлекают интереса исследователей, чье внимание сосредоточивается почти исключительно на словах бесспорно церковнославянских или бесспорно русских. Между тем, именно этот общий слой и сделал возможным конечное торжество церковнославянского как литературного языка России.

Тезис о непрерывности развития литературного языка в России влечет за собой, таким образом, пересмотр вопроса о месте русской стихии в этом языке. В самом деле, если история литературного языка в России — это история обрусения церковнославянского языка, то приходится говорить уже не о роли церковнославянских элементов в его словарном составе, как это, вопреки своей собственной концепции, делал Шахматов, а о роли русских элементов, постепенно проникавших в этот церковнославянский язык. Нельзя сказать, чтобы этот вопрос не ставился вовсе историками русского литературного языка. Их интересовал, однако, лишь вопрос о проникновении, в сравнительно позднее время, простонародных и просторечных слов и выражений в литературный язык, в исконно русской природе которого они уже не сомневались. Они изучали, например, заимствование из нелитературных слоев языка таких слов, как **взбалмошный, жулик, надо или парень**.

История же таких, напр., слов, как **город, глаза, женщина или лоб**, рассматривалась как успешная борьба против пытавшихся утвердиться в литературном языке их церковнославянских соответствий **град, очи, жена, чело**, а не как русификация этих последних, исконно существовавших в литературном языке. Таким образом, вопрос о том, почему **град** должен был уступить свое место **городу, очи — глазам, жена — женщине, чело — лбу** подменялся вопросом о неуспешном соперничестве в 18 и 19 веках церковнославянских заимствованных слов с исконно русскими.

Обрусение литературного языка шло только отчасти из языка делового: язык этот, хотя и обладал письменной традицией, все же был специализирован и не отвечал тем целям, которые ставила себе бурно развивавшаяся литература 18 века, даже в своих лучших образцах, как напр., описание России, составленное Г. Котошихиным в шестидесятых годах 17 века. Попытки применить деловой язык в литературе, как напр., в

повести о Фроле Скобееве, были скоро оставлены. Как чисто деловой язык, он был заменен в середине 18 века языком литературным. Большая часть русских заимствований приходится на разговорный язык, уже в силу того, что им владели и на нем говорили все, кто брался за перо. Приблизительно до середины 18 века он полностью продолжал традицию Московской Руси. Это был в основе своей крестьянский язык, с заметными географическими, но очень незначительными социальными различиями. Из него в литературу хлынули слова скорее диалектного типа, которые так характерны для русской литературы первой половины 18 века, особенно 30-х и 40-х годов.

Это было время, когда Кантемир и молодой Тредьяковский, следуя преходящей моде, отвернулись от церковнославянского языка. Но Кантемир вскоре умер, и его сочинения, изданные лишь в 1762 году, уже не могли оказать какого-либо влияния на судьбы русского литературного языка. Тредьяковский же довольно быстро вернулся в лоно церковнославянской традиции. Большое количество этих диалектных слов, придававших литературному языку петровского периода колорит неорганической и нестройной смеси, было впоследствии вытеснено церковнославянской традицией литературного языка. С другой стороны, этот традиционный разговорный язык нередко использовался авторами как язык персонажей комедии, по преимуществу отрицательных и, следовательно, мог иметь жанровые функции.

Отношение разговорной речи и литературного языка постоянно менялось в 18 веке. Если литературный язык продолжал в 18 веке свою церковнославянскую традицию, с одной стороны, и не менее традиционную свою русификацию, с другой стороны, то разговорный язык полностью изменил своей традиции. Старый, допетровский разговорный язык еще употреблялся почти в полной мере до середины 18 века. Но во второй половине века область его применения начинает суживаться. Действительно, этот примитивный и в значительной степени диалектный язык не мог больше удовлетворять верхний слой образованного общества, способного уже ценить выработанный и изощренный литературный язык, выросший на церковнославянской основе. К концу 18 века это образованное общество начинает постепенно пользоваться литературным языком как языком разговорным. Само по себе это яв-

ление вполне нормальное на известном этапе культурного развития, и через него прошли все народы Европы; в Англии, напр., этот процесс имел место тоже в 18 веке. Нужно ли говорить, что в России это было новое, и чрезвычайно важное, расширение церковнославянской традиции.

Литературный язык, приняв на себя функции разговорного, оттеснил традиционный разговорный язык на культурную периферию. Тем самым было в большой степени стерто различие между просторечием и диалектами. Это лишило диалекты всякого непосредственного влияния на литературный язык: такое влияние, чтобы укрепиться в литературном языке, должно было сначала пройти сквозь его разговорный, но все же церковнославянский, вариант. Подобные процессы, однако, все же могли происходить и, действительно, происходили, но средостение, образованное новым разговорным языком, лишало их той непосредственности и силы, которая была присуща этим процессам во всех остальных славянских языках, где подобного средостения не было, т. к. разговорная речь в них выросла естественно из диалектной основы.

Не следует представлять себе церковнославянскую основу русского литературного языка исключительно как наследие прошлого. Церковнославянский словарный состав продолжает развиваться и обогащаться по своим собственным законам. Церковнославянские суффиксы многочисленнее и разнообразнее русских, т. ч. словообразование литературного языка автоматически увеличивает не только количество церковнославянских слов, но и их значимость в верхнем слое литературного языка. Особенно легко образуются сложные слова, которыми так богат церковнославянский язык благодаря обильному калькированию греческих сложных слов. Такие слова как **совесть**, **бездна**, **долготерпение** — древнецерковнославянские кальки с греческого, и в русском литературном языке они наследие прошлого. Слова **град** и **хлад** древние церковнославянские слова: первое употребляется только метафорически (**небесный град**), второе уже не употребляется. Но как элементы словосложения они продолжают оставаться живыми и обогащать русский язык, главным образом, специальную терминологию, как напр., **градостроение**, **градостроительство**, **охладитель**, **хладобойня**, **хладостойкий**, **хладнокровный**.

Русский литературный язык продолжает церковнославян-

скую традицию не только в словаре. Сохранил он ее и в синтаксисе. Древнерусский синтаксис, в том виде, в каком он открывается нам в деловом языке, представляет из себя чаще всего сцепление независимых предложений при помощи соединительных союзов **а, и, да** и **под**; реже встречаются элементы относительного и причинного подчинения. Современный синтаксис литературного языка, с его развитой системой сложного подчинения предложений, восходит не к русской, а к церковнославянской традиции, в свою очередь подвергшейся в 18 веке влиянию французских конструкций. К чисто русской традиции восходят в нем, гл. обр., конструкции на уровне словосочетаний. Характерно, что заимствованные французские обороты традиционно облекались в 18 веке не в русскую, а в церковнославянскую форму, как напр. **владеть жалкое существование** (*traîner une misérable existence*), **питать надежду** (*pourrir l'espoir*). То же можно сказать и о многих немецких конструкциях.

Русские писатели покорно приняли церковнославянскую сущность своего литературного языка. Возможно, что они себе просто не отдавали в ней отчета. Кое-кто, впрочем, смутно чувствовал, что на трон, по праву принадлежавший исконно русскому, московскому языку, каким-то образом сел церковнославянский узурпатор. Отдельные, очень немногочисленные писатели пытались ослабить церковнославянскую стихию, обильно уснащая свой язык заимствованиями из крестьянского языка. Так поступал Даль, пользуясь своим собственным собранием народных слов, так же поступают Шолохов и Солженицын, во многом пользуясь словарем того же Даля. К этим диалектизмам можно отнести либо с умилением, либо с раздражением — это дело вкуса. Но в огромном большинстве они остаются диалектизмами или курьезами, просто потому что, начиная с 19 века, русский язык перестал обогащаться за счет диалектов. Впрочем, противникам церковнославянизмов и не нужно обращаться к крестьянской речи или словарю Даля. Они могут пользоваться существующим русским фондом литературного языка, прибавив к нему весь огромный запас слов общих русскому и церковнославянскому языку. Но избегая церковнославянского фонда — старого и нового — они должны сознательно примириться с тематическим снижением, т. к. весь

верхний слой языка, весь его отвлеченный словарь, церковнославянского происхождения.

Более интересна была позиция другого противника церковнославянской традиции литературного языка, А. М. Ремизова. Он искал вдохновения не в крестьянских диалектах и словаре Даля, а в деловом языке Московской Руси. Его проза, тщательно избегающая церковнославянизмов, как словарных, так и синтаксических, неизбежно производит впечатление крайне искусственной и находит мало любителей у широкой публики. Филологу эта проза служит доказательством от противного.

Русский литературный язык явление совершенно единственное и необычное среди языков Европы — славянских и неславянских. Ввезенный в Киевскую Русь из Болгарии в конце 10 века, он за все свое многовековое существование подвергался постоянной русификации, но вместе с тем сохранил свою церковнославянскую традицию. Он дитя двух культур, что дает ему огромные преимущества перед другими однокультурными славянскими языками.

Церковнославянский слой в русском литературном языке охотно сравнивают с французским и латинским слоем английского языка. Действительно, в обоих языках эти слои выполняют очень близкие функции — служить источником отвлеченного и научного словаря. В английском языке, однако, этот слой лишь надстройка над народным англосаксонским разговорным языком, из которого развился современный английский литературный язык. Своеобразие же русского литературного языка, которое его отличает от всех вообще языков Европы, состоит как раз в том, что основа его — церковнославянский язык — никогда не был ни народным, ни разговорным. То, что церковнославянская основа поглотила народный язык, придает структуре русского литературного языка обманчивое сходство со структурой английского. Однако, сходство это результат совершенно противоположного исторического развития в обоих языках. Этот, казалось бы, неоспоримый факт долго не признавался, что и завело историю русского литературного языка в тот тупик, из которого она тщетно старается найти выход.

Как могло случиться, что русский литературный язык оказался единственным из славянских языков, выросших на

церковнославянской почве? Для западнославянских языков — польского, чешского, словацкого, верхне- и нижне-лужицкого, и, из южных, словенского — на этот вопрос ответить нетрудно: западный славянский мир с его католической культурой, если и пользовался в самом начале церковнославянским языком в церкви, то не пользовался им вне ее, и перечисленные литературные языки совершенно естественно выросли из разговорного языка, как и большинство литературных языков западного — славянского и неславянского — мира. Многие из них обязаны своим развитием протестантской Реформации, вообще способствовавшей употреблению народного языка.

Труднее объяснить положение в тех восточных и южных славянских языках — украинском, белорусском, сербском и болгарском — которые были исторически связаны с православной церковью и пользовались церковнославянским языком как языком литературным. И в Сербии и на Украине существовало в средние века то же двуязычие, что и в России: литературным языком был там церковнославянский, а не-литературным, административным — язык народный. Чем же объяснить их последующий отход от церковнославянской традиции?

Образование литературного языка совершенно не связано с природой народного языка: оно зависит исключительно от культурных условий. Русский литературный язык принял свою окончательную форму в 18 веке. Этот рационалистический век относился скорее свысока ко всякому проявлению народности: истинно народным языком в русских комедиях 18 века говорят лишь отрицательные персонажи. Для Ломоносова, напр., было бы просто немыслимо отречься от многовековой церковнославянской традиции в угоду народному языку, к которому он, в лучшем случае, мог относиться с симпатичной снисходительностью.

Современные сербский и украинский литературные языки были оба образованы в 19 веке, в эпоху романтизма с его преклонением перед народной крестьянской культурой, еще не испорченной влиянием космополитического города. Оба эти языка с легкостью и гордостью отбросили церковнославянское наследие и построили свои литературные языки на народной сельской основе. «Тако се говори на селу» (т. е. «Так говорят в деревне»), стало высшим критерием правильности литературного языка и его высшей похвалой в Сербии 19 и 20 века.

Легко себе представить весь абсурдный комизм этой формулы, если бы кто-нибудь из русских писателей 19 века решился применить ее к своему литературному языку. Приблизительно такое же развитие проделали и болгарский и белорусский литературные языки. Конечно, во всех этих литературных языках, выросших на чисто народной основе, были и свои, им одним присущие особенности их развития, но все они несут на себе печать своего времени — национального романтического кипения 19 века, как русский литературный язык несет печать рационалистического просвещения, а польский — печать духа Ренессанса и гуманизма.

Все славянские языки очень близки друг к другу в своей основе — это явление лингвистического порядка — и большинство из них расходятся на своих литературных верхах: это уже явление не лингвистики, а культуры.

В. Унбегаун

О ЦИКЛАХ РУССКОЙ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ

*“— Ну? Как теория циклов?”
А. Солженицын, “В круге первом”.*

Periodos составное слово от peri — вокруг и odos — путь, оно обозначало у древних греков **обход**, **окружность**, **круг** времени в счете годов. Но и у греков и у заимствовавших это слово римлян, да и у нас в русском языке, если погрузиться в глубинный смысл этого слова-понятия «период», — сразу чувствуется и постигается в нем **время**, **пространство** и **деление** чего-то замкнутого в себе. Мы имеем здесь дело с измерением и обlikо-формой.

Литература всякой великой нации есть часть ее культуры, ее зеркало цивилизации и истории. Уже давно историки России — Шлёцер, Щербатов, Татищев, Карамзин, пробовали установить ее исторические периоды.

Так, Шлёцер видел пять основных эпох: 1) с 862 г. до Святополка, 2) с Ярослава Мудрого до монголов, 3) Монгольский (татарский) до Ивана III, 4) с Ивана III до Петра I, 5) с Петра I и Екатерины II.

Н. М. Карамзин в предисловии к своей Истории в 1815 г., намечал: 1) Древний период от Рюрика до Ивана III, 2) Средний с Ивана III до Петра I и 3) Новейший от Петра I до начала 19 века.

Однако, сам же Карамзин не следует за своей схемой-делением. Он намечает в ходе русской истории циклы, связанные с идеей единодержавия и особой триады — Патриотизм, Вера и Этика. Кроме того, читателю его Истории бросается в глаза, что у Карамзина эволюция развития власти опять же имеет, свои циклы: деление Руси, т. е. раздробление княжеств после смерти Владимира Святого; затем попытка объединения при Ярославе Мудром; новое раздробление; татарское иго и Моско-

вия. В самой Московской державе историк изучает эволюцию самодержавия по воле народа и т. п.

Периодизация истории России у С. Соловьева кажется мне еще неопределенной, хотя можно отметить развитие: род, племя, народ, нация. В основном у С. Соловьева заметно разделение на Древнюю, Среднюю и Новую части истории.

Интересна и попытка в 18 веке итальянца Жан-Баттиста Вико. Всю человеческую историю он пробовал разделить по принципу круговоротов. В каждой нации он замечал период юности (боги), молодости (герои) и зрелости (человечность).

К вопросу повторности циклов замкнутых в себе национальных культур, вырождающихся в цивилизации, обратился сперва Н. Данилевский, а потом О. Шпенглер. Оба они полагали, что Россия должна заменить, как молодая нация, доцветающую цивилизацию Запада. Меня в их концепциях всегда интересовало не деление на 11 культурных типов (Данилевский) или понятия о псевдоморфозе и «одновременности» явлений разных культур (Шпенглер), а их упорное желание **найти** циклы и подойти по особому к хронологии в истории, к формам стиля и понятиям о времени, числе, пространстве.

Литература принадлежит к своему народному корню и стволу, имеет рождение, рост, цветение и плоды. Все это входит в область хронологии, отсчета временных отрезков, ибо «время есть число движения», по словам Аристотеля. Но как же мерить и что называть мерой, каковы типы измерений?

В 1967 г. в Вене был конгресс философов стран всего мира, посвященный проблеме измерений. Особенно интересен был доклад (он напечатан) J. Vuilemin: "Mésure, vérification, langage", к некоторым положениям которого я еще вернусь.

С проблемой же циклов связано и ощущение формы исторических событий и катастроф. Это чутко подметил М. Волошин в стихах о революции:

Русь! Встречай роковые години!
Разверзаются снова пучины
Не изжитых тобою скорбей,
И старинное пламя усобиц
Лижет ризы твоих Богородиц
На оградах печерских церквей...
Все, что было повторится ныне
И опять затуманится ширь... и т. д.

Периодизацию русской литературы, да и вообще русской культуры, можно представить себе как фронтоны с еще незавершенным фризом движущихся сплетенных фигур. Вся тяжкая масса фронтона покоится на двух мощных соединенных пилонах, все растущих ввысь; язык — один, литература — другой пилон. Связь их сложного состава. Облики-формы, бытующие во времени, и их отношение к мере и измерению, стоят перед мыслителем и историком. База-основание же для обоих пилонов есть история в ее политическо-культурном аспекте и в аспекте форм цивилизации.

Я полагаю возможным постараться отмерить в истории Руси ее периоды и взглянуть на то, что дает гипотетическая мера своеобразных циклов, каждый несколько более двух столетий. И вот, если мера-цикл в истории подойдет к мере циклов в жизни языка и в литературе (сюда же и письменность) так как обе — письменность древности и литература — суть формы языка, то тогда можно придти к выводам и м. б. даже прогнозам.

Всякая попытка предвидения сталкивается с теорией вероятности. Но и сама теория вероятности теперь не одна, прошло время непогрешимости теории П. С. де Лапласа. Ныне одна теория вероятности у математика Колмогорова и уже иная, у фон Мизеса. Математик и статистик, проф. Принстонского университета Самюэль Стэнли Вилкс хорошо это выразил: "Of the precise meaning of probability there are conflicting views among experts". Может быть, для нас достаточно согласиться на упрощении: вероятность повторения известных феноменов есть относительная частотность, регулярность повторений на достаточной временно-пространственной воображаемой линии.

Людвиг Виттгенштейн сравнивал язык человечества с мерою-меркой. Ж. Виймэн переставил термины и утверждает, что мера, т. е. всякий измеритель есть язык, схожий со всеми основными чертами человеческой речи.

Вообще, если всякое измерение сводит непосредственное наблюдение — восприятие путем наших чувств — к упрощенности совпадений, пространственно-временных и количественных по сути, то они и рациональны в их реализме. Мера, измерение есть язык символов, и только такой язык дает картину физического мира. «Всякая мера обладает своим синтаксисом, своей семантикой и прагматикой». Настоящая значимость в

измерении указывает на ее связь с другой значимостью на основании закона равенства условий. Ошибки же в измерении, по мнению физика Кэмпбелла, могут быть методические и те, которые заключаются в сути отличия реально бытующих величин от измерения.

Наш образ двух колонн и их базиса требует применения в измерении и известного учета обlikо-форм в историческом процессе.

Двинемся от Современности в Прошлое. Сейчас мы живем в периоде партийной, точнее — однопартийной — власти в России и живем уже свыше пятидесяти лет. До нее был Имперский период со столицей нового типа и с равнением, в общей сложности, на Запад. Имперский период длился приблизительно двести лет.

Если от Петра Великого пойдем далее в Прошлое, то около двухсот лет, и мы в 1480-х годах, или в 1480 году официального свержения ига татар при Иване III. Еще двести с лишком лет Московии, и мы на Клязьме во Владимире, в Новгороде эпохи злой татарщины, дани, «числа» и прочего. Само иго татарское длилось около 240 лет. Лет двести от 13 века и попадаем в брани междоусобия по смерти Ярослава Мудрого, мы на поле расцвета совершенно своеобразного русского феодализма. Ряд его форм бессмертно ярко запечатлен в его позднейшей фазе «Словом о полку Игореве». Еще двести лет, или около того, считая от Ярослава, и перед нами времена Аскольдов и Диров, Свендов и Русов — девятый век «норманнов и их гардарик». Далее в прошлое, в седьмой, приблизительно, век, и, если оценка результатов раскопок археологами и труды Б. Рыбакова и его анализ легенд и былин точны, то мы в языческом периоде России, становления племен и городов.

Еще лет двести, и почти полная тьма и для Руси и для славян с редкими проблесками светящихся во тьме мифологических имен богов и богинь. Мы в некоем месиве столкновения племен и народов Европы и Азии.

Язык в его развитии следует за общекультурной и политической историей. Видны как бы звенья в цепи в 200-240 лет. Опять же двинемся вспять от современности. Современность это советский период жизни языка с его ТРЕПЕТУН, НАРКОМПРОС, ЮЖБУМХЛАМ, РУ, ФЗУ, НОТ, ВУЗ, ВТУЗ, с предельным огрубением, с забвением сотен слов из области философии,

религии, с перегружением иноземными терминами. Наступило и обеднение мелодики фразы, многих и злых ошибок в смещении ударений, в нарушении нормативно-стилистических принципов, и все же это новый период. Ушли в Прошлое лет пятьдесят с небольшим, и мы в Серебряном веке завершения классического периода языка, во втором осеннем пышноцветии русского языка.

Двести лет от 1917 г., и мы уже при Петре I и Посошкове, окружены фортециями, парадизами, бомбардами, апрошами и белаграми. Была смутно живая эпоха формирования на свой лад европейски оснащенного языка и для наук и для «комплиментов разных». Тогда, начав с Петра I, особую роль в языке играет художническо-артистическая **личность пишущего**, будь то Ломоносов, Крылов, Карамзин или сам Пушкин. Двести лет или около двухсот двадцати лет — и мы в конце 15-го или в начале 16-го века при Иване Грозном или Василии III-ем, в годы старца Елеазарова монастыря Филофея.

Язык наш еще полон церковнославянизмами, пишут и давно утраченные формы аориста и еще ранее вымершего имперфекта, но русскость вытесняет ненужное и отжившее; и если язык не вполне свой в историографии, «беллетристике», то уже свой — и по-своему звучит — в жизни.

Еще лет двести, и мы в 14 веке, в периоде зарождения Великороссии, ее аканья — **Масквы** и ее области. Через двести лет вспять, и из 14 века мы в двенадцатом столетии. Тогда на территории Руси происходит бурный процесс звуковых изменений в языке и даже в его морфологии. Можно было бы продолжить до 10 века или далее, но и сказанного достаточно для иллюстрации мысли.

Разумеется, всякая периодизация относительна и в истории языка, и в истории форм правления. Возможно, однако, возражение, что теперь поступь Времени, сам ход ряда событий, перемен и т. д. изменился и ускорился. Рост накопления научно-технических знаний, доступность информации растет в геометрической прогрессии, связь одних явлений с другими возрастает.*

Человечество дошло до измерений жизни частиц расщепленного атома равных одной миллиардной доле секунды! Знания

* Сто лет назад во всем мире было только два журнала, вполне посвященных физике, теперь же их более двух тысяч.

и точность в измерении, о которых и не снилось нашим отцам, факт современного развития и публикации результатов. Работают большие группы ученых, объединенных одними-двумя заданиями.

Испанский философ Хосе Ортега и Гассет правильно подметил, что «теперь массы вышли на улицы». Умножаясь и увеличиваясь, масса получает и большую энергию, происходит изменение в соотношении равнодействующих и неравнодействующих сил.

Кроме того литература, как таковая, при всей ее связи с языком и историей данной нации, имеет специфическое развитие. В истории литературы видно сильное влияние иноземных школ, длительное влияние особо важных произведений гениальных писателей и т. п. Все это изменяет направление литературы, ее символы, образы и язык чувств, волевых изъяснений и логической мысли.

На такие утверждения я могу заметить следующее: нация есть организм, нация не конгломерат, а индивидуальность, и не так-то легко изменить в жизни ли человека или определенного вида дерева, периоды вытягивания и потолстения. Трудно разорвать «цепь», не разрушаются быстро обlikо-формы и их своеобразный ритм жизни. Литературные периоды имеют прямую связь с циклами-периодами истории данной нации. Циклы около 200-240 лет заметны и в других областях культуры. Как ни молода русская национальная философия на европейский лад, но и ее имперское бытие около двухсот лет, считая с 18 века от Г. С. Сковороды. И тематика русской философии с ее уклоном к эсхатологизму, религиозно-этическая, как и литературы. Так оценивали русскую философию Н. Лосский, В. Зеньковский и С. Франк. Так относился к нашей философии и П. Флоренский («Столп и утверждение истины», 1914). Полное же оформление русской философии охватывает цикл около 200 лет.

И русская литература до коммунистического периода жила двести приблизительно лет, и т. наз. древний период связан с теми же циклами, что я наметил в истории русского языка. Хочется отметить русское своеобразие великих произведений во всех циклах. Свообразие, нечто особое, свое и в области структуры, размаха и в области идей, а литературу ни от вопросов формы (структуры), ни от идейной насыщенности оторвать нельзя. Эти особенности заметили и мы, русские, и,

независимо от нас, иностранцы. Делалось это и как упрек, и как похвала. Я не говорю здесь о мнениях таких философов как 'О. Шпенглер. Он заметил, что грядет «тысячелетие Достоевского», пророка новой Духовной России.

Я думаю сейчас о простых литературно образованных критиках. Так, большой ценитель И. Тургенева, по крови и воспитанию англичанин, Генри Джеймс, в начале 20 века считал «Войну и мир», «Анну Каренину» и ряд великих романов Достоевского за «растекшийся пуддинг да растрепанные мешковатые чудища». И тут же сравните с этим отзыв Томаса Манна: «Я без колебаний назвал «Анну Каренину» величайшим социальным романом во всей мировой литературе». А до Томаса Манна крупный английский критик, эссеист и поэт — Мэтью Арнольд — указывал, что «от французов слава великих романов перешла сперва в Англию, но теперь она в России» (сказано в конце 19 в.).

Лев Толстой отлично чувствовал особенности русского романа, начиная с Пушкина. В статье о «Войне и мире» и позднее в письме к Н. Страхову Толстой подчеркивает отличия русской версии романа и ее отступления от европейской формы романа. Таковы «Мертвые души», «Записки из мертвого дома», «Война и мир», «Записки охотника». По мнению писателя, у нас нет ни одного художественного произведения, выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или даже повести.

Конечно, это преувеличение, вспомним романы И. Гончарова, ряд романов и повестей И. Тургенева и многое другое, но мысль, в основном, верная. Наши значительнейшие произведения литературы отличает в области идей чаще всего следующее: 1) анализ религиозных и социальных проблем (даже в древней летописи, см. о св. Владимире, о Борисе и Глебе) под знаком вечности и Красоты; 2) обостренная чуткость к связи эстетики с этикой («Слово о Законе и Благодати», старчество, идеи Гоголя, Достоевского, Толстого, Лескова и др.); 3) стремление в литературе к так наз. иерархическому анализу строения души человека; 4) проповедническая направленность.

Все эти соображения не исключают борьбу Севера с Югом и обычную в истории победу Севера над Югом, столкновение центробежных и центростремительных сил в политике и духовной жизни нации. Существовали и существуют различия в пе-

риодах в их понимании Власти, Веры, Права и Нации. В каждом почти периоде наличествует и своеобразие в типах героев: вождь, каган, князь, святой-воин, просветитель, революционер и т. п. Сами формы национально окрашенной святости не одинаковы (светлая и мрачная форма аскезы). Но во всех периодах нашей истории видны и общие идеи.

Думается, особо важных их шесть: 1) Идея общей Судьбы у нации, чувство кровной связи, 2) Тяготение к обще-единой Власти для Право-Справедливости, 3) Стремление к экспансии: государство непрерывно почти растет свыше 600 лет! Очень интересен плач о перерыве в XIII веке этого роста в «Слове о погибели Русския Земли», 4) Идея одного Божьего Неба и под его шатром единой Церкви милосердия, 5) Идеи Социально-соборного порядка, связанные с религией или псевдо-религией, 6) Идеи Общего дела великих размеров — от Третьего Рима до «Общего дела» Н. Федорова.

Но можно ли мерить идеи в хронологических отрезках времени? Мерить их нельзя, но измерять возможно их облики мерою символов. Символ же есть тоже своеобразная мера, будь он в математике или даже в языке. Не был ли прав романтик П. С. Балланш — «чтоб поднять завесу истории, надо расшифровать ее символы».

В архитектуре мы мерим формой и символом. В истории, в литературе, может статься, мы можем измерять символами и хронологическими отрезками-периодами. Хронологические отрезки связаны с символами-формами. И если наши циклы не совпадают с ритмом развития других народов Западной Европы и Востока, если и наш феодализм совсем иной, чем на Западе и Ближнем Востоке, то почему и все циклы в литературе не могут быть особыми? Должны они быть особыми уже и потому, что чувства и понятия Времени и Пространства в нашей древней письменности и в литературе свои, со своими символами, как и свое понятие о Судьбе.

Судьба же есть Нечто обрученное со Временем, Характером нации и Пространством навеки. Сколь особо русское Время и Пространство в «Слове о полку Игореве», а через семь веков они опять особо русские и в «Войне и мире». Уже давно Марсель Пруст эту особенность Времени и Пространства отметил у Л. Толстого, а позднее, видимо, и не зная о мнении Пруста, об этом же писали и русские и англичане (Р. Кристиан).

На обложке «Бюллетеня атомных ученых» уже свыше двадцати лет изображаются часы, символически указывающие приближение часа всеразрушения в атомной войне будущего. В 1968 году стрелка была «без восьми полночь», без восьми, а потом уже нет возврата. Случится ли этот катаклизм, никто не знает. Будет ли у других время проверить циклы? Осуществится ли начатый цикл?

Р. Плетнев

ЛЕНИН И ЦК В ОКТЯБРЬСКОМ ПЕРЕВОРОТЕ

Ленин, опираясь на Троцкого (Ленин: «Троцкий был за бойкот. Браво, т. Троцкий!»), добился первого и очень серьезного тактического успеха: заседание ЦК от 5 октября 1917 г. выносит постановление всеми голосами против одного (вероятно, Каменев) уйти из Предпарламента в первый же день открытия его сессии, огласив там соответствующую декларацию (Протоколы ЦК РСДРП(б), стр. 76). 7 октября 1917 г. большевицкая фракция, в соответствии с этим требованием ЦК, покинула Предпарламент, огласив мотивированную декларацию. Декларация содержит общеизвестные требования большевиков о власти (Советов), земле, мире и т. д. Подтекст декларации яснее ее текста — это бойкот демократии и ставка на установление диктатуры через вооруженное восстание.

Того же 7 октября Ленин по специальному решению ЦК от 3 октября 1917 г. (Протоколы ЦК, стр. 74) возвращается из своего финляндского подполья в Петроград, чтобы, как сказано в протоколе, «была возможной постоянная и тесная связь» (там же, стр. 74). Отныне Ленин берет на себя непосредственное руководство над ЦК. Теперь он имеет возможность встречаться с каждым из членов ЦК и ПК. Его информация тоже стала полнее. Ленин на всякий случай снял бороду и усы, надел грим, сделав себе через ЦК и через большевика Смильгу (председатель областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии) удостоверение на имя рабочего Константина Петровича Иванова (Ленин, т. 34, стр. 268). На имя Иванова был выписан Ленину пропуск и в Смольный институт, где находился легальный большевицкий центр. Хотя Ленин и говорил, что ему нужно фальшивое удостоверение «на всякий случай,

Мы печатаем главу из новой работы А. Авторханова «Ленин и ЦК». РЕД.

ибо возможен и «конфликт» и «встреча» (там же, стр. 268), но надобность в этом едва ли была. Временное правительство давно не ищет Ленина, а ЦК партии еще 6 сентября предложил Ленину и Зиновьеву (Протоколы ЦК, стр. 74) в случае их согласия поставить перед ЦИК Советов вопрос об освобождении их от преследования под залог (под залог был освобожден и Троцкий 4 сентября 1917 г.). Однако, Ленин предпочел оставаться «нелегальным».

Через три дня после возвращения Ленина — 10 октября 1917 г. происходит с его участием то историческое заседание ЦК, на котором был, наконец, поставлен вопрос о восстании. Это заседание происходило на квартире редактора газеты М. Горького «Новая жизнь» меньшевика-интернационалиста Н. Суханова. Как это случилось, что квартира противника октябрьского переворота Суханова оказалась местом исторического заседания ЦК большевиков, Суханов объясняет так: «Собрался полностью большевицкий партийный ЦК... О, новые шутки веселой музы истории! Это верховное и решительное заседание состоялось у меня на квартире, на Карповке (32, кв. 31). Но все это было без моего ведома. Я по-прежнему очень часто заночевывал где-нибудь вблизи редакции или Смольного, то есть верст восемь от Карповки. На этот раз к моей ночевке вне дома были приняты особые меры: по крайней мере, жена моя точно осведомилась о моих намерениях и дала мне дружеский, бескорыстный совет — не утруждать себя после трудов дальнейшим путешествием. Во всяком случае высокое собрание было совершенно гарантировано от моего нашествия...» (Н. Суханов, Записки о революции, кн. 7-я, 1923, стр. 33). Ленин явился на собрание в парике с упомянутым удостоверением на имя Иванова, а Зиновьев явился с бородой, но без шевелюры, тоже с фальшивым удостоверением (Зиновьев, как упоминалось, без особого риска уже с сентября месяца участвовал на заседаниях ЦК, его даже хотели легализовать под залог, но ЦК не соглашался оторвать его от Ленина).

Суханов допускает одну ошибку и одно упущение в своем изложении. Упущение в том, что он не говорит, что жена его Г. К. Суханова-Флаксерман была членом большевистской партии и сотрудником Секретариата ЦК партии большевиков (История КПСС, т. 3, кн. 1, стр. 301). Официальный историк замечает, что именно то обстоятельство, что Флаксерман была женой

Суханова делало квартиру Суханова «весьма удобной с точки зрения конспирации» (там же, стр. 301).

Ошибка же Суханова заключается в том, что он думал, что собрался весь состав ЦК. Между тем протоколы ЦК, опубликованные позже мемуаров Суханова, показывают следующую картину: на решающем заседании ЦК от 10 октября 1917 г. присутствовало только 50% всех членов ЦК. Как мы видели, на шестом съезде был избран 21 член ЦК и потом в члены ЦК были переведены три человека из кандидатов ЦК. Таким образом членский состав ЦК поднялся до 24 человек. Протокол заседания ЦК перечисляет присутствующих в следующем порядке: Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Свердлов, Урицкий, Дзержинский, Коллонтай, Бубнов, Сокольников, Ломов (Опшонов). Как обычно, председательствует Свердлов, которого Троцкий называет «Генеральным секретарем Октябрьской революции» (Свердлов был фактическим первым секретарем ЦК и руководителем всей партийной иерархии). Повестка дня заседания вовсе не кажется «исторической». Вот она: 1) Румынский фронт, 2) Литовцы, 3) Минский и Северный фронт, 4) Текущий момент, 5) Областной съезд, 6) Вывод войск.

Все эти практические и тактические вопросы сформулированы нарочито так, чтобы вернее завуалировать главный и решающий вопрос о судьбе всей революции — четвертый вопрос о текущем моменте. По этому-то вопросу с докладом и выступил Ленин. Он теперь имел возможность лично изложить свои аргументы за восстание. Его основная мысль: политически восстание давно назрело, но в партии «с начала сентября замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании... Это недопустимо... Вопрос стоит очень остро и решительный момент близок... Абсентеизм и равнодушие масс можно объяснить тем, что массы утомились от слов и резолюций... Политическое дело совершенно созрело для перехода власти... Надо говорить о технической стороне. В этом все дело. Между тем мы, вслед за оборонцами, склонны систематическую подготовку восстания считать чем-то вроде политического греха. Ждать до Учредительного собрания, которое явно будет не с нами, бессмысленно» (Протоколы ЦК, стр. 84-85).

В прениях выступили только три человека и то не по принципиальному вопросу о восстании, а с информацией о

состоянии дел на местах (Ломов, Урицкий, Свердлов). Голосует предложенная Лениным резолюция о том, что вся внешняя и внутренняя обстановка «ставит на очередь дня вооруженное восстание. Признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководствоваться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы» (там же, стр. 85-86). За резолюцию голосуют 10 человек, против два (Каменев и Зиновьев).

Таким образом, решение о большевицком восстании было принято меньшинством ЦК (10 за, 2 против, 12 отсутствовало). Из отсутствующих важных членов ЦК два — Рыков и Ногин (председатель Московского Совета) определенно были на стороне голосовавших против, к ним примыкал и другой видный член ЦК Милютин (см. Л. Троцкий, цит. соч., стр. 612). На этом же заседании Дзержинский предложил «создать для политического руководства на ближайшее время Политическое Бюро из членов ЦК». В протоколе сказано, что такое Бюро создано из семи человек: Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Сокольников и Бубнов (там же, стр. 86).

Л. Троцкий говорит, что это Политбюро оказалось не жизнеспособным и ни разу не собралось в указанном составе (Троцкий, «История русской революции» (немец. изд.), стр. 616). На заседании не был записан срок начала восстания, но Троцкий пишет, что устно было условлено, восстание начнется 15 октября (Сталин это оспаривал, говоря, что октябрьское восстание произошло именно тогда, когда оно было назначено — 25 октября) (Л. Троцкий, там же, стр. 616).

Один очень характерный и существенный момент в резолюции: почему надо спешить с восстанием, резолюция ЦК перечисляет благоприятные предпосылки, называет и одну отрицательную предпосылку, могущую сорвать восстание. В резолюции об этом сказано так: «угроза мира империалистов с целью удушения революции в России» (Протоколы ЦК, стр. 86). Эта «угроза мира» дополнялась другой угрозой — предполагаемым предоставлением земли крестьянам, над проектом которого работали и ЦИК Советов и Временное Правительство. А эти вопросы — мир и земля — как раз и были теми двумя китами, на которых строилась вся стратегия захвата власти большевиками.

На второй день после решения ЦК о восстании Зиновьев и Каменев обратились к «Петроградскому, Московскому областному, Финляндскому областному комитетам РСДРП, большевицкой фракции ЦИК, Петроградскому Исполкому Советов, большевицкой фракции съезда Советов Северной области» с заявлением против восстания. Они писали: «Говорят: 1) за нас уже большинство народа в России и 2) за нас большинство международного пролетариата. Увы! — ни то, ни другое неверно, и в этом все дело» (там же, стр. 88).

Заявление Зиновьева и Каменева не имело практического последствия. Большевицкая машина восстания начала работать методически и систематически. Меньшевики и эсеры, не желая того, сами способствовали созданию весьма важного, быть может, решающего легального органа этой машины — Военно-революционного комитета. Еще за день до заседания ЦК — 9 октября происходило заседание Петроградского Совета, в котором сейчас большевики были в большинстве. На этом заседании говорилось о необходимости создания, во-первых, контроля над действиями Петроградского военного штаба (который обвиняли, что он хочет вывести революционный гарнизон из Петрограда), во-вторых, об организации такого органа, который бы мобилизовал население для обороны Петрограда — Комитета революционной обороны. Меньшевики и эсеры сначала были против этого, но потом сами внесли предложения, которые гласили: 1) создать при командующем войсками Петроградского округа «коллегию» из представителей Совета и всякий вывод той или иной части войск может быть произведен только с согласия этой «коллегии», 2) чистить командный состав от правых, 3) создать комитет революционной обороны Петрограда. Большевицкий Исполком Советов весьма охотно принял эти предложения (за 13, против — 12) (Н. Суханов, цит. соч., стр. 38). В тот же день состоялся пленум Совета, на котором нашли, что предложения меньшевиков и эсеров недостаточно радикальны. Пленум Совета записал, что власть должна перейти в руки Советов, что же касается «революционного комитета обороны» Петрограда, то он должен быть создан, который «сосредоточил бы в своих руках все данные, относящиеся к защите Петрограда и подступов к нему» (из резолюции).

Так была подготовлена при участии меньшевиков и эсеров

почва для создания легального органа восстания — Военно-революционного комитета. Он был официально создан 12 октября. Что речь идет об органе восстания знали только большевицкие члены Совета, его меньшевицкие и эсеровские члены полагали, что создается по существу тот орган, который они же сами предложили. Большевики и Троцкий в особенности делали все возможное и невозможное, чтобы укрепить их в этом заблуждении. Даже в постановлении о задачах комитета большевики сумели ловко замаскировать его истинную цель. Однако, надо было быть очень наивным, чтобы не видеть этой истинной цели создаваемого органа. В самом деле, вот что говорилось в постановлении Исполкома: «Ближайшими задачами Военно-революционного комитета являются: определение боевой силы и вспомогательных средств, необходимых для обороны столицы; затем учет и регистрация личного состава гарнизона Петрограда и его окрестностей, а равно и учет предметов снаряжения и продовольствия, разработка плана работ по обороне города, меры по охране его от погромов и дезертирства, поддержание в рабочих массах и солдатах революционной дисциплины. При Военно-революционном комитете организуется гарнизонное совещание, куда входят представители частей всех родов оружия. Гарнизонное совещание будет органом, содействующим Военно-революционному комитету в проведении его мероприятий, информирующим его о положении дел на местах и поддерживающим тесную связь между комитетом и частями» (Н. Суханов, там же, стр. 40-41).

Во главе Военно-революционного комитета был поставлен левый эсер П. Е. Лазимир, который, разумеется, не знал, что он возглавляет легальный штаб восстания ЦК партии большевиков! Зато он был окружен большевиками, которые знали в чем дело: это сам Троцкий, потом товарищ председателя Подвойский (накануне переворота он и юридически заменил Лазимира), секретарь комитета Антонов-Овсеенко, члены — Невский, Юренев, Мехоношин (меньшевики и правые эсеры отказались войти в этот комитет). Большевицкие конспираторы так хорошо организовали свой комитет, что создали при нем отличные вспомогательные службы. Таковыми были отделы комитета: 1) обороны, 2) снабжения, 3) связи, 4) информации, 5) рабочей милиции, 6) донесений, 7) комендатуры (Суханов, там же, стр. 41). Комитет прочно опирался на гарнизон в 150 тыс. солдат (История КПСС, там же, стр. 314).

Словом, Ленин, став теперь «оборонцем» больше, чем сам Керенский, создал легально-нелегальную власть над Петроградом почти за две недели до того, как он захватил власть над всей страной. В этих условиях поражала бездеятельность Временного Правительства.

Второе заседание ЦК, посвященное вооруженному восстанию, состоялось 16 октября (29 октября) 1917 г. (если, как Троцкий утверждает, вооруженное восстание было назначено на 15 октября, то этот срок был пропущен). На этот раз заседание было расширенное — ЦК заседал совместно с ответственными руководителями Исполнительной комиссии (бюро) Петроградского комитета, Военной организации, Петроградского Совета, Профессиональных союзов, железнодорожников, Петроградского окружного комитета.

Протокол не перечисляет фамилий присутствовавших, но из голосования видно, что присутствовало 25 человек, в том числе члены ЦК Ленин, Свердлов, Зиновьев, Каменев, Сокольников, Сталин, Скрыпник, Иоффе, Милютин, Дзержинский. Л. Троцкий на этом заседании не участвовал, так как руководил пленумом Петроградского Совета, на котором того же 16 октября утверждался Военно-революционный комитет. Расширенное заседание происходило на окраине Петрограда, в помещении Лесновско-Удельнинской районной думы, которая находилась в руках большевиков (председателем ее был М. И. Калинин) (История КПСС, там же, стр. 306).

На этом заседании Ленин обосновал решение 10 октября о восстании, а представители ЦК и названных выше организаций докладывали о том, как и насколько успешно идет техническая подготовка восстания. Тут в Генеральном штабе партии трезво, деловито и без всякого ложного пафоса взвешивались все плюсы и минусы происходящей подготовки. Конечно, раздавались и пессимистические нотки неверия в успех дела, но они тонули в хоре убежденных сторонников восстания.

Ленин принципиально нового ничего не сказал. Он только заметил, что сейчас стоит дилемма — либо новая корниловщина, либо власть большевиков. Он сказал, что масса требует от большевиков не слов, а дел «в борьбе с войной и в борьбе с разрухой»; Ленин пожелал сначала выслушать доклады с мест и из большевицких центров, прежде чем делать дальнейшие выводы. При этом он многозначительно добавил: «Настроением массы руководствоваться невозможно, ибо оно из-

менчиво и не поддается учету» (Протоколы ЦК, страница 94).

Свердлов, председательствовавший и на этом заседании, доложил, что партия выросла до 400 тыс. человек (данные эти оказались преувеличенными), растет влияние большевиков в Советах, а также в армии и во флоте.

Руководитель Петроградского комитета партии Бокий доложил о положении дел по районам столицы:

Васильевский остров — боевого настроения нет, но боевая подготовка ведется, **Выборгский район** — готовится к восстанию и образован Военный Совет, **1-ый городской район** — Красная гвардия есть, но настроение трудно учесть, **2-ой городской район** — настроение лучше, **Московский район** — выйдут по призыву Совета, но не партии, **Нарвский район** — стремления выступить нет, но авторитет партии не падает, **Невский район** — за Советом пойдут все, **Охтенский район** — дело плохо, **Петербургский район** — настроение выжидательное, **Рождественский район** — то же самое, **Пороховский район** — настроение в пользу большевиков улучшилось, **Шлиссельбург** — настроение в пользу большевиков.

Крыленко, докладывая от Бюро Военной организации ЦК, заявил, что у них в Бюро расхождения в оценке положения в гарнизоне, но что он лично думает, что настроение в полках «поголовно наше».

Представитель Петроградской окружной организации Степанов заявил, что в округе «настроение боевое, готовятся к выступлению», большинство гарнизонов большевистское. Володарский от имени Петроградского Совета заявил, что «на улице никто не рвется, но по призыву Совета все явятся». Представитель профсоюзов (500 тыс. чел.) Шмидт сказал, что «влияние нашей партии преобладающее... Требуют всей власти Советам». Представитель союза металлистов Шляпников (бывший член ЦК) заметил, что у них влияние большевиков преобладает, но «большевистское выступление не является популярным; слухи об этом даже вызвали панику». Скрыпник от фабрично-заводских комитетов констатирует, что люди хотят, чтобы от слов перешли к делу; руководители отстали от масс. Шмидт дополнительно говорит, что петроградские и московские железнодорожные узлы ближе к большевикам; почтовики — низшие служащие — большевики. Свердлов дополнительно информирует, что в Москве в связи с резолюцией ЦК предприняты шаги для вы-

яснения положения о возможности восстания (Протоколы ЦК, стр. 93-97).

На основе этих информационных докладов о подготовке к восстанию развернулись прения «О текущем моменте». В прениях выступили 21 человек, некоторые выступили по несколько раз. Милютин и Шотман заявили, что партия к восстанию не готова и выступать сейчас рано. Скалов заявил, что до созыва II съезда Советов нельзя устраивать восстание, но на съезде нужно взять власть. Володарский тоже считал, что вопрос о взятии власти надо решать на II съезде. Пессимистически был настроен и Г. И. Бокий. Зиновьев и Каменев повторили свою старую точку зрения и решительно выступили против восстания, по крайней мере, в ближайшие дни. Зиновьев говорил: «Мы должны сказать себе прямо, что в ближайшие пять дней мы не устраиваем восстания». Каменев говорил, что с принятия резолюции прошла неделя и ничего не сделано для восстания. Вывод этой недели — «данных для восстания у нас нет». В другой речи Каменев косвенно подтвердил указание Троцкого, что восстание было назначено на 15 октября. Каменев сказал: «Раньше говорили, что выступление должно быть до 20, а теперь говорят о курсе на революцию... Назначение восстания есть авантюризм». Сталин, возражая Каменеву и Зиновьеву, заявил, что их выжидательная тактика с восстанием только помогает контрреволюции organizоваться, но «день восстания должен быть целесообразен». Все другие ораторы тоже поддержали курс на немедленное восстание.

После прений на голосование были внесены две резолюции: 1) резолюция Ленина: «Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК, призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленной подготовке вооруженного восстания, к поддержке создаваемого для этого Центральным Комитетом центра и выражает полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления»; 2) резолюция Зиновьева: «Не откладывая разведочных, подготовительных шагов, считать, что никакие выступления впредь до совещания с большевицкой частью съезда Советов — недопустимы».

За резолюцию Ленина голосовало: за — 19, против — 2, воздержалось — 4. За резолюцию Зиновьева голосовало: за —

6, против — 15, воздержалось — 3 (Протоколы ЦК, стр. 97-104).

Самым чудовищным преступлением в большевицкой партии считается нарушение дисциплины партии безотносительно к тому, какие бы веские аргументы ее нарушитель ни приводил. При этом, чем выше стоит в иерархии партии нарушитель дисциплины, тем больше ответственности. Поэтому даже Ленин, когда он оказывался в высшем органе партии в меньшинстве, вел закрытую полемику, но никогда открыто не выступал против решения большевицкого ЦК. Если случалось, что Ленин намеревался нарушить этот принцип дисциплины, то он угрожал выходом из ЦК, чтобы как рядовой член партии получить свободу действия против ЦК и неугодных ему решений.

Каменев и Зиновьев, голосовавшие 10 и 16 октября против восстания, нарушили этот железный закон большевицкой дисциплины, выступив в непартийной газете «Новая жизнь» (орган Горького и Суханова) против решения ЦК, будучи его членами. Каменев 18 октября писал: «Не только я и т. Зиновьев, но и ряд товарищей-практиков находят, что взять на себя инициативу вооруженного восстания в настоящий момент, при данном соотношении общественных сил, независимо и за несколько дней до созыва съезда Советов, было бы недопустимым, гибельным для пролетариата и революции шагом» (Протоколы ЦК, стр. 116).

Это выступление вызвало у Ленина взрыв возмущения. До глубины души, видно, возмутили Ленина и выступления в ЦК Каменева и Зиновьева. Ленин писал в ЦК: «Зиновьев имеет бесстыдство утверждать, что «партия не опрошена» и что такие вопросы (восстание), не решаются десятью человеками» или: «Каменев бесстыдно кричал: «ЦК провалился, ибо за неделю ничего не сделано» (опровергнуть я не мог, ибо сказать, что именно сделано нельзя)» и Ленин категорически потребовал от ЦК: «Каменев и Зиновьев выдали Родзянко и Керенскому решение ЦК своей партии о вооруженном восстании... Ответ на это может и должен быть один: немедленное решение ЦК: — ЦК исключает обоих из партии». Ленин добавляет: «Мне нелегко писать про бывших близких товарищей, но колебания здесь я считал бы преступлением... Изменником может стать лишь свой человек» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 424-426).

Это письмо Ленина в ЦК, датированное 19 октября, не

произвело особого впечатления не только на Зиновьева и Каменева, но даже и на ЦК в целом. Правда, Каменев еще 16 октября (за три дня до письма Ленина) в ответ на новое решение ЦК о восстании подал заявление о выходе из ЦК, но оно еще не рассматривалось.

20 октября происходит новое заседание ЦК. Присутствуют — Троцкий, Сталин, Сокольников, Дзержинский, Урицкий, Иоффе, Свердлов, Милютин, Коллонтай. Отсутствуют Ленин, Каменев и Зиновьев. Но обсуждается как раз заявление Ленина о Каменеве и Зиновьеве. Вот некоторые интересные выдержки из прений:

Свердлов: «ЦК не имеет права исключать из партии... Отставка Каменева должна быть принята».

Сталин: «Предложение Ленина должно быть разрешено на пленуме, и предлагает в данный момент не решать».

Милютин: «Присоединяется к мнению т. Сталина, но доказывает, что вообще ничего особенного не произошло».

Троцкий: «Считает, что отставка Каменева должна быть принята».

Сталин (второй раз): «Считает, что Каменев и Зиновьев подчинятся решениям ЦК... Считает, что исключение из партии не рецепт, предлагает оставить в ЦК».

В результате прений предложение Ленина об исключении Каменева и Зиновьева из партии отклоняется, но отставка Каменева, как члена ЦК, принимается (за — 5, против — 3) (Протоколы ЦК, стр. 106-107). Однако, и это решение об отставке Каменева было потом пересмотрено. На последнем заседании ЦК перед переворотом 24 октября 1917 г. Каменев принимает руководящее участие (там же, стр. 119).

Активная защита Сталиным Каменева и Зиновьева против Ленина выявилась не только в выступлениях Сталина на заседаниях ЦК, но и в том, что он в ЦО партии «Рабочий путь» без ведома своего соредактора Сокольникова поместил, во-первых, письмо в редакцию Зиновьева, в котором Зиновьев говорит, что «действительные мои взгляды по спорному вопросу очень далеки от тех, которые оспаривает т. Ленин» и предлагал «отложить наш спор до более благоприятных обстоятельств»; во-вторых, Сталин сделал к этому заявлению следующее явно антиленинское примечание от редакции: «Мы в свою очередь выражаем надежду, что сделанным заявлением т. Зиновьева (а

также заявлением т. Каменева в Совете) вопрос можно считать исчерпанным. Резкость тона статьи Ленина не меняет того, что в основном мы остаемся единомышленниками» (там же, стр. 114, 115). Когда на заседаниях ЦК от 20 октября выяснилось, что Сталин действовал самочинно, а его соредактор Сокольников это действие считал ошибочным, как и Ленин, то Сталин заявил о своем выходе из редакции, но ЦК отставки его не принял (там же, стр. 108).

Газеты Петрограда были полны сведений о предстоящем восстании большевиков. Не только из выступления Каменева и Зиновьева, но из самих статей Ленина в «Рабочем пути» было совершенно ясно видно, что восстание — дело решенное, гадают только о сроке — когда же оно назначено? Максим Горький, который был так близок к Ленину, 18 октября выступил в «Новой жизни» со статьей «Нельзя молчать!» Он писал, что «все настойчивее распространяются слухи о выступлении большевиков». Он предупреждал против повторения «отвратительных сцен 3-5 июля». Горький писал: «Ложью политики — люди будут убивать друг друга, не умея уничтожить своей звериной глупости». Он предлагал ЦК большевиков опровергнуть слухи о восстании, если этот ЦК не стал «орудием в руках бесстыднейших авантюристов или обезумевших фанатиков» (Н. Суханов, Записки о революции, кн. 7-я, стр. 46-47). «Обезумевшим фанатиком» Горький считал Ленина.

Между тем политическая и особенно техническая подготовка восстания шла на всех парах. 21 октября большевики созвали собрание полковых и ротных комитетов всех частей армии и флота столицы. На собрании доклад о «текущем моменте» сделал Троцкий. Результат: «21 октября Петербургский гарнизон окончательно признал единственной властью Совет, а непосредственным начальствующим органом Военно-революционный комитет» (Суханов, там же, стр. 86). Свидетель Суханов утверждает: «Уже 21 октября Временное Правительство было низвергнуто, и его не существовало на территории столицы...» (там же, стр. 95). 22 октября Петроградский Совет документально подтвердил, что властью в столице является не Керенский, а Троцкий. В этот день Совет разослал по всем частям гарнизона телефонограмму, в которой говорилось: Никакие распоряжения по гарнизону, не подписанные Военно-

революционным комитетом, не действительны» (там же, стр. 101).

Одновременно Военно-революционный комитет выпускает прокламацию к населению Петрограда: «В интересах защиты революции... нами назначены комиссары при воинских частях и особо важных пунктах столицы и ее окрестностей. Приказы и распоряжения, распространяющиеся на эти пункты, подлежат исполнению лишь по утверждению их уполномоченными нами комиссарами. Комиссары, как представители Совета, неприкосновенны» (там же, стр. 109). Это уже было начало открытого восстания, руководимого из комнаты 18 Смольного института (где помещалась большевистская фракция Совета). Почему же в этих условиях бездействовало правительство? Может быть, надо было много сил, чтобы изолировать обитателей комнаты 18? Суханов уверенно свидетельствует: «Хороший отряд в пятьсот человек был совершенно достаточен, чтобы ликвидировать Смольный со всем его содержанием» (там же, стр. 109). У Временного Правительства, однако, не только не было воли к власти, но даже воли к жизни. Даже его вернейшая опора — Петропавловская крепость, которая отказалась принять и признать комиссара Троцкого, после доклада Троцкого на собрании гарнизона перешла на сторону большевиков. Гарнизон Петроп. крепости почти единогласно принял резолюцию о советской власти и о своей готовности восстать против правительства. В крепости было около 100 тыс. винтовок. Одной речью Троцкого большевики заполучили эти 100 тыс. винтовок.

Заседание ЦК, которое дало последние директивы по проведению переворота, состоялось 24 октября 1917 г. На нем отсутствуют Ленин, Зиновьев, Сталин, но присутствуют Каменев, Дзержинский, Ногин, Ломов, Милютин, Иоффе, Урицкий, Бубнов, Свердлов, Троцкий, Берзин — всего 11 членов из 24.

Протокол этого заседания начинается с указания: «т. Каменев предлагает, чтобы сегодня без особого постановления ЦК ни один член ЦК не мог уйти из Смольного. Принято» (Протоколы ЦК, стр. 119). Таким образом, Каменев, голосовавший против восстания, теперь, когда решается его судьба, стал вместе с Троцким и Свердловым во главе восстания. При-

чины неприсутствия Сталина (вероятно, в редакции ЦО) и Зиновьева неизвестны. Ленин свое неприсутствие объяснил в письме к Свердлову от 23 октября так: «На пленуме мне, видно, не удастся быть, ибо меня «ловят» (Октябрьское вооруженное восстание, Москва, 1957, стр. 66). На заседании происходит распределение членов ЦК по главным пунктам и объектам восстания. Назначаются: Бубнов на железные дороги, Дзержинский — на почту и телеграф, Милютин — организация продовольственного дела, Свердлов — наблюдение за Временным Правительством, Ломов и Ногин — связь с Москвой, Каменев и Берзин — ведение переговоров с левыми эсерами. По предложению Троцкого решено создать запасной штаб восстания в Петропавловской крепости (постоянную связь с крепостью должен поддерживать Свердлов). В связи с этим решено снабдить всех членов ЦК пропусками в крепость (Протоколы ЦК, стр. 119-121). Имя и функция Сталина, равно как и Зиновьева, в Протоколе не упоминаются.

Того же 24 октября Ленин обратился со своим последним перед переворотом письмом в ЦК. В этом письме он писал: «Из всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс... Надо во что бы то ни стало сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство... нельзя ждать!! Можно потерять все!!... Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало. Промедление в выступлении смерти подобно» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 435-436). Это письмо Ленина на заседании ЦК не обсуждалось. Оно, видно, опоздало, так как ЦК уже решил начать восстание, как мы уже видели выше. Ленин явился в Смольный уже в разгар подготовки восстания. Официальный историк пишет: «До позднего вечера 24 октября Ленин вынужден был оставаться на конспиративной квартире. Волнуясь за исход восстания, он трижды направлял Фофанову с письмами... для передачи их в ЦК... Поздним вечером пришел связной ЦК Эйно Рахья... Ленин тотчас же принял решение идти в Смольный: переменял одежду, завязав щеку платком, надел парик, старую заношенную кепку и поздно вечером покинул последнюю конспиративную квартиру» (История КПСС, там же, стр. 322).

Тем временем, по свидетельству Троцкого, Военно-революционный комитет разработал тактическую схему завоевания столицы. Он говорит: «Город разбит на боевые участки, подчиненные своим ближайшим штабам. На важнейших пунктах сосредоточены бойцы Красной гвардии. Они приведены в связь с войсками по соседству, где охранные роты стоят наготове. Цели каждой отдельной операции и силы, необходимые для этого, утверждены заранее» (Троцкий, цит. соч., стр. 664).

Как прошло само восстание, рассказывает свидетель Суханов: «Сопrotивление не было оказано. Начиная с двух часов ночи, небольшими силами, выведенными из казарм, были постепенно заняты вокзалы, мосты, осветительные учреждения, телеграф, телеграфное агентство. Группки юнкеров не могли и не думали сопротивляться. В общем, военные операции были похожи скорее на смену караулов в политически важных центрах города... начавшиеся решительные операции были совершенно бескровны; не было зарегистрировано ни одной жертвы... Город был совершенно спокоен» (Суханов, там же, стр. 160).

Утром 25 октября Керенский уехал на Северный фронт, чтобы привести в Петроград верные правительству части (большевики пишут, что Керенский «бежал на машине с американским флагом»), но восстание развивается успешно и без сопротивления. В 2 часа 35 минут Ленин и Троцкий на экстренном заседании Петроградского Совета в Смольном торжественно объявляют о переходе власти в руки Советов в лице Военно-революционного комитета. Некоторые министры арестованы, другие во главе с заместителем Керенского М. Н. Кишкиным засели в Зимнем дворце и сопротивляются. Их защищают юнкера и женский ударный батальон. Военно-революционный комитет предлагает им сдаться без боя, но они не сдаются. Тогда знаменитый крейсер «Аврора» в 9 часов 40 минут вечера делает свой символический холостой выстрел. Это приказ Красной гвардии штурмовать Зимний дворец. Был короткий бой, в результате которого Зимний дворец капитулирует. Большевицкий октябрьский переворот совершился. Жертвы переворота: 6 убитых и 50 раненых (История КПСС, там же, стр. 328).

В ЦК обсуждается вопрос о составе первого советского

правительства. Троцкий вспоминает: «Надо формировать правительство. Нас несколько членов ЦК...

Летучее заседание в углу комнаты.

— Как назвать? — рассуждает вслух Ленин. — Только не министрами: гнусное, истрепанное название». Троцкий предлагает министров назвать «народными комиссарами», а правительство «Советом народных комиссаров»:

— Совет народных комиссаров? — подхватывает Ленин, — это превосходно: ужасно пахнет революцией».

Троцкий продолжает: «На другой день на заседании ЦК партии Ленин предложил назначить меня председателем Совета народных комиссаров. Я привскочил с места с протестом — до такой степени это предложение показалось мне неожиданным и неуместным.

— Почему же? — настаивал Ленин: — вы стояли во главе Петроградского Совета, который взял власть. — Я предложил отвергнуть предложение без прений. Так и сделали» (Л. Троцкий, *Моя жизнь*, ч. II, стр. 60-61, Берлин, 1930).

Соответствующий протокол ЦК Сталин не разрешал опубликовать, не опубликован он и до сих пор, но ЦК никогда и не опровергал вышеприведенное утверждение Троцкого. Что Троцкий был из всех членов ЦК наиболее последовательным сторонником Ленина в Октябрьской революции — это подтверждают решительно все документы. Даже Сталин писал в первую годовщину Октябрьской революции: «Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой работы Военно-революционного комитета партия обязана прежде всего и, главным образом, т. Троцкому» (Л. Троцкий, там же, стр. 233).

Джон Рид в своей книге «10 дней, которые потрясли мир» только и говорит, как о вождях Октября — о Ленине и Троцком. Он отмечает в полном согласии с протоколами ЦК, что с самого начала «из интеллигентов за восстание стояли только Ленин и Троцкий» (стр. 53). В предисловии к этой книге Ленин написал, что «она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий».

Но вот в 1968 г. в СССР вышла книга академика И. И. Мин-

ца в двух томах (2065 стр.!) «История Великого октября», где на стр. 954 о Троцком сказано: «Хотя Троцкий и голосовал за резолюцию о восстании, он не признавал его необходимости, практически его не готовил, никакого участия в разработке плана восстания не принимал». Уже одна эта цитата достаточно характеризует всю фальшь и «историческую субъективность» всей советской октябрьской историографии, главой которой является Минц.

25 октября (7 ноября), в 10 часов 45 минут вечера, открылся II съезд Советов. Открыл его член бюро ЦИК Советов меньшевик Ф. Дан (Церетели и Чхеидзе уехали отдыхать на Кавказ в самый ответственный период революции). На съезде присутствуют 670 делегатов: 300 большевиков, 193 эсера (из них 169 левых), 68 меньшевиков, 14 объединенных интернационалистов, 10 членов Польской партии социалистов (ППС) и Польской партии социал-демократов (ПС-Д), 49 других партий и 36 беспартийных (Второй Всероссийский съезд Советов, 1928, Гиз, стр. 170, 171; см. также Ленин, Собрание сочинений, т. XXII, стр. 574, 3-е изд.).

Избирается президиум: 14 большевиков, 7 эсеров, 3 меньшевика и 1 интернационалист из группы «Новой жизни» Горького. Джон Рид пишет: «После этого старый ЦИК покидает трибуну и его место занимают Троцкий, Каменев, Луначарский, Коллонтай, Ногин... Весь зал встает, гремя рукоплесканиями. Как высоко взлетели они, эти большевики — от непризнанной и гонимой секты всего четыре месяца назад и до величайшего положения рулевых великой России» (Джон Рид, там же, стр. 91).

Каменев оглашает повестку дня: 1) Организация власти, 2) Декрет о мире, 3) Декрет о земле.

Большевицкие лидеры потребовали от съезда санкцию происшедшего переворота (Ленин в первый день съезда не присутствовал). В ответ на это меньшевики и эсеры (кроме левых), огласив декларацию протеста «против военного заговора и захвата власти» большевиками, ушли со съезда. Это сразу превратило большевиков из меньшинства (300 из 670 делегатов) в подавляющее большинство (300 из 578). Суханов совершенно был прав, когда писал: «Уход со съезда меньшевиков и эсеров сильно упростил и облегчил положение Ленина и Троцкого. Теперь никакая оппозиция не путалась в

ногах при создании пролетарского правительства» (Суханов, там же, стр. 239). Что это было так, показывают результаты голосования по декретам: воззвание о переходе власти к Советам было принято всеми голосами против 2 при 12 воздержавшихся. Второе и последнее заседание происходило с 9 ч. вечера 26 октября до 5 часов 15 минут утра 27 октября. На этом заседании Ленин сделал два доклада: 1) о мире и 2) о земле. Был принят «декрет о мире», согласно которому новое правительство обязывалось обратиться ко всем воюющим народам о заключении «немедленного мира без аннексий и контрибуций», для чего предлагалось объявить трехмесячное перемирие. По вопросу о земле был принят декрет целиком переписанный из программы эсеров (переход земли без выкупа к крестьянам через местные крестьянские комитеты) (Ленин, Собрание сочинений, т. XXII, стр. 13-23, 3-е изд.). Суханов иронизировал: «И досталось же Ленину за этот дневной грабеж. Эсеры кричали: хорош марксист, травивший нас 15 лет за нашу мелкобуржуазность и ненаучность с высоты своего величия и осуществивший нашу программу, едва захватив власть! А Ленин огрызался: хороша партия, которую надо было прогнать от власти, чтобы осуществить ее программу» (Суханов, там же, стр. 257).

Принимая эсеровскую программу по земельному вопросу, Ленин знал, что делал. Россия была крестьянской страной (80% населения составляло крестьянство). Только та политическая партия имела шансы удержаться у власти, которая именно провозгласит эсеровскую программу законом (большевицкая аграрная программа требовала национализации земли, что и было осуществлено потом, когда власть укрепились). Макиавеллианец до мозга костей, Ленин был убежден, что цель (власть) оправдывает средства (плагиат эсеровской программы). Впрочем, сам Ленин ссылался на «демократию». В докладе о земле он заявил: «Здесь раздаются голоса, что сам декрет составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Не все ли равно, кем он составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов (тут речь идет о наказе крестьянского съезда Советов. А. А.), хотя бы мы с ними были не согласны» (Ленин, там же, стр. 23). Съезд постановил также «Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного собрания, временное рабочее

и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом народных комиссаров» (Ленин, там же, стр. 25). Слово «Временное» и ссылка на Учредительное собрание были тактической данью времени — только так могли большевики рассчитывать на утверждение своего однопартийного правительства даже II съездом Советов, где они были в большинстве. (Уже в январе 1918 г., на III съезде Советов, ссылки на «временное» и на Учредительное собрание были исключены (Ленин, там же, стр. 575).

В состав правительства вошли члены ЦК большевиков — Ленин (председатель), Троцкий (народный комиссар иностранных дел), Рыков (народный комиссар по внутренним делам), Милютин (земледелия), Ногин (торговля и промышленность), Ломов (юстиция), Сталин (по делам национальностей) бывшие члены ЦК — Шляпников (труда), Теодорович (продовольствие), Авилов-Глебов (почта и телеграф). По делам военным и морским был создан комитет в составе трех военных работников ЦК — Антонов-Овсеенко, Крыленко и Дыбенко. Бывший межрайонец из большевиков — Луначарский стал народным комиссаром просвещения.

Каменев и Зиновьев в состав правительства не были включены, но получили руководящие должности — Каменев стал председателем советского парламента — ВЦИК Советов, а Зиновьев — главным редактором органа ВЦИК — «Известий» (потом Зиновьев стал вместо Троцкого председателем Петроградского Совета).

Состав правительства от имени большевицкой фракции был оглашен Каменевым. Суханов, входивший в группу Мартова (она осталась на съезде), был участником заседания 26 октября, на котором утверждались члены правительства. Он пишет, что из оглашенных лиц «аудитории были знакомы только Ленин, Троцкий и Луначарский. Их имена она встречает шумными аплодисментами» (Суханов, там же, стр. 262). Последним вопросом были выборы Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) Советов. Партийный состав ВЦИК Советов оказался таким: всего членов ВЦИК — 101 чел., 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 социал-демократов интернационалистов, 3 от украинской социалистической партии и 1 эсер-максималист. Было принято постановление, что ВЦИК должен быть пополнен за счет представителей партий и групп,

ушедших со съезда (меньшевиков и эсеров), но этого никогда не случилось (Ленин, там же, стр. 575).

Подводя итоги революции, надо поставить следующий главный вопрос: большевики утверждают, что Октябрьская революция была совершена как **социалистическая** революция, в отличие от Февральской **буржуазной** революции. Так ли это? Другими словами, являлась ли Октябрьская революция по своей объявленной программе революцией социалистической? На этот вопрос приходится ответить категорическим: нет! Возьмите «Апрельские тезисы» Ленина, являющиеся программой большевицкой революции. Что там сказано о «социалистической революции»? Ни слова. Там сказано, что своеобразие текущего момента в России заключается в переходе от первого этапа революции, давшей власть буржуазии, ко второму этапу, который даст власть пролетариату и беднейшему крестьянству. Там не сказано, что новая власть будет ставить перед собою социалистические задачи. Цели и задачи новой «пролетарской», «советской» власти в «Апрельских тезисах» сведены к следующим пунктам: 1) мир, 2) конфискация помещичьих земель в пользу крестьянства, 3) контроль советского государства над производством, 4) слияние всех банков в один национальный банк и контроль над ним. Все эти требования вполне укладываются в рамки любой радикальной буржуазной революции. Они могли быть с успехом проведены и Временным Правительством, опирающимся на Советы (даже контроль над производством вполне нормальная вещь во время большой войны). Да и сам Ленин писал в тех же «тезисах»: «Не «введение» социализма, как наша **непосредственная** задача, а переход тотчас лишь к **контролю** со стороны Советов за общественным производством и распределением продуктов» (Ленин, ПСС, т. 31, стр. 116). Правда, в «Тезисах» есть и два «социалистических» пункта, которые, однако, остались невыполненными и через 53 года после революции. Эти пункты гласят: (1) «устранение полиции, армии, чиновничества», (2) «плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего» (там же, стр. 115).

Может быть, если не Ленин, то ЦК большевиков проповедовал «социалистическую революцию» и «социализм»? Вот свидетельство Суханова: большевики говорили: «У богачей всего много, у бедных ничего нет. Все будет принадлежать

беднякам, все будет поделено между ними. Это говорит ваша собственная рабочая партия, единственная партия, которая борется с богачами и их правительством за землю, мир и хлеб... Но возникает деликатный вопрос: был ли социализм в этой «платформе»? Не пропустил ли я социализма? Приметил ли я слона?... Нет, я констатирую, что о социализме, как цели и задачи советской власти большевики в прямой форме тогда не утверждали массам, а массы, поддерживая большевиков, и не думали о социализме» (Суханов, там же, стр. 24).

Все документы той эпохи целиком подтверждают утверждение Ленина и свидетельство Суханова о том, что социализм, как ближайшая цель, начисто отсутствует в программе и пропаганде большевиков в Октябрьской революции. У Октябрьской революции оказались два лица — одно, направленное к народу, было демократическое, а другое, завуалированное и обращенное к партии, носило антидемократический характер. Советы же были внешним фасадом, за которым очень удачно маскировалась однопартийная диктатура. О советской маске и о втором лице революции народ узнал лишь только тогда, когда большевики прочно овладели властью над всей страной.

А. Авторханов

ЛЕНИН И США*

Настоящая статья является как бы продолжением моей статьи «Россия и США» (кн. 88 «Нов. Журн.»). В той статье я рассказал об обоюдных симпатиях и столетней дружбе в отношениях правительств и народов США и России от конца 18 века до 80-х годов 19 века. Президент Джефферсон в письмах к имп. Александру I и Линкольн в письмах к Александру II, помимо (или вместо) общепринятого официального обращения к монарху «Ваше Величество», употребляли выражение «мой великий и добрый друг». Симпатии к Америке выражали в России все, начиная от российских императоров, кончая русскими революционерами (декабристы, Герцен, Чернышевский).

Причинами, по которым русско-американская дружба в конце 19 и начале 20 века пошла на убыль, были, во-первых,

* Главными источниками для этой статьи послужили сочинения Ленина и многотомные собрания дипломатических документов, изданные советским и американским правительствами. Сочинения Ленина я изучал по их **второму** изданию (1926-32 гг.), ибо в этом издании к каждому тому даны обширные и важные приложения, содержащие относящиеся к данному периоду документы и материалы, пояснительные примечания, «летопись событий» и биографические сведения о лицах, упоминаемых в данном томе. Почти все эти материалы были «вычищены» при последующих изданиях сочинений Ленина. К периоду 1914-1923 гг. относятся томы 18-27 второго издания. При цитатах указывается том и страница.

Другим источником являются первые 6 томов издания сов. министерства иностранных дел: «Документы внешней политики СССР», 1957-62 гг. (охватывающие период 1917-1923 гг.); ссылки при цитатах: Документы, затем том и страница. Следующий источник: *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. Publications of the Department of State, Washington*; томы, относящиеся к нашей теме и нашему периоду изд. в 1936-40 гг. Цитаты приводятся в русском переводе; ссылки: Внешн. отнош., год, том и страница. Остальные источники указаны в тексте и в примечаниях. Даты до февр. 1918 г. указаны по старому стилю, с этого месяца — по новому.

легальная дискриминация евреев в России и еврейские погромы, вызвавшие усиленную эмиграцию русских евреев в Америку, и во-вторых, агрессивная политика российского правительства на Дальнем Востоке, пришедшая в конфликт с американской политикой «открытых дверей» в отношении Китая.

С другой стороны, на левом фланге русской общественности, вместо прежних симпатий, росла неприязнь к Америке по причинам идеологического характера. В 90-х гг. 19 века в левых кругах российской интеллигенции широко распространилось учение марксизма, по которому, как известно, всякое «буржуазно-капиталистическое» государство, независимо от его внешних форм, по существу представляет собой организацию классового господства буржуазии или «машину» для угнетения и эксплуатации рабочего класса, и потому США как страна сугубо «капиталистическая» никак не могла пользоваться симпатией российских марксистов, особенно когда в 20 веке из марксизма вырос т. н. «марксизм-ленинизм».

Творец марксизма-ленинизма в ряде речей и статей (особенно в 1918-19 гг.) многократно выражал свою озлобленно-непримиримую ненависть к США как главному оплоту «капиталистического» мира, который Ленин хотел бы завоевать и разрушить. Вот несколько цитат из одного только 23 тома сочинений Ленина.

Из письма к американским рабочим (авг. 1918 г.): «Америка стала одной из первых стран по глубине пропасти между горсткой обнаглевших, захлебывающихся в грязи и роскоши миллиардеров, с одной стороны, и миллионами трудящихся, вечно живущих на грани нищеты, с другой. Американский народ оказался в капиталистическом наемном рабстве у кучки миллиардеров, оказался играющим роль наемного палача, который в угоду богатой сволочи в 1898 году душил Филиппины под предлогом «освобождения» их, а в 1918 году душит российскую социалистическую республику под предлогом «защиты» от немцев» (стр. 176 и 179). В Америке «нагло господствует кучка миллиардеров, а весь народ в рабстве и неволе. Рядом с демократической республикой мы видим крепостное рабство миллионов трудящихся и беспросветную нищету» (стр. 201). «Идеализированная демократическая республика Вильсона оказалась на деле формой самого бешеного империализма, самого бесстыдного угнетения и удушения малых

народов» (стр. 292). Республиканско-демократический строй Америки «нисколько не мешает тому, что империализм там действует так же зверски, что там не только линчуют интернационалистов, но что толпа вытаскивает их на улицу, обливает смолою и зажигает» (стр. 316). Англо-американские империалисты «накричали, что они ведут освободительную войну» (против германского империализма); в действительности же, по мнению Ленина, «англо-американские империалисты такой же зверь, по отношению к которому справедливость может быть только в том, чтобы удушить его» (стр. 267).

Такой же лютой ненавистью к Америке, как Ленин, и таким же горячим желанием «удушить американский империализм» был преисполнен ближайший сподвижник Ленина в революционные годы Л. Троцкий (см. его брошюру «Европа и Америка». Госиздат, 1926).



Февральская революция была сочувственно и даже восторженно принята общественным мнением и правительством США. По инициативе американского посла Д. Фрэнсиса, американское правительство поспешило, раньше других союзных держав, заявить о признании им Временного правительства. Президент Американской федерации труда Гомперс прислал председателю петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Чхеидзе телеграмму с поздравлениями и добрыми пожеланиями от имени американских рабочих. Президент США Вильсон в своем обращении к Конгрессу 20 марта (2 апр.) приветствовал формальное вступление России (которая «в своем сердце и своем быту и раньше была демократической») в семью свободных и демократических наций. Правительство США предоставило Временному правительству крупный заем в сумме 188 милл. долларов (гл. образом для оплаты закупок в США) и послало в Россию особую «миссию дружбы» для поддержания духа и энергии новой республики.

Но проявления американской дружбы, как и вступление США в войну на стороне союзников (в апреле 1917 г.), не могли задержать морального, политического и хозяйственного российского развала в стране и армии. Пораженческая пропаганда большевиков шла беспрепятственно и успешно развива-

лась вширь и вглубь. По вступлении Америки в войну «американский империализм» стал одним из главных объектов злобной и клеветнической пропаганды ленинцев.

Большевицкий манифест, составленный центральным комитетом партии по поручению 6-го съезда РСДРП(б), состоявшегося в Петрограде в конце июля и в начале августа, гласил: «Вступление в войну Америки еще более окрылило союзных империалистов. Они отлично знали цену этой «великой демократии», которая казнит электричеством своих социалистов, с оружием в руках душил маленькие народы и устами своих беспримерных по наглomu цинизму дипломатов толкует о вечном мире. Американские миллиардеры, наполнившие свои погреба золотом, перечеканенным из крови умирающих на полях опустошенной Европы, присоединили свое оружие, свои финансы, свою контр-разведку и своих дипломатов для того, чтобы разгромить своих немецких коллег по международному грабежу и затянуть потуже удавную петлю на шее русской революции. Российская буржуазия оказалась связанной с капиталистами Европы и Америки общими целями и тяжелой золотой цепью, концы которой сходятся в банкирских домах Лондона и Нью-Йорка... И ликующие тузы банка и биржи, нагло бросают теперь вызов демократии, открыто заявляя о своем желании вести войну «до конца», то есть без конца, до тех пор пока не лопнут от напора золота погреба американских Морганов, пока кровавая роса не промочит насквозь(?) поля истерзанной земли» (Соч., т. 21, Приложения, стр. 481-3).

По захвате власти большевиками главной заботой Ленина было как можно скорее (и на каких бы то ни было условиях) заключить мир с Германией, чтобы потом без помехи приняться за «социалистическое строительство» и «додушить буржуазию» в России. Заключив с немцами (в начале декабря 1917 г.) договор о перемирии, и готовясь начать переговоры о мире, сов. правительство обратилось к правительствам и народам западных стран, включая США, с призывом присоединиться к переговорам о заключении всеобщего демократического мира на основе самоопределения народов. Особое воззвание было обращено к трудящимся массам всех стран с призывом принять непосредственное участие в борьбе за мир (Документы, I, 58-59). 2 янв. (н. с.) государственный секретарь США Роберт Лансинг представил президенту Вильсону по этому поводу доклад-

ную записку, в которой он подверг большевицкие мирные предложения, и большевицкое правительство вообще, весьма основательной критике.

Полное осуществление права на самоопределение всех национально-территориальных единиц повело бы к раздроблению Европы на множество «суверенных» государств, к множеству локальных конфликтов и к анархии в международных отношениях. Обращение «к трудящимся массам» или специально к пролетариату, которому предлагалось овладеть государственной властью, означает угрозу существующему социальному строю, а осуществление программы «классового господства пролетариата» означало бы худшую из всех возможных форм деспотизма. Само большевицкое правительство в Петрограде захватило власть насильственным переворотом и образовало «деспотическую олигархию», которая удерживает власть исключительно насилием, но не волей народа. При таких условиях было бы ниже достоинства США отвечать на большевицкие мирные предложения.¹

8 янв. (н. с.) 1918 г. президент Вильсон в послании к Конгрессу изложил свою программу мира в известных «14 пунктах»; из них 6-ой, относящийся к России, требовал освобождения русской территории, оккупированной немецкими войсками и предоставления русскому народу свободного решения вопросов его внутреннего устройства.

3 марта 1918 г. делегация сов. правительства в Брест-Литовске подписала мирный договор с центральными державами, отодвигавший границу России в пределы Курской губернии. По требованию немцев, Брестский договор должен был быть ратифицирован в течение 2-х недель, и с этой целью сов. правительство должно было созвать чрезвычайный (4-ый) съезд советов, который в заседании 15 марта принял предложение Ленина о ратификации Брестского договора (большинством 724 против 276, при 118 воздержавшихся). Для утешения в печали съезд принял резолюцию с выражением «глубочайшего убеждения, что международная рабочая революция не за горами, и что полная победа социалистического пролетариата обеспечена» (22, 411).

¹ *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Lansing Papers*, Vol. II, Washington, 1940, pp. 346-9.

Президент США Вильсон, регулярно осведомляемый послом Фрэнсисом обо всем происходящем в России, обратился к 4-му съезду советов с телеграммой, в которой выражал сочувствие русскому народу «в особенности теперь, когда Германия ринула свои вооруженные силы вглубь страны», и выражал уверенность, что правительство США, не имеющее возможности ныне оказать России непосредственную поддержку, в будущем «использует все возможности обеспечить России снова полный суверенитет и полное восстановление ее великой роли в жизни Европы и современного человечества».

Ленин, повидимому, был очень рассержен дипломатической «интервенцией» американского президента, и съезд послал президенту великой «капиталистической» республики весьма социалистический ответ: «Съезд выражает свою признательность американскому народу... по поводу выражения президентом Вильсоном сочувствия русскому народу... и твердую уверенность, что недалеко то счастливое время, когда трудящиеся массы всех буржуазных стран свергнут иго капитализма и установят социалистическое устройство общества, единственно способное обеспечить прочный и справедливый мир» (Документы I, 211-12).

Летом 1918 г. западные союзники предприняли весьма скромную по размерам, но наделавшую повсюду много шума, военную «интервенцию» на севере России, высадив в Мурманске и Архангельске небольшие военные отряды, которых первоначальной задачей была охрана огромных складов разного рода военного снаряжения, доставленного союзниками в Россию. Более значительные японские военные силы были высажены во Владивостоке.

Некоторые из западных политиков предполагали, что военная интервенция в России могла бы повести к восстановлению восточного фронта против Германии, но лидеры западных держав не надеялись на успех такого сложного предприятия и ограничились немногим. Однако, и маленькая интервенция и, главное, тот факт, что командование союзных отрядов входило в контакт с местными анти-большевицкими группами, чрезвычайно беспокоили и раздражали Ленина, который в своем письме к американским рабочим в августе 1918 г. горько жаловался на участие американского правительства в интервенции: «...теперь американские миллиардеры, эти современные рабо-

владельцы, открыли особенно трагическую страницу в кровавой истории кровавого империализма, дав согласие на вооруженный поход англо-японских зверей с целью удушения первой социалистической республики» (23, 176).

В действительности вожди западного мира вовсе не собирались «удушить» ленинскую республику военной силой. Только американский посол в России Фрэнсис предлагал организовать интервенцию в крупном масштабе, которая, по его мнению,² повела бы к падению большевицкой тиранической власти, но президент Вильсон твердо стоял на позиции «невмешательства во внутренние дела России», а британский премьер Ллойд Джордж не хотел и слышать о каких-либо «военных авантюрах» в России.

В августе 1918 г., после покушения на Ленина, по всей России прокатилась волна массового террора, вызвавшая всеобщее возмущение. В сентябре американский консул в Москве Д. Пул протестовал перед большевицким правительством против массовых убийств ни в чем неповинных людей, и правительства нескольких нейтральных держав, побужденных к тому циркулярной телеграммой Лансинга, также заявили свои протесты. На эти протесты наркоминдел Чичерин в ответной ноте представителям нейтральных держав сначала заявил, что их протесты представляют собой недопустимое вмешательство во внутренние дела России, а затем оправдывал красный террор, значительно преуменьшая его размеры и гневно обличал белый террор и угнетение, которому «буржуазия» в иных странах подвергает «трудящиеся массы» (Внешн. отнош., 1918, Россия 1, 705-8). В ответ на протест главы американской миссии Красного Креста в России А. Уордвелла Чичерин вообще отрицал наличие массового террора и утверждал, что смертной казни подвергаются только «наиболее активные и опасные контр-революционеры» (там же, стр. 715).

В октябре 1918 г. Ленин, обеспокоенный союзной «интервенцией», велел Чичерину послать президенту Вильсону ноту с резкими и дерзкими упреками за интервенцию и с нелепым «предложением», «чтобы в основу союза народов положена была экспроприация капиталистов всех стран» (Документы 1,

² *David R. Francis. Russia from the American Embassy, 1916-1918 (New York, 1921), pp. 243, 298-301.*

536), словно бы приглашая Вильсона возглавить вместе с ним, Лениным, социальную революцию против «капиталистов всех стран». Вильсон, конечно, ничего на эту «ноту» не ответил.

Ленин злобно ненавидел Вильсона, но, очевидно, он скоро после отсылки чичеринской ноты сообразил, что ему нет никакой выгоды ссориться с президентом могущественной заокеанской республики, и в декабре Вильсону была послана (за подписью замнаркоминдела М. Литвинова) нота прямо противоположного характера, преисполненная миролюбия и дружелюбия (Документы 1, 628-30). Нота уверяла Вильсона, что «большинство пунктов Вашей мирной программы входят в более далеко идущую и обширную программу русских рабочих и крестьян»; что «так называемый 'красный террор', который за границей грубо преувеличивается и не понимается», был «прямым результатом и последствием вторжения союзников на русскую территорию», что «рабочие и крестьяне России не желают ничего кроме своего собственного счастья и международного братства, не представляющего угрозы для других наций», что они «готовы пойти на все возможные уступки, если им удастся обеспечить при этом условия, позволяющие им мирно развивать свою социальную программу», и что продолжение борьбы и «интервенция» грозят великими бедствиями и могут вызвать «полное истребление русской буржуазии отчаявшимися массами». В заключение Литвинов взывал «к чувству справедливости и беспристрастности» американского президента.

Собравшаяся в январе 1919 г. в Париже мирная конференция, возглавляемая «великой четверкой» (Вильсон, Ллойд Джордж, Клемансо и Орландо) много и долго говорила о «русской проблеме», но не могла найти путей для ее решения. И немудрено. Россия в это время находилась в состоянии полного развала, терзаемая множеством политических, социальных и национальных конфликтов. Представители спорящих партий и национальностей засыпали парижскую конференцию множеством писем, деклараций, меморандумов и разного рода обращений, полных взаимно противоречащих сообщений и проектов.

Президент Вильсон проектировал созыв конференции на о. Принкипо (на Мраморном море), где спорящие в России стороны могли бы прийти к какому-либо соглашению, но созвать такую конференцию оказалось невозможно. Тогда Виль-

сон решил попытаться получить «из первых рук» сведения о том, что происходит в России. С этой целью в Москву был послан из Парижа служащий гос. департамента Вильям Буллит, которому было поручено войти в непосредственные переговоры с советскими вождями и представить доклад о политическом и экономическом положении в Сов. России. Буллит пробыл в России всего одну неделю (в марте 1919 г.), имел продолжительные разговоры с Чичериным, Литвиновым и Лениным и... был ими очарован. В своем докладе Президенту и Гос. департаменту (Внешн. отнош. 1919, Россия, 81-95) Буллит доверчиво повторяет все сказки, которые ему рассказывали его собеседники. Сов. правительство и коммунистическая партия стоят твердо и устойчиво, «сильные политически и морально» (!), они пользуются всеобщей поддержкой населения, в оппозиции остаются только левые с.-р. и анархисты. В Петрограде и Москве царит полный порядок. Террор прекратился (в 1919 году!), и все преступления судятся нормальными судами. Образование, под управлением Луначарского, сделало большие успехи (Буллит даже это успел рассмотреть). Всем этим светлым картинам, однако, противостоит тяжелое экономическое положение страны: промышленность разрушена, в городах все население (включая, будто бы, членов Совета народных комиссаров) голодает; главной причиной этого является, будто бы, «блокада», а затем расстройство транспорта внутри страны. Буллит привез из Москвы в Париж мирные предложения сов. правительства, с требованием прекращения интервенции и с обещанием амнистии всем, кто участвовал в борьбе против сов. власти. Однако, ни Буллит, ни Чичерин не могли преодолеть скептицизма гос. секретаря Лансинга, и он положил доклад Буллита «под сукно».*

Но если в политике вождей западного мира в эти после-

* Надлежит заметить, что позже Буллит начисто излечился от своих просоветских иллюзий. В 1933 г., признав «де-юре» советское правительство, президент Рузвельт послал Буллита послом в Москву. Прожив в Москве 3 года (а не 6 дней), Буллит впоследствии в своей книге *The Great Globe Itself* изобразил советский режим таким, каков он есть, т. е. как жестокую тоталитарную диктатуру, угнетающую подвластное население и стремящуюся к мировому господству, с постоянным нарушением данных обещаний и заключенных договоров.

военные годы царило разномыслие и разногласие, то единый вождь коммунистического мира действовал смело и решительно, хотя вовсе не так успешно, как это изображают советские авторы. Его попытка в эпоху «военного коммунизма» построить сразу «социалистическое» общество окончилась, по его собственному признанию, «тяжелым экономическим поражением». Полная хозяйственная разруха, волна крестьянских восстаний, наконец, восстание кронштадтских матросов принудили Ленина круто свернуть с коммунистической дороги и отступить на позиции «Новой экономической политики» (НЭП).

Внешняя политика Ленина, целями которой были, с одной стороны, подготовка мировой коммунистической революции, а с другой — получение от западных стран (особенно от США) экономической помощи для восстановления советского хозяйства, была ярким примером «двурушничества» (употребляя популярное советское выражение, которое, однако, к Ленину в советской литературе не применяется). Политика эта все время шла двумя параллельными путями, на которых Ленин маневрировал. Его «правой» рукой был наркоминдел Г. В. Чичерин, отпрыск аристократической фамилии, один из весьма немногих хорошо образованных и вполне интеллигентных ленинских дипломатов; ему было велено проповедовать теорию мирного сосуществования Сов. России с «буржуазными» странами и писать дипломатические ноты западным правительствам, убеждая их в необходимости и обоюдной выгоде установления нормальных (и даже «дружеских») политических и экономических отношений с Советской Россией. «Левой» же рукой Ленина был Гр. Зиновьев, ему было велено возглавить III Интернационал («Коминтерн») и раздувать изо всех сил пламя мировой революции. Сам Ленин, Троцкий и ряд других руководящих большевиков усердно работали («по совместительству») и в «советском» правительстве и в Коминтерне, но Чичерин в организацию Коминтерна формально не входил. Видно, было бы уж слишком нагло, если бы Запад видел одну и ту же подпись и под призывом к мирному сосуществованию с «капиталистическими» державами и под призывами к их тотальному разрушению путем мировой пролетарской революции.



1919-1920 гг., бывшие в России годами гражданской войны,

были довольно бурны и в США. В 1919 г. по стране прокатилась волна крупных рабочих забастовок, некоторые сопровождались беспорядками и насилиями. В том же году образовались две коммунистические партии (объединившиеся в 1921 г.), и правительство чувствовало за стачками и беспорядками руку большевицкой Москвы. Были произведены многочисленные аресты, среди арестованных оказалось много «красных» из Европы; в декабре в Россию был отправлен транспорт с 249 «красными», депортированными как «нежелательные иностранцы». Общественное мнение было встревожено; Сенат образовал особую комиссию, которая собрала значительный материал о коммунистической пропаганде. Однако, было в США и про-большевицкое течение. Были (как и в наше время) псевдо-либеральные сенаторы, — сенатор Бора, возглавлявший небольшую группу единомышленников, в начале 20-х годов добивался (тщетно) признания «советского» правительства. Были интеллектуальные снобы женского и мужского пола, влюбленные в идею и в слово «революция», независимо от того, какое конкретное содержание вкладывала жизнь в данную «революцию». Были, наконец, и богатые капиталисты, надеявшиеся, что с началом НЭП'а в Сов. России можно делать хорошие дела.

Сов. правительство не раз обращалось к правительству США со своими мирными и «дружественными» предложениями, но правительство Вильсона-Лансинга твердо стояло на позиции «непризнания», ибо, как заявил президент Вильсон в своем обращении к Конгрессу и народу (в сент. 1919 г.), «нынешние правители России не имеют мандата от народа и не представляют никого кроме самих себя».³

Тогда Ленин решил действовать «нахрапом» и прислать в США свою «дипломатическую миссию» без всякого признания, приглашения или хотя бы согласия американского правительства. В марте 1919 г. в Нью-Йорк явился Л. К. Мартенс как «представитель РСФСР в США», расположился как дома, открыл свое бюро и послал в Гос. департамент обширный меморандум — о РСФСР и о своей миссии (Документы, II, 97-105). В своем меморандуме он сообщал Гос. департаменту, что сов.

³ St. S. Jados, ed. *Documents of Russo-American Relations, Washington to Eisenhower*. Washington, 1965, p. 43.

правительство «является выразителем воли всех 100% народа», и далее, что «экономическое процветание всего мира, включая Советскую Россию, зависит от непрерывного обмена товарами между различными странами» и потому «советское правительство России желает установить торговые отношения с другими государствами, и особенно с США... на условиях платежа, полностью удовлетворяющих обе стороны». «В случае возобновления торговли с Соединенными Штатами российское правительство готово немедленно разместить в банках Европы и Америки золото на сумму в 200 миллионов долларов для оплаты стоимости первых закупок».

Однако, Гос. департамент решил игнорировать самозванного советского посла и ничего не ответил на его обращение, а вскоре опубликовал сообщение, что правительство США не признает «так наз. советского правительства» и рекомендует «крайнюю осторожность» в обращении с теми, кто выдает себя за представителей «большевицкого правительства». (Внешн. отнош., 1919, Россия, 144). Но несмотря на свое нелегальное положение, Мартенс начал переговоры с американскими фирмами о торговых сношениях с РСФСР. Вероятно, его бюро вело сношения и иного рода и с иными кругами. По крайней мере, наблюдавшая за ним военная разведка сообщала в Гос. департамент, что бюро Мартенса, по видимости учреждение экономического характера, в действительности же ведет опасную революционную пропаганду (там же, 147).

Несмотря на всю американскую «нелюбезность» к Мартенсу, сов. правительство всячески старалось удержать своего «посла» в США. В письме 27 мая 1919 года замнаркоминдел М. Литвинов писал Мартенсу: «Через всю нашу внешнюю политику за последний год красной нитью проходит стремление к сближению с Америкой... Мы не упускали случая отмечать наше особенное желание войти в контакт с Америкой... Мы готовы давать всяческие экономические концессии американцам преимущественно перед другими иностранцами» (Документы, II, 176-7). Сам Мартенс старался, как мог, убедить Америку в советском миролюбии и дружелюбии. В письме к «либеральному» сенатору Дж. Уодсуорту, 5 ноября 1919 г., Мартенс, отрицая всякие обвинения в революционной пропаганде, уверял, что «российское советское правительство строго воздерживается от какого-либо вмешательства во внутренние

дела вашей страны», и подтверждал готовность сов. правительства «предоставить Соединенным Штатам большие экономические преимущества по сравнению со всеми другими странами» (Документы, II, 274-5).

Но ни уверения в дружбе, ни обещания советского золота не смягчили сурового сердца американской правящей администрации. 12 июня 1919 г. в помещении «советского представительства» полицией штата Нью-Йорк был произведен обыск, который Мартенс (в своей жалобе Гос. департаменту) характеризует как «налет» и «погром», причем сам «посол» и его служащие в течение двух часов «были лишены свободы» (Документы, II, 194-7). По этому поводу наркоминдел Чичерин прислал Гос. департаменту негодующую ноту протеста. Однако, американская административная машина продолжала работать (хоть и довольно медленно). Наконец, в декабре 1920 г. был издан декрет о депортации Мартенса, и 22 янв. 1921 г. неудавшийся советский посол покинул негостеприимные для него берега Америки, ухитрившись, однако, «поработать» здесь без малого два года.



В декабре 1919 г., незадолго перед своей отставкой, гос. секретарь Лансинг представил Президенту Вильсону меморандум, в котором попрежнему весьма отрицательно характеризовал сов. правительство как «военную диктатуру, контролируемую небольшой группой непосредственного окружения Ленина» и как «революционных авантюристов, стремящихся к ниспровержению демократических правительств повсюду» (Внешн. отнош., 1920, III, 440 и 437). Однако, Лансинг допускал возможность, для частных лиц и корпораций, торговых сношений с Сов. Россией, — и в следующем, 1920 г. запрещение вывоза товаров из США и РСФСР было отменено. В феврале 1920 г. Лансинг вышел в отставку, и его заменил на посту гос. секретаря Б. Колби.

Сов. правительство настойчиво продолжало стремиться к экономической «дружбе» с США, и в конце февраля 1920 г. снова обратилось к американскому правительству с предложением начать мирные переговоры, уверяя, что «США могут сыграть гигантскую роль в великом деле восстановления экономической жизни России» и, с другой стороны, сов. прави-

тельство не имеет «ни малейшего намерения вмешиваться во внутренние дела Америки» (Документы, II, 387-8). Однако, новый гос. секретарь оказался таким же непримиримым противником «ленинизма», каким был Лансинг. В своем письме американскому послу в Лондоне Дэвису, 2 авг. 1920 г., Колби писал: «Американское правительство считает, что признание советского режима или переговоры с ним означали бы отказ от моральных принципов с целью достижения материальных выгод, которые оказались бы временными и купленными слишком дорогою ценою. Правительство США полагает, что длительное и справедливое решение проблем Восточной Европы не может быть достигнуто таким путем. Правительство США разделяет отвращение цивилизованного мира к тирании, которая ныне господствует в России, и которая отвергает все принципы, на которых основаны отношения между народами» (Внешн. отнош., 1920, III, 462).

В том же августе 1920 г. (во время польско-советской войны) итальянский посол в Вашингтоне Авеzzана обратился к Гос. департаменту с запросом об отношении правительства США к сов. правительству и вообще к политическому положению в Восточной Европе. В своей ответной ноте (10 августа 1920 г.) Колби обстоятельно изложил принципиальную позицию американского правительства в русском вопросе. Правительство США с полной симпатией относится к великому русскому народу, помнит старую дружбу России и США и желало бы оказать русскому народу возможную помощь. Оно отказывается поддерживать расчленение бывш. Российской империи и готово признать независимыми государствами только Финляндию, Польшу (в этнографических пределах) и Армению.* Оно не может установить нормальных и дружественных отношений с нынешними правителями России, которые тиранически правят страной без согласия большинства русского народа, и которые в международной политике отрицают все моральные принципы и все обычаи, на которых держатся отношения между народами. Большевицкое правительство поддерживает и субсидирует III Интернационал, открыто ставящий своей целью ниспровержение законных правительств и всего социального

* В 1922 г. правительство США признало независимость трех прибалтийских государств — Эстонии, Латвии и Литвы.

строю в не-коммунистических государствах; оно не признает для себя обязательным соблюдение соглашений, заключенных с «капиталистическими» странами, и его дипломатические миссии в этих странах являются, по своему назначению, органами («каналами») интриг и революционной пропаганды против учреждений и законов этих стран (Внешн. отнош., 1920, III, 463-8). Гос. секретарь просил итальянского посла сообщить европейским правительствам текст американской ноты.

Нечего и говорить, что сов. правительство было до крайности возмущено нотой Колби. В циркулярной телеграмме, 10 сент. 1920 г., советским представителям за границей наркоминдел Чичерин протестовал против «грубых клеветнических обвинений» американской ноты и уверял, что советский строй является демократией; что сов. правительство «неуклонно держится того взгляда, что коммунистический строй не может быть навязываем силой другому народу», и что «Российское советское правительство считает необходимым установить и неуклонно соблюдать мирные и дружественные отношения с существующими правительствами других стран» (Документы, III, 171-7).



Чтобы заманить иностранных предпринимателей и их капиталы на помощь разоренному войной и «военным коммунизмом» народному хозяйству, ленинское правительство 23 нояб. 1920 г. издало декрет о концессиях, имевший целью предоставить разработку естественных богатств России иностранным капиталистам. Концессионерам обещались всевозможные экономические выгоды и «торговые преимущества»; им были обещаны достаточно продолжительные сроки концессий для обеспечения «полного вознаграждения концессионера за риск и вложенные в концессию технические средства» и, главное, правительство РСФСР «гарантировало», что «вложенное в предприятие имущество концессионера не будет подвергаться ни национализации, ни конфискации, ни реквизиции» (Документы, III, 338-9).

По поводу декрета 23 ноября в компартии пошли недовольные толки: своих капиталистов прогнали, а чужих приглашаем... Защищая эту политику, Ленин повторно и настойчиво уверял товарищей, что концессии представляют собой не

мир с капитализмом, а продолжение войны, только в иной форме и иными средствами (26, 5-18). Западные капиталисты, привлеченные «сугубой прибылью», помогут восстановить народное хозяйство, особенно промышленность в России, и «мы выигрываем время... в эпоху, когда наши иностранные товарищи готовят их революцию. А чем основательнее она будет подготовлена, тем вернее победа. Ну, а до тех пор мы будем вынуждены платить дань» (Третий Всемирный конгресс Коминтерна. Стенографический отчет, 1922, стр. 360). В речи на коммунистическом собрании в Москве 26 нояб. 1920 г. Ленин сказал по поводу концессий и временных уступок капитализму: «...но как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот» (25, 500).

В этой хитроумной игре, Ленину особенно хотелось найти партнеров среди американских капиталистов, более богатых и предприимчивых, чем капиталисты захудалой послевоенной Европы. И действительно, таких можно было найти, хоть и не так много. Из них первое место занял американский миллиардер В. Вандерлип, который в сент. 1920 г. приехал в Москву и обратился в Совет народных комиссаров с предложением сдать в концессию или продать «синдикату Вандерлипа» Камчатку для разработки там нефтяных источников и устройства русско-американской военно-морской базы (для защиты против Японии). В своем обращении в Совнарком, 18 сент. 1920 г. (Документы, III, 676-9), Вандерлип писал: «Я приехал к вам из Америки в качестве представителя группы самых крупных предпринимателей, живущих в настоящее время на Тихоокеанском побережье. Американский народ думает, что надо положить конец хаосу, царящему в Европе. Главным условием этого является признание Российской Советской Республики Соединенными Штатами. Мы намерены настаивать перед Президентом и Конгрессом Соединенных Штатов на признании Советской России для того, чтобы великие пути торговли и промышленности, бывшие открытыми в течение полутора столетий, могли опять функционировать и связать дружескими узами 250 миллионов людей, между которыми до вступления в управление страной настоящего американского правительства не было и тени раздора».

Усматривая причину «раздора» между США и РСФСР в

личной политике президента Вильсона, Вандерлип надеялся, что американская политика в русском вопросе коренным образом изменится с предстоящей на ближайших выборах победой республиканской партии и с вступлением в управление страной сенатора Гардинга. В заключение своего письма Вандерлип восхваляет русскую революцию, означавшую «освобождение от тысячелетнего рабства и угнетения могучей России с ее 150-ю миллионами белого населения», и утверждает: «То, что вы совершили только вчера, мы совершили уже 154 года назад», т. е. приравнивая революцию Ленина и Троцкого («освободившую» Россию от демократической республики) к революции Вашингтона и Франклина... В Москве Вандерлип встретился и поговорил с Лениным, и оба остались очень довольны друг другом. О своих надеждах, связанных с будущими американскими (и иными) концессиями, и о своей встрече с Вандерлипом Ленин подробно докладывал 21 дек. 1920 г. на собрании коммунистической фракции VIII съезда советов (Соч. 26, 5-23). Ленин принял Вандерлипа весьма любезно, — «мы с ним обменивались всякими любезностями», «хотя, конечно, перспектива побеседовать с такой капиталистической акулой не принадлежит к числу приятных».

Уходя от Ленина, Вандерлип сказал: «Да, надо признаться, что у мистера Ленина рогов нет, и я должен буду это сказать всем своим знакомым в Америке». В Америке Вандерлип в ряде газетных статей всячески рекомендовал соглашение с советской властью и в одной газете написал даже, что он сравнивает Ленина с Вашингтоном. Но если Вандерлип сравнивал Ленина с Вашингтоном, то у Ленина было для него менее лестное сравнение: «Мы получили возможность бросить в это болото (т. е. в «буржуазный» мир) камень — в лице Вандерлипа», и это важно, ибо «наш главный интерес — добиться восстановления торговых отношений, а для этого надо иметь хоть некоторую часть капиталистов на своей стороне». Однако, просоветская агитация Вандерлипа и его единомышленников не достигла своей цели, им не удалось убедить правительство и общественное мнение США в необходимости и пользе соглашения с московским «Вашингтоном».

В то время как «правая» рука Ленина — его официальная

дипломатия — повторно и настойчиво предлагала правительству и «деловому миру» США соглашение и дружбу, его «левая» рука — Коминтерн — столь же усердно работала в противоположном направлении. Ленин и коммунисты понимали, что достижение их главной цели — всемирной социалистической «советской» республики — невозможно пока существует могучая «капиталистическая» и «империалистическая» заокеанская республика, и потому социальная революция в США представлялась им совершенно необходимой. Исполком Коминтерна старался как можно более обстоятельно и убедительно внушить это американским рабочим в своем обращении к ним (№ 15, «Коммунистический Интернационал», 20 дек. 1920 г.) под заглавием: «Американская революция. Воззвание Исполнительного Комитета Коммунист. Интернационала к рабочему классу Северной и Южной Америки». Воззвание начиналось словами: «В настоящий момент мировой революции главной задачей рабочего класса является подготовка его в духовном и материальном отношении к революционному завоеванию власти, к ниспровержению капитализма и империализма». И далее: «Коммунистический Интернационал не служит ответом ни на специально русские требования, ни на требования революции в одной только стране. Наша организация и наши цели имеют всемирно-исторический горизонт. Все сознательные рабочие Европы, Америки, Азии, чернокожие, желтокожие, белые включены в Коммунистический Интернационал и борются за осуществление его целей. Задача Коммунистического Интернационала — сломить могущество мирового империализма. Для ее выполнения Интернационал должен объединить революционную борьбу рабочих всего мира... Борьба рабочих против империализма есть гражданская война, которая, по необходимости, переходит в открытую вооруженную борьбу за власть. Коммунистический Интернационал — это генеральный штаб такой гражданской войны и мировой революции. Мы обращаемся прямо к вам, рабочие обеих Америк, потому что ваша задача является наиболее важной задачей для мировой революции. Только **ваша** победа может обеспечить окончательную победу **мировой** революции. Ниспровержение американского империализма — самого сильного и самого свирепого во всем мире, последнего оплота интернационального капитализма — рабочими Соединенных Штатов и Латинской

Америки будет решающим фазисом мировой революции. Это является **вашей** и, вместе с тем, и **нашей** задачей!»

Однако, призывы Коминтерна к социальной революции не нашли отклика в широких массах американских рабочих. Советский историк рабочего движения в США горько жалуется на идейную и политическую «отсталость» американского рабочего класса: «В США массы больше чем где бы то ни было находились под влиянием идей буржуазно-демократического парламентского реформизма». «Политическая отсталость американского пролетариата усугублялась тем, что АФТ (Американская федерация труда) — единственная массовая тред-юнионистская организация — еще с конца 19 столетия совершенно отказалась от борьбы за идейную и политическую самостоятельность рабочего класса и его социалистические цели. Ее политика так называемой «нейтральности» тред-юнионов на деле означала признание буржуазной политики и отказ от социалистической» (С. Ованесян. «Подъем рабочего движения в США в 1919-1921 гг.», Москва, 1961; 247; II).

Во главе АФТ долгое время стоял Самуил Гомперс, обладавший здравым смыслом и ясным политическим разумением, и «гомперсистское руководство АФТ» (по советскому выражению) относилось совершенно отрицательно и к «советской власти» и к коммунистическому движению в США, и под этим мудрым руководством «отсталый» рабочий класс Америки не пошел по той «прогрессивной» коммунистической дороге, которая на Востоке привела к сталинским концентрационным лагерям и маодзедуновской «культурной революции».

Так, социальная революция в США, к которой призывал Коминтерн, оставалась политической иллюзией, а «буржуазное» правительство в Вашингтоне оставалось твердым политическим фактом. Американская конституционно-парламентская машина действовала нормальным образом; на выборах в ноябре 1920 г. одержала победу республиканская партия, и с марта 1921 г. президентом США стал В. Гардинг, а государственным секретарем К. Юз.

Немедленно по вступлении в должность президента Гардинга официальная Москва поспешила протянуть новому президенту свою «правую» руку для дружеского рукопожатия и снова рука эта безответно повисла в воздухе. Председатель ВЦИК («всероссийский староста») М. Калинин 20 марта 1921 г.

обратился к президенту Гардингу со следующим письмом: «С первых дней своего существования Советская Россия надеялась на возможность скорого установления дружественных отношений с великой Северо-Американской Республикой и твердо рассчитывала, что между обеими Республиками создадутся тесные и устойчивые отношения к взаимной выгоде. Но президент Вильсон, без всякой причины и без объявления войны напавший на Российскую Республику, за все время своего управления проявлял растущую враждебность к Российской Республике. Советская Россия надеется, что Американская Республика не будет упорствовать на этом пути, и что новое Американское Правительство ясно поймет, какую громадную пользу принесет обоим Республикам возобновление между ними деловых сношений, и примет во внимание интересы обоих народов, повелительно требующие устранения разделяющей их теперь стены. Советская Республика, всецело поглощенная работой в деле внутреннего восстановления и воссоздания своей хозяйственной жизни, не намерена ни в малейшей мере вмешиваться во внутренние дела Америки, и настоящим Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет категорически заявляет об этом... Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет обращается к Вам с официальным предложением установить между Россией и Америкой торговые отношения. Для этой цели должны быть вообще урегулированы отношения между обеими республиками (очевидно, имеется в виду признание «советского» правительства С. П.). Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет обращается поэтому с предложением отправить в Америку специальную делегацию для ведения переговоров с Американским Правительством и для разрешения вопроса о деловых отношениях и о возобновлении торговли между Россией и Америкой» (Документы, IV, 9-10).

На это новое предложение дружбы из Вашингтона скоро был получен вразумительный ответ (от 25 марта 1921 г.): «Правительство Соединенных Штатов относится с глубокой симпатией и серьезным сочувствием к тяжелому положению русского народа и желает помочь всеми мерами и содействовать всяким возможностям для восстановления торговых отношений на прочном фундаменте. (Но) для Правительства Соединенных Штатов является очевидным, что при существующих обстоятельствах не может быть никакой уверенности в

развитии торговли... Только в развитии производительных сил кроется источник надежды для русского народа, и было бы напрасно ожидать восстановления торговых отношений до того, как будет заложен прочный хозяйственный фундамент. Необходимыми условиями производства являются личная безопасность, признание и полные гарантии частной собственности, святость договоров и право на свободный труд. Если предполагаются коренные изменения, предусматривающие надлежащую неприкосновенность личности и собственности и установление существенных для поддержания торговли условий, то Правительство Соединенных Штатов будет счастливо иметь убедительные доказательства проведения в жизнь таких изменений. Но до тех пор, пока Правительство Соединенных Штатов не получит этих доказательств, оно не может считать, что существует надлежащая база для рассмотрения вопроса о торговых сношениях» (Внешн. отнош., 1921, II, 768; Документы, IV, 10-11).

Итак, сов. правительству, несмотря на все его усилия, не удавалось установить с США ни политических, ни торговых отношений. Но 1921-22 гг. увидели широкое русско-американское сотрудничество на иной почве — на почве общественной благотворительности. В эти годы тяжелый голод постиг обширные пространства России, особенно Поволжье. Голод явился результатом, с одной стороны, катастрофического неурожая, с другой — экономических мероприятий ленинского правительства в деревне в эпоху «военного коммунизма». Сов. правительство оказалось бессильным справиться с тяжелым бедствием и увидело себя вынужденным обратиться к западному миру с призывом о помощи. Американское правительство и общество широко и великодушно отозвались на этот призыв. В 1919 г. была создана широкая организация, точнее, союз благотворительных организаций (поддерживаемый правительством) для оказания экономической помощи странам и народам, пострадавшим от мировой войны и ее последствий. Называлась эта союзная организация «Америкэн Релиф Администрешон» или, в сокращенном русском обозначении, «АРА». Во главе этой организации стоял министр торговли Герберт Хувер (будущий президент США). 20 авг. 1921 г. в Риге замнаркоминдела Литвинов и директор АРА в Европе В. Л. Браун подписали соглашение об организации и условиях работы

АРА в России (Документы, IV, 281-8), и с 1 октября АРА начала свою работу. Работа эта особенно широко развернулась в 1922 г. и закончилась в июне 1923 г. В первом издании Большой Советской Энциклопедии (т. 3, изд. 1926), на стр. 190-2, находим объективную фактическую статью о работе АРА в России, с приведением цифровых данных.

АРА в течение двух лет работала в 37 пораженных неуружаем губерниях и спасла от гибели многие миллионы людей.

По окончании деятельности АРА в России, Совет Народных Комиссаров счел своей обязанностью поблагодарить АРА и ее лидера Хувера от имени русского народа, который никогда не забудет помощь, оказанную ему американским народом через АРА.⁴ Однако, с течением времени традиционная марксистско-ленинская ненависть к «буржуазной» Америке взяла свое, и во 2 издании БСЭ (т. 2, изд. 1950), на стр. 582, мы находим злостно-клеветническую заметку, в которой о действительной работе АРА в России не сказано ни слова (и самое слово «работа» взято в иронические кавычки), а сказано вот что. Возглавлялась АРА «известным реакционером» Хувером. В Россию АРА пришла в августе 1921 г. «Предоставленные ей возможности создания своего аппарата в Советской России «А» использовала для шпионско-подрывной деятельности и поддержки контрреволюционных элементов. Контрреволюционные действия «А» вызвали решительный протест трудящихся Советской России. «Работа» АРА в РСФСР была прекращена с июня 1923 г.»



В 1922 г. правительства западно-европейских держав решили созвать в Генуе международную конференцию для обсуждения финансово-экономических вопросов, связанных с экономическим восстановлением Европы после потрясений мировой войны. Сов. правительство было приглашено и с радостью согласилось принять участие в Генуэзской конференции, но правительство США отказалось «принимать участие в этих бесполезных разговорах» (Внешн. отнош., 1922, II, 791, 811), какими они и оказались в действительности.

⁴ H. H. Fisher. *America and Russia in the World Community*. Claremont, Calif., 1946, p. 162.

Настойчивые старания сов. правительства добиться установления «обоюдно выгодных» экономических отношений оказывались тщетными не только потому, что правительство США отказывалось вступить в какие-либо отношения с «так называемым советским правительством». Конечно, и этот юридический фактор имел свое значение, особенно в отношении концессий, обещанных иностранцам в Сов. России. При отсутствии дипломатического и консульского представительства в РСФСР (или с начала 1923 г., в СССР) американские предприниматели, отправлявшиеся туда за «сугубой прибылью», которой их заманивал Ленин, не могли рассчитывать на легальную защиту своего правительства и, значит, должны были рисковать своими капиталами и личной безопасностью, полагаясь только на ленинские обещания и советское «правосудие», а число таких оптимистов не могло быть велико. Торговые отношения между двумя странами не могли развиваться и по причинам чисто экономического характера. Правительство США еще в 1920 г. отменило запрещение вывоза американских товаров в РСФСР и предоставило частным лицам и корпорациям вести торговые сношения на свой риск и страх. Но «советской» стране в то время нечем было торговать и нечем было бы оплачивать импортированные американские товары. Сов. правительство могло бы платить золотом («унаследованным» от «старого режима»), но запасы его были недостаточны и их надо было прибегать для уплаты субсидий «братским партиям» во всем мире (и в частности, в США); бумажная же советская валюта в начале 20-х гг. была в полном расстройстве, и на внешнем рынке ничего не стоила.

Если правительство США твердо и неуклонно проводило свою политику «непризнания» сов. правительства, то в американском обществе, конечно, была и оппозиция, требовавшая «признания России». На крайнем левом фланге рабочего движения действовала американская компартия, снабжаемая инструкциями и субсидиями из Москвы. Кроме коммунистов, в пестрой компании советских друзей в США были и псевдолиберальные сенаторы, и предприимчивые промышленники и инженеры, заинтересованные советским «экспериментом» и мнимо-прогрессивные «дамы общества». Но руководство профессионального рабочего движения (АФТ) твердо стояло на своей позиции отрицательного отношения к большевицкой

власти. 9 июля 1923 г. президент Американской Федерации труда Гомперс, с целью выяснить отношение правительства к вопросу о «признании», обратился к государственному секретарю Юзу с письмом, в котором заявлял, что руководство АФТ решительно возражает против «признания». Несмотря на некоторые изменения в экономическом положении населения России в связи с введением «новой экономической политики», АФТ, «стоя на американских принципах права, справедливости и демократии», считал признание сов. правительства недопустимым: «Было и остается убеждением АФТ, что советская власть не может быть признана, ибо она есть автократия, навязанная русскому народу без его согласия и вопреки его воле и поддерживаемая таким же образом». «Для американских рабочих настоящая тирания в России есть явление презренное и нетерпимое на практике, не говоря уже о принципиальных соображениях» (Внешн. отнош., 1923, II, 758-60). Государственный секретарь ответил Гомперсу обширным письмом, в котором еще раз подробно изложил основания, не позволяющие правительству США признать «большевицкое правительство» (там же, стр. 760-64).

В авг. 1923 г. президент США Гардинг умер и президентом стал, по конституции, вице-президент Кулидж. Сов. правительство решило воспользоваться этим случаем и еще раз предложить правительству США свою «дружбу». 16 декабря 1923 года наркоминдел Чичерин послал президенту Кулиджу следующую телеграмму: «Советское правительство постоянно стремилось к восстановлению дружеских отношений с США, основанных на взаимном доверии. Имея в виду эту цель, оно неоднократно выражало готовность вступить в переговоры с Американским правительством и устранить все недоразумения и разногласия между обеими странами. Ознакомившись с Вашим посланием Конгрессу, Советское Правительство, искренне желая установить наконец прочную дружбу с народом и правительством Соединенных Штатов, извещает Вас о своей полной готовности обсудить совместно с Вашим правительством все вопросы, затронутые в Вашем послании, причем в основу этих переговоров будет положен принцип обоюдного невмешательства во внутренние дела другой стороны. Советское Правительство будет продолжать твердо держаться этого принципа (?!)...» (Документы, VI, 547).

Но и на это объяснение в любви из Вашингтона тотчас же пришел суровый ответ. Государственный секретарь Юз 18 дек. 1923 г. телеграфировал американскому послу в Ревеле для передачи Чичерину, через советского представителя в Эстонии, следующий ответ американского правительства: «В настоящее время нет оснований для переговоров. Американское Правительство, как сказал Президент в своем послании Конгрессу, не намерено отказываться от своих принципов... Весьма серьезным фактом является продолжающаяся пропаганда с целью ниспровержения американского строя («американских учреждений»). Правительство США не может входить ни в какие переговоры, пока анти-американские «усилия», направляемые из Москвы, не будут прекращены» (Внешн. отнош., 1923, II, 188).

Суровым ответом, полученным сов. правительством от государственного секретаря Юза в дек. 1923 г., закончились официальные советско-американские отношения при жизни Ленина.

В январе 1924 г. Ленин умер. В его американской политике его двурушническая работа потерпела полную неудачу. Его «правой» руке — Чичерину, несмотря на все старания, не удалось добиться «дружеских отношений» с США (и извлечь из этой «дружбы» экономические выгоды). Его «левой» руке — Зиновьеву не только не удалось зажечь в США пожар социальной революции, но даже не удалось привлечь к коммунизму симпатии сколько-нибудь значительной части американских рабочих. Американские профсоюзы, в том же 1923 г., устами своего лидера Гомперса, не только категорически отказались от всякой дружбы с большевицкой Москвой, но сурово осудили тираническую диктатуру компартии над бесправным и угнетенным народом.

С. Пушкарёв

ГЕРМАНИЯ НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ

В своей статье «Германия и 'Европа от Урала до Атлантики'».¹ я писала: «Такие лозунги имеют свойство получать самостоятельное существование и облекаться плотью в совершенно неожиданном виде для тех, кто их сначала пустил в ход». Я имела ввиду лозунг: «Европа от Урала до Атлантики». Там же я писала: «Теперешнее германское правительство не пойдет на нейтрализацию Германии, даже за цену объединения, но в Германии многое может измениться и, может быть, даже в непродолжительном времени».

Теперь в Германии многое изменилось, радикально изменилось. До **какой** степени эти изменения радикальны, вне Германии, мне кажется, мало кто себе представляет. Впрочем, не понимают этого еще многие и внутри Германии, хотя понемногу начинается прозрение.

Брандта в Европе не раз называли немецким де Голлем, но только без его национализма. Но что осталось бы от де Голля, если зачеркнуть его национализм? Осталась бы идея «Европы от Урала до Атлантики». Эту-то идею от него и унаследовал Брандт. В его номенклатуре она, правда, называется иначе: «общая европейская политика», «общеевропейский порядок мира» и пр. Но идея одна и та же: восточно-западная Европа с включением в нее Советского Союза, но, конечно, без США как державы неевропейской.

Эта идея у Брандта, конечно, в гораздо более надежных руках, чем у де Голля. В самом деле, французскому **националисту** трудно было способствовать объединению западной капиталистической Европы с «социалистическими» странами восточной Европы. Иное дело **социалист** Брандт, глава немецких социал-демократов, единственных в Европе социалистов-

¹ «Новый Журнал», кн. 89, 1967.

марксистов, если не считать Австрию. Ему и книги в руки. Мне могут возразить, что та часть немецкой социал-демократии, которая после войны отказалась объединиться с коммунистами, отошла от марксистских догм, придерживается идеи свободного хозяйства, стала истинно демократической и из классовой превратилась в народную партию. Своей высшей точки эта эволюция достигла на партийном съезде 1960 г., принявшем так называемую Годесбергскую программу, в самом деле, очень отличную от марксизма. Это верно. Поэтому за социал-демократов и стали голосовать широкие круги населения и многие рабочие, которые прежде шли за христианскими демократами, т. к. совсем не хотели марксизма. Однако, сейчас наблюдается обратное движение: быстрая реставрация марксизма внутри самой партии. Эта реставрация идет по двум линиям: под напором неомарксистской партийной молодежи и старых, всегда остававшихся верными марксизму, товарищей, которые стиснув зубы, терпели Годесбергскую программу только как временную тактику для завоевания широких масс избирателей. Характерна такая мелочь: после Годесберга социал-демократы отказались от своего прежнего обращения «товарищи» и стали именовать друг друга «господа». В мае этого года на партсъезде социал-демократов в Саарбрюкене эта тактическая маскировка была оставлена, и снова зазвучало знакомое — «товарищ».

Сейчас, когда я пишу эти строки, Германия — в большом волнении из-за проекта договора с Москвой, который Эгон Бар, приятель Брандта, составил в 40-часовой беседе с Громыко. Правительство держало этот текст в строгом секрете от общественности, но ловкие журналисты раздобыли его и напечатали. До тех пор, пока эта статья дойдет до читателя, может произойти еще много новых разоблачений и событий. Поэтому мне в этом обзоре не хочется вдаваться в подробный анализ текстов Бара, хотя ниже я кратко на них остановлюсь. Мне представляется более интересным дать характеристику теперешних правителей Германии и показать общий характер их политики.

Германией управляет сейчас не столько кабинет министров, сколько «мозговой центр» Брандта. К нему принадлежат: Хорст Эмке, Эгон Бар, Лео Бауэр и Герберт Венер.

Эмке, юрист левых настроений, — министр без портфеля в канцелярии канцлера. Он проводит планомерно замену преж-

них чиновников в Бонне другими, более угодными новому направлению, ставит своих людей в контр-разведку и вообще производит основательную «чистку». Такую же «чистку» в армии проводит министр обороны Шмидт, отправляя до времени на пенсию неугодных новому правительству генералов.

Эгон Бар, который вместо не имеющего никакого значения министра иностранных дел Шеля из партии свободных демократов, вел переговоры в Москве, является автором тезиса: «изменения путем сближения». Под «сближением» подразумевается, конечно, сближение с коммунистическими странами.

До событий в Чехословакии эту формулу расшифровывали как желание либерализировать восточно-европейские страны путем их сближения с Западом. После чехословацких событий стало ясно, что либерализация может этим странам принести только несчастье, т. к. Москва ее **не допустит**. Судя по положениям, о которых Бар договорился с Громыко, кажется, изменения должны произойти не в восточной, а в западной Германии. Еще во время большой коалиции Бар с ведома Брандта, но без ведома тогдашнего канцлера Кизингера, ездил несколько раз тайно в восточный Берлин. Когда это вышло наружу, Кизингер сделал большую ошибку, заявив это дело. Кизингер надеялся на возобновление большой коалиции и своего канцлерства после выборов в 1969 г. и поэтому не хотел ссориться с Брандтом.

Лео Бауэр, главный политический советник Брандта, был уже во время войны, несмотря на свои тогда молодые годы, известным и видным коммунистом. Находясь в эмиграции он, между прочим, сотрудничал с советским агентом, американцем Ноэлом Филдом,² которого в свое время старался завербовать в советскую агентуру небезызвестный «советник Рузвельта» Алжер Хис, но которого фактически завербовала Хеде Масинг.³ После войны Бауэр был одно время коммунистическим депутатом ландтага в Гессене. Позже компартия в западной Германии была, как известно, запрещена. Бауэр уехал в восточную Германию и работал там директором телевидения. Затем он был арестован и сослан в Сибирь, но очень скоро выпущен и направлен в западную Германию в числе 10 тыс. военнопленных, ко-

² Flora Lewis, "Red Pawn", New York, 1965.

³ Hede Massing, "This Deception", New York, 1951.

торых Аденауэр выторговал у Хрущева. Бауэр, конечно, никогда военнопленным не был. В западной Германии он работал в редакции иллюстрированного журнала «Штерн», который он сильно повернул влево, журнал начал печатать положительные, почти восторженные, статьи о жизни в восточной Германии и хвалить «героизм и человечность» арабских партизан из Эль Фатах. В своих выступлениях Бауэр не скрывал, что он остался коммунистом, «настоящим ленинцем» и хвалил жизнь в Советском Союзе после Сталина. Бауэр составляет речи для Брандта, в частности, он написал текст январского выступления Брандта с отчетом о положении нации. Брандту пришлось этот текст забраковать, но частично он просочился в печать: в этой речи жизнь в восточной Германии описывалась в таких положительных тонах, как будто люди в «ГДР» живут лучше, чем в свободной части Германии. Брандт не решился от своего имени произнести такое славословие коммунистической Германии, но своего главного политического советника все же оставил при себе. В обязанности Бауэра входит также налаживать связь между германской соц.-дем. партией и компартиями других стран. Так, он наладил связь с компартиями Италии, Югославии, Венгрии, может быть, и еще с какими-нибудь партиями.

Но самой красочной фигурой при Брандте является, конечно, Герберт Венер. Т. к. он играет самую важную роль, как главный и многолетний стратег германской социал-демократии, то на его биографии следует остановиться подробнее. Венер родился в 1906 г. в Дрездене в семье сапожника. В юности он вступил в союз молодых социал-демократов, но скоро перешел к коммунистам, где быстро сделал карьеру. В 1930 г. он стал заместителем секретаря компартии всей Саксонии. В 1931 г. он был депутатом в саксонском ландтаге от компартии. На молодого Венера партия возлагала большие надежды, он был отличным организатором, абсолютно преданным, жестким, бескомпромиссным последователем генеральной линии. В 1932 г. он становится уже личным секретарем председателя ЦК компартии Тельмана и переезжает в Берлин. В 1933 г. с приходом к власти Гитлера наступает перелом. Венер вместе со своей партией уходит в подполье. Год спустя он покидает Германию. Ему поручают организацию конспиративной работы из центров, вне Германии. Венер работает попеременно в Саарбрюккене, Праге, Амстердаме, Роттердаме, Париже, Базеле, Барселоне, Копенгагене и Осло.

В это время Москва переменяла свою тактику: она стала стремиться повсюду к сотрудничеству с социалистами и к созданию, так называемого, народного фронта. Это — известный метод инфильтрации. Венер становится наряду с Пиком и Ульбрихтом, с которыми он тесно сотрудничает, стратегом именно этого метода и имеет успех. В 1935 г. Венер едет в Москву для подготовки VII конгресса Коминтерна, который открылся 28 июля 1935 г. Этот конгресс подтвердил новую тактику, и группе Пик-Ульбрихт-Венер удалось утвердить свои позиции и «обезвредить» других (потом расстрелянных) немецких коммунистов, в том числе известного Неймана. Венер снова уезжает в Европу и ведет дальше свою работу по усилению народного фронта и расширению советской сети инфильтрации и шпионажа. Во время гражданской войны в Испании он организует красные интернациональные бригады.

В январе 1938 г. его снова вызывают в Москву для отчета и он остается там до середины 1939 г. Венер читает лекции в Ленинской партшколе, пишет (под псевдонимом) ряд брошюр, сотрудничает в журнале «Коминтерн», в «Правде», в московском радио. Он продолжает быть одним из ведущих членов Коминтерна и в этот период тесно сотрудничает с Димитровым. В июле 1939 г. Венер снова покидает Москву и продолжает свою деятельность в Бельгии, Голландии и Франции, где тогда были шпионские центры Москвы. После оккупации этих стран германской армией, центр советского шпионажа переносится в Стокгольм, там же обосновывается и Венер.

Но в 1942 г. полоса его удач кончается: его арестовывают по обвинению в шпионаже в пользу Сов. Союза. На допросе Венер по непонятным причинам выдал некоторых своих сотрудников. На процессе он был признан виновным и приговорен к году заключения, но компартия одновременно исключила его из своих рядов за недостойное поведение после ареста. Отбыв наказание, Венер как будто бы собирался ехать в Москву оправдываться, но потом принял иное решение. После войны он возвращается в западную Германию и **вступает в социал-демократическую партию**. Здесь он присоединяется к самому левому крылу партии, где встречает и Вилли Брандта (настоящие имя и фамилия Герберт Фрам). Знаменательно, что Венер не опубликовал ничего о своей прежней деятельности или о методах работы компартии. Он **никогда** не выступал с каким-либо отречением от коммунизма, его доктрины или его прак-

тики. Он старался завуалировать свое прошлое, для архивов бундестага он дал так ловко составленную автобиографию, что из нее даже не явствует, что он был коммунистом. Многие журналисты пытались получить о нем сведения в Москве, но Москва ничего о Венере не сообщает. Только через 25 лет после процесса, т. е. совсем недавно, шведы предоставили акты этого процесса в распоряжение прессы. Из них стали известны многие, но, очевидно, не все факты биографии и работы Венера.

Пока был жив первый председатель партии социал-демократов Курт Шумахер, Венеру трудно было сделать партийную карьеру. Шумахер провел много лет в национал-социалистических концлагерях и вынес оттуда ненависть ко всем тоталитарным режимам. Венеру он не доверял. Но после смерти Шумахера Венер стал быстро выдвигаться внутри партийной иерархии и постепенно завладел партийным аппаратом. Типичный аппаратчик и партийный организатор Венер умел поворачивать партию все эти годы туда, куда хотел.

Сначала курс Венера был левым. Он был против союза с западными державами, против вступления западной Германии в НАТО, он был за нейтрализацию Германии и объединение ее под знаком «демократического социализма». В 1959 г. Венер разработал так называемый «план Германия». Согласно этому плану, Германия должна была предложить странам-победительницам созвать конференцию и образовать комиссию с совещательными голосами западной и восточной Германии, которая выработала бы предложения для созыва европейской конференции безопасности и план мирного договора с объединенной Германией. Дальше, согласно плану Венера, должна была быть образована зона «ослабления напряжения», которая охватывала бы обе части Германии, Польшу, Чехословакию и Венгрию. В этой зоне должны были быть сокращены армии и выведены войска НАТО и Варшавского договора. Затем должна была быть созвана общегерманская конференция и паритетные комиссии с одинаковым числом представителей от западной и от коммунистической Германии, а после этого парламентский совет, долженствующий состоять наполовину из представителей западной Германии и наполовину из коммунистов, выработал бы проект созыва конституционного собрания для всей Германии. Из истории мы хорошо знаем, что происходит, когда коммунисты занимают «половину мест». Обычно им достаточно даже меньше половины, чтобы захватить все в свои руки.

План Венера также довольно точно совпадал с тогдашним планом польского министра иностранных дел Рапацкого и вообще с тогдашними планами Москвы. Интересно, что уже тогда этот план содержал требование созыва общеевропейской конференции безопасности, на чем теперь так настаивает Москва. Биограф Венера, Ганс Фредерик⁴ считает, что Венер одержим идеей своего оправдания перед Москвой, что он хочет показать, что он — «лучший Ульбрихт», и у него будет больше заслуг перед Москвой. В самом деле, если б Венеру удалось положить к ногам Москвы всю Германию, он имел бы много заслуг.

План Венера был резко отвергнут тогдашним правительством Аденауэра и правящей христианско-демократической партией, а в общественности вызвал недоумение и тревогу.

И вдруг Венер совершенно переменил позиции. Уже год спустя он объявил свой план «мертвым». К удивлению и раздражению старых «товарищей» он вдруг перешел на правое крыло партии, ратовал за Годесбергскую программу и добился ее принятия, преодолев сопротивление всего левого крыла. Венер начал пропагандировать коалицию с партией христианских демократов, заигрывать с церквями и даже выступать у лютеран. Он говорил умеренным тоном, но требовал ни в коем случае не признавать ни государства Ульбрихта, ни границы по Одера и Нейсе. Никто бы в нем больше не узнал молодого саксонского коммуниста, призывавшего в ландтаге к насильственному свержению демократии.

И Венеру поверили. Если крупный коммунист **искренне** порывает с коммунизмом, то он, как правило, становится убежденным антикоммунистом. Он слишком глубоко разочарован, слишком много знает, чтобы стоять на нейтральных позициях или же «либерально» заигрывать с коммунистами. Поэтому новое «лицо» Венера было психологически более понятно и правдоподобно, чем его прежний левый курс, вызывавший недоумение. Венер стал искать сотрудничества и даже личной дружбы с самыми убежденными антикоммунистами из партии христианских демократов, например, с бароном Гуттенбергом. В своей собственной партии он натолкнулся сначала на яростное сопротивление левого крыла (от которого тогда Брандт уже

⁴ Hans Frederik, "Gezeichnet vom Zwielicht seiner Zeit", Muenchen, 1969.

отошел), Венера даже хотели лишить всех партийных постов. Но он уже твердо держал в своих руках партийный аппарат и сумел подавить «мятеж».

В 1966 г. была образована коалиция между христианскими демократами и социал-демократами. Венер стал министром, он получил портфель, так называемого общегерманского министерства. Это министерство носило более или менее символический характер, его задачей было заботиться о том, чтобы идея воссоединения Германии не была окончательно предана забвению. Оно собирало также богатый материал о действительных условиях жизни в советской зоне Германии и издавало много брошюр и периодических изданий по этим вопросам. Венер, переняв это министерство, ликвидировал одно издание за другим, якобы из-за недостатка средств. Но затем он пошел еще дальше: он разрешил восточному Берлину присылать в информационный центр в Бонне свои пропагандные издания. Теперь это министерство переименовано в «министерство внутригерманских связей», а в его информационном центре можно не только найти пропагандную литературу из восточной Германии, но порой и встретить самих представителей «ГДР», любезно раздающих эту литературу западногерманскому населению.

Тактическим шагом заключения коалиции с христианскими демократами Венер достиг своей цели: население поверило, что и социал-демократы могут управлять государством. На выборах в сентябре 1969 г. социал-демократы большинства, правда, не получили, но увеличили число своих голосов и мандатов, и им удалось вместе с сильно полевевшими либералами составить левую коалицию. Венер не взял министерского портфеля в новом правительстве, он выбрал гораздо более влиятельный пост, председателя фракции социал-демократов в бундестаге: он держит партию в своих руках.

Дорвавшись до власти, Венер сбросил маску. Теперь он не только высказывается за признание «ГДР» и хвалит своего многолетнего соратника Ульбрихта, его выступления в бундестаге походят на речи молодого агитатора Венера в саксонском ландтаге. Он ругается, издевается над оппозицией, нагло хохочет, когда депутаты христианских демократов цитируют его высказывания в 1960-1968 гг., когда он говорил совершенно противоположное тому, что говорит теперь. Многие годы

демократические партии западной Германии при всем различии во мнениях придерживались одного взгляда на некоторые основные вопросы германской внешней политики. Они стояли за непризнание «ГДР», непризнание границы по Одру и Нейсе до мирного договора со всей Германией, за союз с Западом и т. д. Теперь Венер от имени своей партии заявил, что никакой общности в германской внешней политике между новым правительством и христианско-демократической оппозицией не может быть, оппозиция им не нужна, власть находится в их руках, и они будут делать, что хотят.

Брандт во время последнего заседания бундестага объявил оппозиции войну и пригрозил, что эта война примет такие формы, что оппозиция весьма удивится. Райнер Барцель, председатель фракции христианских демократов в бундестаге, принял объявление войны и сказал, что оппозиция готова к борьбе. Но хотя Брандт и бросил этот вызов, однако, в общем он много осторожнее. Он не останавливает и не опровергает Венера, но сам выбирает более осторожные выражения.

Теперь скажем несколько слов о самом канцлере. Что он из себя представляет? Брандт не оратор, он говорит медленно, запинаясь, подбирая слова, с неподвижным, почти маскообразным лицом. Речи его лишены острого смысла. Чаше это набор общих фраз. Поразительно его умение много говорить и ничего не сказать. На все конкретные вопросы оппозиции он отвечает весьма туманно. Когда он, запинаясь, подыскивает слова, то чувствуется, что ему часто бывает нелегко соединить необходимость что-то сказать с желанием ничего не сказать, ничего не выдать из действительных целей своей политики. Но до сих пор он с этой задачей справлялся. Как должен этот мастер маскировки не любить своего министра иностранных дел Шеля из партии либералов, который время от времени неосторожно срывается на конкретные заверения и заявления. Надо думать, что Брандт не посвящает Шеля в тайны своей восточной политики. За два дня до второй поездки Бара в Москву Шель даже не знал, что Бар опять едет в Москву и наивно выболтал это журналистам. В Варшаве вел переговоры Дуквиц, а когда Брандт написал письмо Гомулке, то Шель не только не знал содержания этого письма, но даже вообще не знал о его существовании. Опять-таки дотошные журналисты узнали все это раньше чем министр иностранных дел.

Брандт в противоположность Венеру редко выходит из себя. Но его спокойствие — это не сдержанность, за которой чувствуется сильная личность. В народе говорят, что Брандта «сделал» Венер или что настоящим канцлером является Эмке. Одни называют Брандта сфинксом, другие думают, что он — наивный простачек, которого коммунисты водят за нос, третьи же считают его хитрецом и плутом.

Прошрое Брандта не схоже с прошлым Венера. В компартии он не был, но принадлежал к маленькой социалистической партии, отколовшейся от социал-демократов и находившейся где-то между ними и коммунистами. Брандт был во время гражданской войны в Испании на стороне красных, но никто не знает, что он там делал. При Гитлере он эмигрировал в Норвегию, но еще в 1938 г. писал, что несмотря на его разочарование в Сов. Союзе из-за показательных процессов, будущее Германии представляемо только на стороне великого Сов. Союза. Вне Германии многие думают, что Брандт был прекрасным бургомистром западного Берлина, но на самом деле он спустил Берлин на тормозах. Теперешнее безобразное состояние Берлина, засилие красных в «свободном» университете и проч. началось и подготовлялось при Брандте. При слабом канцлере Эрхарде Брандт неоднократно ездил в восточный Берлин к советскому послу Абрасимову беседовать с глазу на глаз. О чем говорили Брандт и Штоф с глазу на глаз в Эрфурте и в Касселе? Инициатива этих разговоров с глазу на глаз исходила от Брандта. Между прочим, в левой западногерманской прессе в трогательных выражениях писали о том, как связывает Брандта и Штофа их общая борьба против национал-социализма. В качестве комментария к этому следует указать, что Штоф был членом национал-социалистической партии и до конца войны сражался в рядах германской армии. Только после войны он переметнулся к коммунистам и быстро сделал у них карьеру.

Чтобы закончить обзор нового германского руководства скажем еще несколько слов о президенте Хайнемане. Хайнеман, в прошлом член высоких церковных гremиев протестантов, принадлежал сначала к партии христианских демократов и был министром внутренних дел в первом кабинете Аденауэра. Он покинул и пост и партию из протеста против вооружения Германии и создания НАТО. Армии он не любит и свое президентство начал с заявления, что могут наступить обстоятель-

ства, когда западногерманская армия самоликвидируется. Выйдя из партии христианских демократов, Хайнеман основал свою собственную, очень левую и явно прокоммунистическую партию под названием «Общегерманская народная партия». В те времена, в одной публичной дискуссии, Хайнеман сказал мне в лицо буквально следующее:

«Ну, в Германии мы коммунизма, правда, не хотим, но для России это самый лучший режим, какой только можно придумать». Его партия успеха не имела. В конце концов, он ее распустил и вступил в социал-демократическую, обосновавшись на ее левом фланге.

Этим мы закончим характеристики новых руководителей западной Германии и попробуем набросать схему их политики.

Если уже при большой коалиции началось, к сожалению, размывание ясного различия между восточноевропейскими народами и коммунистическими правительствами в их странах, и между свободными демократиями и диктатурами, то теперь об этом различии в «хорошем обществе» совсем не упоминают. Брандт и его «придворная» пресса заявили, что историческое дело Аденауэра, которое заключалось в примирении с западными державами-победительницами, надо дополнить историческим делом примирения с восточными странами. Как Аденауэр пошел сначала на уступки западным странам, не ожидая сразу же «платы» за эти уступки, так и сейчас надо пойти на уступки восточным, не ожидая от них никакой компенсации за эти уступки. Ни единым словом не упоминается о том, что в западных странах существуют свободно избранные демократические правительства, а в восточноевропейских — коммунистические диктатуры. Терминология, употребляемая новым правительством, совершенно затемняет этот факт. Говорится о необходимости преодолеть **национальные** различия между восточными и западными европейскими странами, о том, что нужно «срыть гору, накопившихся за 25 лет недоразумений» и «взаимного непонимания», но о **принципиальных, идеологических** противоречиях нет и речи.

Один социал-демократический депутат бундестага даже сказал, что нет двух политик, одной для Запада, а другой для Востока, есть только одна общеевропейская политика. И вот мы снова причливаем к «Европе от Урала до Атлантики». США, как неевропейская держава, к этой общности причаст-

ны быть не могут. Брандт не раз говорил, что присутствие американских войск в Германии нужно, пока он ведет переговоры с Москвой, т. к. это усиливает его позиции, и пока не установлен новый «общеевропейский порядок мира».

Впрочем, и Помпиду подписал вместе с Чаушеску коммюнике, где говорится, что необходима европейская конференция безопасности и замена теперешних блоков (НАТО и Варшавского договора) общеевропейской системой безопасности. В дополнительном соглашении между Баром и Громыкой, опубликованном теперь против желания правительства в Бонне, стоит, что Германия обязуется способствовать этой конференции. Советы при помощи нее надеются добиться многого и предлагают даже образовать постоянный общеевропейский орган, который бы занимался улаживанием всех европейских вопросов. То, что в этом органе доминировала бы единственная великая европейская держава, именно Сов. Союз, всем должно быть ясно. «Урегулирование» же германского вопроса в советском духе должно помочь установить «европейский порядок мира».

Когда Бар сидел неделями в Москве и вел многочасовые беседы с Громыкой и Косыгиным, официальная версия была та, что он только зондирует почву. Но Бар вернулся с готовым проектом договора, который правительство держало в строгой тайне не только от общественности и оппозиции в бундестаге, но даже и от членов фракции либералов, своего коалиционного союзника. Тем временем журналисты каким-то путем достали тайные документы и опубликовали их. Неизвестно, все ли опубликовано из того, о чем Бар договорился в Москве, но и опубликованного достаточно. Текст проекта договора — это, конечно, капитуляция перед требованиями Москвы, хоть словесно и несколько завуалированная. Бонн признает формально не только раздел Германии и границу по Одру и Нейсе, но фактически отказывается и от западного Берлина, заявляя, что у него нет никаких территориальных претензий. Москва же всегда считала связь Бонна с западным Берлином «территориальной претензией» и даже «агрессией». Заявляя, что договоры с Москвой, Варшавой, Прагой и восточным Берлином, — одно целое, Бонн тем самым официально признает владычество Москвы над всеми этими государствами и гарантирует его тем, что гарантирует все послевоенные границы в Европе.

Какой же смысл для западной Германии имел бы такой договор? Никаких ясных ответов на этот вопрос ни Брандт, ни Шель, ни Венер не дают. И только немногие западногерманские журналисты решаются задать вопрос: в чем же заключаются **настоящие** цели Брандта и его правительства?

Окружение Брандта твердит, что Брандт сделает по отношению к Востоку то, что Аденауэр сделал по отношению к Западу. Аденауэр, как известно, ввел западную Германию в систему союзов с западными державами, вступил в западный оборонительный союз НАТО. Надо ли понимать слова окружения Брандта так, что он введет западную Германию в систему союзов с коммунистическими государствами?

В частности, Москва заманивает западную Европу рынками сбыта и другими экономическими возможностями. Она хочет перекрыть хозяйственное объединение западноевропейских стран общеевропейским — под своим руководством. Интересно отметить: в потрясающем меморандуме «Время не ждет» за подписью С. Зорина и Н. Алексеева, напечатанном в Сов. Союзе в самиздате и дошедшем до нас кружным путем, авторы пишут, что в Сов. Союзе все брошено на военную промышленность, а промышленность для нужд населения сильно отстает. Но, добавляют они, это «отставание промышленности неизбежно скажется на боеспособности вооруженных сил». Вот Москва и стремится ликвидировать это отставание чужими руками, отсюда и заказы иностранным фирмам строить в Сов. Союзе фабрики, и старание получить от «капиталистических» держав долговременные кредиты. Они и дают. Западная Германия дала миллиардные кредиты на таких выгодных условиях, на каких она не давала ни одному государству. Поэтому многие крупные капиталисты в Германии и довольны правительством Брандта, ведь оно первое дало кредиты Сов. Союзу. Так капиталисты продают коммунистам ту самую ленинскую «веревку», на которой их потом и повесят.

Если проектируемый договор с Москвой будет заключен, если Москве удастся созвать «европейскую конференцию безопасности» создать «общеевропейский орган для разрешения европейских вопросов» и затем «пойти навстречу Западу» в вопросе взаимного увода войск из Европы, тогда американцам трудно будет оставить свои войска в Германии. Ведь НАТО **само** предлагает видоизмененный план Рапацкого. В этом случае

в Америке бы усилилось давление на правительство со стороны псевдо-либералов. Но ведь американцы увели бы свои войска за океан, а советы в лучшем случае отвели бы свои на несколько сот километров. И тогда до «подачи братской помощи» со стороны Сов. Союза при любом удобном случае было бы не так уж далеко. Брандт, так старающийся «подружиться» с коммунистическими государствами, возможно, не слыхал о горьком чешском анекдоте: «Какая самая безопасная страна в мире? Израиль. Почему? Он окружен только врагами». После «братской помощи», был бы прочно установлен «европейский порядок мира» и «Европа от Урала до Атлантики», но уже по доктрине Брежнева.

Остается только надеяться, что сильная оппозиция и обеспокоенный немецкий народ этого не допустят. Выборы в ландтаги 14 июня показали, что если бы теперь были новые выборы в бундестаг, то Бранд, вероятно, потерпел бы такое же поражение, какое потерпел Вильсон в Англии.

В. Пирожкова

П. С. 12 августа, накануне очередной годовщины построения берлинской стены, канцлер Брандт торжественно подписал в Москве договор, гарантирующий теперь и в будущем все послевоенные границы, в особенности границу между западной и восточной Германией, а тем самым, и эту самую берлинскую стену. Правительственной пропаганде удалось на короткое время создать впечатление, что министру ин. дел Шелю удалось в Москве улучшить условия договора, о которых договорился Бар, но когда текст договора был опубликован оказалось, что он почти слово в слово совпадает с проектом Бар-Громыко, а там где есть изменения, они существа дела не касаются. Знаменитая же преамбула состоит только из общих фраз.

Берлин в этом договоре вообще не упомянут, т. к., по словам Брандта, этот вопрос входит в компетенцию держав-победительниц. Но несмотря на это берлинский бургомистр Шюц с одобрения Брандта уже говорит, какие уступки могут быть сделаны советам в берлинском вопросе, а именно ослабление связи Берлина с зап. Германией, т. е. как раз то, чего хотят советы: превращение западного Берлина в «особую политическую единицу» с отдельным голосом в ООН после того, как туда будут приняты западная и восточная Германии.

Думается, что московский договор — это только начало. В сентябре в Москву едут министры хозяйства и науки запад-

ной Германии, чтобы налаживать тесное сотрудничество с СССР по всем хозяйственным и техническим вопросам. Советы, например, заинтересованы в сотрудничестве некоторых немецких специалистов по ракетам.

Один из наиболее вдумчивых немецких комментаторов, Дитер Цикон, назвал подписанный в августе договор с Москвой прощанием западной Германии с западным союзом.

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СССР

Предварительные итоги всесоюзной переписи 15 января 1970 года, опубликованные в апреле, содержат небольшое количество отобранных данных. Но все же основной вопрос о движении численности населения Советского Союза в целом, по союзным республикам и по основным районам РСФСР и УССР, получил в опубликованных материалах ЦСУ достаточное освещение. Это позволяет судить о происходящих сдвигах и перемещении населения внутри страны.

По данным переписи, численность населения СССР на 15 января 1970 г. составила 241 млн. 784 тысячи. За 11 лет — с переписи 1959 г. — население страны увеличилось на 32,9 млн. человек, или, округляя, на 16%. За этим средним процентом роста скрывается заметное расхождение в приросте населения отдельных союзных республик, как это видно из официальной таблицы движения численности населения.

Численность населения союзных республик (тыс. чел.)

Союзная республика	На 15.1.59	На 15.1.70	Рост %
СССР	208 827	241 748	116
РСФСР	117 534	130 090	111
УССР	41 869	47 137	113
БССР	8 056	9 003	112
Узбекистан	8 261	11 963	145
Казахстан	9 153	12 850	140
Грузия	4 044	4 688	116
Азербайджан	3 698	5 110	138
Литва	2 711	3 129	115
Молдавия	2 885	3 572	124
Латвия	2 093	2 365	113
Киргизия	2 066	2 933	142
Таджикистан	1 981	2 900	146
Армения	1 763	2 493	141
Туркмения	1 516	2 158	142
Эстония	1 197	1 357	113

Из этой таблицы видим, что наиболее высоким оказался прирост населения в среднеазиатских и закавказских республиках, за исключением Грузии. При приросте населения СССР в целом на 16% за 11 лет, население самой крупной из республик — РСФСР, выросло меньше всего, только на 11%. Всего на один процент больше — прирост населения Белоруссии и на два (до 13%) — Украины.

Кроме республик с преобладающим славянским населением прирост ниже среднесоюзного показали все прибалтийские республики: Латвия и Эстония — по 13% каждая и Литва — 15%. В Грузии прирост населения такой же, как и средний по СССР — около 16%.

В остальных восьми союзных республиках за одиннадцать лет прирост населения заметно выше среднего: в Молдавии — на 24%, в Азербайджане — на 38%, в Казахстане — на 40%, в Армении — на 41%, в Туркмении и Киргизии — на 42% в каждой, в Узбекистане — на 45% и в Таджикистане — на 46%.

Значительный рост числа жителей в среднеазиатских республиках объясняется более высоким естественным приростом. Но в отдельных случаях на общем росте населения сказываются и размеры механического увеличения, т. е., как говорится, прирост идет за счет положительного сальдо миграции.

Несомненно, что внутренняя миграция населения, перемещение людей из одной республики в другую, из одного района страны в другой, в последние годы является одной из наиболее жгучих демографических проблем, отражающихся на развитии социально-экономической жизни Советского Союза. Для государства подобная миграция может носить, смотря по обстоятельствам и направлению, и положительный и отрицательный характер. Положительный, — когда под влиянием личных мотивов или по организованному переселению люди перемещаются в районы, где ощущается недостаток рабочей силы. Отрицательный же характер, — с точки зрения государственных интересов, — миграция приобретает тогда, когда люди бегут с мест, запланированных к освоению и заселению. Вот эта отрицательная миграция (с точки зрения геополитических интересов правительства) и получила наибольшее развитие в наше время. Из районов планового заселения, куда направляют трудовые кадры по организованному набору, по комсомольским путевкам и партийным назначениям, уезжают не только переселенцы, но и коренные жители.

Российская Федерация — основной поставщик трудовых ресурсов и переселенцев в другие союзные республики. По данным проф. В. В. Покшишевского за 1959-67 гг. в другие республики из РСФСР переселилось более 2 млн. человек (сальдо миграции). Отрицательное миграционное сальдо дает также Белоруссия. За те же годы из нее в другие районы страны было переброшено (с превышением отбытия над прибытием) 267 тыс. человек.

К территориям с перевесом притока над уходом населения относятся: Казахстан — 1.083 тыс. чел., Украина — 419 тыс., Узбекистан — 409 тыс., Киргизия — 201 тыс., Таджикистан — 161 тыс., Латвия — 106 тыс. (Природа, 1969, № 9, стр. 70).

Перевес прибытия над выбытием в количестве до ста тысяч человек за 1959-67 гг. наблюдался в таких республиках, как Молдавия, Армения, Эстония, Литва и Туркмения. Очень незначительный баланс миграции (несколько тысяч человек в ту или иную сторону) показало сальдо в Грузии и Азербайджане. Если в большинство республик миграция привлекала представителей разных национальностей, то в Армении происходил приток исключительно только армян, которые стягивались из других союзных республик. Кроме того, в Советскую Армению за послевоенные годы переселилось до 100 тыс. зарубежных армян.

Нельзя не обратить внимания на то, что внутри самой — и территориально и по численности населения — крупной союзной республики — Российской Федерации, происходят значительные перемещения из одного района в другой. Тот же Покшишевский приводит такие данные о внутриреспубликанской миграции в РСФСР: отрицательное сальдо прибытия и выбытия (в тыс. чел.) — Волго-Вятский район (845), Центральный район (611), Уральский район (595), Центрально-Черноземный район (486), Западная Сибирь (390).

Как пишет автор, «в Волго-Вятском районе механический отток населения даже несколько превысил за этот период естественный прирост, так что его население за эти 9 лет не выросло вовсе» (там же). По данным последней переписи, за одиннадцать лет по 15 января 1970 г. население этого района, все же выросло, но только на один процент, Центрально-Черноземного района — на 3 процента. Следует отметить, что замедленный прирост населения, более низкий, чем средний по СССР (16%),

и даже, чем в среднем по РСФСР (11%), кроме двух названных районов, еще показали — Центральный район (8%), Уральский (7%) и Западно-Сибирский (8%). Во всех этих экономических районах общий прирост населения (естественный плюс механический) был ниже естественного прироста. Люди покидали эти края и главную часть мигрантов составляла сельская молодежь.

Наиболее благополучными по приросту населения в РСФСР был Дальневосточный район и, созданная из Кенигсбергской территории, Калининградская область, где прирост составлял 20%, и Северо-Кавказский район — 23%.

На Украине тяга переселенцев была в южные районы республики, население которых возросло на 26% при среднереспубликанском приросте в 13%. Население же Юго-Западного района выросло всего на 9%, в результате отчасти и принудительного оттока жителей из присоединенных в военные и послевоенные годы территорий Западной Украины, Закарпатия, Буковины. Итоги несколько нивелируются тем, что на жительство в эти районы устремлялись из других районов УССР и других союзных республик. Когда будут опубликованы полные данные переписи, тогда по изменению национального состава населения можно будет судить об этническом характере миграции на всей территории Сов. Союза.

В таких республиках, как Латвия, Эстония, Литва и Молдавия заметно увеличился удельный вес переселившихся представителей других национальностей. Советское правительство разрежает и переселяет из всех западных приграничных районов «нестойкий» в политическом отношении элемент и заселяет теми, на лояльность которых к партии и правительству оно может рассчитывать. Политическая причина перемешивания коренного населения с пришлым известна, и она затушевывает наблюдающуюся в стране повышенную текучесть рабочей силы.

Иную причину имеет отрицательное миграционное сальдо в Средней России. Эта причина — чисто экономическая. В средней полосе России много мелких и средних городов, развитие которых долго тормозилось и у которых нет особенной перспективы, чтобы положение коренным образом изменилось в ближайшем десятилетии. Колхозы здесь — малоземельные, бедные. Для молодежи, окончившей десятилетку, работы почти

никакой нет. Тем более лишены возможности найти применение своим знаниям лица, получившие специальное среднее и высшее образование. Они, как правило, по окончании учения домой не возвращаются. Да и их, чаще всего, посылают в другие районы, нуждающиеся в квалифицированных кадрах. Подобная миграция носит, можно сказать, целевой характер. Иначе обстоит дело с миграцией из районов, где из-за форсированной индустриализации собственных рабочих рук не хватает.

К таким районам планового заселения и переброски рабочих ресурсов в первую очередь относятся — Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север и Казахстан. Население этих районов по численности незначительно. Своими силами им не осилить экономический подъем в нужных темпах. При чем демографическое закрепление восточных районов, граничащих с коммунистическим Китаем, диктуется и идеологическими расхождениями между «братскими» компартиями.

Сибирские демографы неоднократно писали, что приживаемость завербованных, или приехавших в погоне за длинным рублем, катастрофически низка. На многих восточных стройках ежегодно обновляется до одной трети списочного состава работников. Нередко за год сколько наберут, столько и увольняется.

В Совете по изучению производительных сил (СОПС) при Госплане СССР полагают, что к 1980 г. в сибирских городах население должно возрасти на 6 млн. человек. Расчеты показывают, что для этого, при нынешней подвижности населения и сегодняшних размерах миграции, нужно перебросить не один десяток миллионов человек, чтобы закрепилось нужное количество переселенцев. Вот один из расчетов, появившихся в печати: «Если в Сургуте через десять лет понадобится иметь 200 тыс. жителей, то за это время должны побывать тут 2 млн. человек. Потому что оседает пока только каждый десятый» («Известия», 5. 9. 67).

По данным, приводившимся в сов. печати, Сибирь и целинные земли в среднем ежегодно покидает столько же, если не больше, народа, сколько переселяется в эти районы из центра России («Октябрь», 1967, № 12, стр. 141). Другой пример: в Казахской ССР в течение 1968 года в промышленности сменилось около половины, а в строительстве свыше 80% численности рабочих («Казах. Правда», 25. 12. 69).

Социологические исследования показали, что около 60% прибывающих в северные районы, руководились материальными соображениями. Высокая заработная плата привлекает людей, но она никак не подкрепляется другими условиями существования. Как показал опрос, из каждых ста уезжающих 44 назвали причиной отъезда плохие жилищные условия, 37 — недостатки снабжения продуктами и товарами, 34 — плохое культурно-бытовое обслуживание, 18 неудовлетворенность зарплатой, 18 — плохие климатические условия («Вопросы Экономики», 1969, № 9, стр. 158).

Следует отметить, что отток населения в Сибири убыстрятся с каждым годом. «В 1951-58 годах из каждой тысячи жителей Западной Сибири уезжало 18 человек, а в 1961-68 годах, то есть, через десять лет, отток увеличился до 40 человек» («Сибирские Огни», 1969, № 9, стр. 139).

Низкая приживаемость усугубляется тем, что уезжающие сманивают за собой и коренных сибиряков, родившихся и проживших всю жизнь в Сибири. По данным проф. Покшишевского, миграционное сальдо, то есть разница между прибывшими и выбывшими за 1959-67 гг., сбалансировано с превышением выбытия в количестве 390 тысяч человек для Западной Сибири. Миграционные потери Уральского района составили 595 тыс. человек для того же периода. Отток из Восточной Сибири привел к потере 115 тыс. человек в трудоспособном возрасте.

Сейчас уже нельзя скрыть того факта, что люди бегут из Сибири, покидают Урал и не задерживаются в Казахстане. Но дело не в исключительном попятном движении тех, кто недавно переселился и не смог никак акклиматизироваться, и не касается тех, кто в числе почти двадцати миллионов был переселен сюда из оккупированных западных районов страны во время войны. Кто раньше, кто позже из числа беженцев, но не насильно высланных, возвратился в родные места. Судя по переписи 1959 года, к этому времени большинство реэмигрировало на запад. Конечно, в их число не вошли административно высланные, подвергшиеся геноциду народы, как крымские татары, немцы Поволжья, некоторые народы Северного Кавказа. Насколько велика численность этих репрессированных можно судить по переписи 1939 года. По этой переписи, в СССР насчитывалось (в тыс.): чеченцев — 407, калмыков — 134, ингушей — 92, карачаевцев — 75,7, балкар — 42,7 и крымских татар

около 200 тысяч (Шабад, География СССР, 1951, стр. 514; на англ. языке).

После войны лишь очень незначительная часть, да и то не всех народов, была амнистирована и получила возможность вернуться на родину. Но крымские татары, например, вообще не получили права вернуться в свою, ныне «раскассированную» республику. В отношении территориального расселения немцев Черноморского и Поволжского районов статистика хранит молчание. По переписи 1959 г., в СССР насчитывалось 1.619.655 немцев, из которых в пределах РСФСР оказалось 820.016 человек, а где живут остальные — ничего не говорится. Можно лишь догадываться, что основная масса их очутилась на территории Казахстана и небольшая часть в таких среднеазиатских республиках, как Киргизия и Узбекистан.

Но вернемся к реэмиграции в западные районы из восточных. После войны, в первую очередь, надо было восстанавливать разоренные войной и оккупацией предприятия, транспорт и сельское хозяйство западных районов, а не продолжать строительство на востоке. Нужны были рабочие руки, которых, вследствие ухода людей за рубеж СССР и в результате бегства на восток, а также в результате карательной политики власти по отношению к лицам, остававшимся на оккупированной территории, на местах оставалось очень мало.

Вслед за внутренними реэмигрантами на запад и юг потянулись и коренные уральцы, сибиряки. А жители средней России, которых по организованному набору гнали на восток, по личному желанию стремились в другом направлении — на запад и юг. Их привлекал и климат юга и более благоустроенная жизнь в западных, присоединенных накануне или после войны, районах раздвинувшего свои границы СССР. Прибалтика, Западная Украина, Молдавия, Калининградская (бывший Кенигсбергский район) область для советских граждан были своеобразной, собственной заграницей, куда не надо было получать визу. Правда, осесть там можно было только с разрешения властей, после длительной процедуры политической проверки. Из тех двух миллионов избыточных мигрантов из средней России, весьма вероятно, большая часть оказалась основным контингентом заселенцев союзных республик у западных границ отечества. Вероятно, это подтвердит и всесоюзная перепись 1970 года. Она, во всяком случае, покажет

насколько увеличился процент русских и других не коренных национальностей в Прибалтике, в областях Западной Белоруссии, Западной Украины, в Молдавии.

Причины, почему без особого успеха идет заселение восточных районов, почему они все время испытывают острую нехватку кадров, довольно многочисленны, часть из них показали социологические исследования, о которых мы уже упоминали. Главное же — в общей порочности политики заселения, проводимой советским государством. Она покоится на двух антагонистических принципах. Первый из них — соблазнять на переселение романтикой освоения неисчислимых природных богатств Сибири, выполнением патриотического долга перед партией и правительством по усилению обороноспособности страны. Тут и высокопарные лозунги, комсомольские путевки, награды знаменами, значками, медалями и орденами, званиями героев социалистического труда. Но приехавшие в глубинные районы сталкиваются с оборотной стороной советской переселенческой политики — с административно выселенными, с сетью бесконечных концлагерей, с представителями народов, подвергшихся геноциду, с лицами, выселенными из больших городов под предлогом борьбы с туеядцами. Поэтому не представляет труда понять причины, почему так велика текучесть рабочих кадров в Сибири и почему переселенцам нелегко прижиться в восточных районах.

Но коль скоро я затронул вопрос о миграции населения в западных районах, присоединенных к Советскому Союзу в конце тридцатых и в начале сороковых годов, то надо, конечно, остановиться и на вопросе о миграции за рубежи Сов. Союза. Для СССР в основном характерна внутренняя миграция при отсутствии пополнения населения за счет иммиграции в Советский Союз. Нет эмиграции и за его пределы. Лишь война и послевоенный передел Восточной и Центральной Европы привели в движение и увели через советские границы огромные массы людей. Все здесь было — эвакуация и эмиграция, переселение и вывоз людей, геноцид, репатриация и реэмиграция. К сожалению, в советской печати эти виды демографических процессов не нашли, конечно, ни отражения, ни объяснения. Здесь о многом сознательно умалчивается. Официально ничего неизвестно о том, какие эмиграционные и реэмиграционные процессы происходили после присоединения Бессарабии, Запад-

ной Украины и Западной Белоруссии к Советскому Союзу. Нам неизвестно, как реагировало население той части Финляндии, которая была прирезана к СССР после войны.

О послевоенных передвижениях населения в районах, присоединенных к СССР под общим названием Западная Украина, писал В. П. Огоневский в четвертом сборнике «Экономічна географія», изд. в 1968 г. на украинском языке Киевским университетом. Автор прежде всего отметил, что в начале 30-х годов 20% населения составляли поляки и 10% — евреи. Вместе с чехами, венграми и румынами они составляли 37% населения нынешних семи областей Западной Украины — Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой. После присоединения к Восточной Украине этих районов, до того входивших частично в пределы Румынии, Венгрии, Чехословакии и, главным образом, Польши, усилилась, начавшаяся еще во время войны сдвигка населения. Исчезли немцы, поляков переселяли на новые земли, оттесненной на запад Польши. Репатриация мало затронула румын, венгров и чехов, как об этом можно судить по данным переписи 1959 года. В пределах Западной Украины немцы, поляки, румыны и венгры составляли уже только 7% всего населения, против 37% в тридцатых годах. Восточно-славянские народы — русские, белоруссы и украинцы — в 1959 году уже составили 92,8% всех жителей.

К началу 1939 г. на землях Западной Украины проживало почти 8 млн. 900 тыс. человек. За годы войны в результате мобилизации военнообязанных, выселения и сселения неугодных слоев населения, насильственной депортации, рьяно проводимой обеими воюющими сторонами, массового уничтожения евреев и представителей других национальностей в концлагерях, численность населения резко снизилась.

Об этом наглядно свидетельствуют итоги всесоюзной переписи 1959 г. На этой территории жителей насчитывалось всего 7 млн. 800 тыс., то есть, на 1,1 млн. меньше, чем в конце тридцатых годов. А ведь с окончания войны до момента переписи прошло больше 14 лет, на протяжении которых из-за компенсационного роста рождаемости повысился естественный прирост, заметным был и механический прирост из-за притока переселенцев.

По данным Огоневского, общая численность еврейского,

венгерского, немецкого, польского и румынского населения накануне войны составляла в Западной Украине не менее 3,3 млн. человек. Перепись же 1959 г. показала, что после войны их осталось не более 550 тысяч.

Понесло потери и коренное украинское население. Одно только число эмигрировавших в Западную Европу или за океан определяется в 200-250 тыс. человек. Кроме того, вместе с не-украинским населением Западная Украина потеряла за годы войны и послевоенного передела не менее трех миллионов жителей — больше одной трети довоенной численности населения. А так как в 1959 г. недосчитывался 1,1 млн. человек, то выходит, что балансовая потеря почти двух миллионов компенсировалась частично за счет переселенцев из других районов СССР, и частично естественным приростом наличного населения.

Значительную национальную группу переселенных или переехавших по собственному почину, составляли и русские. До войны на территории этих областей насчитывалось не более 30-35 тыс. русских. По переписи 1959 г. число русских в Западной Украине исчислялось в 400 тысяч с лишним. Как естественно было ожидать, наибольшую группу мигрантов составляли украинцы из восточных областей УССР. Однако, численность их лишь немногим выше, чем русских переселенцев. Белоруссов не так много. По численности они уступают не только украинцам и русским, но и полякам, румынам, молдаванам и евреям.

Не менее, чем население Украины, пострадало и население Белоруссии, как, впрочем, и других союзных республик у западных границ, в том числе и Российской Федерации. А. А. Раков, автор книги «Население БССР», вышедшей в 1969 г., считает, что в Белоруссии «интенсивность военных потерь оказалась втрое больше, чем по всей стране, выше, чем в любом государстве мира». Он пишет: «В результате Белорусская ССР — единственная в СССР республика, которая все еще не достигла довоенной численности населения. На первое января 1968 г. в БССР проживало 8.840 тыс. человек, на 360 тысяч человек меньше, чем в канун войны». Добавим к этому, что согласно последней переписи, на 15 января 1970 г. в БССР числится 9.003 тыс. жителей, все еще меньше, чем перед войной.

Вот как описывает Раков демографическую историю рес-

публики последних лет: «Накануне Великой Отечественной войны в БССР в современных границах проживало 9,2 млн. человек. По данным Комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний, гитлеровцы уничтожили в Белоруссии 2,2 млн. жителей и военнопленных, более 380 тыс. были угнаны на каторжные работы в Германию. Сотни тысяч пали на фронтах Великой Отечественной войны и в ходе партизанской борьбы в тылу врага, защищая свободу и независимость Родины. Свыше миллиона человек покинули родные места и находились в эвакуации».

Автор приводит численность населения республики на 1945 г., чего никто до него не делал ни для какой другой союзной республики, а, тем более, для страны в целом. Раков приводит такие данные: «В 1945 г. население республики составляло 6.264,8 тыс. человек, т. е. две трети довоенной численности. В 1950 г., когда в родные места в основном возвратились эвакуированные и угнанные гитлеровцами в Германию, в БССР насчитывалось 7.709 тыс. жителей».

Во всех западных районах СССР на снижении численности населения за годы войны и послевоенного восстановления сказались не только прямые потери, но и реэмиграция несоветского населения из вновь присоединенных областей, а также невозвращенство и эмиграция бывших советских граждан в зарубежные страны.

В № 4-м журнала «Советская Этнография» за 1969 г. была напечатана статья С. И. Раковского — «Внутренняя миграция населения и сдвиги в этнографической географии зарубежных социалистических стран Европы». К сожалению, автор лишь мельком упоминает об иммиграции в эти страны из СССР. Он только сообщает, что в конце 40-х и в 50-х годах на новые земли вновь организованных социалистических стран был направлен в основном поток репатриантов, реэмигрантов и иммигрантов в количестве 2 млн. человек, «в том числе более 1,7 млн. человек, прибывших из Советского Союза».

Тот же автор утверждает, что относительно небольшой по масштабу была обменная операция населением между Чехословакией, с одной стороны, и Венгрией и СССР — с другой. Автор упоминает о том, что в 1930 г. в Чехословакии жители русской и украинской национальности составляли 0,8% всего населения, а в 1966 г. только 0,4%.

Для демографов, изучающих миграционные процессы в Европе, вызванные Второй мировой войной, большой интерес представляет собой работа Л. А. Косинского — «Миграция населения в Восточно-Центральной Европе, 1939-1955», опубликованная в 1969 г. на английском языке в № 3-м журнала «Канадиэн Славоник Пейперс». По его данным, можно судить, что из СССР было репатрировано 2 млн. поляков, 56 тыс. чехов и словаков, 50 тыс. румын. Он же сообщает, что из СССР в Германию было вывезено или эвакуировано 220 тыс. немцев, бывших советских подданных.

Из материалов, приведенных Косинским, явствует, что Советскому Союзу были переданы из стран Восточной и Центральной Европы 635 тыс. человек, в том числе 520 тыс. из Польши, 30 тыс. из Чехословакии, 15 тыс. из Югославии, 10 тыс. из Болгарии — по национальности — русских, украинцев, белоруссов и литовцев. Из Греции, Болгарии и Румынии в СССР выехало 30 тысяч армян.

К сожалению, почти не поддается учету численность советских граждан, очутившихся за рубежом СССР и оставшихся здесь, несмотря на все попытки вернуть их на родину. Как велико было количество советских граждан, оказавшихся за пределами родины в годы войны, можно судить по тому, что в пропагандных брошюрах, обращенных к ним, писалось, что на родину возвратилось или были освобождены из фашистского плена около 5,8 млн. человек.

По данным Косинского, статью которого мы уже упоминали, в течение 1947-50 гг. ИРО переселило свыше одного миллиона беженцев, в числе которых находилось 160 тыс. бывших жителей Прибалтики и 110 тыс. украинцев.

Советская демографическая статистика скрывала, при подсчете потерь населения во время войны, что кроме убитых и раненых, умерщвленных и уничтоженных карательными отрядами и органами безопасности, страна не досчиталась и «живых потерь». Лишь в одной из своих последних работ, Б. Урланис признает, что потери были не только убитыми, но и живыми, в виду бегства, невозвращения или репатриации населения, ранее проживавшего на присоединенной к СССР территории. Урланис пишет: «Кроме того, надо еще учесть миграционные потери в результате войны. Значительному числу «перемещенных лиц» англо-американские оккупационные власти не дали

возможности вернуться в Советский Союз» (сб. «Население и народное благосостояние», изд. Высшая Школа, 1968, стр. 25).

Для того, чтобы получить общее представление о масштабах внешней миграции, приведу данные о численности представителей коренных национальностей европейской части СССР на 1959 г., которые проживали за рубежами Советского Союза. Они были приведены в монографии «Численность и расселение народов мира. Этнографические очерки», изданной в 1962 г. АН СССР. Только представителей шести национальностей — русских, украинцев, белоруссов, литовцев, латышей и эстонцев — за рубежом насчитывается 3 млн. человек. Из них больше всего русских — 1.143 тыс. человек. В Америке их 999 тыс., в Европе — 184, в Азии — 43, в Австралии и Океании — 15 и в Африке — 2 тыс. человек. Украинцев за рубежом насчитывается — 1.102 тыс. человек. Основная масса их расселена в Америке — 731 тыс., но значительно и число оставшихся в Европе — 356 тыс. человек. В Австралии и Океании украинцев всего 15 тысяч. В то время как среди зарубежных русских почти половина из СССР, в украинском зарубежье основная масса — выехавших еще до войны, или из присоединенных районов Западной Украины. На третьем месте по численности за рубежом стоят литовцы — 526 тыс. человек и среди них основное ядро не знавших советскую власть.

Вероятно, мало точна статистика миграции белоруссов. За пределами Европы насчитывается всего 25 тыс. белоруссов из общей численности в зарубежье — 127 тысяч.

Цитируемые нами источники не дают ответа на вопрос, представители каких еще народностей из Советского Союза очутились за рубежом. Мы знаем, что не мало татар, башкиров, узбеков, туркменов, кавказцев и представителей ряда других национальностей разбросаны небольшими группами по всему свету.

В настоящее время внешняя миграция носит случайный характер. И те единицы, едуших в СССР или бегущих из него граждан, конечно, никакого отражения не находят в демографической статистике. Внутренняя миграция была и остается основным видом перемещения советского населения из района в район, из деревень в города. Если диктатурой не будут приняты административные меры регулирования нежелательного ей направления миграции, то и в новой пятилетке, вероятно, не произойдет ни качественного, ни количественного ее изменения.

ПОЛИТИКА МОСКВЫ И ПЕКИНА В АЗИИ

7 октября прошлого года, почти ровно через месяц после свидания А. Косыгина с Чжоу Энь-лаем в пекинском аэропорту, правительство коммунистического Китая опубликовало заявление, в котором предложило СССР начать переговоры по спорным пограничным вопросам. В этом заявлении Пекин предложил советским коммунистам отделить государственную политику от партийной, идеологической борьбы. Наличие между Китаем и СССР «непримиримых принципиальных расхождений» и тот факт, что «принципиальная борьба» между КПСС и КПК «будет продолжаться еще долгое время», не должны, по мнению пекинских руководителей, «препятствовать нормализации отношений между двумя странами». Эта нормализация, как указывается в октябрьском заявлении пекинского правительства, должна основываться на «пяти принципах мирного сосуществования». Заявление правительства КНР не приходилось рассматривать иначе, как отход от прежних непримиримых позиций по вопросу о пограничных спорах с Советским Союзом. Споры эти до предела накалили отношения между двумя коммунистическими странами и даже привели в 1969 году к ряду серьезных пограничных столкновений.

Уступчивость Пекина, если одной из ее причин было стремление предотвратить угрозу немедленного вооруженного конфликта с СССР, оправдала себя как нельзя лучше. Об опасности военного столкновения между Москвой и Пекином сейчас вряд ли приходится говорить иначе, как в порядке гипотезы. Правда, переговоры между СССР и Китаем по пограничным вопросам, начатые 20 октября прошлого года в Пекине, до сих пор не дали видимых результатов. Но быстрого завершения этих переговоров трудно было и ожидать, принимая во внимание обычную для коммунистов тактику затяжных и упорных торгов во время дипломатических встреч. В данном же случае переговоры осложнились еще и в связи с требованием китайских коммунистов к советской стороне признать

русско-китайские договоры и соглашения о границе прошлого века «неравноправными». А сделать это советское правительство, очевидно, отказывается по ряду соображений. Несмотря на затяжку с переговорами о границах, отмечается немало признаков, свидетельствующих о том, что обе стороны, хотя и медленно, все же движутся в сторону нормализации их межгосударственных отношений. Взаимные нападки в официальной печати СССР и Китая резко сократились. Особенно это заметно с китайской стороны. Со страниц пекинских газет и журналов почти исчезли обидные для советских руководителей клички, вроде «советские ревизионисты», «социалимпералисты», «ренегаты», почти не появляются в них и статьи о СССР общего критического характера. В советской печати выпады против Пекина можно встретить до сих пор, но тоже довольно редко. Московское радио, в своих передачах за границу, правда, продолжает время от времени выступать с нелестными для Мао Цзэ-дуна и КПК обзорами и анализами. Однако тон и этих выступлений стал гораздо умереннее. Признаками постепенной нормализации советско-китайских отношений можно считать также своевременный созыв очередного заседания смешанной советско-китайской комиссии по вопросам плавания в водах пограничных рек и оз. Ханка, возобновившей свою работу с прошлого года, намерение обеих сторон вернуть своих послов соответственно в Пекин и в Москву и т.д.

Тем не менее, Советский Союз и коммунистический Китай сегодня все еще продолжают враждовать между собой. Многие говорят за то, что эта вражда будет долгой: обе стороны неоднократно заявляли о твердом намерении до конца защищать свои «принципиальные идеологические позиции».

Пекин, в своем октябрьском заявлении правительству СССР, особо подчеркнул, что нормализация отношений между обоими правительствами должна «основываться на пяти принципах мирного сосуществования». Упоминание «пяти принципов» в этом контексте только подтверждает намерение маоцзэдуновского правительства продолжать идеологическую борьбу с КПСС и, по существу, означает еще один щелчок по самолюбию советских руководителей. Ведь известно, что «принципы мирного сосуществования» коммунисты применяют только в сношениях с некоммунистическими, «буржуазными» странами. Стало быть в глазах пекинских коммунистов Советский

Союз остается «буржуазной страной», какой он стал, по мнению Мао и его сторонников в КПК, в результате хрущевского «дворцового переворота».

Было бы, однако, ошибкой не замечать в советско-китайском конфликте существенных, так сказать — качественных изменений и новых тенденций, проявившихся за последнее время. В случае дальнейшего развития международной обстановки в Азии в том направлении, в котором она развивалась в прошлом и нынешнем году, коммунистический Китай, возможно, вынужден будет пойти на дальнейшее отступление в своей идеологической и политической борьбе с СССР. Знаменитый августовский пленум ЦК КПК в 1966 году, на котором был дан сигнал к походу против «китайских ревизионистов», во главе с «китайским Хрущевым» — Лю Шао-ци, выдвинул следующую формулу: «Чтобы покончить с американским империализмом, надо сначала покончить с советским ревизионизмом». Москва не без основания сетовала последние годы, что «врагом № 1» для коммунистического Китая после 1966 года практически стали не США, а СССР. Враждебность к КПСС, к советскому руководству была краеугольным камнем внешней и внутренней политики пекинского правительства до прошлого года. Пекин официально не отказался от этой формулы и сейчас. Ее духом проникнут, например, и новый устав КПК, принятый в апреле прошлого года. Но пекинские коммунисты несомненно меняют формы своей идеологической борьбы с КПСС в сторону менее агрессивных методов. Если Мао Цзэ-дун попрежнему рассчитывает разделаться с «советскими ревизионистами», то сделать это он теперь предполагает, очевидно, не военными мерами, не в физическом плане, а в плане победы на идейно-политическом фронте.

Некоторые иностранные наблюдатели склонны объяснять перемены во взаимоотношениях между коммунистическими соперниками — Москвой и Пекином, политическим и психологическим эффектом, вызванным смертью в прошлом году президента Северного Вьетнама и главы вьетнамских коммунистов Хо Ши Мина. Однако с таким объяснением трудно согласиться. Принимать смерть Хо Ши Мина за главный фактор в изменениях внешнеполитических позиций Пекина и Москвы значило бы заранее определять эти изменения как слишком узкие, слишком преходящие и кратковременные. А это противоречило бы

ходу событий за последние месяцы. Больше всего это относится, конечно, к Пекину, так как «ветер перемен» в настоящее время дует, главным образом, со стороны коммунистического Китая. Пекинское правительство явно отходит от изоляционистской политики, которой оно придерживалось в годы «культурной революции». При этом оно меняет свои позиции не только в советско-китайском конфликте, но и в отношениях с многими другими странами. Невозможно, конечно, отрицать, что нынешний поворот в политике Пекина может оказаться, в конечном счете, временным, тактическим. Однако в равной мере невозможно отрицать и того, что на поворот в своей политике китайские коммунисты пошли под влиянием многих причин. Главной из них, несомненно, является международная обстановка в Азии. Пекин видит явную опасность своим планам в возрождающейся мощи Японии, мощи, во много раз усиливающейся союзом с США. Прошлогоднее заявление премьер-министра Эйсаку Сато во время его визита в Вашингтон о том, что Япония особенно заинтересована в безопасности Тайваня и Южной Кореи, могло только усилить беспокойство в Пекине. Пекинские руководители лучше других понимают, насколько не соответствует реальный военно-экономический потенциал коммунистического Китая воинственной, агрессивной политике, которую эта страна проводила все последние годы. Пекину в настоящее время важно улучшить свои отношения с другими странами, в первую очередь — коммунистическими странами Азии — Северной Кореей и Северным Вьетнамом. Сближение с ними дает Китаю козырь в его торге с Москвой; вместе с тем, сближение с азиатскими коммунистическими странами усиливает военные позиции коммунистического Китая в случае осложнения в этом районе мира. Продолжение открыто враждебной, вызывающей политики по отношению к СССР препятствовало бы такому сближению. Северная Корея и Северный Вьетнам слишком зависят от Москвы в военно-экономическом отношении, чтобы разделить с Пекином окровавленную антисоветскую политику. Можно даже предполагать, что северокорейские коммунисты, например, в своих переговорах с Пекином, которые они вели в прошлом и нынешнем году, указывали на желательность для них смягчения анти-советских позиций коммунистического Китая, если не ставили такое смягчение прямым условием для сближения с КНР.

Характерно в этом отношении, что в многочисленных случаях, которыми представители Пекина обменялись в нынешнем году по разным случаям со своими вьетнамскими, северокорейскими, лаосскими и другими единомышленниками, не содержалось ни одного прямого выпада против СССР и «советских ревизионистов». Термин «ревизионизм» мы находим только в одном документе — в совместном коммюнике правительств КНР и Северной Кореи о переговорах между Чжоу Энь-лаем и Ким Ир Сеном, подписанном в Пхеньяне 7 апреля нынешнего года. Но и здесь этот термин дан в сочетании с определением «современный», а не «советский». А это означает шаг назад от «культурной революции», от «социалимперализма» к тому времени, когда Пекин и Пхеньян сходились в своих взглядах на «современных ревизионистов», предпочитая, однако, не уточнять, кто они эти «ревизионисты». Даже Мао Цзэ-дун, — организатор и вдохновитель борьбы КПК против «советского ревизионизма», — в известном его заявлении от 20 мая нынешнего года по поводу положения в Индокитае, не сделал никаких выпадов против СССР и советских руководителей. Вряд ли это обстоятельство можно считать случайностью.



Еще каких-нибудь 10-12 лет назад СССР и Китай выступали в Азии, как и всюду на мировой политической арене, единым фронтом, проводили согласованную политику. Конец этой согласованной политике пришел, когда разгоревшееся после смерти Сталина соперничество между Москвой и Пекином за лидерство в мировом коммунистическом движении постепенно превратило бывших союзников в ожесточенных противников. Советских и пекинских коммунистов разделяет немало спорных вопросов, касающихся, главным образом, того, как добиться конечной победы коммунистического движения. Советские руководители после Сталина больше склоняются к тому, чтобы проводить свою разрушительную работу «тихой сапой», средствами постепенного подрыва государств-противников изнутри, избегая, по возможности, военных и насильственных революционных методов. Китайские коммунисты, наоборот, выступали и выступают решительными апологетами войны и революции. Путь к победе мировой коммуни-

стической революции они видят в изнурительных, затяжных войнах, в форме так называемой «народной войны», в бесконечных революционных боях с буржуазией и «империалистами».

Все 60-ые годы советская дипломатия вела в Азии наступление. Пекин же находился в обороне. Ради объективности надо отметить, что коммунистический Китай в значительной мере облегчал внешнеполитические задачи СССР в Азии. Агрессивная политика Пекина по отношению к Индии, индонезийская авантюра, «хунвэйбиновская дипломатия» во время «культурной революции» — все это напугало и отшатнуло от Китая те азиатские страны, которые до того поддерживали с ним дружественные отношения. Политическое и дипломатическое маневрирование СССР в Юго-Восточной и Восточной Азии ставило целью укрепить здесь советские позиции за счет вытеснения чуждого и враждебного влияния как западных стран, так и Пекина. Недаром пекинские коммунисты еще недавно обвиняли своих советских противников в стремлении «создать вокруг Китая враждебное кольцо окружения». Кое-каких успехов советское дипломатическое наступление в Азии, которое проводилось в основном через внешнеторговые каналы, а также через организации технического сотрудничества и культурных связей, несомненно достигло. Просоветская ориентация внешней политики Индии, признание СССР Малайзией и Сингапуром, проникновение на Филиппины, дружественные связи с Бирмой и Лаосом — таковы основные вехи советского проникновения в страны Азии.

Летом прошлого года, после ряда лет активной дипломатической и иной подготовки, Советский Союз сделал попытку расширить свое влияние в Азии, выступить чуть ли не в качестве лидера всех азиатских стран. 7 июня 1969 года, в речи на международном совещании коммунистических и рабочих партий в Москве, генеральный секретарь ЦК КПСС Л. Брежнев как бы мимоходом обронил следующую фразу: «Мы думаем, что ход событий выдвигает в порядок дня и задачу создания системы коллективной безопасности в Азии». Однако эта, казалось бы, случайная фраза скрывала за собой широкий советский план мирного завоевания стран Азии. Советские дипломаты, аккредитованные в столицах азиатских государств, немедленно начали зондировать почву, насколько приемлемым является для этих государств советский план коллективной

безопасности. Но ни советская печать, ни советские официальные лица в то время почти не пролили никакого дополнительного света на вопрос о том, что будет представлять собой эта система коллективной безопасности и какие страны она предполагает охватить.

Несколько подробнее остановился на этом вопросе советский министр иностранных дел А. Громыко в выступлении на пленарном заседании сессии Генеральной ассамблеи ООН 19 сентября прошлого года. Правда, и Громыко, по сути дела, отделался лишь общими рассуждениями, уклонившись от конкретных формулировок советского плана. Тем не менее, он выделил два важных момента. Громыко подчеркнул, что над созданием системы коллективной безопасности в Азии должны «думать и работать все государства этого района, независимо от различий в общественном строе». Такой подход к вопросу отвечал внешнеполитическому курсу КПСС, ратующей за мирные средства проникновения в страны с чуждым общественным строем. Но он немедленно же ставил советский план под угрозу провала. В самом деле, трудно было представить себе, чтобы Пекин согласился даже обсуждать какой-то план, представленный СССР, не говоря уже об его участии в выполнении этого плана. А между тем, пекинскому правительству предлагалось нечто даже большее: совместная работа по реализации советского плана с такими странами, как Индия, Япония, Бирма, Тайланд, Индонезия и другие, с которыми у него не было даже дипломатических отношений. Со стороны СССР это была явная попытка впрячь в одну упряжку «коня и трепетную лань». Советские инициаторы плана коллективной безопасности, разумеется, знали о недоверии многих азиатских стран к конечным целям советской внешней политики. Очевидно, принимая во внимание это недоверие, Громыко попытался убедить будущих участников системы коллективной безопасности в Азии, что СССР вовсе не претендует на роль главного гаранта безопасности азиатских стран, а готов принять и более скромное амплуа. «В качестве государства не только европейского, но и азиатского, — заявил Громыко, — Советский Союз готов принять участие в консультациях, обменах мнениями по всем вопросам, связанным с предложением о создании системы коллективной безопасности в Азии, чтобы в этом районе сложилась обстановка надежного мира и добрососедства».

Но и выступление Громыко мало помогло советскому пла-

ну, так как и он не разъяснил причин внезапной заинтересованности СССР в «надежном мире и добрососедстве в Азии». Эти разъяснения, конечно — частичные, мы находим в статье «Насыщенный вакуум», опубликованной в «Известиях» 28 мая прошлого года, за несколько дней до выступления Брежнева. Напомнив, что лейбористское правительство Англии решило вывести свои военные силы к концу 1971 года со всех баз в районе Персидского залива, Дальнего Востока и бассейна Индийского океана, автор статьи в «Известиях» старается запугать страны, лежащие в этих районах, что две силы могут занять прежние английские позиции в Азии. Силы эти — «империалисты» и пекинские коммунисты. Говоря об «империалистах», «Известия» только перечислили их — это США, Япония и Австралия. Гораздо подробнее анализировали они политику Пекина. «Судя по выступлениям пекинской печати, — пугали «Известия», — Мао Цзэ-дун и его присные имеют вполне определенные виды на ряд стран в Азии».

Как и ожидалось, Пекин категорически отверг советский план системы коллективной безопасности в Азии, заклеив его как еще одну попытку «социалимпериалистов» создать «совместно с американскими империалистами кольцо окружения вокруг Китая». Однако, советский план не встретил особого энтузиазма и в Японии. Прохладно был встречен он даже в Индии. Позиция этих трех ведущих стран Азии, видимо, охладила первоначальный энтузиазм инициаторов советского плана. Во всяком случае, сегодня советское правительство совершенно не упоминает о своем прежнем проекте. Будущее покажет, означает ли это молчание признание поражения или только выжидание более благоприятного момента.



Неудача попытки советской дипломатии создать в Азии систему коллективной безопасности, хребтом которой должна была стать военная мощь Советского Союза, оказалась тем более существенной, что она совпала по времени с активизацией внешней политики Китая, от дипломатической изоляции перешедшего неожиданно к широкому наступлению на внешнеполитическом фронте. Возникает даже мысль, не был ли советский план коллективной безопасности в Азии попыткой

со стороны Москвы, предвидевшей наступление Пекина, предупредить его успех? В короткий срок Пекин предпринимает ряд быстрых дипломатических маневров, результатом которых стало образование коммунистического фронта в Азии, в котором коммунистический Китай, бесспорно, играет первую скрипку. В свете этих маневров, встреча Косыгин — Чжоу Энь-лай представляется не как самоцель со стороны пекинского правительства, а как шаг, открывающий ему путь к сближению с коммунистическими странами Азии.

Первым шагом Пекина в цепи его мероприятий, направленных к усилению позиций коммунистического Китая в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии стало восстановление дружбы с Пхеньяном.

Положение режима Ким Ир Сена — креатуры Советского Союза и коммунистического Китая — сильно осложнилось, когда советские и китайские коммунисты после смерти Сталина вступили в острую идеологическую борьбу между собой. Весь период этих распрей Ким Ир Сен — бывший член компартии Китая, руководитель корейских коммунистических партизан в войне с Японией и майор советской армии — старается проявлять какую-то самостоятельность, придерживаться нейтралитета в споре между КПСС и КПК, постоянно балансировать. Обстоятельства, однако, заставляли и заставляют северо-корейских коммунистов то и дело давать крен то в сторону СССР, то в сторону КНР. Ко времени «культурной революции» в Китае, то есть к 1966 году, Пхеньян были ближе к КПСС, чем к пекинским коммунистам. Ввиду событий в Юго-Восточной Азии, особенно — ввиду расширения военных действий во Вьетнаме, СССР в 1965 году обратился к коммунистическим странам с призывом образовать единый фронт борьбы с США. Пекин, как известно, отверг советское предложение, не желая иметь ничего общего с «ревизионистами». Пхеньян, наоборот, солидаризировался в этом с Москвой и осудил позицию китайских коммунистов.

«Культурная революция» еще больше охладила отношения между Пекином и Пхеньяном. В начале 1967 года хунвэйбинские газеты повели яростные атаки на Северную Корею. Досталось и Ким Ир Сenu лично. Хунвэйбины, а через них и Пекин, обвинили его в «черной неблагодарности», в том что он «предал» путь «культурной революции» и свернул на «со-

ветский ревизионистский путь». Имя Ким Ир Сена в хунвэйбиновской печати сопровождалось такими эпитетами, как «богатырь», «жирный буржуй», «ревизионист», «аристократ», «ученик Хрущева». Пекин и Пхеньян взаимно отзывали послов, однако дипломатических отношений не прервали. Северная Корея неоднократно гласно осуждала маоцзэдуновскую «культурную революцию». Так, в июне 1968 года председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Ен Ген в беседе с левыми японскими деятелями заявил: «Великая культурная революция в Китае не имеет никакого отношения к коммунизму. Это не идейно-теоретическая борьба, а борьба за власть».

Но уже в следующем, 1969 году мы стали свидетелями новых, резких изменений в китайско-корейских отношениях. Какие закулисные шаги предприняли Пекин и Пхеньян для восстановления отношений — пока неизвестно. Первым серьезным сигналом к тому, что отношения между ними стали, действительно, улучшаться, послужил приезд правительственной делегации КНДР в Пекин на торжества по случаю 20-ой годовщины образования КНР. Это было первое посещение северокорейской делегацией Пекина с 1965 года. Возглавлял делегацию Цой Ен Ген.

После визита Цой Ен Гена Северная Корея и коммунистический Китай возвратили своих послов к месту их службы. Но в полной мере отношения между этими странами были восстановлены только в апреле нынешнего года в результате визита в Пхеньян премьера Госсовета КНР Чжоу Энь-лая. Первым явившись в столицу Северной Кореи после ссоры с правительством Ким Ир Сена, Чжоу Энь-лай, тем самым, как бы принес извинения китайской стороне северокорейскому правительству. Но и корейская сторона сделала уступку: в коммюнике о переговорах Чжоу Энь-лай — Ким Ир Сен упоминаются достижения в КНР «великой культурной революции», которую северокорейцы раньше порицали.

За три дня пребывания Чжоу Энь-лая в Пхеньяне, с 5 по 7 апреля, он и Ким Ир Сен произнесли немало речей. Но общий лейтмотив этих выступлений один и тот же: «Китай имеет полное право на китайскую территорию Тайвань; священный долг КНДР — объединить всю Корею. Будем вечно хранить дружбу братских китайского и корейского народов, спаянную

кровью!» Настоящие же мотивы сближения между Пекином и Пхеньяном были четко высказаны в совместном коммюнике, опубликованном 7 апреля. Это коммюнике, можно сказать, целиком направлено против США и «японского милитаризма, уже возродившегося с помощью американского империализма». Во время всех этих торжественных встреч в Пекине или в Пхеньяне рядом с портретом «великого кормчего» Мао Цзэ-дуна красовался портрет «великого вождя 40-миллионного корейского народа, маршала Ким Ир Сена», еще недавно ходившего у пекинских коммунистов в «жирных буржуях».

Восстановление «боевой дружбы» с Северной Кореей укрепило позиции пекинского правительства в Северо-Восточной Азии. Благоприятный случай — отстранение от власти в Камбодже принца Сианука и решение свергнутого принца обосноваться в Пекине, предоставил Пекину блестящую возможность усилить свое влияние среди индокитайских стран, в ущерб влиянию СССР. В этом же направлении действовали и события, развернувшиеся в Камбодже после свержения Сианука. Эти события, безусловно, продемонстрировали военную мощь антикоммунистических сил в Индокитае. Но они же способствовали стремлению коммунистических сил к объединению их усилий с целью продолжения военной борьбы до конца.

Мы не будем рассказывать здесь об общеизвестных фактах, предшествовавших свержению Нородома Сианука и последовавших за этим свержением. Отметим только, что и в камбоджийском вопросе Москва и Пекин оказались на разных позициях. Советское правительство имело полную возможность, так сказать, «пленить» Сианука. Москва была первым пунктом, где Сианук остановился для переговоров на пути из Парижа в Пномпень. Покинул он Москву 18 марта, когда пришла весть о переменах в Пномпене. Однако советские руководители, до того именовавшие принца «национальным лидером камбоджийского народа» и обещавшие ему свою помощь, встретили свержение Сианука полным молчанием и не подумали употребить все свое влияние в его защиту. Наоборот, СССР до настоящего времени признает правительство генерала Лон Нола законным правительством Камбоджи и игнорирует эмигрантское правительство Сианука, сформированное в мае в Пекине. Игнорирует, несмотря на неоднократные, прямые просьбы Сианука о

признании, с которыми он обращался и обращается к Москве. О подлинных мотивах подобной позиции советского правительства можно, конечно, судить по-разному. Вполне вероятно, как полагают некоторые наблюдатели, что в Москве холодно относятся к Сиануку, видя в нем непоколебимого приверженца Пекина и проводника пекинской политики в Юго-Восточной Азии. Возможно, что справедливо и другое соображение: советские руководители готовы поддерживать коммунистические и левые силы Камбоджи (что они, кстати сказать, видимо, и делают), но они предпочитают повременить с признанием нового правительства Сианука, так как такое признание ограничит свободу маневрирования советской дипломатии и принесет СССР, как сопредседателю Женевской конференции по Камбодже, дополнительные трудности.

Пекинские коммунисты, в полную противоположность Москве, постарались всячески обласкать и ободрить свергнутого камбоджийского принца. Видимо, по своему прежнему опыту они уже знали, какого необычайно способного и изворотливого политического коммивояжера они заполучали в лице Сианука. С его помощью Пекин добился того, чего не удалось Советскому Союзу: образовать единый коммунистический фронт для борьбы в Индокитае. И не только образовать такой фронт, но и не допустить непосредственного участия в нем СССР. Действительно, уже 24-25 апреля, якобы, по инициативе Сианука, состоялась «конференция народов Индокитая на высшем уровне». Факт, что конференция эта состоялась на территории коммунистического Китая, только подтверждает, что настоящим ее организатором и дирижером был Пекин. Апрельская конференция «представителей народов Индокитая», в которой участвовали делегации Северного Вьетнама, Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, Патет-Лао и просианукских сил Камбоджи, и стала первым звеном нового коммунистического фронта. Декларация, выпущенная 25 апреля участниками конференции, впервые провозгласила об объединении коммунистических и прокоммунистических сил для совместных действий на фронтах Индокитая.

После апрельской конференции Сианук, выступая в качестве «государственного гостя», наносит продолжительные визиты в Ханой, где он находился с 25 мая по 8 июня, и в Пхеньян. В Северной Корее Сианук гостил с 15 июня по 1 июля. Во

время переговоров Сианука с Ким Ир Сеном полностью определилась победа пекинской политической линии. На торжественном банкете в честь Сианука, состоявшемся в Пхеньяне 15 июня, Ким Ир Сен заявил: «Стоит только Камбодже, Лаосу, Вьетнаму, Китаю, Корее и другим революционным странам и народам Азии образовать единый фронт для совместных ударов по американскому империализму, и они смогут свалить американский империализм, смогут прочно обеспечить победу нашего общего дела». Как видим, общий единый фронт «революционных стран и народов», предложенный Ким Ир Сеном, предусмотрительно не включает СССР, если только имя его не спрячено в категории «другие революционные страны и народы Азии». В коммюнике, опубликованном 30 июня, после окончания переговоров между Ким Ир Сеном и Сиануком, подчеркнута и другая победа пекинской линии. «Премьер Ким Ир Сен, — сказано в коммюнике, — полностью поддержал справедливое требование принца Нородома Сианука: в настоящее время нет необходимости в какой-либо новой международной конференции для разрешения камбоджийского вопроса». Известно, что именно пекинское правительство выступает против созыва международной конференции для мирного урегулирования всех индокитайских проблем, включая и камбоджийский вопрос. Пекинская линия, как еще раз подтвердил Мао в заявлении от 20 мая, остается неизменной: затяжная война до конечной победы и революция. Между тем, также известно, что Советский Союз склонен к урегулированию различных проблем Индокитая и Юго-Восточной Азии мирным путем — путем переговоров на международных встречах. Напомним о заявлении советского посла в ООН Малика о желательности новой Женевской конференции, о неожиданных согласованных действиях Международной контрольной комиссии по Лаосу, коммунистический член которой — Польша вдруг (и, конечно, не без указания из Москвы) солидаризировался с Индией и Канадой по вопросу о возобновлении работы этой комиссии. Напомним также о недавней поездке в Ханой советского заместителя министра иностранных дел Фирюбина и о тех переговорах, которые он вел с индийским правительством о возможности созыва международной конференции по Индокитаю.

Пекин по достоинству оценил заслуги Сианука. По возвра-

щении его из Пхеньяна пекинское руководство устроило принципу-изгнаннику пышную встречу. На банкете в честь Сианука 5 июля премьер Чжоу Энь-лай с нескрываемым торжеством объявил уже не о создании коммунистического фронта, а о его усилении. «Единый фронт против американского империализма, простирающийся от Корейского полуострова до Индокитая, сейчас укрепляется и усиливается, — заявил Чжоу. — Мы от души радуемся с каждым днем усиливающейся боевой сплоченности китайского, кхмерского, корейского, вьетнамского и лаосского народов». В интервью с корреспондентами в Пекине 9 июля Сианук проговорился, что во время беседы за большим банкетным столом 5 июля Чжоу Энь-лай заметил: «Скоро нам понадобится стол еще больших размеров, чтобы усадить за ним других азиатов». Намек, так сказать, вполне прозрачный.



Итак, отвергнув в 1965 году предложение КПСС об образовании единого фронта всех коммунистических стран для совместных действий в защиту вьетнамских коммунистов, Пекин теперь сам создал такой фронт в Азии. для СССР места в этом фронте не нашлось. Не нашлось официально. На деле же СССР оказывает этому фронту широкую помощь через Северный Вьетнам, и его слово пока все еще имеет значение для некоторых участников фронта. Создание такого фронта — несомненная победа пекинской политической линии, так как участники этого фронта, очевидно, согласны признать главенствующее положение в нем коммунистического Китая. Пекин, по заверению Чжоу Энь-лая, готов служить прочным оплотом и мощным тылом для всех индокитайских народов до тех пор, пока война в Индокитае не завершится победой коммунистов. Такую же помощь «до победного конца» твердо обещал и Ким Ир Сен. Будущее покажет, ограничится ли помощь коммунистического Китая только материальной и моральной сферой. Что касается Пхеньяна, то он, если верить заявлениям Сианука, которые тот неоднократно делал иностранным корреспондентам, уже теперь готов направить в Камбоджу «добровольцев», если Тайланд направит в эту страну свои войска. Надо сказать, что на возможность участия в Индокитайской войне «добровольцев из дружеских стран» Сианук намекал и в официальных речах, которые он произносил в Пхеньяне и в Пекине.

В СССР, разумеется, без особого удовольствия следят за успехами пекинской дипломатии. Надо думать, что советское правительство приложило все старания, чтобы воспрепятствовать появлению пропекинского коммунистического фронта в Азии. В конце концов, несмотря на некоторый прогресс в урегулировании советско-китайских межгосударственных отношений, проблема преодоления «пекинской идеологической ереси» все еще стоит перед СССР во всем её объеме. И всякие успехи пекинских руководителей на внешнем и внутреннем фронтах только усложняют для СССР окончательное решение этой проблемы. Отголоски недовольства советских руководителей событиями последних месяцев мы находим в статье «Азия и пекинские богдыханы», опубликованной в номере 23 журнала «Новое время» за текущий год. «Пекинские лидеры, навязывая некоторым отрядам коммунистического и национально-освободительного движения в Юго-Восточной Азии свою авантюристическую тактику, пытаясь использовать их как инструмент для утверждения господства Китая в азиатских странах, обрекают их на поражение и разгром, — пишет автор статьи в «Новом времени». — Стремление Пекина прибрать к своим рукам страны Юго-Восточной и Южной Азии настолько очевидно, что вызывает беспокойство даже тех людей, которые искренне хотели бы сотрудничать с Китайской Народной Республикой». Что это? Попытка предупредить страны этих районов от общения с Пекином или предостережение по адресу самого Пекина — не зарываться? Вероятно, и то и другое.

Образование единого коммунистического фронта в Азии с Пекином во главе нельзя рассматривать иначе, как усиление веса коммунистического Китая в делах Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. Но его не следует принимать и за окончательное поражение советской политики в этом районе. В конце концов, острие этого единого фронта направлено против США и Японии. Антисоветским он не будет до тех пор, пока в него входят Северная Корея и Северный Вьетнам. Советские руководители при существующих условиях, видимо, приняли решение выжидать. Ведь если Пекин, действительно, зарвется, то спасти коммунистический фронт в Азии от поражения и разгрома, которые предвещает «Новое время», может только Советский Союз. Вопрос только в том, не удастся ли Пекину с помощью всех азиатских и неазиатских «сиануков», свернуть и Советский Союз на свой авантюристический путь?

К. Павлов

ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

По дороге в Россию

Из Женевы я поехал в Вену. Тогда там была редакция «Искры». Я познакомился там с Мартовым, Даном и его женой Лидией Осиповной (Цедербаум) — сестрой Мартова. В Вене я пробыл несколько дней и оттуда уехал в Лемберг (Львов). Мне нужно было ждать, пока придут ящики с «Искрой» и разными революционными брошюрами. Я должен был перенять эти ящики в Луцке, Волынской губернии, от крестьянина, который должен был перевезти их через границу и отправить по данным мне адресам в Одессу и Киев. В Лемберге я прожил неделю на нелегальной квартире вместе с другими пятью-шестью меньшевиками, которые ездили в Россию. Представитель партии в Лемберге был уже не молодой человек, по фамилии Михайлов. Его настоящей фамилии я до сих пор не знаю. Он запретил мне днем выходить на улицу. Меня он снабдил письмом к одному еврею в Бродах, в Галиции, чтобы тот меня переправил в Россию и дал бы все необходимые инструкции, — как найти крестьянина с ящиками нелегальной литературы на вокзале в Луцке. Адреса на конверте письма, которое мне дал Михайлов, не было. Было написано только слово «Пропинаци» — по-польски; что по-русски значит «Пивная». Он сказал мне, что когда я приеду в Броды и выйду с вокзала, я должен пройти четыре квартала, потом завернуть направо; и там увижу вывеску — «Пропинаци». Туда он и велел мне пойти и, спросив хозяина, передать ему это письмо. Михайлов обменял мои швейцарские франки на рубли. Русский паспорт у меня был собственный. Мне прислал его отец, когда я был еще в Женеве.

В Броды я приехал рано утром. Билеты там отбирали у пассажиров не в поезде, как в России, а при входе на вокзал. Когда я вышел из вагона, подошел к двери вокзала, у меня отобрали билет, но около двери стоял человек в штатском, ко-

торый мне показался немцем. Он спросил меня по-немецки: «Куда вы едете?» Я ответил, что еду в Броды. «Зачем вы едете в Броды?» — спросил он. «Ищу работу», — ответил я. «Чем вы занимаетесь?» — «Я сапожник», — сказал я. Он велел мне показать ему мою руку. «Вы не сапожник», — сказал он решительно, глядя на мою руку. И он пригласил меня зайти в здание вокзала. Он ввел меня в какую-то комнату, где у стола сидел человек, выглядевший поляком или русином. Тот меня прямо спросил по-русски: «Как ваше имя?». Я ему ответил: «Давид Шульц». Почему именно «Шульц»? Мои братья в Филадельфии, они приехали до меня в Америку, переименовали свое имя с Шуб на Шульц. И так как я не предвидел, что меня обыщут и увидят мой русский паспорт, я не хотел называть свое собственное имя... Мне казалось, что человек, сидевший за столом, — русский шпион. Тогда он меня спросил, есть ли у меня заграничный паспорт? Я ответил, что нет. «Каким же образом вы попали сюда?» Я ему сказал, что границу перешел два года тому назад в Пруссии. Некоторое время жил в Берлине; из Берлина уехал в Вену; из Вены в Лемберг, а из Лемберга — в Броды. Он все записал. Я думал, что этим дело кончилось и я смогу сейчас пойти искать эту «Пропинаци», но он приказал мне ждать. Несколько раз он выходил из комнаты, оставляя меня с человеком, который задержал меня при входе в вокзал. Приблизительно через полчаса он вошел вместе с усатым австрийским жандармом. Жандарм велел мне раздеться. Я должен был это выполнить. Жандарм был очень груб, хуже, чем любой русский жандарм. Потом он заставил меня выложить все из моих карманов. «Следователь» в первую очередь начал читать мой паспорт. «Как ваше имя и фамилия?» — спросил он, не глядя на меня. Я ответил: «По-русски мое имя Давид Шуб, по-немецки — Давид Шульц». «Фамилии не меняются», — сказал он. «В Берлине и в Вене я называл себя немецким именем для того, чтобы можно было скорее получить работу», — ответил я. Он улыбнулся и взял в руки письмо «Пропинаци». У меня потемнело в глазах. Я был уверен, что он сразу же вскрыет конверт и узнает кому письмо адресовано и о чем в нем идет речь. Я боялся, что он не только передаст меня в руки русских жандармов, но и транспорт с революционной литературой будет задержан. «Кому это письмо адресовано?» — спросил он. Я ответил, что это письмо к еврею в Бродах, который должен мне помочь найти работу.

«Где находится эта «Пропинаци?» Я ему сказал, что мне велели идти налево, восемь-девять кварталов; и когда я увижу на углу вывеску с надписью «Пропинаци», чтобы я вошел туда. Письма он, однако, не вскрыл. Это все-таки была конституционная Австро-Венгрия. После краткого совещания «начальства», следовательно сказал: «Вы должны в 24 часа оставить Броды. Если вы здесь останетесь — вас направят к русской границе и передадут русским жандармам». Я обещал оставить Австрию в течение ближайших 24-х часов. Сдав свой маленький чемоданчик на хранение на вокзале, я пошел искать этого еврея в «Пропинаци». Когда я с ним встретился и передал письмо, я рассказал о случившемся со мной. «Слава Богу, вы хорошо отделались, — сказал он, — два дня тому назад одного из ваших задержали так же, как и вас, и его-таки передали в руки русских жандармов. Идите сразу же на вокзал и принесите ваш чемодан, но смотрите, не следят ли за вами». Я пошел на вокзал. По дороге я встретил того жандарма, который меня обыскивал. Ко мне он обратился по-еврейски: «Вы хотите здесь остаться? Тогда дайте мне 10 гульденов и вы сможете остаться. Я вас уже устрою». Я ему ответил, что еще не знаю, где я буду жить. «Скажите мне, где я могу вас найти? Тогда вечером я зайду к вам» — сказал я. Он дал мне свой адрес, а вечером я уже был у крестьянина в доме около русской границы. Ночью дочь крестьянина повела к границе меня и еще одного русского меньшевика. Рано утром мы были уже в русской деревне. Там она нас устроила у одного крестьянина. Мы скрывались у него в сарае целый день. Потом он запряг своих четырех лошадей и повез нас в Луцк. В Луцке на вокзале я нашел крестьянина с ящиками, в которых была запакована нелегальная литература. Я их немедленно отправил в Одессу и в Киев. После этого мой спутник уехал в Киев, а я направился в Вильну.

Это было в начале октября 1905 года, за две недели до революции. В Вильну я приехал несколькими днями позже. Пробыв там несколько дней, встретив старых товарищей, я уехал повидать отца и сестру, которая в то время собиралась уехать с детьми в Америку. Муж ее уже несколько лет жил в США.

Перед отъездом из Женевы я получил от представительницы партии так называемую «явку» в Вильну. Я посетил эту «явку», познакомился там с некоторыми членами виленского комитета «Российской с.-д. партии», которая после раскола в

партии и выхода «Бунда» была создана в Вильне. Раньше тут русской с.-д. организации не было. «Бунд» занимался пропагандой также и среди неевреев. Теперь же была не только виленская организация партии, но и был Северо-Западный комитет Российской с.-д. партии, в который входила и виленская организация и с.-д. организации ряда других городов. Там, между прочим, я познакомился с Николаем Крестинским, который потом был видным большевиком, а после большевицкого переворота даже секретарем компартии. Одно время он был товарищем министра иностранных дел, потом большевицким послом в Германии, а в 30-ых годах был вместе с другими старыми большевиками расстрелян Сталиным.

Революция

Во время моего пребывания в местечке Постава, Виленской губернии я вдруг узнал, что все поезда стали. От одного члена местной с.-д. группы я узнал, что он встретил на вокзале священника, возвращавшегося домой из Двинска. Приехал он в Постава на подводе. Священник ему рассказал, что во всей России сейчас железнодорожная забастовка и что все поезда стали. Через день-два я уехал в ближайшее местечко повидать моего старого приятеля, и когда я вернулся домой, отец мне сказал: «А ты знаешь, в России объявлена конституция?» Почты тогда не было. «Откуда ты знаешь?» — спросил я. Отец сказал, что доктор Козловский пришел к нему ночью, разбудил его и показал царский манифест. «Что же в манифесте сказано?», спросил я. «Как начинается манифест? — Мы, Николай II, самодержец всероссийский?...» «Да, сказал отец. Но там сказано, что объявлена свобода слова, печати, собраний, созыв законодательной Думы и так далее». «Все это обман, сказал я, потому что, если объявлена конституция, так почему же царь все еще называет себя «самодержцем всероссийским?» Отец не знал, что ответить. Я же думал, что все это неправда.

Через два-три дня начали ходить поезда и по почте уже были получены петербургские газеты, где все было подробно описано. Я увидел, что в стране действительно произошла какая-то крупная перемена. Я сразу же выехал в Вильно. Приехав туда, я заметил на воротах некоторых домов около вокзала красные афиши. Афиши гласили, что завтра в местном цирке состоится массовое собрание «Бунда» и русской и польской

социал-демократии. Я пошел на это собрание и увидев празднично настроенную огромную толпу, убедился, что действительно настала свобода.

Еще в начале 1905 года, когда я был в Америке, в Петербурге сразу после январских событий начали выходить две радикальные газеты: «Сын отечества» и «Наша жизнь». Они были непохожи на старые русские газеты. В них уже открыто требовали созыва Учредительного собрания. Теперь же, после объявления конституции эти газеты требовали немедленной отставки министерства Витте-Дурново и созыва Учредительного собрания. Я, конечно, читал эти газеты. Вскоре я увидел в «Сыне отечества» объявление: «Завтра выходит в Петербурге большая ежедневная газета «Новая жизнь» при ближайшем участии Максима Горького». В списке сотрудников были имена ряда видных большевиков. Конечно, я и мои друзья пошли сразу на вокзал купить эту газету. У какого-то газетчика мы нашли только один номер. Всё было уже распродано. Мы ему заплатили целый рубль за этот номер, хотя он стоил всего пять копеек. Получив газету, мы зашли в дом знакомого; перечитали ее с первой строчки до последней. Я, конечно, увидел по составу ее сотрудников, что эта газета — большевицкая. Никаких полемических статей в ней не было; было общее — социал-демократическое содержание. Причем, к этому номеру была приложена: «Программа Российской социал-демократической рабочей партии». Позднее — в третьем, четвертом или пятом номере — уже появился Ленин. Через несколько дней после того как начала выходить «Новая жизнь», я увидел в ней и в «Сыне отечества» большое объявление: «Завтра выходит новая большая социал-демократическая газета «Начало», при ближайшем участии Мартова, Плеханова, Аксельрода и других видных меньшевиков», включая Троцкого и Парвуса. Эти газеты, конечно, были нарасхват. В «Сыне отечества», между прочим, тогда же в одном из номеров было объявлено, что эта газета переходит в руки партии социалистов-революционеров. И чуть ли не в следующем номере я увидел статьи Виктора Чернова и других лидеров ПСР. Конечно, мы ежедневно покупали все три газеты — «Начало», «Новая жизнь» и «Сын отечества».

В Петербурге также выходила маленькая газетка «Русская газета». Эту газетку меньшевики тоже купили и Парвус с Троцким писали в ней ежедневно маленькие статейки. Газета эта име-

ла массовое распространение. Ее читали большей частью рабочие.

Из «Сына отечества» я узнал впервые об образовании в Петербурге Совета рабочих депутатов. С большим интересом я читал сначала в «Сыне отечества», в «Нашей жизни», а затем и в «Новой жизни» и в «Начале» подробные статьи-отчеты о заседаниях Совета рабочих депутатов, на которых обычно председательствовал Хрусталеv-Носарь. Имя это было мне совершенно неизвестно. Там часто выступал и товарищ председателя Яновский. Кто такой Яновский я тоже не знал, но скоро от одного виленского студента, приехавшего из Петербурга, узнал, что Яновский не кто иной, как Троцкий. В одном из номеров «Новой жизни» я прочитал, что на одно из заседаний Совета рабочих депутатов явились Лев Дейч и Вера Засулич, которые только что приехали из Женевы в Петербург. Председательствовал на этом собрании Яновский-Троцкий. Он объявил с трибуны о присутствии на собрании этих двух старых борцов за свободу и от имени петербургского пролетариата приветствовал их. Все депутаты встали со своих мест и устроили им бурную овацию. Дейч произнес от имени обоих короткую речь и благодарил депутатов за оказанный им прием.

Это было, кажется, за день или через день после массового собрания в виленском цирке, на котором я присутствовал. Главным оратором там был очень популярный тогда в Вильне товарищ «Степан» (настоящую его фамилию я забыл). Там же я впервые слышал и Владимира Медема, одного из лидеров «Бунда». Были там и польский и литовский ораторы. Видел я там и Крестинского. Выступал ли он на собрании — не помню. Крестинский уже тогда был большевиком, хотя имел довольно смутные понятия о ленинском большевизме. Помню, как однажды, прогуливаясь с ним по улице, я рассказал ему, что Ленин выступал против беспартийных профессиональных союзов и требовал, чтоб профсоюзы, которые образовывались тогда в многих городах России, были под контролем с.-д. партии, то есть, главным образом большевиков. По дороге мы встретили газетчика, который предложил нам свежий номер «Новой жизни». Я купил газету и на первой же странице внизу увидел статью Ленина «Советы и социал-демократия». Из этой статьи можно было видеть, что Ленин фактически ратует за то, чтобы Советы также были подчинены партии. «Видите, сказал я Крестинскому,

ваш Ленин уже и против Советов выступает». Чем кончилась наша дискуссия не помню. Но я видел, что мои слова произвели какое-то впечатление на Крестинского. Потом я несколько раз встречался с ним на заседаниях Северо-Западного комитета партии.

Не помню в этот ли мой приезд в Вильну или через месяц, уже после ареста Совета рабочих депутатов в Петербурге, в виленских газетах я прочел объявление, что такого-то числа в Городском зале состоится публичный доклад В. В. Водовозова на тему: «Участвовать ли или не участвовать в выборах в Государственную Думу?» Василий Васильевич Водовозов был тогда одним из популярных радикальных публицистов, член редакции ежедневной петербургской газеты «Наша жизнь», органа бывш. «Союза Освобождения». Как и остальные члены редакции — С. Н. Прокопович, Е. Д. Кускова, В. Хижняков, В. В. Португалов — Водовозов был раньше марксистом, потом отошел от марксизма, был одним из деятельных членов нелегального «Союза Освобождения». Его доклад в Вильне, по всей вероятности, тоже был организован бывшими членами «Союза Освобождения». Я, конечно, пошел на доклад. Зал был набит битком. Еще до начала доклада я заметил в первом ряду сидевшего красивого, уже не молодого человека с небольшой, уже седоватой, бородкой. Издалека мне показалось, что это Лев Дейч, но когда я подошел ближе, то увидел, что это не Дейч. Меня заинтересовало — кто этот старик? Я подошел к одному из лидеров Бунда и спросил его: «Кто этот седой господин, там в первом ряду?» «Вы не знаете? — удивился он. — Да это же Герман Лопатин!» Герман Лопатин! Я знал всю его биографию из брошюры П. Л. Лаврова, изданной еще в 80-ых годах, после суда над ним и осуждения на пожизненное заключение в Шлиссельбургской крепости. Лопатина потом я буквально боготворил. Как сейчас помню, какая радость меня охватила, когда я еще в октябрьские дни прочитал в газетах, что Герман Лопатин освобожден из Шлиссельбургской крепости и какую встречу ему устроили на вокзале петербургские литераторы и социалисты разных толков. Я не знал, что вскоре после его освобождения в Петербург приехал брат Лопатина, проживавший в Вильне, и выхлопотал, чтобы ему отдали брата на поруки.

Большинство социал-демократов и почти все социалистско-революционеры были тогда за бойкот предстоящих выборов в

Государственную Думу. Самым яррым бойкотистом был, конечно, Ленин. Но Г. В. Плеханов еще до объявления Конституции и расширения прав Думы, был за участие социалистов в выборах в Думу и я, еще будучи в Женеве, был согласен с Плехановым. Водовозов, как и все бывшие члены «Союза Освобождения», конечно, были яррыми сторонниками участия всех либералов, демократов и социалистов в предстоящих выборах в Государственную Думу.

Водовозов начал свой доклад с заявления, что он находится между с.-д. и к. д. (то есть, между социал-демократами и конституционно-демократической партией). Он сторонник программы с.-д., но тактики — ка-де. И доказывал, почему социалистам надо активно участвовать в выборах. Из его доклада мне запомнилось одно его замечание, которое тогда произвело на меня большое впечатление, так как я уже тогда был немного «заражен ревизионизмом». «Беда с с.-д. та, — сказал Водовозов, — что для них современное общество состоит из ряда отдельных стойл. В одном стойле — пролетариат, в другом — буржуазия и помещики, в третьем — мелкая буржуазия и крестьянство, которых они также причисляют к мелкой буржуазии. Но таких стойл на самом деле не существует. В современном обществе есть, конечно, рабочие, крестьяне, ремесленники, купцы, промышленники, крупные и мелкие, государственные, городские и земские служащие и лица свободных профессий. Между отдельными группами населения часто происходит борьба, но очень часто интересы разных групп и целых слоев населения совпадают. С.-д. не является партией пролетариата, как ка-де не является партией буржуазии и помещиков, как это утверждают с.-д. и эс-эры». Должен сказать, что В. В. Водовозов никогда кадетом не был. Он был членом «Союза Освобождения», потом трудовой группы, а в последние годы своей жизни членом Народной социалистической партии. Другими руководителями этой партии после революции 1917 года были Н. В. Чайковский, А. В. Пешехонов, В. Мякотин, Л. М. Брамсон. Идеино к этой партии был очень близок и Владимир Короленко.

Я выше упомянул, что уже в конце 1905 года, я, будучи меньшевиком, был «заражен ревизионизмом». Книги Эдуарда Бернштейна «Предпосылки социализма» я тогда еще не читал, но в русских легальных журналах читал статьи русских ревизионистов или «реформистов», как их тогда называли — П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского, Н. А. Бердяева и других.

Журнал «Освобождение», который редактировал П. Б. Струве я начал читать чуть ли не с 5-го или 6-го номеров и продолжал читать до закрытия журнала в октябре 1905 года. Без преувеличения могу сказать, что в 1904-1906 годах я не пропустил ни одной статьи Струве. Когда после закрытия нелегального «Освобождения» Струве начал издавать в Петербурге легальный еженедельный журнал «Полярная звезда», я, конечно, покупал этот журнал и очень внимательно его читал, хотя со многими высказываниями Струве и других сотрудников журнала я очень часто не соглашался.

Помню, когда однажды в Вильне один из моих товарищей меньшевиков, увидев у меня номер «Полярной звезды», с удивлением воскликнул: «Как? Вы и эту гадость читаете?» Я ему ответил, что я с большим интересом читаю талантливые статьи авторов, с которыми я часто не соглашаюсь, но которые будят мысль. Помню, что в одном из первых номеров журнала Струве была напечатана статья, кажется, князя Евг. Трубецкого, тогда члена Кадетской партии, под заглавием «Диктатура Витте-Дурново или диктатура Хрусталева-Носаря». В этой статье князь Трубецкой доказывал, что если придется выбирать между диктатурой Витте-Дурново и диктатурой Совета рабочих депутатов, то всякий истинный патриот и сторонник свободного конституционного строя должен выбрать диктатуру Витте-Дурново, ибо диктатура лидеров Совета рабочих депутатов может привести лишь к полнейшей гибели российского государства. Я тогда был решительным противником политики правительства Витте-Дурново, но помню, что статья Евг. Трубецкого заставила меня усомниться в правильности политики Совета рабочих депутатов, в котором сильнейшее влияние имели Парвус и Троцкий.

Я потом был связан с Северо-Западным комитетом РСДРП. Работал большей частью среди крестьян. Был несколько раз арестован, но сидел только несколько недель в тюрьме. За неимением достаточных улик, меня освободили. Так как у меня метрического свидетельства о дне рождения не было (оно сгорело во время большого пожара, когда я еще был ребенком), то после разгона Первой Государственной Думы я решил в 1906 году отбыть воинскую повинность, когда мне на самом деле минуло только девятнадцать лет. Осенью 1906 года меня взяли в солдаты и приказали через месяц явиться на сборный пункт для отправки в полк. Но через неделю меня на улице встретил

стражник и сказал: «Господин пристав хочет вас сейчас же видеть». Когда я явился к приставу, который меня хорошо знал, он прочитал мне бумагу, что по распоряжению виленского генерал-губернатора, я «за подстрекательство крестьян к захвату чужой собственности», на основании такой-то статьи закона, присужден в административном порядке к тюремному заключению на три месяца, а по освобождении из тюрьмы, к высылке на два года в одну из северных губерний. «Но я ведь сдан в солдаты и должен через три недели явиться к уездному воинскому начальнику», — сказал я. — «Это там разберут, — ответил пристав, — теперь вы арестованы и я должен вас немедленно отправить в Дисну для отбывания там наказания». «Могу я пойти домой за своими вещами?» — спросил я. «Нет, вещи вам принесет сюда стражник».

Все это было для меня совершенно неожиданно. Я попросил пристава известить о моем аресте отца и разрешить ему прийти ко мне. Пристав мою просьбу удовлетворил. Я попрощался с отцом и сказал ему, какие вещи запаковать в чемодан, который я возьму с собой. Одновременно я написал жалобу генерал-губернатору, что я невинно осужден: никогда я «подстрекательством крестьян к захвату чужой собственности» не занимался. Арестовали меня за несколько месяцев до этого в местечке Мядлы по подозрению, что я был там главным оратором на большом нелегальном собрании крестьян, по поводу разгона Первой Государственной Думы. Ответа от генерал-губернатора я, конечно, не получил, но после того, как я просидел два месяца в дисненской тюрьме, меня в сопровождении двух стражников отправили в канцелярию воинского начальника. Там главный писарь прочитал мне бумагу, в которой было сказано, что по соглашению виленского генерал-губернатора с командующим войсками Виленского военного округа, я освобожден из тюрьмы и должен быть отправлен в армию в отдаленный пункт империи. Этот отдаленный пункт был город Хабаровск. Я страшно не хотел туда ехать, так как из Хабаровска в Вильну письма шли шесть недель. И вообще я представлял себе, что Хабаровск населен какими-то полудикарями. Воинского начальника как раз тогда в Дисне не было, он куда-то уехал, и один мой знакомый адвокат устроил так, что я заплатил главному писарю, кажется, 25 рублей и тот перевел меня из Хабаровска в Иркутск.

(Продолжение следует)

Д. Шуб

ПРИВЕТСТВИЯ

ПИСЬМО Б. К. ЗАЙЦЕВА

*Дорогой Роман Борисович,
всем сердцем приветствую сотый номер “Нового Журнала”, и вообще журнал, и Вас, руководителя лучшего эмигрантского издания. Дай Бог держаться долго и крепко. Дай Бог сил, здоровья и упорства — оно и сейчас оценивается и в будущем не забудется.*

Мысленно поднимаю за Вас “кубок”. Будьте здоровы, дай Бог продолжать ценное дело.

13.VIII.70. Париж.

Ваш всегда, Бор. Зайцев.

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «РУССКАЯ МЫСЛЬ»

“Русская Мысль” сердечно приветствует юбилейный, сотый номер “Нового Журнала”, так доблестно служащего тому, что нам дорого. Мы желаем и “Новому Журналу” и редактору его, дорогому Роману Борисовичу Гулю, многолетия и новых успехов.

Август, 1970.

Зинаида Шаховская, редактор.

ПИСЬМО ГАЗЕТЫ «НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

*Дорогой Роман Борисович,
Сотая книга “Нового Журнала” — большое культурное событие русского зарубежья. “Новое Русское Слово” приветствует Вас с этим юбилеем и шлет редакции и всем сотрудникам “Нового Журнала” пожелания дальнейших успехов.*

М. Вейнбаум, Андрей Седых.

БИБЛИОГРАФИЯ

ЗАПИСКИ РУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ В С. Ш. А.
Том III. Нью Йорк, 1969 (247 стр.).

Третий том выходящих ежегодно «Записок Р. А. Г.» содержит разнообразный и интересный материал.

Первая статья «Андрей Николаевич Краснов, 1862-1914» (стр. 5-20) принадлежит перу заслуженного русско-американского историка проф. Г. В. Вернадского и представляет биографический очерк одного из крупных и многосторонних ученых пред-революционной России (донского казака по происхождению, брата генерала П. Н. Краснова) А. Н. Краснова. Он был географ и путешественник, профессор Харьковского университета, автор научных курсов земледения, популяризатор научных знаний среди интеллигенции и рабочих (читая лекции по ботанике, географии и геологии), редактор и журналист (беспартийный), наконец, основатель Батумского ботанического сада. В своих научных трудах А. Н. Краснов не ограничивался фактическим описанием природы разных стран, но ставил «земледение» в связь с иными естественными науками и стремился к научно-философским обобщениям на основе изученных и описанных им земледельческих материалов, развивая учение о географических комплексах и природных зонах.

Заметка, принадлежащая перу покойного историка и экономиста П. Б. Струве: «Англичане, как основатели крупной тканепечатной промышленности в России и судьба русской текстильной промышленности» (стр. 21-30) с подзаголовком «Эпизод из экономической истории России XVIII в.» — рассказывает о текстильной фабрике, устроенной английскими предпринимателями Козенсом и Чемберлином в Красном Селе в середине XVIII в.

Профессор Б. Г. Унбегаун поместил в этом сборнике небольшую статью «Русские языческие и христианские имена» (стр. 31-38).

Перу покойной проф. М. А. Полторацкой принадлежит заметка «О языке законодательных актов Петра I. Филологические заслуги Петра I». (стр. 39-44). Автор на примерах цитируемых документов показывает, что Петр, вынужденный ввести в русский язык множество иностранных слов в связи с введением перемен и преобразований во всех областях государственной жизни, однако, «ценил и оберегал национальные основы русского языка» и старался, где это было возмож-

но, найти или самому придумать подходящее русское слово взамен иностранного, которое он находил в проектах документов, представляемых на его одобрение и утверждение.

Большая статья (на английском языке, с русским введением) проф. Н. С. Арсеньева «Очерки религиозной жизни средних веков» (стр. 45-80) содержит характеристику средневекового религиозно-психологического сознания, для которого распятый и страждущий Христос был не только догматом церковного вероучения, но непосредственной, интенсивно переживаемой, реальностью. «Образ страждущего Сына Божия был реальным центром средневекового благочестия и владел сердцем христианского народа» (стр. 56). С другой стороны, остро и интенсивно переживалась опасность искушений и соблазнов со стороны множества темных демонических сил, действующих в мире.

Перу покойного проф. Е. В. Спекторского принадлежит краткий очерк «Три типа реальности» (стр. 81-92). Первый тип есть образ мира, непосредственно воспринимаемый, как реально существующий, нашими органами чувств; это — то восприятие мира, которое в философии обозначалось термином «наивный реализм». Научное исследование мира «устанавливает свою собственную действительность, совсем непохожую на феноменологию наивного реализма... Чувственный мир вытесняется миром умопостигаемым» (с. 83). В научном познании объединяется эмпирия и теория: «Эмпирия без теории слепа, а теория без эмпирии пуста» (стр. 84). Однако, научное исследование эмпирического мира не может решить вопросы о первых причинах и конечных целях бытия и «чтобы осмыслить причины и цели бытия, необходимо усвоить сверхприродную точку зрения» (стр. 86); для каждого человека и особенно «для человека науки с его повышенной рефлексией, неизбежным восполнением его житейского и научного опыта является опыт религиозный» (стр. 88), и полнота существующей действительности «постигается только при сочетании всех ее трех аспектов» (стр. 91).

Статья проф. А. А. Боголепова «На путях к созыву Православного Вселенского Собора» (стр. 93-124) описывает имевшие место попытки в этом направлении и отношение поместных православных церквей к этому трудному и сложному вопросу. Автор считает собравшуюся на о. Родосе в 1961 году первую Всеправославную Конференцию «началом нового периода в жизни Православной Церкви, периода восстановления соборности во взаимоотношениях Поместных Церквей» (стр. 123).

Работа проф. Г. П. Струве «К столетию со дня рождения П. Б. Струве. Неизданные документы и воспоминания» (стр. 125-152) содержит извлечения из писем П. Б. Струве к его сыну в 1937-41 гг., пояснительные комментарии Г. П. Струве и — в приложении — резю-

мэ письма П. Б. Струве к члену британского кабинета сэру Самюэлю Хору, от 26 марта 1939 г. Встревоженный и удрученный агрессивным движением гитлеризма в Европе и огорченный мюнхенским соглашением западных держав с Гитлером, П. Б. Струве, однако, сохранял свое неизменно враждебное отношение к большевизму («этому соединению западных ядов с истиннорусской сивухой») и предупреждал политических вождей Западного мира об опасностях дружбы и союза со Сталиным. В упомянутом письме к С. Хору он писал:

«Всякие уступки тоталитарным государствам опасны и могут оказаться роковыми... Идеологически, т. е. социально и политически, Ленин-Сталин с их большевизмским режимом, и Гитлер и Муссолини с их режимами... явления не только родственные, но и тождественные. Ленин родил Гитлера и гитлеризованного Муссолини» (стр. 149). «Величайшей и самой опасной из всех иллюзий был бы союз между западными демократиями и советским режимом, который представляет наиболее опасную и ядовитую разновидность тоталитарного государства» (стр. 150).

Проф. П. С. Шидловский в статье «Пироговская школа русской хирургии» (стр. 153-184) рисует импозантную картину развития и достижений русской хирургии после Н. И. Пирогова.

Проф. Б. А. Константиновский в статье «Законодательство февральской революции» (стр. 185-206) говорит об изданных Временным Правительством законах о реформе земского и городского самоуправления; о реформе судебных учреждений и местного административного управления; о реформе средней и высшей школы; о свободе печати и о выборах в Учредительное Собрание. Предположенная этими законами и сделавшая свои первые шаги широкая и всесторонняя демократизация русской жизни была, как известно, начисто ниспровергнута октябрьским большевизмским переворотом.

Проф. К. Г. Белоусов в статье «Ниагарские водопады» (стр. 210-222) представляет историю Ниагарских водопадов и говорит о мерах, принимаемых против дальнейшего разрушения их дна.

Заметка проф. Ю. А. Семенцова «Дальтон в кривом зеркале советского марксизма» (стр. 223-230) констатирует, что в СССР «в результате чрезмерного национализма в науке Дальтон был в советских учебниках вытеснен Ломоносовым, как создатель атомной теории и как основатель современной химии» (стр. 223-4), тогда как в действительности атомная теория Ломоносова («хотя безусловно опередившая свое время») осталась незамеченной современниками и забытой, и была вовсе неизвестна на Западе; работы Ломоносова об атомно-молекулярной теории были найдены профессором химии Б. Н. Меншуткиным в архивах Академии Наук и опубликованы в 1904 году.

В отделе «знаменательные годовщины» напечатаны био-библио-

графический очерк «Петр Бернгардович Струве (1870-1944)» и краткие биографические заметки о трех зарубежных русских ученых: П. С. Шидловском, Г. П. Струве и Е. И. Радзимовском. В конце книги дан краткий отчет о деятельности Русской Академической Группы в С. Ш. А., в частности, о собрании, посвященном научным заслугам Д. И. Менделеева (по случаю 100-летия со дня открытия им периодической системы элементов).

В заключение мне хочется отметить заслуги главного редактора «Записок Р. А. Г.» проф. К. Г. Белоусова, работающего «параллельно» двум другим культурным деятелям русского Нью Йорка — редактору «Нового Журнала» Р. Б. Гулю и редактору «Нового Русского Слова» М. Е. Вейнбауму; эти три подвижника русской культуры в зарубежье* неустойчиво несут на своих, уже немолодых, плечах тяжелое бремя редакторско-издательской работы, не покладая рук и не видя себе молодой смены...

С. Пушкарев

* Напечатано только по настоятельному желанию С. Г. Пушкарева. РЕД.

Из-за обилия материала мы были вынуждены отложить до 101-й книги некоторые рассказы, статьи, сообщения и заметки, библиографию, а также и указатель содержания книг «Н. Ж.» с 1-й по 100-ю.

ИСПРАВЛЕНИЕ

В кн. 99, на стр. 174, 15-я строка сверху должна читаться: «блестящего исполнения «Светлого праздника» Рахманинова...»

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

под редакцией РОМАНА ГУЛЯ

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

THE NEW REVIEW,

2700 Broadway, New York, N.Y. 10025

МО 6-1692



Нью Йорк, 1970

РОМАН ГУЛЬ
РЕДАКТОР «НОВОГО ЖУРНАЛА»
С 1959 ГОДА ПО 1970 ГОД